Иван Доценов

ОККУПАЦИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Оккупация» - это первая часть воспоминаний И.В. Дроздова: «Последний Иван». В книге изображается мир журналистов, издателей, писателей, дается широкая картина жизни советских людей в середине минувшего века.

- Часть Первая
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
- Часть Вторая
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая

Часть Первая

Глава первая

Пошел пятый час утра – первые шаги Нового 1999 года. Мы с Люшей только что вернулись от наших друзей Соловьевых, живущих в соседнем подъезде – с ними провожали старый год и встречали Новый. Прошел в большую комнату, стою у окна, гляжу на деревья. Они очень старые и большие; пожалуй, помнят Петра Великого, и еще те времена, когда тут, на берегах Невы, жили чухонцы, а там дальше, но тоже в низовьях Невы, обитали ингерманландцы. Три сосны, стоящие перед окнами, тех времен не помнят, эти молодые, но вот там дальше, возвышаясь кроной над всем парком, уперлась могучими ветвями в небо лиственница. Она не только помнит Петра, но и прародителей тех чухонцев, которые льняными волосами и синими глазами походили на финнов, но от них всегда сторонились и с другими племенами не смешивались – понимали вечные и святые законы бытия, завещавшие нам жить единым родом.

Часы отстукивают секунды, а сердце – пульс. Иные скажут: медленно тянется время, другие заметят: летит на вороных. Это уж как кто понимает. Мне уже семьдесят пятый год. Возраст почтенный. Иной раз заползет в душу тревога, но я тогда друга своего Федора Григорьевича Углова мысленно на помощь зову; ему-то уж девяносто пятый пошел, а он все работает, каждый день на службу ходит, да еще и операции делает. Углов, конечно, исключение – недаром же он в книгу Гиннесса попал, как старейший оперирующий хирург, но о том, что он исключение, и довольно редкое, думать не хочется. И еще Леонида Максимовича Леонова вспоминаю – тот жил до девяносто семи. А Лев Толстой в восемьдесят два года решил написать свое лучшее произведение. И не простудись он в дороге, наверное, мы имели бы такую книгу; а Бернард Шоу в девяносто лет любовные письма женщине писал. Да что там далеко ходить: мой самый сердечный задушевный друг Борис Тимофеевич Штоколов, великий бас России, именно в эти дни студию для себя ладит, технику первоклассную устанавливает, говорит: «Мой голос теперь только и распелся». И решил все свои романсы и арии заново на лазерный диск напеть. А ему ведь тоже… семидесятый пошел.

Человек так устроен: пока жив о живом и мысли его.

Стою у окна, слушаю шелест шагов наступившего года. Незримо идет он среди деревьев – идет ли, ползет ли, а может, уж полетел ракетой…

В этом году газеты предрекают голод.

Самое страшное – это думы о голоде. Другие его не боятся, а

я – боюсь, потому что знаю, видел и сам голодал.

Под новый 1933 год мы с братом Федором приехали в Сталинград на Тракторный завод. Бежали из деревни, где большевики с наганами прошлись по амбарам и выгребли весь хлеб. Поселили нас в бараке, спали мы на одной койке. Мне было восемь лет. И все бы ничего, брата приняли в лесопильный цех учеником электрика. Уж и зарплату первую он получил. И печку в бараке топили. Тепло, сытно,– и даже весело. Вечером с работы ребята приходят: все молодые, из деревень понаехали. Кто-то поет, кто-то смеется, а кто-то печку топит. Но вдруг беда случилась: брат мой однажды с работы не пришел. Сказали мне: Федора током сожгло, в больницу отвезли.

День живу один, другой. На третий комендант Петр Черный сказал:

– Одевайся, выходи.

– Куда?

– А я знаю – куда? Выходи!

Я оделся, обулся, но выходить не торопился. Некуда мне было идти, да и холодно. Мороз под тридцать.

– Выметайся, щенок!

Схватил за воротник пальтушки, которую мама мне соткала и сшила, и вытолкнул за дверь.

Побежал куда глаза глядят: вниз, вниз по скользкой тропинке. В тех местах, где на снегу накатаны ледяные дорожки, скользил по ним, и затем снова бежал, и скользил, и бежал. Вдруг впереди увидел, как стайка ребят, таких же, как я, падают куда-то и пропадают, словно их заглатывало подземелье. Подбежал и вижу: железный обруч, а внизу темень колодца и оттуда белый пар клубится, словно из бани. Ребята туда прыгают, и я прыгнул. А там ручеек горячей воды течет у стенки, а где-то впереди, точно звездочка, свет мерцает… Туда на звездочку ребята побежали – и я за ними…

Давно это было, а будто бы вчера.

Я теперь боюсь голода. Все говорят о нем, и страх заползает мне в душу. Не за себя боюсь, за Люшу, и за свою дочь, которая живет в Москве, и за внуков – у меня их трое. Есть правнук Максим и правнучка Настя – такие прелестные, совсем еще маленькие. За них тревога. Ну, и конечно, за весь народ – за русский и за все другие народы, которые издревле судьбу свою с нами связали.

Другие говорят о голоде и не боятся его. Я боюсь. Или потому что трусоват, но, скорее всего, оттого что не однажды голодал.

Теперь-то мы знаем, что и в 1921 году, и в 33-м голод нам устроили большевички в кожаных тужурках, народ вымаривали –

вот как и теперь хотят, чтобы нас, русских, было мало. Но тогда-то… Ленин был для нас кумиром, почти Богом, а пламенных революционеров мы чтили, как наши отцы и деды чтили святых. Народ доверчив, как дитя малое. Ему сказали, что Ленин наш отец родной – мы и поверили. А этот отец говорил, что пролетариату нечего терять, кроме собственных цепей, – мы и в это поверили. А что у этого же пролетариата, кроме цепей, была еще и Родина, и род, его породивший, и могилы предков – ну, это как-то отпало само собой. Нет Родины – и все тут. Об этом же вроде бы и Карл Маркс, мудрец всех времен и народов, сказал, а если уж Карл Маркс… так уж тут цепляться за Родину, и за могилы предков…

Верили во все это и тогда, когда от голода падали на улице и тихо без стона и жалоб умирали. В 1933-м будто бы на одной только Украине вымерло шесть миллионов человек, а у нас в России сколько полегло? Никто не считал. Русских много. Зачем их считать.

В Поволжье голод был особенно свирепым. Сталинград – центр Поволжья.

В квартиру позвонили. Кто бы это – в такой неурочный час?

Открываю дверь: Михаил Меерсон.

– Миша? Это ты?…

– Прости. Стиснуло сердце – дай валокордин, а лучше – нитроглицерин.

Взял его за руку, провел на кухню. Он бросил под язык две таблетки нитроглицерина.

– Целых две таблетки! Я и одну-то принимать боюсь. Голова от него болит.

– Да, в мозгу у нас много мельчайших сосудов – они не любят вторжений, да еще таких сильных средств, но мне надо помочь сердцу. Тут как и во всем: одно лечит, другое калечит. В конце концов, от инфаркта убегу, а на инсульт нарвусь.

– Заметил я, ты много теперь говоришь о болезнях.

Миша вскинулся:

– Хо! А о чем же я буду говорить, если везде болит! Тебе хорошо: на озеро гулять ходишь, пожрать как следует можешь, выпить. Вот и сейчас: из гостей пришел, а ни в одном глазу, и рожа красная, как у младенца.

– Я не пью. Пора бы тебе знать это.

– Он не пьет! Ты эту пулю заливаешь всем уж лет тридцать. В Москве еще жил – на даче у тебя был в писательском поселке; так ты и там всех дурачил. Не пьешь. Да кто же тебе и поверит, что ты и вино и водку не пьешь! Вот сейчас в гостях был, Новый год встречали – так что же ты, и бокал шампанского не выпил? И

Люша твоя – тоже не выпила?

– Не пьем мы с ней, Миша. Совсем не пьем.

Михаил махнул рукой и отвернулся. Смотрел в окно, в ночь – на тот участок Удельного парка, где теннисный корт прозрачным забором огорожен. Раньше зимой поле корта заливалось водой, под звездным небом блестел огромный квадрат льда и на нем по углам и посредине отражались огни фонарей, и в новогодние ночи до утра кипел нарядный хоровод молодых людей, хлопали пробки шампанского… – теперь корт покрыт снегом и фонари не горят; новая демократическая власть и этот уголок жизни прихлопнула, будто колдовская сила черной рукой смахнула. Михаил в глубоком и печальном раздумье смотрит на заснеженное поле и, наверное, думает о том же. Ведь он в этом доме онкологов, где мы живем, прожил тридцать пять лет, и теперь, после возвращения из Тель-Авива, поселился здесь же, в своей старой квартире, на одной с нами лестничной клетке. Михаил похож на чеховского персонажа из «Палаты номер шесть»: на нем старый махровый халат, далеко не свежая помятая рубашка, редкие седые волосы торчат в разные стороны, будто они кого-то испугались и повскакали со своих мест. Он в Израиле был три года, натерпелся там каких-то бед, похоронил свою Соню, с которой прожил сорок восемь лет, – постарел, обрюзг и под глазами у него висят тяжелые синюшные мешки. Я украдкой бросаю на него взгляд, и мне становится страшновато; мы ведь с ним ровесники, наверное, и я вот так же постарел, и моя физиономия мало кого радует. Правда, Люша меня называет молодцом, а директор издательства Владислав Аркадьевич – умница и прекрасный писатель, красавец и балагур, – говорит, что люди моего типа долго остаются молодыми. Намекает на то, что душа у меня еще не постарела. Но это, конечно, моменты утешения, дружеских ободряющих слов, а старость она всегда старость, природу не обманешь, и если уж взяла тебя в обнимку, от нее не увернешься.

Грустные это мысли, обыкновенно я гоню их, но вид моего фронтового товарища Миши Меерсона и раньше-то навевал мне печальное настроение, а теперь он со своим стенанием сеет тоску.

– Ты, извини, Иван, – посиди со мной. Люша там спать легла, а мы посидим. Меня ночью стали посещать страхи, особенно, когда под лопаткой заноет. Я тогда встаю и начинаю ходить по комнатам. Вспоминаю тот ужасный случай, когда с балкона пятого этажа пьяного мужика выбросили; я иногда ночью подойду к балкону, и мне кажется, что тень какая-то сверху летит. Ведь он, конечно же, не сам прыгнул. С вечера-то там песни орали. Собралась теплая компания. Ну и – выбросили.

– Давно уж это было. Я забыть успел.

– Ты забыл, а мне он… летящий – мерещится. У меня сегодня два племянника были, здоровые, как быки, и смотрят как-то нехорошо. Возьмут под белы ручки, и – тоже полетел.

– Да зачем же им тебя выбрасывать?

– А квартира, мебель? Им бы меня поздравить, подарочек старику принести, а они вопросы задают, не собираюсь ли опять в Израиль? А чего я там забыл в Израиле? Там тоже племянничек есть, так он уж обобрал меня. Двадцать тысяч долларов выманил, купил на них две машины, кирпичный гараж, обещал продукты из кибуци возить, а сам скрылся куда-то. Соня и занемогла с этого. И умерла скоро. Подлость такую не перенесла.

– Ты мне как-то рассказывал, не один племянник тебя огорчил.

– Всякое там было, но главное, конечно, мира и согласия между людьми нет. Вроде бы одного рода-племени, а выйдешь на улицу – на тебя волком смотрят. А один подошел ко мне и говорит:

– Ты, папаша, русский что ли?

Я ему отвечаю:

– Что значит, русский? Если по месту рождения судить, то да, русский. А в чем дело?…

– А фамилия твоя?

– Меерсон, но в чем дело, я вас спрашиваю?

– А в том и дело: домой тебе придется ехать. Понял ты меня – домой.

– Мой дом здесь, в Израиле. Я и ехал сюда потому, что Израиль – прародина отцов наших, а, значит, и наш дом. Здесь наша Родина.

– Ошибся ты, папаша. Здесь наш дом, а не ваш. Мы настоящие евреи – ашкенази, восточные, а вы – сефарды, окрошка европейская, у вас в крови всякого понамешано. Гнать мы вас будем – обратно туда, в Россию.

И замахнулся, да так, что у меня в глазах потемнело. Спасибо, что не ударил. А в другой раз и ударить может. Ну, а потом уж совсем ужасное приключилось: какой-то раввин на улицы Тель-Авива восточных евреев вывел, и шли они под лозунгами «Русских евреев – в Россию». Так что, друг Иван, нет мира под оливами. Соня как увидела этих громил – и совсем слегла. А ночью с ней удар случился. Вызвал я скорую помощь, укол ей дали, а сердце-то и остановилось. Может, и врачи еще добавили.

– Понять мне трудно, как это ты, профессор-медик, а лечить жену другим доверяешь. Сам бы ей укол сделал.

– Испугался в ту минуту, голову потерял. Теперь-то вот кляну себя, а Соню не вернешь. Одним словом, тошно мне стало жить в Тель-Авиве, на Родину настоящую вернулся. Родился-то я в России, и мать моя, и отец, и деды, прадеды – всех нас земля российская породила, тут и умирать будем.

Под утро я проводил Михаила и спать лег. И едва смежил глаза, как увидел колодец, туннель со струящимся ручейком горячей воды и вдали мерцающий огонек. И как тогда, в те уже совсем далекие годы, бегу я за ребятами, бегу, и вдруг кто-то схватил меня за ногу – и я упал.

– Эй, парень, иди-ка сюда! – раздался девчоночий хрипловатый голос.

И меня потянули за ногу.

– Садись вот здесь. Тут труба теплая.

Волосатая большая голова улеглась ко мне на колени, сказала:

– Поищи-ка у меня в голове, гадов много, спать не дают.

Я никогда не слышал слова «гады», но понял, что речь идет об отвратительных насекомых, которых теперь, кажется, нет на всей российской земле, но тогда они копошились в рубцах нечистых рубашек, на голове в спутанных, грязных волосах, – и даже во время войны я приказывал старшине батареи возить с собой пустую бочку, в которой мы выпаривали этих кусачих коротконогих тварей.

– Ну, ищи! Чего сидишь?

– Так темно же.

– А ты на ощупь. Пальчиками перебирай – к ногтю ее. И если гниды – тоже к ногтю.

Я запустил в теплые волосы пальцы и стал ощупывать голову и, действительно, нащупал один бугорочек, другой – и затрещали между ногтей мои жертвы, и гниды мне встретились: гирляндами налипли на волосах, – я и их ноготочками.

– Вот, молодец! – одобрительно проговорила голова. А я, поощренный похвалой, еще больше старался. Искал и искал, и много уж «настрелял» дичи, и мне уж казалось, что меня тоже кусают маленькие хищники, и я отвлекался, чесал свою голову. И потом снова запускал пальцы в длинные и густые волосы незнакомой девицы.

Но скоро я устал изрядно, привалился к теплой трубе и заснул. Пациентка моя тоже спала, и не знаю, сколько мы пребывали в таких живописных позах, – меня сильно толкнули, и я увидел перед собой тень здоровенного мужика.

– Не трожь парня, медведь! Чего тебе? – сказала голова, не поднимаясь с моих колен. Но медведь двинул меня сапогом – на

этот раз сильнее прежнего, и я полетел на другую сторону туннеля. Подхватился и побежал на огонек, – он все мерцал где-то впереди. И бежал я, и бежал, пока не услышал ребячьи голоса:

– Пойдем в пещеру. Скоро монтер придет, погонит нас.

– Не погонит. Он добрый.

Я остановился. Перспектива попасть в пещеру была заманчива.

– Добрый тот, с усами. А этот зверь, он тя живо насталит!…

Ребята повставали и поплелись дальше на свет. Я шел сзади. И боялся, как бы не отстать. У идущего рядом спросил:

– А что это значит – насталит? Я слова такого не слышал.

– О, деревня! Засветит! По шее, значит.

– Засветит?…

– Ну, темень. Отвяжись.

Пещера оказалась далеко, на скалистом берегу Волги. Было еще темно, когда мы вылезли из туннеля и нас словно жаром от большого костра охватило морозом. Мороз был везде: в небесах он сиял крупными синеватыми звездами, на деревьях висел казачьими усами, под ногами скрипел и визжал точно поросенок. Мы бежали по заводской площади мимо памятника Дзержинскому, потом по узенькой тропинке, вившейся по краю заводского забора, а потом, словно в сказку, влетели в какой-то сад или парк, и по парку бежали долго. Бежавший впереди парень покрупнее всех, – видимо, вожак, – поворачивался назад, поднимал руку и кричал:

– Палки берите, щепки!…

И ребята подбирали всякий мусор, и я подбирал ветки, дощечки от каких-то ящиков,– и все бежали, бежали…

Потом мы спускались вниз. Обогнули выступ высоченной скалы, ребята цепочкой растянулись по совсем уж узенькой тропинке. Впереди идущий крикнул:

– Берегись! Скользко.

Я плотнее прижался плечом к скале и посмотрел вниз. И ужаснулся. Берег Волги, полоска льда, слабо освещенная сиянием звезд, причудливой змейкой вилась где-то далеко внизу – так далеко, что казалось, мы парим над землей в небесной вышине. А брустверок, по которому мы шли, был так узок, что нога на нем едва помещалась, и ноги скользили, – вот-вот, еще мгновение – и ты полетел вниз. «Знал бы я – не пошел», – мелькала мысль, но тут же себя спрашивал: «А куда бы ты пошел?». Да, идти мне больше некуда, и я ногой нащупывал место, где бы не упасть, не поскользнуться.

Увидел, как впереди идущие ребята, один за другим, ныряют куда-то и исчезают, точно их проглатывала пасть, разверзшаяся в

стене.

То была пещера Бум-Бум – надежное прибежище бездомных ребят, которые одни только и могли сюда пробраться по узенькому карнизу и потому чувствовали себя здесь в полной безопасности.

Сложили костерок, чиркнули спичкой, и все засветилось, заиграло чудными бликами,– и будто бы даже мороза не было на улице, а была ночь, теплая, звездная – и жизнь уж не казалась такой мрачной и суровой.

Кто-то из кармана достал несколько картофелин, кто-то чистил морковку, свеклу – и вот уже котелок висит над костром, и снег, набитый до краев, превращается в воду, и все варится, парится, а я облюбовал себе свободный уголок – тут сено, клочок соломы, и клочок вонючей дерюжины… Я устраиваюсь поудобнее, и – засыпаю.

Я хорошо помню, как в те первые часы жизни моей в пещере Бум-Бум, ставшей мне прибежищем на четыре года, я уснул крепко и увидел во сне родную деревню, и родимый дом, и отец сидит в красном углу под образами, а мама тянет ко мне руки, и я явственно слышу ее голос: «Иди ко мне. Ну, Ванятка, сыночек мой. Ты теперь дома, и никуда больше не поедешь. Иди ко мне на ручки».

И еще помню, как проснулся я в пещере, увидел, что нет у меня ни дома, ни отца, ни мамы… Страшно испугался и заплакал. И плакал я долго, безутешно – ребята смотрели на меня, и – никто ничего не говорил.

В пещере догорал костер, дров больше не было. Становилось холодно, и я начинал дрожать. Кто-то из ребят сказал, что надо натолкать в чугунок снега и согреть воды. Еды у нас не было, но я о ней в тот час не думал. Не знал я тогда, что бывают у человека дни, недели – и даже годы, когда еды у него нет.

Вместе с трескучими холодами к России подбирался 1933-й год. Страшным он будет для многих народов, населяющих одну шестую часть света.

Ну, а как я прожил этот год – это уж рассказ особый. Я поведал о том в повести «Желтая Роза». Это первая часть романа о тридцатых годах «Ледяная купель» – он написан давно, еще в семидесятых, но лежит в столе и ждет встречи с читателями. Дождется ли?… Но и в нем я лишь отчасти рассказал о своем детстве. Расскажу ли когда-нибудь подробнее?… Вряд ли! Люди ждут историй веселых, романтических.

Романтики было много в те дни, когда мы войну с Победой окончили и домой возвращались. Я тоже, хотя и не сразу, поехал домой. Дома-то, правда, у меня не было, и даже города не было –

Сталинград был дотла разрушен, но все-таки было место, где завод мой и дома стояли. Туда и поехал. Ну, а потом в штаб своего округа вернулся. Сижу это я на скамеечке, приема у начальства жду. Мимо подполковник проходит. Встал я, честь ему отдал.

– Как твоя фамилия?

Назвал я себя.

– Дроздов? Не твой ли очерк «Фронтовой сувенир» по радио читали?

– Было дело.

– И что? Куда теперь?

– В Сталинград поеду. Тракторный завод восстанавливать.

– Но ты же писать умеешь! Помнится, как у нас в штабе говорили: фронтовой командир, а как пишет. Айда к нам в газету!

– А вы что же… редактор?

– Бери выше; я всеми газетными кадрами в округе заправляю.

Подхватил меня за руку, повел в кабинет. Там за большим столом маленький, похожий на галчонка, старший лейтенант сидел. Подвел меня к нему:

– Вот тебе артиллерист настоящий и писать умеет – оформляй его в газету. Нам во Львове литсотрудник нужен.

И ушел подполковник, а старший лейтенант долго рассматривал меня, точно я привидение, потом спросил:

– У вас есть высшее образование?

– Нет.

Старший лейтенант склонился над столом и ворочал перед носом какую-то бумагу. Ко мне он сразу потерял интерес, и я уж думал, что сейчас он меня отпустит и я пойду в другую комнату оформлять демобилизацию, и был рад этому, и уж предвкушал момент, когда я войду в кабинет директора Тракторного завода Протасова, у которого до войны в механосборочном цехе работал, и как он обрадуется мне и скажет: «Ну, валяй в наш цех, ты там распредмастером работал – и теперь засучивай рукава, трудись».

А старший лейтенант занимался бумагой – и так ее повернет, и этак, и морщил свой тонкий крючковатый нос, выражая недовольство моим присутствием, и потом, не поворачиваясь ко мне, проскрипел сиплым прокуренным голосом:

– Как же вы… без образования в журналистику идете? Журналист, это же… писать надо, сочинять: тут не только ум, но и талант нужен, это же… ну, вроде как маленький, начинающий писатель. А?… Отказались бы.

– Как вы скажете; можно и отказаться.

Старший лейтенантик, так я его мысленно окрестил, поднял на меня большущие темные глаза, в них копошился сырой

непроницаемый сумрак, покачал головой, что, очевидно, означало: «Надо же… какая наглость. В журналисты захотел». Но сказал он лишь одно слово: «Подождите», и вышел. Через минуту возвратился вместе с подполковником. Тот был взволнован, кричал:

– Вечно вы!… Как русский, так вам дипломы подавай. А где он учиться мог – тебя он на фронте защищал! А твои соплеменники, между прочим, в Ташкенте отсиживались, да в институтах учились.

– Но ведь журналистика, – бормотал старший лейтенант, – сами же вы говорили.

– Ну, говорил – и что же, что говорил. Конечно же, хорошо, если с дипломом, но этот писать может. Очерк его по радио передавали, я еще тогда думал: в газету бы этого парня.

Приказ о моем назначении был написан, и вот я во Львове, стою у входа в большое серое здание, где находится редакция. Часовой указывает мне лестницу, ведущую в подвал, и я, наконец, в огромном, плохо освещенном помещении; у стен разместились наборные кассы, печатные станки с ручным управлением, два большие стола посредине – вся типография дивизионной газеты «На боевом посту».

Две девушки, сидевшие за кассами, – одна черненькая, кудрявая, другая беленькая, прямоволосая, – повернулись ко мне. Прямоволосая славянка мило улыбнулась:

– Мы ждали вас. Проходите. Скоро придет редактор.

Куда проходить, не сказали. Избрал дальний угол с большим штабелем газетных подшивок и каких-то бумажных тюков, прошел туда и положил на штабель фибровый, изрядно побитый и потрескавшийся чемодан, с которым прошел и проехал всю войну и в котором одиноко лежали две пары нижнего армейского белья – все мое имущество и богатство. Казалось бы, странно это – ведь я прошел пол-Европы, освобождал Яссы, Будапешт – и был не простым солдатом, а вначале летал на самолетах, потом, повинуясь капризам военной судьбы, стал командиром фронтовой зенитной батареи, – казалось бы, трофеи должны быть. А их не было. Только часы золотые на руке – солдаты подарили, да аккордеон концертный был – тоже солдаты из королевского дворца вынесли, но его украли где-то на квартире. Ничего другого не было, потому как всегда боялся: убьют, а у меня в чемодане вещи чужие найдут. Вот и пуст мой чемодан, зато и совесть спокойна.

Газетный завал оказался очень удобным для моего нового очага. Вначале я положил на него чемодан, а затем, не дождавшись редактора и никого из сотрудников и проводив

кончивших свою работу девчат, я потушил свет и лег на газетные подшивки, а поскольку несколько дней был в дороге и почти не спал совершенно, то уснул мертвецким сном, и неизвестно, сколько бы проспал, если бы не разбудил старшина, который смотрел на меня хотя и без особенной радости, но все-таки с интересом и каким-то детским чувством неожиданного удивления.

– Помнишь меня? – спросил старшина. И в голосе его прозвучало уже не детское чувство снисходительного превосходства.

– Как же! Вы тот самый корреспондент…

– Верно. А фамилия моя?

– Бушко. Максим Бушко.

– И это верно. Тогда давай здороваться. Я только что-то не понимаю, как это ты согласился принять должность литературного сотрудника? Ты что – в Москве учился, факультет журналистики окончил?

– Да нет, ничего я не кончал,– проговорил уже с некоторым раздражением, потому что слова его были слишком уж похожи на то, что говорил мне тот… старший лейтенантик. Но больше всего меня удивляло, и было неприятно, – старшина, а говорит со мной, офицером, как с мальчиком. Но я думал: журналистика. Сфера особая. Тут свои понятия субординации. И уж, конечно, в бутылку лезть я не собирался. Он же профессионал и, наверное, образование имеет. Тут уж смирись, будь тише воды ниже травы.

Новое это было для меня состояние: на фронте-то – командир подразделения, да еще отдельного: всегда в походе, в бою, а штаб далеко – полковой за сорок-пятьдесят километров, дивизионное начальство за десять-двадцать. Связь по рации, да и какая это связь! Ненадежная. Если танки из-за холма вывернулись или стая истребителей налетела, все решай сам, мгновенно – иногда в одну-две секунды. А тут – газета. Нужны знания, умение писать, и без ошибок. Да еще и о чем писать? Это, наверное, самое главное.

Присмирел, притих, и сижу перед старшиной, как школьник. И мысли лезут панические: бросить все, да и снова в штаб, с просьбой списать вчистую. На фронте – там да, умел, и наград у меня больше всех в полку, а тут уж нет, тут уж пусть вот он, Бушко – Бушкер, как мне кто-то сказал о нем. Не украинец, значит, но и не русский. А кто? – Какая мне разница! Я тогда о национальностях не думал. Если не русский, так, выходит, младший брат, мы о них пуще, чем о своих, заботиться должны. Так нас воспитывали родная партия и комсомол. Интернационализмом это называлось.

Пришел заместитель редактора капитан Плоскин. Сутулый и

худой, а голова большая, волосы рыжие. Я встал, вытянулся по стойке «смирно». Он меня увидел, но значения факту моего присутствия не придал. Подошел к одной наборной кассе, потом к другой – долго говорил с наборщицами. И к печатному станку, возле которого трудился низкорослый ефрейтор Юра Никотенев – я его успел узнать; и с ним капитан много разговаривал, а уж только затем подошел к Бушко и долго тряс ему руку, что-то говорил вполголоса и смеялся. Со стороны я видел его глаза; они были желтые, выпуклые и вращались как-то настороженно и нехорошо. Он словно бы все время ждал удара со стороны и боялся этого, старался вовремя заметить противника. Я, еще когда был в авиации, летал на самолете-разведчике Р-5, так мы учились смотреть вперед и одновременно боковым зрением оглядывать и все другое пространство. Думал сейчас: «Он тоже как бы летал на самолетах – вон как сучит глазами по сторонам».

Наконец, решился я, шагнул к начальнику:

– Товарищ капитан! Старший лейтенант Дроздов прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы в должности литературного сотрудника газеты «На боевом посту».

Капитан вяло подал мне руку, сказал:

– Звонили о вас из штаба, но сказали, что у вас нет ни опыта работы в газетах, ни журналистского образования. Как же вы… Ну, ладно. Будете пробовать. Может, что получится.

Эти слова окончательно сбили меня с толку, и я, набравшись духу, выпалил:

– Поеду на завод. Там я до войны работал.

Капитан пожал плечами и сверкнул желтыми рачьими глазами; такой мой план ему, видимо, понравился.

Затем он взял за руку Бушко и они пошли в дальний угол, сели возле какой-то бочки, выбили из нее пробку и стали наливать в графин темную пенящуюся жидкость. Выпили по одному стакану, по второму, по третьему…

Ефрейтор Никотенев достал из ящика своего рабочего стола сухую воблу, пошел к ним и тоже стал пить.

Я чувствовал себя неловко; был тут явно лишним, нежелательным, и уж хотел выйти на улицу и там погулять по городу. Но не знал: спросить разрешение у капитана или выйти так: ведь к службе на новом месте я не приступал. Ефрейтор меня окликнул:

– Товарищ старший лейтенант! Подгребайте к нам.

Выпил с ними стакана три пива, – знаменитого, Львовского, как сказал мне ефрейтор, проводивший капитана Плоскина и старшину Бушко и вернувшийся в типографию, где я устраивался на первый ночлег в своей новой жизни, теперь уже

журналистской. Видя, что я укладываюсь на штабель старых газет, а под голову кладу изрядно помятый, сбитый в углах чемодан, он достал откуда-то брезентовый сверток.

– Вот вам… постель.

Сел возле моего изголовья, запустил пальцы в нечистую шевелюру густых волос, сказал:

– Завтра найду вам квартиру.

Никотенев имел вид уставшего в боях и походах солдата – такие были у меня на батарее после долгих и тяжелых боев, когда мы вблизи передовой линии фронта дни и ночи до красных стволов отражали атаки самолетов или, случалось, схватывались «врукопашную» с танками, а что еще хуже, отразив нападение танков, принимали на грудь еще и пехоту, следовавшую за ними.

Кивнув на бочку с пивом, еще стоявшую посреди подвала, я спросил:

– Кому я должен деньги?

– За что?

– Ну – пиво-то… Вон я сколько выдул. Чай, денег стоит.

– А-а… Пустяк делов. Пиво у нас часто бывает. Вы только об этом никому не говорите. Я сейчас спрячу бочонок. Завтра придет майор, захочет похмелиться.

И потом в раздумье, и будто бы с грустью:

– Пьет наш майор, а так – хороший.

– А эти… капитан и старшина – тоже пьют?

– Эти?… Нет, они тверезые. Пива выпить, да вот так, надурняка,– подавай больше, а чтобы водки надраться, как наш майор, и потом неделю с больной головой… Нет, эти пьют с умом, и все больше пиво.

– Они, верно, денег много получают? Пиво-то недешево.

Ефрейтор сморщил и без того старческое лицо, посмотрел на меня строго.

– Деньги?… Ну, это уж так… Покупают, конечно, но только о деньгах – ни, ни, говорить не надо.

Оглядел темный пустой подвал, будто опасался кого, потом наклонился ко мне и на ухо тихо проговорил:

– Делайте вид, что ничего не знаете, а если под какой бумагой подпись велят поставить, ни Боже мой! Скажите, я работник литературный, а всякие хозяйственные деда знать не желаю. По-дружески вам советую. Ладно?

Помолчали с минуту.

– Хотите пива еще выпьем?

– Нет, не хочу пива. И вообще – я пить больше не стану.

– Ну, ладно, я пойду.

Он закатил бочку за шкаф с инструментами, накрыл ее кипой

газет и вышел, крепко притворив за собой дверь. Я некоторое время бездумно смотрел в потолок, затем вывернул из патрона лампу, висевшую над головой, и закрыл глаза. Однако же сон ко мне не шел. Бочонок дармового пива и совет ефрейтора ничего не подписывать смутной тревогой взбудоражили сознание, нехорошо отозвалось в сердце. Всякое было на фронте за четыре года войны, в какие только переделки ни попадал, но эти вот три стакана пива, зашумевшие в голове сладкой истомой, дружеский совет ефрейтора вздыбили тревогу, почти страх. «Знать, не простые они, эти бумаги, что-то нечистое в них таится…»

Сон подкрался незаметно, провалился, как в колодец. А во сне катался по полу бочонок и из него проливалось янтарное пиво, и голос печатника доносился откуда-то сверху, из-под облаков. А тут и другой голос – девичий, плачущий раздавался совсем рядом.

Открыл глаза – наборщица сидит у своей кассы, – та, что беленькая, славянка. Лицо обхватила ладонями, плачет.

– Вы что? Вас кто обидел?

Плач прекратился, девушка опустила руки на колени. Я подошел к ней. Девушка назвалась Наташей. Успокоилась не сразу. Потом вдруг появился капитан Плоскин, схватил ее за руку и поволок к выходу. Я снова завалился на свою «кровать» и почти мгновенно уснул. На этот раз спал долго и крепко. Разбудил меня Никотенев. Тряхнул за плечо, сказал:

– Старшой! Вставай, редактор пришел.

Было уже светло, девушки сидели за кассами, а у большого окна за печатным станком стоял невысокий, широкий в плечах майор и что-то пил из большой алюминиевой кружки, – очевидно, пиво.

Я причесался, расправил у ремня гимнастерку, ждал, когда из-за печатного станка выйдет майор. Увидев меня, он поставил на подоконник кружку, подошел ко мне и протянул руку:

– Дроздов – да?… Хорошо. Ну, рассказывайте, как доехали, – и вообще, как дела, настроение?

Никотенев принес нам два стула, и мы сидели с ним возле штабеля газет. Майор был рябой, курносый, зеленые кошачьи глаза заметно оплыли, выдавая частые спиртные возлияния. Однако смотрел он на меня весело, и даже с какой-то родственной нежностью. Его донимал то ли насморк, то ли хронический гайморит, – он то и дело толстыми пальцами подталкивал кверху красный разбухший нос и громко раскатисто шмурыгал.

– Согласился, да теперь жалею, – запел я отходную.

– Как? – удивился майор. – Вы умеете писать, я помню ваш

прекрасный очерк; да вы, можно сказать, судьбу свою нашли! Поработаете у нас, в дивизионке, – а там и на большую дорогу журналистики. В Москву подадитесь.

– Бушко говорит, без образования…

– Бушко?… Уж накаркала ворона.

Нахмурился майор, склонил над коленями голову.

– Бушко оформляет демобилизацию. И хорошо. Пусть едет.

Майор поднялся, положил мне на плечи тяжелые руки и, внимательно посмотрев в глаза, тряхнул головой:

– Хорошо, что приехали. Будем работать.

Ефрейтор Никотенев поблизости от своего печатного станка соорудил мне стол из трех досок, накрыл его желтой оберточной бумагой, где-то раздобыл чернильницу, ручку с ржавым пером и сказал:

– Садись, старшой, пиши газету.

Я посмотрел на него с немым вопросом в глазах и неподдельным изумлением. «Как пиши, чего писать?» – хотел я сказать, но не сказал, а взял ручку, словно примеряя, подойдет она под мою руку или в непривычных пальцах не удержится.

В другом конце подвала у окна стоял большой, весь облезлый письменный стол, и за ним сидел майор. Он долго рылся в ящиках, нашел какие-то бумаги и пришел с ними ко мне.

– Вот… – Приготовьте подборку писем. Передовую напишите к 7 ноября. Номер-то праздничный. Портрет Сталина дадим, а под ним стишок небольшой. Вот и все, пожалуй. К вечеру сдадите материал.

– Товарищ майор, я передовых не писал.

– Напишете, – успокоил редактор.

– А стишок где взять?

– В старых газетах поищите. Вон их сколько, газет старых.

Показал на мою «кровать», живописно прогремев носом, удалился.

Первой моей мыслью было: «Бежать, бежать. Немедленно, сейчас же!…» Однако тут же поползли и другие мысли: «Куда бежать?… Я же военный. Надо хоть с недельку поработать. Уж потом – напишу рапорт, подам по инстанции…».

Стал читать письма солдат. Пишут кто о чем: один стрелять хорошо научился, другой в отпуске в родном колхозе побывал… «Странные, право, люди. Зачем пишут, кому нужны эти их рассказы?…»

Вспомнил, как и я, работая на тракторном заводе, писал заметки в «Сталинградскую правду» о передовиках, о рекордах. Но там я гонорар получал. Напечатают заметку – двадцать рублей пришлют. А зарплата у меня была четыреста рублей. Два

червонца сверх того – не помеха. Но здесь-то нет гонорара, а – пишут.

Почитал заметки, повертел их в руках, стал править. Текст оставлял таким, как есть, а если глупость какая, наивность, лохматость стиля – убирал, подчищал; одним словом, правил. И затем набело аккуратненько переписывал.

Час-другой – и подборка готова. Приободрился малость: не так уж и трудно оказалось. А если редактор забракует – тогда и удобно сказать будет: «Не получается, мол, не мое – демобилизуйте». И подамся на свой родной завод. Как-никак, а я уж там распредмастером был, в голубой рубашке с галстуком ходил.

Труднее далась передовая. Но и тут помогла статья на эту тему. В старой газете прочел. Год назад писалась. И подумал: так и я попробую.

Вспомнил, как подобные статьи писал в летном училище, – там я редактором стенной газеты был. И называлась она «Гордый сокол». Писать для нее старались весело, даже с лихостью, озорством каким-то. И тут этим стилем попробовал, только вместо веселости струю торжественности старался подпустить. И эту написал. И мне она даже понравилась. Вот редактор как посмотрит?…

Еще проще оказалось со стихотворением. Их, таких стихотворений с похвалой любимому Сталину, все праздничные газеты помещали. Переписал три стихотворения, стал думать, какое предложить. И тут озорная мысль пришла в голову: «Напишу-ка сам стишок, подпишу чужой фамилией и вместе с другими редактору предложу. Пусть выбирает!…

К вечеру в подвале стало шумно, – Бушко заявился, словно луч солнца в подземелье заглянул. Форма на нем офицерская, сапоги гармошкой и начищены до блеска. На боку в новенькой кобуре – пистолет, хотя оружие после войны разрешалось только офицерам.

Долго у наборных касс стоял и что-то девчатам выговаривал, слышались обрывки его фраз:

– Вышла замуж – живи, а бегать нечего.

Наташа негромко возражала:

– Не расписаны мы. А ты не встревай в чужую жизнь. Слышишь? Смола липучая!…

Бушко ко мне подошел.

– Ого! Уж и за перо взялся. Пиши, пиши – бумага все стерпит. – На стихи глянул: – А это что?… Никак уж и поэтом заделался. – Бегло пробежал одно стихотворение, другое… Швырнул мне под нос. – Ну, нет, старик, такое не в газету, а туда отнеси… – Кивнул

на угол, где помещался туалет. – Стихи праздничные. Они все такие. – Взял он стихотворение «Сталин – наш рулевой». Читал внимательно. – Ну, это – другое дело. Блестяще написано. И тема – Сталин, рулевой… Тут бы еще добавить: «всех времен и народов».

Я другое ему подаю – и в нем про Сталина. Он и про это залепетал: «Здорово! Ну, здорово. Это прекрасное стихотворение».

Бушко письма читал вдумчиво, серьезно. Оригиналы посмотрел, сверил. Вставая, заключил:

– А это не надо. Так, старик, не пишут. Брось в корзину и редактору не показывай.

Внутри что-то упало, оборвалось. Слышал я, как в висках ходила толчками кровь. Уронил над столом голову, думал: «Не выйдет из меня журналиста…»

Мысленно вижу Тракторный, проходные ворота… Вспоминаю, как сразу же после войны приехал на завод. Он был разбит, но главную контору восстановили, ко мне навстречу вышел Протасов Николай Петрович. Он был начальником сборочного, теперь стал директором завода. Шагнул ко мне:

– Вань – ты?…

– Я, Николай Петрович, я.

– Жив. И каков молодец!…

Обхватил меня, как медведь, замер на моем плече.

– В наш цех пойдешь. Восстанавливать будешь.

– Долго смотрел на меня, толкнул в плечо:

– Заместителем начальника цеха назначу.

– Да какой же я заместитель, – я и мастером-то был не настоящим, а так – детали по станкам развозил.

Посуровел лик могучего человека, глухо проговорил:

– Тебя, Иван, теперь хоть министром ставь. Вон они, ордена-то на груди – чай, недаром достались. Ты мне скажи: когда на завод вернешься? Я тебе квартиру подготовлю.

Вспомнил все это, и радостное тепло разлилось под сердцем. Ну, а эта… журналистика… Не по мне, значит, не мое.

Пока этак я думал, ко мне со спины редактор подошел. Шмурыгнул носом, крякнул. Руку к моим письменам тянет.

– Написал что ли?

Поднялся я, принял стойку «смирно».

– Да нет, товарищ майор, Бушко сказал, не годится все это.

На край стола подсел. Читает. А у меня сердце к пяткам покатилось, захолонуло все в груди. Думаю так: «Прочтет сейчас и вернет мне мое творчество. И ничего не скажет, пойдет в глубь типографии, пиво будет пить».

Майор читал быстро. И письма солдат в аккуратную стопку

складывал. Прочитал передовицу – и тоже аккуратненько на письма положил. Стихотворения тоже прочел – мое оставил, а три другие в сторону отложил. И затем взгляд полусонных оплывших глаз на меня поднял и долго смотрел мне в глаза.

– Получится, – сказал хрипловатым голосом.

– Что получится? – выдохнул я.

– Газетчик из тебя… получится.

И на углу каждой моей заметки написал: «В набор». И отнес девчатам:

– Набирайте в номер.

Квартиру мне, как обещал ефрейтор Никотенев, не нашел. И будто бы забыл о своем обещании, а дня через три моей новой жизни ночью пришел в типографию, разбудил меня.

– Пойдемте со мной, вызволим Наташу.

– Откуда вызволим?

– Пойдемте.

В руках у него были ломик и плоскогубцы. Я наскоро оделся и пошел с ним. По дороге он говорил:

– Капитан Плоский хочет на ней жениться, а только не мычит – не телится, зато взаперти держит.

– Как взаперти?

– А так: закроет в квартире, а сам уйдет куда-то. Регина Шейнкар у него есть.

И потом, огибая угловой дом, продолжал ворчать, как старик:

– И мужик вроде бы завалящий, посмотреть не на что, а поди ж ты: двух баб норовит.

– А Наташа… Знает она об этой… как ее – Шейнкар?

– Знает, конечно, да деться некуда. Он ее давно захомутал, – еще там… когда мы в Польше были.

– Как я чувствую, она вам нравится, – сообщил я ему свою догадку.

– Про меня можно говорить, как про того солдата: «Солдат, солдат, ты девок любишь?» – «Люблю», – говорит. «А они тебя?» – «И я их» – отвечает.

Ефрейтор засмеялся, и смех его, пулеметно-такающий, дробно покатился в глубь темной улицы.

Открыли калитку и прошли в сад. Тут в окружении вишневых деревьев, точно слепой, глазел на нас большими черными окнами двухэтажный особняк.

– Юра! – раздался Наташин голос. – Сюда идите!

Вылезла по грудь из форточки, махала рукой.

Подошли к окну, – оно, как и все другие окна, зарешечено толстыми железными прутьями, отчего дом походил на тюрьму.

Наташа показала рукой на угол окна:

– Вон там поддень ломиком. Там два кирпича отвалились.

Наташа нырнула в темноту дома, а ефрейтор с деловитостью муравья обследовал угол решетки и поддел ее ломом. Железный прут с треском выдернулся из кирпичной кладки. Никотенев другой прут отогнул, третий – образовался проем. Наташа открыла окно:

– Лезьте в дом. Я вам ужин приготовлю. У него тут продуктов – уйма.

Залезли в окно и очутились в небольшой, продолговатой комнате. У одной стены стоял диван, у другой – письменный стол. Наташа принесла одеяло, и они занавесили окно.

И тогда Наташа включила настольную лампу. Стены и потолок в комнате облезли, шелушились, – дух тут был нежилой и сильно пахло какой-то подвальной гнилью.

Наташа принесла большую сковороду, на которой еще шипела и пузырилась яичница в сале. Голод терзал и преследовал меня весь послевоенный год, – с того самого августовского дня, когда я, сдав свою батарею, выехал из Будапешта и слонялся по пересыльным пунктам, получая в месяц тысячу восемьсот рублей, на которые можно было кормиться три-четыре дня, и продовольственные талоны на один обед в сутки. Деньги куда-то сразу улетучивались, талоны проедались за неделю – две, остальное время голодал нещадно, никому в этом не признаваясь. Вкус яиц, конечно, уж забыл давно, сала в глаза не видел, – и вдруг огромная глубокая сковорода со шкварчащим точно живое существо сокровищем.

Наташа весело, с какой-то детской радостью угощала нас и, словно понимая мое вожделенное желание поесть как следует, подкладывала на тарелки все новые порции, и говорила:

– Он ведь как крот: все тащит и тащит с рынка продукты. Копченую колбасу ящиками закупает, рис, изюм, курагу. Голод, говорит, идет, страшный голод! Люди будут умирать как мухи. Так всегда после войны бывает.

Украдкой я поглядывал на Наташу: крепкая грудь, румяные щеки, синие, синие глаза. Я только здесь рассмотрел, как она была привлекательна и как задорно-остроумна ее речь. В сердцах на капитана думал: «Рыжий таракан, какую девицу отхватил. Да еще и жениться не хочет».

Каким-то шестым тайным чувством слышал благоговейное отношение ефрейтора к Наташе. Он смотрел на нее неотрывно, и глаза его были настежь распахнуты, и в них я даже видел едва проступавшие слезы, – он, несомненно, ее обожал и страдал оттого, что такое юное прелестное существо принадлежит ненавистному, но всемогущему капитану. Ведь у него и дом этот,

похожий на дворец, – раньше здесь жил немецкий генерал; и продукты носит с базара… Они ведь дороги сейчас. Где деньги берет?…

Противный запах будто бы и улетучился; его забил душистый аромат жареной с салом яичницы, и копченой колбасы, и кофе, и шоколадных конфет.

А когда стали уходить, – опять же в проем оконный, – Наташа вынесла по два круга копченой колбасы и сунула нам в руки. Потом оделась во все зимнее, подхватила чемоданчик, сказала:

– Больше сюда не вернусь.

Ночной эпизод хотя и поразил мое воображение, но мало чего прояснил. Загадкой оставался для меня бочонок пива, – вскоре появился в подвале другой, а затем и третий; тайна продолжала окутывать и отношения капитана, ефрейтора и Наташи.

Сроду не был я любопытен, а теперь же, видя, как от меня все скрывают, и вовсе ни о чем никого не спрашивал.

Газета выходила два раза в неделю, в ней было много перепечаток из «Правды», из «Красной звезды», а все остальное легло на мои плечи. Майор – начальник, он лишь проверял мои заметки; Плоскина не было, он где-то лечил ноги, а Бушко оформлял демобилизацию. По штату должен быть еще ответственный секретарь, но место это пустовало. Вот так и вышло, что я один делал эту маленькую дивизионку. И, как мне сказали, все номера газет, и дивизионных тоже, идут в Ленинскую библиотеку и там при постоянных температуре и влажности закладываются на вечное хранение.

Не думал, не гадал, что все, что я напишу, останется для потомства. Признаться, это мне польстило больше, чем орден, полученный за первые два тяжелых бомбардировщика, сбитых моей батареей. Молодость тщеславна; стремление продлить жизнь делами и остаться в памяти потомков, может быть, и есть, самый главный двигатель прогресса и развития.

На пятый или шестой день ефрейтор Никотенев взял мой фибровый чемодан и сказал:

– Пойдемте, квартиру вам нашел.

По старинной затемненной улочке поднялись вверх по склону холма, называемого во Львове Высоким замком, прошли в конец, где близко к домам прислонилась темная стена древнего леса. Вошли в первый подъезд четырехэтажного дома и очутились перед большой дворцовой дверью, сбоку от которой красовалась надпись: «Прима-балерина Львовского оперного театра Инна Арсеньевна Ганцельская».

Открыла нам сама хозяйка – миниатюрная женщина преклонного возраста, утонувшая в длинном, бархатном халате

цвета морской волны. Головка причесана, карие глаза прищурены, смотрят на меня с таким выражением, будто говорят: «Вы нам не подарок, но так уж и быть – пустим вас на квартиру». Сказала:

– Пройдемте сюда.

Вошли в большую, ярко освещенную комнату; в углу белый рояль, возле него стайка девочек в трико и легких кофточках. И на диване девочки. Все повернулись ко мне, а мы с идиотским помятым чемоданом, – хорошо, что его тащил Никотенев, – прошли в маленькую комнату, – раньше, как я потом узнал, в ней жила прислуга. У окна столик, у стенки кровать, на полу коврик. Кресло и два стула.

– Такая комната вас устроит?

– Да, конечно.

– Плата натурой.

– То есть как?

– Будете отдавать доппаек.

– Доппаек?

– Да, вы разве не знали: с декабря вам назначено дополнительно к пайку килограмм сливочного масла и два килограмма печенья. И будут выдавать на руки. Вот вам и квартирная плата.

Я кивал головой: «Согласен. Конечно. Я, пожалуйста».

Хозяйка вышла, а вслед за ней и ефрейтор. Дверь осталась приоткрытой, и в просвет я видел, как хозяйка, сидя в кресле в углу комнаты, хлопала в ладоши:

– Девочки, девочки! Повторяем четвертый элемент.

Девочки, как горох, высыпали на средину комнаты и начали танец, а точнее, элемент танца. Кто-то играл на рояле, и выходило у них очень красиво. Старая балерина то и дело кричала:

– Спина, спина… Тяните вверх! Держите линию!…

Сильно уставший за день и давно не спавший как следует, я разделся, лег в постель. И скоро уснул.

Моя жизнь во Львове начинала устраиваться.

Много было чудес и неожиданностей на фронте, но вот что чудес будет не меньше в мирной жизни – этого я не подозревал. Не успели мы встретить Новый 1947 год и начать выпуски январских номеров газет, как случилось событие, потрясшее меня больше, чем танковая атака на батарею. И вот как это произошло.

Шел двенадцатый час, Никотенев печатал газету, майор Фролов пил пиво, я собирался идти на свою квартиру. В типографию вошли офицер и два солдата в зеленых погонах. Офицер достал из кармана бумажку, стал читать:

– Майор Фролов есть?

– Есть! – выкрикнул майор.

– Капитан Плоскин?

– Нет, он болен, – отвечал майор.

– Директор типографии Лохвицкий?

– Он в командировке.

– Старший лейтенант Дроздов?

– Есть! – ответил я.

Офицер сделал паузу, затем уже другим, приглушенным голосом скомандовал:

– Майор Фролов пройдемте с нами, а старший лейтенант Дроздов оставайтесь выпускать газету.

И гости, уводя с собой редактора, ушли. Я еще не ведал, что произошло, но сердце мое слышало большую беду. По своему фронтовому опыту знал: люди в зеленых погонах шутки не любят. Подошел к ефрейтору. Он отпечатал половину тиража и теперь, держа руку на рычаге плоскопечатного станка, стоял недвижно и смотрел себе под нога. Сказал одно слово: «Допрыгались». И запустил станок.

Я испытывал нестерпимое желание выкрикнуть: «Да что случилось?». Но – молчал. Видел за всем происшедшим какую-то великую тайну, находил ее щекотливой. Достал из угла брезент и лег на свою прежнюю постель. Хотел дождаться всего тиража, но сон сморил меня, и я проснулся лишь утром, когда обе наборщицы, – другую звали Леной, – уже сидели за кассами и набирали то, что я написал для следующей газеты. Позвонили из политотдела. Полковник Арустамян на армянско-русском языке:

– Зайдите ко мне.

Зашел, представился. В просторном кабинете за большим столом сидел маленький с огромным носом полковник. Смотрел на меня враждебно и как-то болезненно морщился, словно от моего появления у него вдруг разболелись зубы. Непомерно большими показались мне его погоны, а на гимнастерке не было никаких отличий. Фронтовикам было странно смотреть на офицера, не имеющего даже одной медали. «Где же это он сидел всю войну?» – возникала мысль.

– Попались, сволочи!… Позор теперь на всю дивизию, и мне позор, и генералу, и всему штабу!…

Теперь, когда я пишу эти строки, приходится переводить его ругань на русский язык, – он же выплеснул на меня такую смесь ругательств, которая ни к какому языку не относится. Есть характерная речь грузинская, украинская, – еврейская, наконец, но армянской речи нету. Она состоит из такого набора маловразумительных слов, который можно с трудом понять, но

бумага такую абракадабру не принимает.

Я стоял, хлопал глазами и – молчал. Впрочем, чувствовал себя виноватым. Не знаю, в чем, но в чем-то и я же был виноват?

Полковник вышел из-за стола, двинулся на меня с кулаками, кричал:

– Делать дипломы – да?… Двадцать пять тысяч за один диплом – да?… Мешок денег! Куда девать такие деньги? А?… Вся Грузия кончила Львовский университет. Грузины ученые, армяне дураки. Ты так хочешь сказать? Да?… Они, что, грузины, живут здесь во Львове – да?… Теперь каждый Каха, каждый Гиви инженер, педагог, физик, химик. У каждого диплом. Где взяли?… У нас, в типографии. А-а-а…

Полковник обхватил голову, ходил по кабинету, причитал: «А-а-а… Ты, чумазая фарья, почему молчишь?…».

Что означает это слово – фарья, я до сих пор не знаю. Рассказывали мне потом, что кто-то из офицеров, поссорившись с ним, бросил ему в лицо: «Чумазая фарья!» Но что это за слово – фарья, и из русских никто не знал. Арустамян же в минуты крайней досады выстреливал в оппонента это слово, казавшееся ему грязным ругательством.

Подошел ко мне близко, ошалело смотрел в глаза – и потом, словно очнувшись, заорал:

– Иди назад, иди!

Я, конечно, не замедлил «идти назад».

Семантический смысл его излюбленного ругательства так и остается для меня неразгаданным. Кто-то высказывал мысль, что слово «фарья» близко по звучанию армянскому слову «свинья», но это тоже осталось гипотезой. Вообще же, кавказцы, как и некоторые другие малые народы, нередко награждают русских образом этого забавного, но, впрочем, весьма полезного животного.

Я уже вышел из кабинета и неспешно шагал по коридору, когда дверь распахнулась и разъяренный Арустамян прокричал мне вслед:

– Ты есть в редакции первый Иван и ты будешь последним!

Я пожал плечами и продолжал свой путь. Эта фраза Арустамяна, хотя она и была самой четкой, осталась для меня непонятной. А она, между прочим, оказалась пророческой: четверть века спустя я буду уходить из редакции «Известий» и мне вдогонку скажут: «Последний Иван». Да, я как капитан корабля во время катастрофы покину судно последним. Иванов в русской журналистике уже не оставалось, на смену им пришли инородцы, которых главный чекист страны Крючков назовет «агентами влияния». Но тогда, в начале 1947-го, до того времени

было далеко. Тогда у руля великой империи стоял Сталин. Он произнес здравицу в честь русского народа, – наверное, потому в редакциях газет стали появляться Иваны. Великий грузин смотрел далеко, он хорошо знал природу сил, затевавших уже тогда с нами Третью Великую войну, в которой главным орудием будут средства информации – и предусмотрительно выдвигал Иванов на переднюю линию боев. Откуда мне было знать, что я и явился, может быть, Первым Иваном, брошенным на передний край уже тогда закипавшей битвы.

Но о том, как русское государство исподволь подтачивалось, а затем разрушалось, я рассказал в недавно вышедшей книге воспоминаний «Последний Иван». Здесь же моя речь о времени созидания и больших надежд золотого поколения – солдат Победы 1945 года.

При стечении всего офицерского состава дивизии был показательный суд. На скамье подсудимых бывший редактор газеты «На боевом посту» майор Фролов и начальник типографии вольнонаемный Казимир Лохвицкий. Прокурор изложил обвинение: подсудимые изготовляли бланки дипломов об окончании Львовского университета и продавали их грузинам. Часть дипломов обменивали на плохо выделанные кожи, на сухофрукты, вино и подсолнечное масло. Вспомнил я дурной запах в квартире Плоскина. По всем приметам в делах этих были замешаны Бушко и Плоскин, но подписи свои они нигде не ставили и их вина не доказана. Фролов упорно твердил: «Виноват один я, и вины других в этом деле нет».

Фролов получил двадцать лет заключения в колонии строгого режима, Лохвицкий – десять. Суд продолжался всего один день.

Дважды мне пришлось одному выпустить газету. Потом прибыли три сотрудника – весь штат редакции: старший лейтенант Львов – редактор газеты, тот самый, который направлял меня сюда из Харькова, капитан Мякушко – ответственный секретарь, и лейтенант Семенов – старший литературный сотрудник.

После суда, напуганное темной обстановкой подвала, начальство выделило для нас помещение на первом этаже штаба дивизии. В комнате с двумя большими окнами расположился редактор; в другой комнате с одним окном разместили нас с лейтенантом Семеновым. Мякушко ждал, когда для него разгрузят от какого-то хлама третью комнату, чтобы, как и редактор, поселиться в ней отдельно. А пока он торчал то у плеча редактора, то заходил к нам и трубным басом говорил афоризмы:

– Ответственный секретарь редакции – это мотор, начальник штаба газеты.

И еще он в первый же день сказал:

– Я хохол, русскую мову не разумею – писать газету будете вы.

Мы с Сашей Семеновым смотрели на него с недоумением, но была в нашем отношении к «начальнику штаба» и немалая доза восхищения. В нем и вообще-то было много необыкновенного: во-первых, баскетбольный рост, боксерские плечи и большая голова с копной чернявых вьющихся волос. Очи черные, круглые, как тарелки, – и когда он говорил, то казалось, из них сыплются искры. И еще мы заметили: свои устрашающие афоризмы он сопровождал помахиванием пудовых кулаков, а если мы в чем-то сомневались, он свои кулаки клал нам на стол и будто бы даже оглядывал их, приглашая и нас убедиться в их способности смирить любое сопротивление.

Редактор, напротив, маленький, словно подросток, входил к нам мягко, тихо и вручал каждому из нас листок с заданием на день. Капитану он тоже вручал листок и тут же говорил:

– За мной передовая. Да, да – флаг номера, передовая.

Так же тихо выходил, но на пороге поворачивался к нам, повторял:

– И вообще… я буду писать передовые. Так всюду, во всех газетах: передовая – флаг номера, и ее пишет редактор.

Мякушко долго изучал свое задание: обыкновенно, это была подборка писем, фото с подтекстовками, иногда подобрать нужное стихотворение, а то и написать очерк.

Нам была интересна реакция Мякушки на свое задание. И мы, забыв всякие приличия, смотрели на него. Он, казалось, не сразу понимал, чего от него хотят, а поняв, взмахивал кулаками:

– Он что – с ума сошел! Стихотворение! Да где я возьму – стихотворение?… Надо гору подшивок переворошить!…

Или:

– Очерк! Да я что – Глеб Успенский или Алексей Толстой!… Очерк! Пусть он сам его пишет – мы тогда посмотрим, как это у него получится.

Потом он поднимался на второй этаж в библиотеку и долго рылся там в подшивках. Однажды принес свежий номер «Правды». Мы как раз были у редактора, и он бросил ему газету на стол.

– Вот, смотрите – передовая!

Львов был подслеповат, долго водружал на своем тонком, как пожухлый лист, носу очки, потом читал: «Строительство новых шахт – стратегическая линия партии».

– И что?… – испуганно спросил редактор. – Ну, да – шахты нужны стране,– и что?…

– Как это вы говорите: «И что?» Линия партии! – видите? А вы

– «и что?»

Львов снова склоняется над передовой, водит носом по заголовку:

– Не понимаю вас – объясните.

Мякушко взмахивает кулачищем, рычит:

– Как это вы не понимаете? – печатать надо, печатать!

– Но… напечатана же.

– Во, народ! Напечатано. Так это в «Правде», а у нас?…

– У нас, в нашей газете?…

Львов таращит свои глаза, – они у него тоже черные, но искры не мечут; в них копошится ночь.

Мякушко окончательно его добивает:

– У нас! А где же еще?… Это же линия партии! Говорите спасибо, что я вас надоумил, можно сказать, уберег…

Он подвигает к себе газету и уже своей рукой на углу передовой пишет: «В набор!»

Это означает: половину того, что нам задано на день, писать не надо. И самому редактору не надо водружать над газетой флаг номера, а уж что до Мякушко… – он в своих могучих пальцах сплющивает дневное задание и бросает его в корзину. И с видом полководца, выигравшего битву, удаляется из кабинета.

Мы знаем: он каждый раз перед обедом заходит в пивную и выпивает две-три кружки львовского янтарного пива. Знаем также и то, что Мякушко приехал во Львов с семьей: у него жена и трое детей. Но где они поселились – нам неизвестно.

Склоняюсь над чистым листом бумаги и начинаю делать свою норму: это три заметки, присланные по почте, и репортаж о том, как солдаты полка, в котором я вчера побывал, отдыхают в воскресный день.

Заметки я не переписываю, а правлю по авторскому тексту, в нужных местах делаю на отдельных листках свои вставки и затем их подклеиваю,– солдатские нехитрые рассказы расширяю, расцвечиваю и подбираю для каждого неизбитый, оригинальный заголовок, например «Случай в тире», «Душевный разговор», «Солдатские откровения» и так далее.

Не более часа уходит у меня на три заметки, и я с удовольствием и чувством радостного облегчения отношу их на второй этаж машинистке. Оставив там, пройдусь по коридору политотдела, загляну в библиотеку, полистаю подшивки, а уж потом, поразмявшись, спускаюсь к себе и сажусь за репортаж. Эта часть задания идет веселее: все записи у меня в блокноте: фамилии солдат, их ответы на мои вопросы. Работаю увлеченно, а к середине репортажа появляется даже азарт и хочется писать подробно, и много, давать разные отступления и даже очерчивать

лица солдат, но газета, как мне еще говорил Фролов, не резиновая, в ней всего две полоски, да и то маленькие, – чуть расписался и уж надо заканчивать.

И на репортаж уходит тридцать-сорок минут. Посвящен он самодеятельному спектаклю, который вчера давался в дивизионном клубе. Все роли играли солдаты и сержанты. Костюмов никаких не было: бегали по сцене в кованых сапогах, громко кричали, оглушительно смеялись. Я смотрел на генерала Шраменко, командира дивизии, сидевшего в третьем ряду с офицерами штаба: он дремал и никак не реагировал на игру «артистов». Во время антракта опускался занавес, сшитый из нескольких простыней, и перед занавесом по замыслу режиссера на вынесенный стул садилась девушка: юная, статная, с длинной шеей и круглой головкой. Генерал оживал, весь он подавался вперед и смотрел на нее неотрывно. Я вспоминал наказ редактора непременно узнать у генерала, понравился ли ему спектакль, и думал: уж что-что, а девица-то ему понравилась. После спектакля подошел к генералу, стал задавать вопросы – это было мое первое интервью.

– Товарищ генерал! Как спектакль – понравился вам?

– Ничего, спектакль. Ребята хорошо играли, вполне.

– А что бы можно отметить? Что особенно вам понравилось?

– Совсем даже не худо.

Генерал в этом месте задумался, метнул на меня озорной ироничный взгляд и тихо, так, чтобы не услышали бывшие с ним офицеры, добавил:

– Только я полагаю, зря они бегали по сцене. Надо бы девицу эту вывести на средину, посадить на стул и… через каждые двадцать минут поворачивать.

Он хохотнул утробно, подмигнул мне – и стал подвигаться к выходу.

Я, конечно, понял, что генерал балагурил, и очень бы хотел такую шутку вверстать в свой репортаж, но нашел ее очень вольной и сдержал себя от соблазна расцветить свой репортаж генеральским каламбуром. Впрочем, не вполне уверен: была ли то шутка или серьезная искусствоведческая мысль командира дивизии.

Сделал репортаж и отнес его машинистке, а до обеда еще оставался час. Снова пройдусь по коридору, но уж в библиотеку не загляну – неудобно.

Спускаюсь к себе, и на этот раз хотел бы заговорить с Семеновым, но Александр занят, он пишет, а вернее сказать, собирается писать, но как бы не решается это делать. С занесенной над листом бумаги ручкой он сидит точно каменный

и смотрит на меня так, будто я сейчас должен умереть. Глаза расширились и остекленели, на лбу проступили капельки пота.

– Ты чего? – спрашиваю я с некоторым испугом.

– А-а, черт бы их побрал, эти заметки! – бросает он на бумагу ручку. – С чего начать, как их писать… – на ум не идут.

Аккуратным, четким почерком он вывел заголовок «К новым успехам», но дальше не пошел. Лист перед ним лежит чистехонек и свежехонек. Позже, когда я буду учиться в Москве на факультете журналистики в Военно-политической академии, я из лекций узнаю, что даже Максим Горький боялся белого листа. Он лежал перед ним и требовал слов – умных и значительных. Где взять эти слова? Их надо вытянуть из своей головы. Удастся ли? Найдутся ли нужные и умные?…

В этом и заключается вся тайна, вся психология журналистского труда.

Работа творческая, она иссушает мозг, изматывает душу. Мировая статистика гласит: жизнь шахтеров и журналистов почти одинаковая – самая короткая.

Горький тоже работал в газете, именно журналистика его, как и многих других: Марка Твена, Чехова, Салтыкова-Щедрина, сделала писателем. Журналистика оперирует фактами, а каждый факт сюжетен – имеет начало, развитие и финал. И это значит, что даже самая маленькая заметка должна иметь в зародыше все компоненты рассказа, повести, романа. Иногда заметка состоит из одного предложения, но и в этом случае она сюжетна. Вот, к примеру, как молодой журналист Алеша Пешков, будущий великий русский писатель Горький, в «Нижегородском листке» сообщил читателям о приезде в город цирковой труппы лилипутов: «Обыватели удивились, увидев, что на свете есть люди мельче их». Одно предложение, а в нем целая картина! Недаром же лучший из романов мировой литературы «Преступление и наказание» Федора Достоевского вышел из газетной заметки.

Как и я, Саша и Мякушко попали в газету по прихоти случая, но если Мякушко, не чувствуя в себе призвания к писанию заметок, сразу поднял руки и сказал: «Я хохол и русской мовы не разумею…», мы такой отваги в себе не нашли, а, сломя голову, пустились в плавание по неизведанному морю. Со мной произошел случай необычайно редкий: у меня был природный «голос», и я хотя и неуверенно, неумело, но все-таки запел сразу и почувствовал себя в своей тарелке; Саша же был из той огромной армии людей, которым «голос» письма природа не отвесила. Он потом, много лет спустя, станет Министром культуры республики «Беларусь». И, говорят, неплохим был Министром, но в эту

минуту он мучительно соображал, как же начать эту проклятую заметку?

Да, в то время ни я, и ни кто другой в нашей редакции не знали, что «голос журналиста» дается природой реже, чем талант пения. Хороший журналист – явление более редкое, чем хороший певец. Певца можно встретить в любом застолье, – чуть выпьет, и так запоет, что вы заслушаетесь. Но вот встретить человека, способного быстро, бойко, раскованно писать, – очень трудно. Мне затем приведется работать в центральных газетах и журналах – и там такие умельцы встречались редко. Я пришел в «Известия», когда в центральном аппарате, исключая собкоров, работало человек пятьдесят-шестьдесят; и коллектив журналистов там подбирался годами, – так можно ли поверить, что писать прилично репортажи, статьи, а тем более очерки, фельетоны, могли лишь семь-восемь человек? А уж рассказы писать умел только Виктор Полторацкий.

Знаю: утверждение мое многим покажется невероятным, но, к сожалению, это так, и мне нечего к этому добавить. Потому-то на страницах всех газет царила скука. Яркие публикации появлялись от случая к случаю. Теперь же, несмотря на разгул вольницы, плотно сбитый, со вкусом написанный материал и совсем не встретишь.

Склоняюсь над заметками Семенова, и мы вместе готовим их для набора.

Как-то меня вызвали в Политотдел. Говорил со мной помощник начальника по комсомолу капитан Смилянский. Тема для него была трудной, он на меня не смотрел, а так крутил головой и сучил глазами, будто я его уличил в чем-то нехорошем и он хотел бы поскорее от меня отделаться.

– Тут у нас список работников Политотдела, – вот он, и вы там… видите свою фамилию?

– Я работаю в редакции.

– Ну, да, в редакции, а редакция где? Не на луне же? Она при Политотделе. Да? Или я что-нибудь не так говорю?

Капитан был толстый, красный, и кудряшки овечьих волос свалялись на его большой, лысеющей со лба голове. Я смотрел на него и думал: он, видно, хорошо питается, раз такой толстый. Но где же он берет деньги? Не все же они, как Плоскин, печатают для грузин дипломы.

К слову тут скажу, что все евреи, служившие в штабе полка, хорошо и питались, и одевались, и имели отличные квартиры. Капитан же Смилянский, несмотря на свою молодость, – ему не было и тридцати, – и холостяцкое положение, имел двухэтажный особняк, принадлежавший ранее какому-то шляхтичу, а потом

немецкому полковнику, коменданту Львова. В усадьбе Смилянского работал садовник, а еду готовила молоденькая полька, которая, раньше была поваром у немца. Этот немец коллекционировал картины и китайский фарфор, – стащил к себе уйму всяких дорогих вещей, которые вместе с особняком перешли к Смилянскому. Одно время его особняк хотели передать Арустамяну, начальнику Политотдела, но для полковника подобрали другой домик, еще и получше, и маленький дворец, удачно расположившийся на склоне Высокого замка, остался у главного комсомольца дивизии. Сразу после освобождения Львова многие именитые горожане побросали свои дома, убежав с немцами на запад.

Для понимания природы взаимоотношений русских с евреями в советское время скажу, что мое поколение было воспитано на ложных идеях интернационализма, – в том плане, что мы, русские, большая могучая нация, должны пренебрегать своими интересами и заботиться вначале о братьях своих меньших, а уж потом о себе. Отсюда пошли и обустройство окраинных республик, прилепившихся к России, и поднятие целины в казахстанских степях, и всякие другие щедроты, сыпавшиеся на головы малых народов – и все за счет России, русских. Евреев мы любили особенно, как любят в семье больного ребенка; ведь они несчастные, их везде и всегда обижали, и даже в давние времена случалось, что страшные египтяне или бешеные испанцы и совсем изгоняли из своих пределов. И только вот теперь, при советской власти, русские возлюбили их настолько, что всюду пропускали впереди себя, и в институты принимали в первую очередь – их учили всех, поголовно, давали им высшее образование, а затем продвигали вперед и выше – в научные учреждения, в министерства, обкомы, органы надзора. Освобождали от работы на шахтах; женщины еще трудились под землей, а евреи нет, и в колхозах их не было, а чтобы женщина-еврейка работала на строительстве плотин, мостов, шоссейных и железных дорог – этого уж и помыслить нельзя. Для таких дел хватало славянок. И это считалось правильным и как бы одобрялось сверху, а наверху у нас восседала партия – «ум, честь и совесть эпохи». Она-то уж во главе со Сталиным, отцом народов, знала, где и кто должен трудиться.

Я был продуктом эпохи, к евреям относился с любовью, жалел их и недоумевал, если кто-нибудь при мне позволял о евреях сказать что-нибудь плохое. О русских – говори, об украинцах – тоже, о грузинах, киргизах, чукчах – потешайся, даже анекдоты рассказывай, но о евреях! – молчок. Не надо. Евреи самые умные, они хорошие. А тот, кто их недолюбливает –

злодей.

Заметьте: недолюбливает! Любит, но не до конца. И уже – злодей. Чуть ли не преступник. Так мы относились к евреям.

И вдруг меня приглашает Смилянский и как-то несмело и даже робко говорит:

– Работники Политотдела по очереди с офицерами штаба политинформации проводят. Завтра очередь ваша.

– Моя? Но о чем же я буду говорить?

– О борьбе с космополитизмом. Сейчас на каждой офицерской летучке говорят об этом. Вот – газета. Прочтете какую-нибудь статью.

Газету он держит двумя пальцами и воротит от нее голову, будто она может его укусить. Газета называется «Культура и жизнь». Тогда выходила такая, вроде бы теоретическая. По причине занудности я ее не читал.

– Любую статью вслух прочтите. Ту, что покороче.

Я беру газету и ухожу к себе. Стал на выбор читать статьи. Батюшки мои! Как же тут изгалялись авторы над бедными евреями! Именно такая мысль и приходила на ум после каждой статьи: «Евреи бедные, их обижают». Космополиты выставлялись такими злодеями, что, казалось, фашисты, которых мы только что одолели, меньше нам причинили зла, чем эти… «беспачпортные бродяги человечества» – так называли авторы статей разных фельдманов, кацев, Рабиновичей.

Теперь, спустя более полстолетия после этих событий, я уже знаю, что такая крутая брань в адрес евреев замешивалась и вбрасывалась нам в голову самими же евреями. Сталин-то со Ждановым, отдавая приказ на развязывание борьбы с космополитами, не сумели оценить того факта, что борьбу-то эту они поручают не русскому человеку, который только что вернулся с фронта и примеривался, как спасти себя и свою семью от голодухи и как устраивать свою жизнь дальше. Борьба-то эта велась не из пушек, где мы приобрели немалый опыт, а со страниц газет, где сидели те же львовы, фельдманы, кацы, рабиновичи. А они-то уж знают, как обратить любую кампанию на свою пользу. Я потом приеду в Москву, буду работать в «Известиях» – поднимусь на самую вышку журналистской иерархии, стану экономическим обозревателем, меня привлекут к писанию докладов главам государства – вначале Хрущеву, а затем Брежневу; многое мне откроется на этих ступеньках партийной кухни. Тайны еврейского ума я постигал на каждодневных совещаниях «узкого круга» в кабинете главного редактора, коим был зять Хрущева, бухарский еврей Алексей Иванович Аджубей. В тот же далекий послевоенный год, сидя в редакционной комнатке

многотиражки «На боевом посту», я, конечно, и не догадывался, что грубая кричащая брань газетных статей не столько разоблачала евреев, сколько вызывала к ним сочувствие. И потому никто из нас не пожалел, когда кампания борьбы с космополитизмом вдруг в одночасье оборвалась. Однажды утром мы пришли в редакцию и увидели редактора своего веселым, к нему по коридору пробежал сияющий Смилянский, и еще какие-то евреи забегали в редакцию, и были так возбуждены, так бурно выражали радость, что мы решительно не могли понять, что же случилось. И только потом, получив газеты и не увидев в них ни одной строчки, осуждающей космополитов, поняли: атака на евреев захлебнулась. Сталин потерпел поражение; по-моему, он даже не завоевал новых рубежей. Вскоре я узнаю, что евреи как были в министерствах, обкомах партии, горкомах, так там и остались. Но особенно они продолжали занимать все ключевые посты в средствах информации. И лишь немногих из них удалось вытеснить из редакций газет. Там образовался некий вакуум, который стали заполнять русскими. Между прочим, в этот вакуум судьба скоро засосет и меня. Мне вначале дадут закончить ускоренный курс на факультете журналистики в Военно-политической академии имени Ленина, а затем пригласят работать в центральную газету Военно-Воздушных Сил «Сталинский сокол». Но вообще-то, если говорить строго, атака Сталина на евреев не достигла серьезной цели. У «величайшего полководца всех времен и народов», как тогда называли Сталина, получилось так, как иногда случалось у нас на войне: прикажут разбить противника, а мы, как следует не разведав его силы, даже не узнав, где он располагается, сунем нос и получим сильнейший удар сдачи. И потом, отступив, долго зализываем раны, а противник, одушевленный нашим поражением, переходит в наступление. Евреи хитрее немцев, они сразу в наступление не переходят, а поглубже зарываются и долго копят силы.

Итак, за несколько дней до окончания кампании борьбы с космополитизмом я сделал свою информацию – прочел на собрании офицеров штаба 44-й дивизии ПВО какую-то статью из газеты. И, как ни в чем не бывало, вернулся в редакцию, спокойно работаю. Однако, к своему удивлению, стал чувствовать на себе косые и недружелюбные взгляды всех евреев, работавших в штабе, и, прежде всего, краснолицего толстячка Смилянского, который и заставил меня прочесть статью из газеты. Похолодел ко мне и редактор, но особенно полковник Арустамян, который хотя и выдавал себя за армянина, и фамилию носил армянскую, но выпадов против евреев не терпел. Редактор же хоть и бросал на меня ледяные настороженные взгляды, но стиля отношений со

мной не менял; ему надо было выпускать газету, а я исправно поставлял заметки, подборки писем, авторские статьи, выполнял всяческие задания.

Это было мое первое столкновение с евреями. Не скажу, что оно осталось для меня без последствий, но об этом речь пойдет в других главах моего повествования.

Глава вторая

Предзимье над Западной Украиной клубило низкие тучи, дни становились короче, а с неба точно из мелкого сита сеял холодный дождь, а то и гнал заряды мокрого снега. Света по ночам в городе было мало, власти экономили электричество.

В девятом часу я приходил на квартиру, но здесь меня никто не ждал; хозяйка «натаскивала» балерин, а сын ее, двадцатилетний плечистый малый, сидел за белым роялем и отстукивал каскады, пируэты, антраша и дивертисменты.

Я проходил в свою комнату и заваливался в постель. Читал газеты, а затем незаметно для себя засыпал. Читал я «Правду», «Красную звезду» и газету Прикарпатского военного округа «Сталинское знамя». Интересовали меня не новости, не политика, а главные «гвоздевые» материалы маститых журналистов: очерки, рассказы, фельетоны. В каждой газете я избрал для себя учителей и дотошно изучал их стиль, приемы, выбор тем. С первых дней мне в голову вспрыгнула дерзкая мысль: «Если уж журналистика, то быть здесь не последним». Как научиться писать очерки, фельетоны, – а того пуще – рассказы, я не знал, но мысль, раз поселившаяся в мозгу, все больше там укоренялась, становилась целью жизни.

Сегодня я принес хозяйке впервые выданный мне дополнительный паек, не съел из него и единого печенья, и она, принимая кульки, одарила меня ласковой улыбкой. Между тем голод терзал меня постоянно; питался я в офицерской столовой – раз в день, в обед, и подавали нам жиденький суп, где просторно гуляли по дну тарелки три-четыре кусочка картошки, самая малость крупы и призывно манили блестки постного масла. На второе подавали пару ложек риса или картофельного пюре, крошечную котлетку, и все это венчалось кусочком черного хлеба. Обед, казалось, предназначался для того, чтобы раздразнить аппетит и включить организм на поглощение основной съестной массы, но этой-то массы вам и не подавали.

Но сегодня мне засветила надежда: я впервые на новом месте службы получил зарплату, которую в армии называли денежным довольствием. Выдали мне тысячу двести рублей – за эти деньги я мог купить килограмм шоколадных конфет или полтора литра подсолнечного масла. Но конфет, конечно, я покупать не стану, масла тоже, а вот что же я куплю, пока не знал. В одном я был уверен: деньги буду беречь и покупать на них такую еду, которая была бы добавкой к ежедневному рациону.

С этой мыслью я заснул, но меня скоро разбудили. Раскрыл

глаза и вижу перед собой парня, хозяйского сына:

– Проводи Ирину.

– Ирину?

– Да, Ирину. Она задержалась и боится идти. У вас пистолет – вам не страшно.

Еще вечером, засыпая, в приоткрытую дверь я видел, как набросился на печенье хозяйский сын-пианист и как завистливо смотрела на него полураздетая тоненькая девчушка, с которой ныне занималась хозяйка.

Из ярко освещенной квартиры шагнули в ночь – не ту тихую украинскую ночь, описанную Гоголем, что блистала звездами и сыпала на землю летнюю истому, а ночь, окутавшую Львов сырой и холодной стынью. Со стороны стоявшего на горе Высокого замка в узкую улочку, как в аэродинамическую трубу, валил ветер со снегом, толчками ударял в спину, подгоняя нас к центру города, где у главного входа в Оперный театр, словно глаза голодных волчат, мерцали огни фонарей.

У лестницы, ведущей в театр, я почувствовал слабость в ногах, – осел, схватившись рукой за край приступки.

– Что с вами? – испугалась моя спутница.

– Ничего. Оступился. Я сейчас…

От дверей театра кто-то крикнул:

– Ирина!

– Иду, иду!…

Помахала мне рукой и побежала.

Поднялся, а сам слышу, как дрожат ноги и я вот-вот упаду. Снова присел на присыпанную снегом приступку. Я был в полной растерянности. Отнялись ноги! С чего бы это?… Прошел почти всю войну, и в Чечне три месяца по горам лазил – тогда тоже была Чечня! – и, ничего, а тут вдруг отнялись!

И я вспомнил, как в голодном 1933-м году, когда я восьмилетним мальчиком попал на улицу и почти ничего не ел, у меня тоже отказали ноги. Весной лежал на лавочке в заводском сквере, и меня какой-то добрый человек поднял и отвел в больницу, которая на счастье была рядом. Врачи не могли понять, почему это у меня вдруг отнялись ноги? И только старая няня сказала сестре: «Дайте ему кислой капусты, и он побежит как козлик». Мне стали давать капусту, и она меня скоро подняла. Воспоминание ободрило, и я подумал: «Деньги есть, буду покупать капусту».

Меня обступила стайка ребят, вышедших из театра.

– Ты приятель Ирины?

– Да, я ее провожал.

– Пойдем с нами.

– Куда?

– Праздник у нас. Премьера. Пить-гулять будем.

Я попытался встать, но коленки подкосились. Ребята подхватили меня за руки. Кто-то сказал:

– Он ранен, как летчик Маресьев.

– Да он пьяный!

– Нет, я не пьяный. Я сейчас… разойдусь.

Ребята крепче меня подхватили, повели к себе в общежитие.

В большой комнате со множеством кроватей и столов, сдвинутых на средину, зашумел пир горой.

– У кого есть деньги? Клади на стол.

Я вынул свою получку, хотел отсчитать половину, но кто-то вырвал всю пачку, бросил ее на стол.

– Старший лейтенант богатый, хватит тут на три бутылки и на круг колбасы.

Пока бегали в магазин, узнал, что попал я к артистам; тут была едва ли не вся мужская половина балетной труппы театра; ребята, как и я, жили на скудную зарплату, жестоко голодали.

Я выпил немного, съел пару бутербродов и стал незаметно подвигаться к двери. Хотя и шел своим ходом, но припадал так, будто меня ударяли палкой сзади ниже коленей.

На улице стало и совсем плохо; опустившись на какой-то камень, думал, что делать и не позвать ли кого на помощь. Вспомнил, что тут недалеко живет Тоня со своей маленькой дочкой – подружка Виктора Гурьева, командира взвода с моей батареи. Он недавно демобилизовался и остался во Львове в надежде на мою помощь; бездельничал, попивал, частенько являлся ко мне в редакцию, говорил: «Ты журналист, помоги устроиться на работу». С Тоней они жили в полуподвальной комнатушке, за окном мелькали ноги пешеходов, шипели как змеи колеса автомашин. С Тоней они жили плохо, однажды при мне он ее ударил. Я вступился за нее, и мы чуть не поссорились с фронтовым товарищем.

Я еле доплелся до Тони. Она была одна с дочкой и очень удивилась, увидев меня в столь поздний час.

– Прости, Тоня, у меня ноги отнялись.

– Как отнялись? Почему?

– А так… Шел, шел и отнялись. Стул мне подай быстрее.

Поднесла стул и я, не раздеваясь, на него опустился.

– Отчего же это охромел ты вдруг?

– Еда плохая. Было уж со мной в детстве такое. Тогда меня капустой квашеной откормили. Мне и теперь капусты бы поесть.

Капусты у Тони не нашлось, но картошку в мундире и кусок холодного мяса она мне предложила.

Антонина работала в гостиничном буфете официанткой, и у нее в тот голодный послевоенный год всегда находилось что-нибудь поесть. Думается, из-за этого достатка и прижился у нее наш батарейный красавец и любитель выпить Витя Гурьев. На батарее он командовал взводом управления, имел в подчинении нескольких девушек, и все они были в него влюблены. Только командир отделения связи сержант Саша Еремеева – умная серьезная девушка со средним учительским образованием – была к нему равнодушна. А он, как это часто бывает, именно к ней и тянулся. Однажды он взял ее за руки и хотел привлечь к себе, она же толкнула его и он упал, ударившись головой о край двери. Как раз в этот момент я зашел в землянку. Сказал Еремеевой:

– Вы хотя и действовали не по уставу, но лейтенант сам создал неуставную ситуацию.

Пригласил его к себе в землянку, предупредил: «Если подобное повторится, отошлю вас на другую батарею».

Гурьев любил меня, мы были друзьями, – сержанта оставил в покое, но других девчонок продолжал смущать своими бархатными глазами, игрой на гитаре и довольно красивым голосом, исполняя русские и цыганские романсы.

Тоня влюбилась в него без ума, как-то мне сказала:

– Он и пьет, и ругается, а я люблю его больше жизни. Не знаю, что будет со мной, если он меня покинет.

Явился Виктор, – весь промерзлый и на сильном подпитии.

– Иван – ты? Каким ветром в такой поздний час?

Выслушав мою печальную повесть, махнул рукой:

– Пройдет. Дай сотню рублей, сбегаю в буфет, куплю бутылку.

– У меня нет денег.

– Не рассказывай сказки, у тебя всегда были деньги.

– Всегда были, а теперь нет. Прощайте, ребята, пойду в типографию.

И хотел встать, но не тут-то было. Ноги совсем не слушались.

– Ладно, – сказал Гурьев, – будешь спать с нами.

Утром я проснулся, а Тоня уж сходила на базар, купила трехлитровую банку квашеной капусты. На керосинке пожарила колбасу с яйцами, и мы отлично позавтракали. Я ел с большим удовольствием и верой в чудодейственную силу давно позабытого мною овоща. Пройдет с тех пор двадцать лет, и жена моя, Надежда Николаевна, работавшая в Московском институте биохимии, однажды мне расскажет, как они проводили опыт с капустой. Подобрали на улице двух отощавших собак – одну стали кормить обыкновенной пищей, в том числе и мясом, а другую – одной капустой. И что же увидели?… Обе собаки

набрали вес и шерсть стала шелковистой. У той же, что кормили одной капустой, все функции восстанавливались быстрее.

Я не могу сказать наверное: капуста ли мне помогла в тот раз, отдых ли, полученный в тепле и среди друзей, но утром мои ноги окрепли, и я, хотя и нетвердо, но все-таки шагал по улицам Львова и был уверен, что капуста, которую нес в авоське, окончательно поправит мое здоровье.

В тот же день я послал Никотенева за чемоданом, и он отнес его на другую квартиру. Загадочно улыбаясь, сказал:

– Баба одна живет. Кормить вас будет.

После работы я пришел на новую квартиру и увидел женщину, которая почему-то должна была меня кормить; дама лет сорока с лицом восточного типа и крупной фигурой.

– Здравствуйте! – сказала она и сделала жест рукой. – Я покажу вам комнату.

– Я бы хотел знать условия…

– Условия?… Какие еще могут быть условия! Вы защищали Родину, а я буду диктовать условия. Вот вам комната – живите на здоровье. Ну, подходит? Вот и хорошо. А теперь пойдемте в столовую, будем ужинать.

Идя за ней по коридору большой многокомнатной квартиры, думал: хорошо, что не взял с собой банку с капустой. И еще думал: кто она и много ли людей живет с ней в квартире?

Хозяйка распахнула белую двухстворчатую дверь, ввела меня в комнату, больше похожую на зал небольшого ресторана. Окна венецианские – от пола до потолка, над длинным столом две хрустальные люстры, а на столе дорогая посуда, множество еды и посредине ваза с цветами.

Доводилось мне лицезреть подобную роскошь, но только на общественных приемах да в богатых домах, где мне привелось побывать во время жизни моей в Будапеште.

– Хотел бы договориться, – вновь залепетал я, но хозяйка взмахнула рукой, точно намеревалась меня ударить.

– А-а, ладно. Нужны мне ваши копейки! Да я за один день имею больше, чем вы за месяц своей службы. Мне мужской дух нужен, а не ваши деньги. Одна я тут в этой конюшне.

Я теперь только смог рассмотреть женщину, которая с такой щедростью распахивала передо мной свое гостеприимство. Шапка рыжих волос и круглое, как тарелка, лицо теперь уже не казались мне восточными, хотя выпуклые коричневые глаза излучали природу мне незнакомую, не славянскую. По-мужски крутые плечи, высокая грудь дышали жаждой, какой-то неестественной, неземной силой, излучали энергию демоническую.

На столе водка, вино, много разных закусок, но я искал и не

находил капусту. В эту минуту я, наверное, напоминал козла, для которого капуста была самым изысканным и, может, единственным деликатесом. Но капусты не было, и я с большим удовольствием поглощал все остальное.

Неожиданно без стука и разрешения вошел дядя лет пятидесяти в кожаном пиджаке и такой же кожаной кепке. Скользнул по мне насмешливым взглядом, обратился к хозяйке:

– Сегодня я вам не нужен?

– Вы свободны. Завтра приезжайте к девяти.

Нарочито властный тон и громкая речь давали мне понять, что дело я имею с особой высокого полета; ее как командира нашей дивизии возили на автомобиле, и у нее был свой персональный шофер. Взятый с шофером тон она сохраняла и в разговоре со мной. И обращалась ко мне на ты.

– Так, значит, в газете трудишься, заметки кропаешь.

И, не дождавшись ответа, добавила:

– Не люблю щелкоперов, они за мной по пятам бегают.

Таинственный покров, скрывавший от меня мою новую хозяйку, становился все плотнее, я решительно не мог понять, с кем имею дело. Однако, выпив рюмку-другую, осмелел и, откинувшись на спинку стула, подал и свой голос:

– Не понимаю вас: вы вроде бы начальник, важный человек, а зачем вам квартирант понадобился, в толк не возьму.

– Ты на фронте-то тоже в газете работал? Газетчики – народ ушлый, суть дела должны с ходу ухватывать.

– Я вначале в авиации служил, а потом в артиллерии.

– Вон как! И что же? Наверное, редко в цель попадал, все мимо палил?

– Всякое бывало. В другой раз и промажешь, но случалось и цель поражали.

Разговор становился и скучным и неприятным. Хозяйка не принимала меня всерьез, и это мне не нравилось. Я назвал себя, а затем спросил:

– А вас как мне называть?

– Зови Ганной. Ганна я, – значит, полька. Наверное, слыхал от взрослых мужиков: полячки на любовь злы. Темперамент у них. А?…

– Нет, я этого не слыхал.

– Не знаешь, значит, и этого! Но тогда чего же ты знаешь, лейтенант зеленый?

Я хотел сказать: я старший лейтенант, и никакой не зеленый. Два ордена заслужил и пять медалей, но, конечно же, ничего этого не сказал. Насмешливый тон ее речи окончательно сбил меня с толку, и я поднялся, стал благодарить хозяйку за ужин.

– Я, пожалуй, пойду отдыхать.

Улыбнулась Ганна, вид ее говорил: «А ты еще совсем ребенок. Спать захотел». Чуть заметным движением головы показала на дверь моей комнаты. А когда я уже снял китель и готов был завалиться в постель, вошла ко мне, сказала:

– Перед сном-то и помыться можно. У меня ванная есть и горячая вода.

Я согласился. Ванную давно не принимал, и она мне оказалась весьма кстати. А когда я возвращался к себе, Ганна из своей спальни окликнула:

– Лейтенант! Накрой-ка меня теплым одеялом, чтой-то мне холодно.

Я вошел в приоткрытую дверь и на высокой роскошной кровати увидел свою хозяйку. Она лежала на спине с раскинутыми по подушке рыжими роскошными волосами и была накрыта всего лишь тонкой кисеей на манер рыболовецкой сети. Грудь, живот и все остальное отчетливо просвечивались сквозь ячейки этой сети. Ганна смотрела на меня горящими глазами и улыбалась.

– Что, еще не видал?…

– На войне другим был занят, – нашелся я с ответом, чувствуя, как занимается во мне шум мужской плоти.

Засмеялась Ганна, точно ведьма, схватила меня за шею, обдала жаром клокотавшего в ней вулкана.

Все остальное совершалось по тем же законам, по которым и происходит весь коловорот живой природы.

Жизнь в редакции начиналась с летучки. Михаил Абрамович Львов, наш новый редактор, сидел за огромным дубовым столом и казался подростком, настолько он был мал, хил и несерьезен видом. От политотдельцев мы уже знали историю его карьеры, нисхождение по ступеням вниз с самой что ни на есть большой высоты, где он царил во время войны: из Главного Политического управления в Москве до крохотной дивизионки во Львове. Заехавший к нам на фронтовом «Виллисе» подполковник Нефедов, корреспондент «Красной звезды» по Прикарпатскому округу, завидев его у нас в кресле редактора, заскрежетал зубами и чуть было не ударил бедного Львова. Рассказал нам, как наш редактор с 1943 года сидел в отделе кадров Главпура и выпытывал у каждого военного журналиста, попадавшего в кадры, где бы он хотел служить. И если тот называл южное направление, посылал его на север, а если бедолага умолял послать на север, где у него жена, родители, – посылал его на Дальний Восток. Подполковник даже показывал нам, как этот маленький наполеончик потирал от удовольствия руки, сделав гадость

очередной своей жертве. Однако враги его не дремали и, где только было можно, мстили обидчику. Так они и спустили бедного Львова во Львов, где, как считали многие и как было на самом деле, еще «кишели бендеровцы».

Мы собирались в кабинете редактора, рассаживались по своим местам. Капитан Мякушко, большой, грузный человек сорока лет, садился у стола редактора и как-то настороженно, угрожающе смотрел на начальника. Тот чувствовал на себе его тяжелый взгляд и не поднимал глаз, будто боялся опалить их о взгляд Мякушки. Редактор распределял задание на день.

– Вам, – кивал он в мою сторону, но и на меня глаз не поднимал, – четыре письма и передовую о спорте. И подвигал мне стопку писем.– Вам,– кивал на Семенова,– три заметки.

Саше он задавал меньше, зная, как тот медленно и мучительно пишет.

До Мякушки добраться не успевал. Тот предупреждал его грозным басом:

– Передовая о бюрократах в «Правде» напечатана.

И бросает свежий номер на стол редактора. Тот испуганно косит глаза на газету и не решается взять ее в руки, словно она горячая и он рискует обжечься.

– Я ее читал. Хорошая статья, очень, очень… И что?

– Как что? – гудит Мякушко. И встает. И нависает над столом начальника, словно гора.

– Как это вы говорите – и что? Хорошенькое дело: и что?

Оглядывает комнату, смотрит на дверь, будто там кто-то стоит и подслушивает. Эта сцена окончательно добивает редактора; он съеживается, очки его падают на тонкий горбатый нос – он растерянно елозит карандашом по листу бумаги, тяжело дышит.

Сцену эту нельзя понять, если не учесть, что то было время борьбы с космополитизмом. «Правда», а вслед за ней и все другие газеты, печатали громкие статьи, разоблачающие «беспачпортных бродяг человечества», то бишь евреев. И в этой статье о бюрократизме шла речь о них же – носителях всякого зла, волокиты и бюрократизма. Евреев снимали с работы, вызывали в милицию, прокуратуру, а многих сажали в тюрьмы. Наш редактор был еврей и, как всякий его соплеменник, боязливо смотрел на дверь, ждал, когда за ним придут. Мякушко, отъявленный бездельник, и к тому же, как и я, и как Саша Семенов, залетевший в журналистику случайно, тяготился писанием заметок; по утрам заходил в дивизионную библиотеку, выискивал в центральных газетах важную статью и затем на летучках потрясал ею перед носом редактора, понуждая его к перепечатке. Так он борьбу с

космополитизмом коварно опрокидывал на голову и без того вконец перепуганного редактора, а нас, и, прежде всего, себя, освобождал от писания заметок.

С наступлением обеденного перерыва звал нас в пивную, говорил:

– Я вам устроил выходной. Вы должны мне поставить по кружке пива.

У меня денег не было, я оставался на своем месте, доставал из портфеля баночку с капустой и уничтожал ее, чувствуя, как с каждым днем крепнут мои ноги. Затем я шел в столовую, где съедал жиденький гороховый или пшенный суп и миниатюрную котлету со столь же миниатюрной порцией гарнира. Вечером меня ждал роскошный ужин на новой квартире, но я каждый день мучительно думал о том, где бы мне взять денег для покупки конфет или печенья, чтобы не чувствовать себя Альфонсом. Но вот я получил дополнительный паек и с гордостью выложил его на стол во время ужина с новой хозяйкой, а там подошла и зарплата. Теперь я уже вечерами непременно являлся с чем-нибудь вкусным, а то и приносил цветочек. Но даже и на эти скромные подношения зарплаты хватало на неделю, и я снова терзался сознанием своего иждивенческого положения, и все больше укреплялся во мнении, что мне нужно расстаться с загадочной женщиной Ганной, которая, как я узнал от ее водителя, была прокурором города. Тут же должен признаться, что физического влечения к ней так и не появилось; она была хороша собой, образованна, остроумна, но разница в возрасте была естественным препятствием к нашему союзу. Я с грустью убеждался, что ров между нами становится все глубже, – и я уже думал о том, как бы половчее и поделикатнее нам расстаться.

И тут случилось событие, разом решившее эту щекотливую проблему. Кто-то из холостых ребят, служивших в штабе дивизии, пригласил меня на танцы в гарнизонный Дом офицеров. Тут я увидел девушек, стоявших плотным рядком у стен и напоминавших большой венок весенних цветов. Звездами светились глаза, свежестью утренней зари пламенели щеки, ярким разноцветьем поражали взгляд кофточки, юбочки, платья. Всего лишь у одной стены отсвечивали золотом погон офицеры. Война выкосила ребят, – их явно не хватало. Но в тот момент я об этом не думал. Высматривал себе «жертву» и помимо воли мысленно твердил одну и ту же фразу: «Ну, где же тут моя судьба? Смотри хорошенько – жена тебе надолго, на всю жизнь».

И высмотрел. Она была ниже других, держалась скромно, – будто бы даже пряталась за спины подруг. Розовое платье с синими окаемками. Ножки стройные, но не похожи на ноги

взрослой девушки. «Уж не подросток ли?» – мелькнула мысль. И представил, как я предлагаю руку несовершеннолетней, а потом надо мной будут смеяться в редакции. Однако очень уж она хороша! А тут и вальс грянул откуда-то сверху. Я даже вздрогнул и сорвался с места, боясь, что у меня из-под носа уведут мое счастье, мою судьбу. Не помню, что сказал ей, не знаю, как в ту минуту выглядел, – помню только, как несмело и покорно тянет она ко мне руки. И мы медленно, чуть дыша от волнения, скользим по паркету.

Танцевал с нею весь вечер. Потом я ее провожал. И только простившись и сделав несколько шагов от двери подъезда, вспомнил, что имени ее не спросил. Однако на следующий день пришел к ней. Дверь открыла не она: передо мной стояла молодая женщина и очень красивая, но – не она.

– Вам нужна Надежда?

– Да, да – Надежда.

Я вошел и в дверях боковой комнаты увидел мою знакомую; она была здесь другой – не такой худенькой и маленькой ростом; просторный цветастый халат, видимо, с чужого плеча, белый платок, которым было повязано горло, болезненно пылавшие щеки и горячечно блестевшие глаза: все было то и не то, и вид серьезный, будто бы недовольный – вчерашнего смущения, так украшавшего невинное существо, тоже не было. Передо мной стояла взрослая девушка и не торопилась меня приветствовать и звать в комнату. Это был момент, когда и я засмущался; меня не звали, а я заявился. И уж готов был извиниться, что-нибудь сказать в оправдание своего визита, но Надя слегка охрипшим голосом проговорила:

– Извините. Я немного простыла, проходите сюда.

И раскрыла дверь большой комнаты. Сама прошла к дивану и села в уголок. Вспомнил, что вчера в Доме офицеров было холодно и, когда мы танцевали, я чувствовал, как она, одетая в легкое шелковое платьице, дрожит и даже губы ее, не знавшие краски, слегка посинели.

Я заговорил:

– Вчера было холодно. Мы-то в кителях…

Вошла та женщина, которая открыла мне дверь, – похожая на Надю, но еще более привлекательная, – видимо, старшая сестра.

– Говорила ей: надень кофту, так нет же, форсит, глупая. А теперь вот болей. На службу не пошла, а там работы много.

Тут же я узнал, что Надежда работала секретарем отдела боевой подготовки нашего штаба, и удивился, что до сих пор ее не видел.

– У вас начальник майор Багацкий?

– Да, он здесь живет, в нашем доме. А вы недавно появились у нас в штабе, в редакции работаете.

– А вы откуда знаете?

Подала свой голос сестра, – ее звали Раиса Николаевна, она была хозяйка этой большой многокомнатной квартиры:

– Девчонки глазастые, они в каждом новом парне потенциального жениха видят.

Надежда покраснела, потупила свои большие серо-зеленые глаза. Потом укоризненно на сестру взглянула. Та тоже смутилась; поняла, что реплику подала не самую умную. Решила поправиться:

– Что же особенного я сказала? Ребят теперь мало, замуж выйти непросто.

Надежда окончательно смутилась, теперь уже румянец, несмотря на нездоровье, пылал во все щеки. Она и так была хороша, но состояние стыдливости ее еще больше красило. Она походила на маленькую девочку, которую при товарищах несправедливо обругали и она, не в силах ничем отплатить обидчикам, готова была разрыдаться. Я поспешил на помощь и сказал такое, что еще больше усугубило общую неловкость:

– Жениха трудно найти дурнушкам, а вашей-то сестре нет причин беспокоиться. К ней на танцах целая толпа ребят устремилась, – хорошо, что я успел захватить ее первым.

Эти мои слова хотя и не могли быть неприятными для Надежды, но я по всему видел, что восторга они у обеих сестер не вызвали. Старшая, видимо, подумала: а ты, малый, не очень-то умен, а младшая, желавшая во мне видеть блестящего принца – и красивого, и остроумного, и одетого в какой-то особый, сверкавший золотом офицерский костюм, – подняла на меня свои прекрасные глаза, слегка улыбнулась, – видимо, прощала и мой мешковатый, потертый в боях и походах костюм, и мою неловкость в присутствии двух дам. Ободряюще заговорила:

– Вы, наверное, очень ученый и умеете красиво писать?

– Почему?

– Как же! Вы журналист, пишете газету – не все же умеют писать газету.

– Это так. Не все, конечно, но знаний-то больших нам не надо. Чай, не профессора мы.

Дамы засмеялись, и я впервые увидел улыбку своей избранницы, – я уже решил, что она – моя избранница, и был приворожен лучезарностью ее глаз в состоянии веселости, очарованием ямочек в углах губ, и всем ее юным, целомудренным и детски нежным лицом. Это был миг, когда я себе сказал: буду добиваться ее любви, женюсь на ней.

И свадьба наша состоялась через месяц. Я каждый день к ней приходил, мы гуляли по городу, узнавали друг друга, но не так, как теперь узнают друг друга влюбленные. Мы за этот месяц даже не поцеловались. Да, признаться, я и не умел целоваться; телевизора тогда не было, секслитературы – тоже; юноши, как я вот, нередко до женитьбы и не знали поцелуев. Нынешним молодым людям такое может показаться неправдоподобным, но мое поколение еще хранило целомудрие прошлых лет, и это, как я теперь могу сказать, было большим нравственным богатством русских людей, залогом супружеской верности, счастья и крепости семей. Разводы случались и в наше время, но их было не так много. Я сейчас не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь из моих друзей-сверстников покинул жену, семью и завел себе новую. Еще в середине нашего столетия русские люди крепко держали свои семьи, а вместе с семьями держалось и русское государство. Распад начался с порушения нравов. Исконные свойства славян честность и целомудрие дрогнули под натиском голубого разбойника. Иуды-горбачевцы, а затем и воры-ельциноиды шагнули в наш дом с экрана телевидения. Недаром москвичи его еще в сороковых годах прозвали Тель-авивдением, то есть порождением Тель-Авива.

С Надеждой я без особых конфликтов и осложнений прожил более сорока лет, и она свою жизнь, как не однажды признавалась друзьям, считала счастливой. А сейчас она вместе с дочкой Леночкой покоится на Введенском кладбище в Москве, почитаемая в сердцах и памяти всех знавших ее людей.

Но тогда… мы решили сыграть хорошую свадьбу; это в сорок седьмом-то голодном году! Я занял три тысячи рублей, и на эту сумму мы закупили продуктов, вина, пригласили друзей. Сестра Надежды Раиса Николаевна и ее муж Василий Иванович Фиофелактов, работник горвоенкомата, выделили нам в своей квартире небольшую комнатку, и мы начали свою семейную жизнь.

Бюджетом заведовала Раиса Николаевна, а жесткий контроль над каждой копейкой осуществлял Василий Иванович. Денег у меня не было, Надежда получала шестьсот рублей – в два раза меньше, чем младший офицер штаба, – мы с ней в первые дни почти ничего не ели. Василий Иванович выговаривал, зачем мы устроили роскошную свадьбу – теперь вот сиди без денег, кусай локоть. По утрам Раиса Николаевна предлагала нам кашу и чай, но еда нам была в тягость, мы с Надеждой незаметно выскальзывали из квартиры и, очутившись на воле, смеялись над ворчанием и жадностью Василия Ивановича. В обед я заворачивал в бумажку кусочек хлеба и котлетку, шел в отдел боевой

подготовки, угощал Надежду. Надю я полюбил самозабвенно, и не только за красивое лицо, стройную фигуру, а и за беспечную веселость, благородство характера и какую-то врожденную мудрость в подходе ко всем ситуациям, возникавшим в нашей новой жизни.

К нам с вятской земли из маленького городка Шахуньи приехала Надина мама, – это еще более осложнило наше положение. Голодание становилось жестоким, я с ужасом думал о том, как бы не отказали мои ноги. Иногда ходили к Гурьевым и те кормили нас капустой. Тоня догадывалась о нашем бедственном положении, просила приходить почаще. Однако в гости можно сходить раз-другой, но не будешь ходить к ним каждый день. Неожиданное облегчение пришло к нам в виде дополнительного офицерского пайка. Нам не выдавали его два месяца, и вдруг мы получили двойную порцию. Не помню уж точно, но, кажется, там был большой кусок сливочного масла, два килограмма сахара и три килограмма печенья. Позвонил Надежде, пригласил ее после работы прогуляться в роще на склоне Высокого замка. Здесь я развернул упакованный паек и предложил поесть. Она взяла печенье, повертела его и положила на место. Сказала:

– Отдадим Рае. Она будет нас кормить.

Василий Иванович тоже был офицер, и он принес паек за два месяца. Нам стали подавать не такой скудный завтрак и ужин. Но я знал, что запасы скоро иссякнут и мы снова станем голодать. Мучительно думал, как же выйти из этого положения? И однажды меня осенило: я проснулся ночью и стал писать рассказ. Жирно чернилами вывел заголовок: «Тренчик»…

История простая. Я только что побывал на солдатских учениях, ходил с батареей в поход и там наблюдал такой эпизод: маленький ростом, хилый солдат шел позади всех, отставал, а тут на беду у него на скатке шинели, перекинутой через плечо, развязался тренчик. Это короткий ремешок, которым связывались два конца шинели. Начались его мучения: он и без того устал, а тут еще тренчик. Вначале ему помогал товарищ, шедший рядом, потом подошел сержант… Шинель раскаталась, концы сходились плохо, сержант бранился, а солдат все отставал и отставал…

Эту нехитрую историю я подробно живописал в своем рассказе.

Утром он был готов. Я пришел на работу и отослал пакет в Москву – в редакцию журнала «Красноармеец». Ну, послал и послал. Никому об этом не говорил – даже Надежде, и Саше Семенову, с которым к тому времени сильно сдружился. Не верил, что напечатают, и не хотел, чтобы надо мной смеялись. Нашелся, мол, писатель! Джек Лондон или Максим Горький.

А между тем жизнь в стране, обескровленной войной, налаживалась медленно, мы продолжали голодать. Я хотя и расплатился за свадьбу, мне присвоили звание «капитан», и мы получали чуть больше денег; вдвоем-то с Надеждой приносили в дом две с половиной тысячи, но деньги тогда ничего не стоили, и мы по утрам съедали немного каши с постным маслом, кусочек хлеба и пили чай без сахара. А в обед я продолжал носить своей Надежде котлетку и кусочек хлеба.

Скрашивали нашу жизнь любовь и нежнейшие супружеские отношения. Я заботился о жене, а Надежда изобретала всякие уловки, чтобы чем-то да подкормить меня.

О рассказе я забыл, а голод все туже затягивал свою грозную петлю на нашей шее. Василий Иванович смурной ходил по комнатам своей роскошной квартиры, всем был недоволен; ему казалось, что его объедает «старуха», так он называл тещу, хотя она была лишь на пять лет старше его. Однажды позвал меня в пустую комнату, заговорщически зашептал:

– Старуха по утрам, когда мы уходим на работу, съедает наш сахар, ест кашу с маслом. Вы же видите, какая она красная. И толстая.

Я молчал, не знал, что же сказать ему и надо ли говорить. И не рассказал об этом Надежде – не хотел ее расстраивать. А она, между тем, уже была беременной, новое состояние волновало ее и тревожило. Уж несколько раз ее тошнило, опытные женщины сказали, что это естественно в таком положении, советовали есть соленые огурцы. Я сбегал на базар и купил для нее огурцов, но и на этот раз она отказалась есть втайне от других членов семьи. Во время ужина догадливая Рая подвинула их Надежде, сказав:

– А это тебе. Твой малыш сейчас требует соленого и кислого.

Я был счастлив ожиданием нашего потомства. И как раз в это волнующее для нас с Надеждой время случилось другое событие, толкнувшее мою жизнь на колею, по которой я качусь с переменным успехом и поныне. Меня вызвал начальник Политотдела. Я ничего не ждал хорошего от встречи с Арустамяном, который постоянно проявлял ко мне неприязнь.

У полковника на столе лежал журнал «Красноармеец».

– Ваш рассказ напечатан в газете?

– В какой газете?

– В этой вот! – схватил он журнал и ударил им по столу.

– Это журнал, а не газета. Я посылал туда рассказ.

– Как он называется?

– Тренчик.

– Но вы украли рассказ у писателя. Вы не могли сами… Чтобы так писать, надо сто лет учиться. Ты малограмотный,

ничего не кончил, кроме военной школы. Как ты мог написать такой рассказ? Как?… Украл рассказ у писателя.

– У какого писателя? – удивился я, испугавшись одной только мысли, что рассказ у кого-нибудь можно украсть.

– Рассказ написал сам! – заявил я решительно. И тут же отступил назад, потому что полковника мое заявление повергло в ярость. Он вскочил и замахал руками.

– Не мог ты написать рассказ, не мог! А если ты написал такой рассказ, то почему не пишешь так же заметки? Ваши статьи сухие, как подошва ботинка в жаркий день в Ереване. Да! Их нельзя читать. За что деньги платим?… Тебя кто посылал в поход с батареей? Редакция посылала. В редакцию и сдай свой паршивый рассказ! Нет, так не пойдет. Написал хорошо – сдавай в газету. А он в Москву послал. Деньги хочешь? Да?… Славы захотел? Да?… Валька Скотт нашелся!

Вот так на языке не поймешь каком – ни на русском, ни на еврейском или армянском – он продолжал распекать меня долго; и, конечно же, не о газете радел полковник, – его больше всего задел сам факт появления рассказа за моей подписью в столичном журнале. Простить он мне не мог такой прыти.

Не знал я тогда и еще одного важного обстоятельства: тыловые крысы, всю войну отсидевшие в дальних штабах и не получившие ни одной награды, видеть спокойно не могли офицеров с орденами. Я же был еще очень молод – мне не было и двадцати трех лет, а на кителе два ордена и пять боевых медалей. Может быть, вот они-то и раздражали полковника, словно быка красная тряпка.

Прошел еще месяц, и я получил из Москвы гонорар – около четырех тысяч рублей. Нечего и говорить, как пришлись кстати нам эти деньги. Я сразу же пошел к Надежде и отдал ей всю сумму. Она уже видела мой рассказ в журнале, знала, что за него пришлют деньги, но не думала, что их будет так много.

– Четыре часа работы – и такая плата! – удивилась она.

– Как видишь, – отвечал я с гордостью.

– А ты можешь писать и другие рассказы?

– Могу, но не все, что пишет писатель, принимают журналы. Этот рассказ им приглянулся, и они его напечатали.

Я это говорил для того, чтобы жена моя не очень-то надеялась на будущие гонорары. Однако мысль о писании других рассказов была для меня не чуждой. Для начала я решил писать маленькие рассказы в газеты, – вроде этюдов, которые набрасывает художник для своей картины. Присматривал разные сценки из жизни солдат и живописал их, придумывал сцены, диалоги. Один такой рассказ послал в харьковскую военную

газету «На страже Родины», другой – в газету местную, но большую, окружную. Оба рассказа были напечатаны, и я за них также получил гонорар. После этого писать стал чаще и в разные газеты и журналы; большинство моих рассказов печатали, но были такие случаи, когда мне отвечали, что напечатать корреспонденцию не могут из-за недостатка места или по другой какой-нибудь причине.

Подобные миниатюрные рассказы писал и в свою газету; и хотя у моего начальства не было причин обвинять меня в плохой работе, но частое мелькание моей фамилии в других газетах и Львова и Арустамяна раздражало, и я видел, как глаза их при встрече со мной все больше темнели.

Однажды меня снова вызвал Арустамян.

– От нас нужен молодой офицер, желательно фронтовик, для учебы в Москве в специальном заведении.

И замолчал, смотрел на меня черными выпуклыми торжествующими глазами, будто хотел еще и сказать: «Ага, попался! Вот и случай нам от тебя избавиться».

Я спросил:

– Что значит, «специальное заведение»?

– А то и значит: специальное, и – все! Разговор наш секретный. Я тебе скажу, а ты разболтаешь. Ты говори: согласен или нет?

– Ну, болтать я ни о чем не собираюсь, а знать должен: куда меня сватают. В конце концов речь идет о моей судьбе, о жизни. И если мне ничего не говорят, я тоже отвечать не стану.

– Ты солдат и отвечать обязан! Ишь ты – Геворк Саакян нашелся!

– Кто такой – Геворк Саакян?

– Поэт есть такой в Армении. Он хорошие стихи пишет. Таких ты никогда не напишешь.

– И не надо мне писать стихи. Я поэтом быть не собираюсь.

– Ну, хорошо, а что ты мне голову морочишь. Ты говори: поедешь в Москву на учебу или нет?

– Не поеду, если не скажете, что это за секретное заведение.

– Большое заведение! Почетным человеком будешь, не то, что теперь. И будешь в масле, как сыр. В чужой стране смотреть будешь и слушать что надо. Понял теперь, куда тебя посылают?

– Понял, но не хочу. Не поеду.

– Как не хочешь? Трусишь – да? Я знал, что ты будешь трусить.

– В Москву не поеду. Я хочу стать писателем.

– Вот это – «хочу стать писателем» я сказал напрасно. Арустамяна эти слова словно ужалили. Он вскочил из-за стола,

стал бегать по кабинету, потрясать кулаками.

– Писателем – да? Смотрите на него, писатель нашелся! Да писатели раз в сто лет родятся. Наш Саакян – вот кто писатель! Эренбург писатель! Бабель! Мариэтта Шагинян! Сильва Капутикян! Да еще Лев Кассиль. А ты какой писатель! Ну, ладно – иди. Будем считать, что струсил. Другого найдем.

С легким сердцем уходил я от полковника. То было время, когда я уже окончательно решил посвятить себя литературе и никакой другой судьбы для себя не желал. Радовался тому, что меня насильно не отослали в школу разведчиков. Мне эта судьба казалась романтической, и в другое время я бы с радостью согласился, но теперь, повторяю, слишком глубоко засела мысль о писательстве и предложи мне звание генерала или должность министра, но только брось перо – я бы отказался.

Возмечтал появиться с серьезной публикацией в центральной военной газете «Красная звезда». Но о чем написать? О воспитании или обучении солдат? Такая статья мне в голову не приходила, не чувствовал я в себе сил разговаривать о важных проблемах; очерк из солдатской жизни? – эта мысль была ближе, но тоже грызло сомнение: справлюсь ли?… Однако и тут меня выручил случай. Однажды у окна редакции остановился «Виллис», на котором ездили многие военные начальники. Из него вышел и направился в нашу дверь высокий и прямой как атлет подполковник. Вошел к нам в комнату и спросил меня. Я поднялся, кинулась в голову мысль: по поводу школы разведчиков! Но нет, он заговорил о другом: правда ли, что я летал на самолетах? И когда я согласно кивнул: правда, мол, он взял меня за локоть, сказал:

– Выйдем, поговорить надо.

Саша Семенов поднялся:

– Говорите здесь. Я пойду в библиотеку.

Мы остались вдвоем.

– Я корреспондент «Красной звезды», мне нужна ваша помощь. Тут, видите ли, такое дело: получил заказ из редакции подготовить «Письма из авиаэскадрильи» за подписью комэска. А я в авиации ни бум-бум. Помоги, браток, а?…

Мне было лестно обращение с просьбой такого важного человека. Я согласился почти с радостью. Он назвал имя командира эскадрильи и дал адрес его проживания. Я в тот же день и явился к нему. Меня встретил молодой капитан и, узнав в чем дело, признался: я писать не умею, а рассказать могу. На том мы и порешили, и я стал записывать его рассказ. Приходил к нему еще два раза, исписал весь блокнот. А потом раза три вставал ночью и обрабатывал свои заметки. Подполковник забрал

их, сделал небольшие исправления и отослал в редакцию. Вскоре их напечатали в трех номерах. И хотя под ними стояла подпись командира эскадрильи, я был очень рад от сознания того, что могу писать и для такой важной газеты. А вскоре ко мне пришел комэск, принес гонорар. Я не брал, но капитан обиделся.

– Что же, выходит, вы меня принимаете за человека, который возьмет чужие деньги? Вы же писали статьи, ваш и гонорар!

Деньги пришлось взять, на том, как я думал, и кончился эпизод с письмами. Но, оказалось, история с ними только начиналась и именно ей, этой истории, суждено было сыграть в моей жизни важную, может быть, решающую роль. Ко мне приехал из редакции полковник. И этот захотел говорить со мной наедине. И когда Саша «пошел в библиотеку», полковник вынул из портфеля письма, сказал:

– Это вы писали?

– Да, – признался я, холодея от страха. На этот раз я серьезно думал, что сделал какой-нибудь ляп. Иначе зачем же полковник с моими письмами едет из Москвы и вопрошает меня с таким грозным видом? А он продолжает:

– А вы почему их писали?

Я назвал подполковника, который просил меня об этом. Полковник кивал головой, сохранял строгое выражение, но я увидел в его глазах веселые зайчики. Он даже как будто бы ласково, по-отечески смотрел на меня. Потом поднялся, подошел и положил руку на плечо. Сказал:

– Молодец, капитан! Письма ты написал лихо. Сразу видно – летчик.

Помолчал с минуту и затем добавил:

– Можно тебя попросить: никому не рассказывай о нашем разговоре. Будто его и не было.

Эпизод этот, как догадывается читатель, будет иметь свое развитие. Но развивался он уже в Москве, в редакции «Красной звезды». Я все дальнейшие подробности узнаю потом, много позже, но сейчас, забегая вперед, расскажу. А дело все в том, что подполковника за эти письма наградили золотыми часами. Полковник же был в давней вражде с подполковником и доказывал редактору Василию Петровичу Московскому, что подполковник не мог так написать эти письма. Убеждал редактора: «У него слог деревянный, фантазии нет – не может он писать. Я его много лет знаю».

Полковник проявил настойчивость, извлек из архива подлинник писем, сличил их с почерком подполковника и все свои разыскания показал главному редактору. Но тот уже и сам был уязвлен и не хотел скандала, стал уговаривать: «Ну, ладно,

вижу теперь, не писал этих писем наш львовский корреспондент, но, значит, их написал сам командир эскадрильи. Все равно, тут есть заслуга подполковника. Ведь это он организовал письма и, как их написать, подсказал, наверное, и план подробный составил».

Полковник на это возражал: «И командир эскадрильи не писал этих писем! Вы посмотрите, как стройно расположен материал, как плотно сколочены части. И даже абзацы расставлены, значками помечены. Ну, скажите на милость: откуда знает боевой летчик, фронтовой командир, наши тонкости?… Как хотите, а тут дело нечистое».

И тогда редактор послал полковника во Львов, поручил на месте расследовать дело о письмах. Тот приехал в наш город, пришел на квартиру к летчику, и тот поведал, что материал о делах эскадрильи он рассказал капитану, кстати, артиллерийскому, но бывшему летчику. И сказал, что служит этот капитан в какой-то редакции зенитной дивизии.

На другой день полковник появился у нас.

Всего лишь несколько минут мы беседовали. Я его пригласил к себе на обед. За обедом он сказал, что у них в редакции мало военных специалистов, фронтовиков, а уж человека, знающего авиацию, и вовсе нет. Давал понять, что хорошо бы мне работать у них в редакции, обещал доложить обо мне генералу.

Эти его разговоры смутили мою душу, и я хотя никому о них не говорил, но в сердце моем запылал пожар новых желаний. Совсем рядом ярко вспыхнул огонек большой журналистики, – я вдруг понял, не так уж она и далеко, эта большая журналистика. И если я сумел сделать «Письма командира эскадрильи», то почему же мне не делать и другие материалы для «Красной звезды»?

Работалось мне плохо, я часто выходил на улицу. И хотя погода была скверная, дул обычный для Прикарпатья ветер, налетали заряды сырого снега, я, разгоряченный мечтами о большой журналистике, ходил и ходил, мечтал… Мне рисовались улицы Москвы, где я был лишь однажды, да и то проездом, дом, в котором располагалась редакция главной военной газеты – это был дворец, весь сиявший огнями, а за стеклами окон чернели силуэты великанов – полковников, генералов, адмиралов. Они были в новых и дорогих одеждах, погоны горели золотом…

Трудно было унять накатившие волнения, но я постепенно успокаивался и обретал способность обсуждать с Сашей Семеновым наши заметки, письма солдат… Только теперь они мне казались жалкими, никому не нужными.

Подобные эпизоды действовали, как наркотик: на время

оглушали сладким шумом какой-то новой жизни, а затем опускали на землю, и все привычные предметы, вся жизнь, которая еще вчера тебе нравилась, и ты находил в ней много радостей, сегодня вдруг блекла, становилась серенькой и неинтересной. А тут еще прибавлялись неустройства быта, семейные сцены…

Василий Иванович, хозяин нашей квартиры, все больше мрачнел, перестал со мной разговаривать и всячески давал понять, что мы с Надеждой в квартире лишние. Однажды он набрался духу и каким-то трескучим не своим голосом проговорил:

– У вас скоро будет ребенок, вам нужна квартира.

И ушел. Надя расплакалась, а Рая сказала, что Василий Иванович нервный, он не сможет спать, когда появится ребенок. Она как бы оправдывала требование своего мужа и предлагала нам позаботиться о квартире.

На работе я рассказал об этом Мякушке и Семенову. Они тоже скитались по чужим углам, и я думал, что дадут мне дельные советы. Но, оказалось, что хозяева и им предлагают искать жилье.

Мякушко сказал:

– В городе много разбитых домов, пойдемте после работы и поищем.

Редактор отпустил нас на два часа раньше, при этом сказал:

– Присмотрите что-нибудь и для меня. Надоело жить одному, семья до сих пор живет в Харькове.

Мы начали с центра города, обошли несколько улиц, заглядывали в темные закоулки и, наконец, нашли двухэтажный дом, в котором большая квартира на втором этаже была разбита и пустовала. Поговорили с соседями, те в один голос предупреждали: «Отремонтировать своими силами будет трудно, а если бы вы и сумели, то районные власти не дадут в нее вселиться».

В воскресенье мы с женами, а Мякушко и с двумя сынами-школьниками, поднялись на второй этаж и стали разгребать мусор. Скоро поняли, что без материалов и инструментов нам ничего не сделать, но все-таки продолжали работать. И за день прибрали квартиру, и даже поверили в свои силы. Когда же на второй день пришли снова на работу, нас ждал милиционер.

– Районное начальство приказало вам прекратить работы. Если же вы не прекратите, мы доложим начальнику военного гарнизона.

Мы работы не прекратили, и очень скоро нас вызвал к себе генерал Никифоров, заместитель командира дивизии. Он резким

приказным тоном проговорил:

– Работы прекратить, иначе получите взыскание и будете уволены из армии.

И отпустил нас. А через час вызвал меня одного. И встретил не так строго, а даже как будто и наоборот, говорил со мной извиняющимся тоном:

– Ну, что – обиделись на меня ребята? Вот, мол, держиморда, не дает нам сделать для себя квартиры.

Поднялся из-за стола и сел на старый кожаный диван, занимавший полкабинета.

Никифоров был необычным генералом; офицеры называли его «осколком» старого времени. Еще при царе он был майором и служил в генеральном штабе. Среднего роста, подтянутый, седой, но еще с пышной шевелюрой, он в память о своих кавалергардских годах носил серебряные шпоры с золотыми колечками. Видимо, за эти-то шпоры его еще называли «петухом»,– впрочем, по характеру он был незлобивый и офицеры его любили. Я близко никогда не имел дел с генералами и чувствовал себя так, будто проглотил аршин. Мне даже говорить было трудно, и я лишь односложно отвечал на вопросы: да, нет и так точно, товарищ генерал! Он же предложил мне сесть и речь повел неспешную.

– Читал рассказ и скажу, не боясь испортить вас неумеренной похвалой: мне нравится манера письма; собственно, нравится не сам рассказ, история простенькая и в ней нет ничего особенного, но вот звуковой ряд, аранжировка… Я, конечно, не критик, не филолог, но с детства пристрастился к чтению и заметил, что мне обыкновенно не столько нравится сюжет или фабула, сколько манера письма. Вы возьмите Чехова, Куприна – да это совершенно не важно, о чем они решили поведать читателю, но вот как они пишут!… Как незаметно и легко вползают вам в душу их мысли и чувства и выворачивают ее наизнанку!… Недаром же говорят: человек это стиль. А стиль это оригинальность, своеобычность. Вот Суворов! «Пуля дура, штык молодец!… Тяжело в учении, легко в бою!…» А?… Другой бы такую развел канитель, а Суворов… Пять – шесть слов, и картина! И все ясно. И запомнил на всю жизнь. Ну! Так я говорю или нет?

– Так, товарищ генерал! Точно так!

Подвинулся на край дивана генерал, посмотрел в окно. Там, во дворе штаба, грудились стайки офицеров. Выдался погожий зимний день, и они не торопились заходить в помещение.

Генерал продолжал:

– Я, конечно, не хочу сказать, что вы уже писатель и у вас есть свой стиль, – нет, до этого далеко, но вы можете стать

писателем, а это ведь так интересно! Я в молодости страсть как хотел прославиться, но – не пришлось. Военным слава не дается, если они не совершат боевых подвигов и не прольют крови на поле брани. Моя служба протекала в штабах, я и теперь… вот видите: штабная крыса, но дух рыцарства и жажда славных дел во мне не погасли. Скоро стукнет семьдесят, в таком возрасте уж никто не служит, а я вот… все тяну лямку. И не представляю, как буду жить, когда меня спишут вчистую. А ведь спишут. И теперь уж скоро.

Генерал задумался, погрустнел. И потом, словно очнувшись, продолжал:

– Квартиры у вас нет – это плохо. Я вчера говорил с командиром дивизии, он для вашего редактора найдет квартиру, а вам пока нет. Вся редакция без квартиры. Это ужасно, это надо как-то поправить.

Тут он снова замолчал, долго смотрел мне в глаза, точно хотел понять, можно ли мне доверить серьезное дело? И, пригласив меня на диван, близко ко мне наклонился: «Есть один вариант; он, правда, не совсем законный, но – справедливый. Тут у нас в штабе служил полковник Сварник. От нас он поехал в Харьков, в штаб округа, а оттуда его перевели в Москву – в Главный штаб Противовоздушной обороны. Как вы могли догадаться, он из тех людей, которые хотя и "беспачпортные бродяги", но устраиваться умеют хорошо. Пока мы с вами брали Берлин, они подбирались к нашим столичным городам: Москве, Ленинграду, Киеву. И везде их ждали свои люди, всюду им дали должности, квартиры… Ну, так вот… и Сварник. Он служил в нашем штабе несколько месяцев, но квартиру подыскал себе хорошую: и мебель в ней, и рояль… Полячишку одного потеснил, бывшего хозяина гастронома. А теперь, как мне говорили, он и в Харькове получил квартиру, и ее за собой оставил. Так вот я и говорю… Возьмите с собой товарищей по редакции, – кроме, конечно, Львова, – ну, и… займите квартиру. Только действуйте решительно, и – поздним вечером. А я прикажу хозяйственникам закрыть глаза на эту операцию. Квартира-то наша, дивизионная».

Я решительно поднялся и сказал:

– Есть, товарищ генерал! Благодарю вас за заботу об офицерах редакции.

Генерал тоже поднялся и на прощанье пожал мне руку.

Я немедленно приступил к созданию группы вторжения. Львова в редакции не было, и мы могли свободно обсудить нашу операцию. Сказал товарищам:

– Поздравьте меня – я получил квартиру.

Друзья мои понять не могли: как это я, бездетный, недавно

женившийся, а уже получил квартиру. Но из деликатности молчали. Я же их ободрил:

– Жилплощадь большая, могу и с вами поделиться.

– Как?

– А так: сдам вам большую комнату – живите. Тесновато будет двум-то семьям, но ведь в тесноте, да не в обиде.

Мякушко весь воспламенился, сжал в радостном волнении свои огромные кулаки:

– Иван! Это же здорово! Отведи нам хоть уголок.

Заговорил Семенов:

– Ну, тебе с твоей оравой уголка будет мало, а вот я с супругой и дочуркой, пожалуй, и в уголке помещусь. Остальную площадь комнаты – так и быть, заберешь себе.

И обратился ко мне:

– Спасибо, Иван. Пусти нас, пожалуйста. Я совсем измаялся, живу на окраине города в бывшей кладовке.

– Обо мне и говорить нечего! – воскликнул Мякушко. – Да моя Елена как узнает, что ты нас пускаешь на квартиру, обомрет от радости. А где квартира-то? Далеко отсюда?

– Совсем рядом. Я сейчас пойду смотреть ее. Хотите, пойдемте со мной.

– Пойдем! – метнулся к двери экспансивный Мякушко. – Две семьи в комнате, а все равно хорошо. Люди-то мы свои, чай поладим. У тебя там, может, и удобства есть, ребят моих будет где искупать.

– Все есть! – продолжал я их радовать. – И ванная, и горячая вода.

Видел, как они все больше воспламенялись ожиданием встречи с квартирой, и теперь уже боялся, как бы не сорвалась операция. Засветить такой надеждой и вдруг ее порушить – было бы ужасно.

Словно мушкетеры, отправились на дело. Я шел впереди с высоко поднятой головой, давая понять, что дело наше верное и квартира у нас в кармане. Товарищи же шли сзади и молчали, даже не пытаясь узнать, как это мне удалось выбить из командования квартиру. Редактор газеты стоял на очереди, а тут уж – на тебе, поднесли на блюдечке. Они, конечно, об этом думали, но боялись и слова проронить, дабы не порушить засветившее, но еще не состоявшееся счастье.

Квартира Сварника размещалась на втором этаже. Огромные окна и два балкона тянулись от крайнего подъезда и до конца дома, за которым начинался парк Высокого замка.

Генерал сказал, что там в одной из маленьких комнат живет с женой поляк Венерчук, бывший хозяин. Сварник чем-то

припугнул его, и тот покорно уступил ему квартиру. Он будто бы просил у Сварника две комнатушки, но тот на него прикрикнул: «Будешь рыпаться – арестую!» И тот не рыпался: жил так, что его никто не слышал и не видел.

При немцах он владел «Гастрономом». Видимо, этим и шантажировал его Сварник.

Оглядывая с улицы окна квартиры, я вспоминал рассказ генерала о Венерчуке, думал о том, как поведет себя поляк сейчас. Решил сразу же сказать, что отдаем ему и вторую комнату. Нам останутся три больших, а уж как их распределить, решим на месте.

– Ну, с Богом! – сказал я и двинулся в подъезд. На звонок нам долго не открывали. Однако я слышал кошачьи шаги у двери и громко крикнул:

– Откройте! Мы из штаба дивизии.

Замки загремели, и из-за цепей выглянула лысая голова пожилого господина.

– Открывайте, чего боитесь!

Низкорослый толстячок с круглыми испуганными глазами растворил перед нами двустворчатую дверь, пригласил войти. Я громко его поприветствовал и протянул руку. Он с готовностью и подобострастно здоровался и пятился назад, пропуская нас глубже в коридор. Я продолжал психическую атаку:

– Показывайте нам квартиру. Мы ваши новые соседи.

– А… документы… ордер?

Я будто его не слышал:

– У вас одна комната, теперь будет две. Занимайте угловую – ту, что предназначалась служанке.

– А-а-а… Спасибо, пан капитан, прошу, пожалуйста.

– Ключи. Давайте ключи от больших комнат.

Из-за его спины выглянула молодая женщина, – по виду дочь хозяина. Радостно запричитала:

– Спасибо, спасибо, добрый пан. Такой важный сердитый полковник отнял у нас мебель, рояль, а мне надо играть, я преподаю в школе музыку. Мы живем тесно, нам негде повернуться. Вы. правда, отдаете нам вторую комнату?…

– Занимайте хоть сегодня, только давайте ключи от этих больших комнат.

– Но там вещи Сварника! Он пан полковник, сердитый и может нас посадить в тюрьму. Да, он звонил из Москвы и сказал, что теперь он уже помощник главного военного министра.

– Ключи, ключи. Иначе мы сломаем дверь.

Я уже готов был выломать замок, но чувствовал, что ключи у них есть, и мне бы не хотелось портить дверь. И я не ошибся.

Хозяйка метнулась в свою комнату, принесла ключи. Распахнули дверь, и нам открылась не комната, а настоящий танцевальный зал. Тут было не менее сорока квадратных метров. У стен диваны, посредине огромный круглый стол.

– Вот это – да! – выдохнул Мякушко. – Есть где разгуляться.

Налево была дверь, – двустворчатая, белая, с бронзовой ручкой. Направо – такая же дверь. Я пошел направо, и тут была комната метров на двадцать пять, обитая зелеными обоями. У стены стоял кожаный диван, в углу – рояль. Был тут и стол, и стулья, на стенах висели картины. Я про себя подумал: «Займу эту комнату».

Повел их в комнату третью. Она была так же обставлена мебелью, и тоже с балконом, но раза в полтора больше, чем моя.

Повернулся к Мякушке:

– Нравится вам?

Тот пожал плечами: дескать, чего тут спрашивать?

– Неужели эту квартиру дали тебе одному?

– Ну, одному она, конечно, великовата, а вот если нам на троих…

И прошел в комнату среднюю, самую большую. Обращаясь к Саше, сказал:

– Ее можно перегородить.

– Да, из нее целая квартира выйдет.

– Ну, вот – и занимай.

– Я?… Эту комнату? Ты это серьезно, Иван?

– А чего же мы тут шутки будем разводить. Сегодня же иди за своей Валей, будем ночевать тут. И вы, капитан, – занимайте ту левую комнату. А я поселюсь в правой. Я ведь, знаете – пианист хороший. Веселить вас буду.

Друзья мои смотрели на меня и не верили ни глазам своим, ни ушам. Им такое счастье и во сне не снилось. А я пошел к соседям, осмотрел и их комнату, и ту, что отнял у них Сварник, – маленькую, выходящую окном во двор.

– Ну, вот… и вы будете жить попросторнее, а Сварнику скажете, что это я вам разрешил.

Толстячок подкатился ко мне:

– Прошу, пан, а как вас называть?

– Так и называйте: пан офицер. Русский офицер! – понятно?

– Да, да, понятно. Мне очень понятно.

У Венерчуков был телефон, я позвонил Надежде, хотел позвать в наше новое жилье, но ее отвезли в родильный дом.

На следующий день я стал отцом, у нас родилась девочка, которую мы назвали Светланой. Я уже предвкушал минуту, когда приду за Надеждой и приведу ее вместе с дочкой на новую

квартиру, которую я успел вычистить, вымыть и перенести в нее весь наш нехитрый скарб. Но как раз в это время на меня свалилось горе, которое придавило точно камнем. В больнице перед тем, как выписать Надежду, меня пригласил врач, маленький человек с бородкой, и на ломаном русско-украинском языке сказал, что моя дочь больная и на всю жизнь останется глубоким инвалидом. Отворачивая взгляд в сторону, намекнул, что подобных детей не обязательно брать, их можно оставить и в больнице.

Слушал я его как в тумане, как в глубоком горячечном бреду. И когда до меня дошел смысл его последнего предложения, поднялся и не своим голосом прокричал:

– Давайте мою дочь! Сейчас же!…

Ребенка завернули, и я бережно взял дочурку на руки. Надежда, ее мама и старшая сестра Рая шли позади и оживленно разговаривали и смеялись, – я понял, они не знают о болезни ребенка. Их смех мне казался ужасным святотатством, но я им не мешал, сердце мое учащенно билось, в голове электрической искрой металась мысль: инвалид, инвалид, инвалид!…

Вошел в подъезд, а за спиной раздался крик Раисы Николаевны:

– Иван! Куда ты? Ты, верно, рехнулся от радости. Наш подъезд вон там, за углом.

Я повернулся к ним, спокойно проговорил:

– Пойдемте. Я же вам говорил, что нашел новую квартиру.

– Но ты не сказал, что нашел ее в нашем доме, рядом с нами. Это очень хорошо, я рада…

Пришли в комнату, и я, бережно укладывая дочку на диване, не заметил, как обрадовалась Надежда и ее мать, очутившись в такой прекрасной комнате, я даже не слышал, что они говорили. Глухо сказал:

– Разверните девочку. Посмотрим…

– Ага, я сейчас. Мне уже пора кормить.

И развернула ребенка, стала кормить. А я смотрел на свою дочь и не мог понять, что же в ней увечного, почему она инвалид. Да и как можно было что-нибудь понять, если это было всего лишь розовое, морщинистое существо, крутило головкой, кричало, – и как-то пронзительно, надрывно.

А женщины все были веселые, радостно болтали, смеялись.

– Девочка-то здоровая? – спросил я как-то глухо и тревожно.

– Здоровая, здоровая! – закивала головой теща, Анна Яковлевна.

– Вы посмотрите хорошенько, – продолжал я некстати и неуместно – так, что встревожил Надежду и она стала неотрывно

смотреть на девочку. Подошла к ней и теща, потрепала за щечки, тронула ухо.

– Здоровая, – ишь, какая крикунья и резвушка. Вся в отца пошла. Глазки-то, глазки – синие, как васильки!…

– Вы должны знать, – продолжал я бухтеть, но, впрочем, заметно успокаиваясь. – Вы семерых воспитали, должны знать…

Теща засветила надежду: врач-то и ошибиться мог! И просто гадость захотел сказать. Вспомнил чьи-то разговоры о врачах-бендеровцах, о том, что, принимая младенцев при родах, они как-то ловко, движением большого пальца делают подвывихи в суставах и причиняют другие увечья. «Если так, – клокотала в голове ненависть, – застрелю этого козла!» – вспоминал я врача с бородкой.

– Ты что невеселый? – повернулась ко мне Рая. – Сына небось ждал, а родилась дочь. Подожди вот, привыкнешь к ней и так будешь рад…

– Да, да, – я рад, но только мне показалось… очень уж она маленькая.

– Как маленькая! – воскликнула Рая. – Три с половиной килограмма весит, а он – маленькая.

Я сходил на кухню, принес тарелки, вилки, и мы стали накрывать стол.

Я тогда ничего не сказал Надежде, но скоро мы убедились, что дочь наша здоровая, веселая и быстро развивается. Я потом ходил в родильный дом, обо всем рассказал главному врачу, и он мне не возражал и даже подтвердил, что в наследие от бендеровцев им действительно остались врачи-изверги, но тот с бородкой уж больше вредить не будет, его арестовали, был суд, и там выяснилось, что он продавал младенцев каким-то западным торговцам детьми. Врача этого будто бы расстреляли.

Тут будет уместно сказать, что дочь моя Светлана была абсолютно здоровой девочкой, в девять месяцев стала ходить, а в пятнадцать лет стала настоящей невестой. Она мне подарила трех внуков, правнука и правнучку; преподает в школе русский язык и литературу и пользуется всеобщей любовью своих учеников.

Но вернусь к тому времени. Судьба устроила мне целую серию испытаний: только оправился от удара, нанесенного мне извергом-врачом, стал привыкать к новой удобной и вполне счастливой жизни, как новое несчастье снежной лавиной свалилось мне на голову: во Львов приехал полковник Сварник. И утром мне позвонил Арустамян, голосом веселым, даже будто бы смешливым, но, впрочем, взволнованным, говорит:

– Это ты, капитан?… Я с тобой говорю? Что-то не узнаю голос. А?… С тобой?… Я слышал, у тебя маленький девочка

родился? У нас на Кавказе говорят: если родился мальчик, это к богатству, а если девочка – тоже неплохо, но и не так хорошо, чтобы звать друзей и пить вино.

– Я доволен, товарищ полковник. Дочь у меня хорошая.

– А я что говорю? Я тоже сказал: молодец. У тебя и дочь родился, и квартира есть. Говорят, квартиру сам взял, как на войне сопку берут или рубеж. И брал ее ночью, а? Чтобы никто не видел. Ну, квартира – особый вопрос. Ты заходи сейчас. Тут из Москвы полковник приехал, он хочет видеть тебя.

Я положил трубку и услышал жар во всем теле. В висках стучало точно молотками, щеки горели. Я понял: Арустамян ликует, я попался ему на зуб.

Напротив меня сидел и что-то писал Саша Семенов, рядом с ним стоял Мякушко.

Саша испуганно проговорил:

– Арустамян – да?

– Да, вызывает.

И вышел из комнаты.

На второй этаж и затем по коридору шел я медленно, старался успокоиться. Думал о том, что, кажется, в жизни не было у меня такой тяжелой ситуации. Не сомневался, что приехавший полковник – конечно же Сварник, и уже верил, что он и действительно состоит главным помощником при Министре. Представлял, как он вытряхнет нас из квартиры и как попадет за нас командиру дивизии, и особенно генералу Никифорову. Тут же решил: не выдавать генерала, а все взять на себя, и Сашу Семенова, и Мякушко не впутывать. Скажу: сам все решил и сам все проделал. Этак-то легче, и на душе будет спокойнее.

Вхожу в кабинет и вижу: на диване у окна сидит и сверкает торжествующим взором Арустамян и будто бы даже улыбается: ага, дескать, попался субчик! Теперь-то уж не отвертишься!…

За столом на месте Арустамяна сидел большой как медведь полковник в новенькой форме со сверкающими золотом погонами, на которых нахально и угрожающе, точно глаза хищного зверя, светятся звезды. Этот смотрит на меня откровенно враждебно и даже брезгливо, точно я раздавленная лягушка.

Рядом с ним сбоку стола сидит майор Шапиркин, – он наш, дивизионный, вроде бы начальник СМЕРШа. Это такая служба по борьбе со шпионами и всякими врагами – Смерть шпионам. Была у нас и на фронте такая служба, и я дважды попадал в ее лапы, но каждый раз меня выручал командир полка. Мне эта служба была ненавистной, и я откровенно ее боялся. Может быть, в следующих главах я расскажу, как и за что я попадал в ее лапы, но здесь я лишь замечу: вид майора Шапиркина обдал меня ледяным

ветром.

Голосом громким и по возможности спокойным я доложил Арустамяну:

– Товарищ полковник, капитан Дроздов явился по вашему вызову!

Стоял посредине кабинета, и Арустамян не предложил мне сесть.

– Вы служили в авиации, летали ночью?

– Так точно, товарищ полковник. Летали и днем и ночью.

– В артиллерии вы тоже служили?

– Так точно, служил.

– А за что вам из авиации дали по шее?

– Самолет потерял. Попал в резерв, а из него – в артиллерию.

– Потерять можно кошелек или бумажку моя секретарша теряет, а самолет? Его разве можно потерять?

На откровенно глупые вопросы я решил не отвечать.

Арустамян продолжал:

– Вот полковник из Москвы приехал, – домой приехал, а дома нет. Вы его ночью, как абрек, захватили. И рояль его продали, и диван кожаный – тоже продали. Посуда хрустальная была, много посуды – где она?…

– Я ничего не продавал, а посуда хрустальная в шкафу на кухне стоит. У меня свои тарелки есть, и стаканы тоже.

Чувствовал, как злоба подступила к горлу, – оскорбление бросили в лицо, грязное, гнусное. Почти задыхаясь от злобы, выдохнул:

– Я не вор и не жулик, и вы мне таких обвинений не шейте.

Словцо, оставшееся от моей беспризорной уличной жизни, вырвалось. Подумал: разговаривай вежливо, не теряй самообладания.

Но самообладание не потерять было трудно. Я тяжело дышал и чувствовал, как пол уходит из-под ног.

Заговорил майор – каким-то визгливым полуженским голосом:

– Партизан нашелся! Этак вам волю дай – не только квартиры занимать, но и хозяев с балконов начнут выбрасывать. Мерзавцев таких надо к стенке ставить!

– Я вам не мерзавец, а офицер, фронтовик! И прошу меня не оскорблять.

Дрогнуло мое терпение, рука автоматически дернулась к пистолету, и они, кажется, заметили мое движение, – Арустамян съежился, скороговоркой осадил майора:

– Прошу без оскорблений. Перед нами боевой офицер, не надо грубых слов…

Он и еще что-то говорил, но я не слышал, и уж, кажется, ничего не видел: туман застелил мои глаза, в голове шумело, руки тряслись. Я думал о пистолете, и не я сам, а кто-то другой во мне тихо, примиряюще говорил: «Успокойся, Ваня, это же не танковая атака на твою батарею, и снаряды возле пушек твоих не рвутся. Там угрожали твоей жизни, могли разбить всю батарею, побить людей, а здесь?… Ну, чего уж так-то?… Закипел, как самовар».

Однако голос этот хотя и звучал отчетливо, но я его плохо слышал, и не мог унять дрожь в руках и ногах… Вдруг развернулся и стремительным шагом направился к двери. И открыл ее коленкой, а закрыл так, что стекла в приемной задрожали и секретарша испуганно выскочила из-за стола.

Крупно, размашисто шагая, я вышел на улицу и хотел было идти домой или к Высокому замку, но вспомнил, что я не одет, а на улице холодно, с запада, с Карпатских гор, дует ледяной ветер.

Зашел в редакцию и на вопросы товарищей ничего не ответил, не спеша оделся, молча вышел.

Не знаю, как потом развивались события, несколько дней я не выходил на работу, сказался больным, лежал на кожаном диване, про который почему-то сказали, что я его продал, и думал о том, что служить больше не буду, подам рапорт об увольнении и уеду в Сталинград на Тракторный завод, где меня ждал директор Протасов, обещавший мне должность заместителя начальника цеха и квартиру.

Каждый день ко мне заходили Мякушко и Семенов, расспрашивали о моем разговоре с начальством, но я, невесело улыбаясь, отвечал:

– Поговорили. Начальство оно и есть начальство, любит поучать и стружку снимать.

Через три дня ко мне пришел редактор газеты старший лейтенант Львов. Надя заварила чай, у меня нашлась бутылка вина, и мы впервые с глазу на глаз поговорили с этим странным, все время молчавшим и хранившим какую-то тайну человеком.

Редактор сразу же меня утешил:

– Сварник уехал в Москву и велел передать вам: живите спокойно, охраняйте его квартиру и имущество, он к вам никаких претензий не имеет. И еще Сварник передал, что он перед вами извиняется за грубость майора. Когда вы ушли, оба полковника сделали майору замечание. Очевидно, он придет к вам извиняться.

Признался редактору: нам неловко, что вот вы, наш начальник, до сих пор не имеете жилья, а мы живем так широко.

Как раз в этот момент к нам зашел Саша Семенов. Он сказал:

– У меня вон какая комната; давайте разгородим ее надвое и живите с нами.

– Спасибо, Александр Николаевич, большое вам спасибо. Я снимаю уголок на окраине города у Лычаковского кладбища, ходить там опасно, вечерами останавливают бендеровцы… Так что, если вы не против, я к вам перееду.

Пришел и Мякушко, и весь этот разговор слышал, и уже на следующий день мы раздобыли большие листы фанеры и принялись разгораживать комнату. Редактор поселился у нас один, жена к нему приезжала, но лишь на короткое время. В Харькове у нее была хорошая работа, и она не хотела ее бросать.

Так накатила на меня и быстро пронеслась над головой грозовая туча. Небо засияло радостной голубизной, а облака снова стали розовыми.

Глава третья

Два события словно тракторным плугом пропахали борозду в моем сознании в эти первые годы послевоенной жизни: одно событие – это начатая Сталиным и кем-то внезапно прерванная кампания борьбы с космополитизмом и второе – попытка трех старших офицеров сделать из меня преступника.

Мне как бы приоткрылась дверь, через которую я увидел евреев. Я, конечно, и раньше их видел; еврейка служила у меня на батарее, несколько евреев мы видели в штабе полка, наконец, я слышал о них много анекдотов, но все нелестные аттестации, все мои невольные наблюдения не касались еврея, как национальности, они каждый раз относились к тому или другому человеку, но национальность?… Нет, я был сыном своего времени, мы и думать не смели о национальностях. Все равны, все одинаковы, а если уж еврей, так он непременно хороший, и умный, даже самый умный. Мы так были воспитаны. И если даже с неба нам на голову валились листовки, разбрасываемые немцами с самолетов, и в них я читал: «Иван! Тебя погнали на войну евреи, они в России захватили власть. Четыре брата Кагановичей – все наркомы. А Микоян, Орджоникидзе, Тевосян, Вышинский, Берия, Мехлис… Да и сам Сталин, грузинский еврей, женатый на сестре Кагановича. В правительстве ни одного русского! Кого ты защищаешь? Мы пришли освободить тебя. Бросай оружие!…»

Я, конечно, задумывался после сбросов такой ошеломляющей информации, но тут же себе говорил: значит они умные, значит так надо. Пишут же в газетах: партия – ум, честь и совесть эпохи. Она-то уж знает, что делает.

Так или примерно так я думал.

А тут мне в голову бросилась иная мысль: они не такие, как мы. У них нет Родины. Бродяги, не помнящие родства.

Недобрая молва о них, в том числе недавно прошумевшая, не напрасна. Ведь это партия – ум, честь и совесть эпохи – призывала нас бороться с ними.

Но даже и кампания борьбы с космополитизмом не внесла заметных корректив в мое сознание. Но вот случилась история с квартирой и тремя офицерами…

Надо было, чтобы оса ужалила, чтобы я посмотрел на нее и подумал, что же это за насекомое такое, которое так больно жалит? Это как по пословице: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Гром ударил, и я перекрестился. В одночасье я повзрослел. В

меня влетел вирус антисемитизма – так говорят евреи о людях, кто начинает их понимать. А ныне, когда их лицо увидели многие и ненависть к ним хлынула половодьем, они, обороняясь, выстреливают в русских патриотов более крепкими словами: нацист, фашист и так далее.

Дрогнула внедренная в меня с детства идея Маркса-Ленина об интернационализме, – в том виде, как нам ее толковали учителя, газеты и весь строй нашей советской жизни, а именно: в России живет много народов, и все они хорошие, все равны, и всем надо помогать – «развивать окраины». А самое худшее, что может быть в человеке, – это русский национализм, а того еще хуже – великодержавный шовинизм.

Троцкий в свое время на радостях воскликнул: «Будь проклят патриотизм!» Зиновьев требовал от партии «подсекать головку нашего русского шовинизма», «каленым железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм». Теоретик партии Бухарин разъяснял: «… мы в качестве бывшей великодержавной нации должны… поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям». Великий Отец народов Сосо Джугашвили, то есть Сталин, почти до самой войны упорно повторял, что «великодержавный шовинизм является главной опасностью в области национальной политики».

Слово «русский» становилось ругательным, оно исчезло со страниц школьных учебников, из газет, журналов, а потом и со страниц книг художественной литературы. Армия русских писателей, которую возглавил Максим Горький, принялась старательно утюжить мозги доверчивых соотечественников, железной метлой выметала из сознания читателей все, что касалось подлинной истории русского государства.

Безыменский выговаривал мечту своих сородичей:

О скоро ли рукою жесткой
Рассеюшку с пути столкнут?

Еще круче выражался Александровский:

Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.

Евреям удалось с 1917 года установить табу на изучение сущности еврея. Я теперь, взошедший на рубеж двадцатого столетия, могу сказать: запрет на изучение еврея и еврейства был величайшим вашим достижением, господа иудеи. Но этот же запрет и сыграл с вами злую шутку. На глазах у одного лишь поколения вы в России из элитного, самого привилегированного народа превратились в так называемый «малый народ», над которым черным и зловещим облаком повисло проклятье русских

людей. Вам теперь неуютно и зябко, вы толпами бежите из России, ищете уголок, где вас плохо знают. Вас окончательно разоблачили любимые вами же молодые реформаторы-ельцинисты Гайдары, Чубайсы, Немцовы. Захватив наши деньги, забежав в кремлевские коридоры, они остановили заводы и шахты, обескровили армию, разорили всю страну. Ваши кумиры и вундеркинды стали самыми презренными людьми в России, во всем славянском и арабском мире. Ненависть к ним опрокинулась на ваши головы. Вам теперь одно осталось: бежать из России, – и так, чтобы вас не нашли и не догнали.

Итак – евреи!…

Мысль эта электрической искрой ворвалась в сознание и осветила мозг. Это было прозрение. К хорошему вело оно меня или плохому, я не думал, но то, что это было прозрением, я уже понял тогда. Мне это новое состояние не прибавило радости, – оно из тех умственных приобретений, о которых народ наш еще в древности сложил пословицу «Горе от ума», но я уже тогда вступил на такую дорожку жизни, где принцип «Меньше знаешь, крепче спишь» не мог стать для меня руководящим.

Разумеется, к такому прозрению вела меня вся предыдущая жизнь, и раньше было немало поводов для подобных размышлений, но, повторяю: я был загипнотизирован системой воспитания, душа и ум были закрыты для восприятия иных убеждений, кроме советских. Теперь я вижу, что очень многие люди моего поколения так и не могли отряхнуть с себя груз навешенной им на уши лжи, но многие, слава Богу, очнулись, посмотрели на мир своими глазами. И я теперь могу сказать: чем сильнее ум и острее восприятие окружающего мира, тем скорее пробуждаются в нем инстинкты сохранения рода. Обществу, как и армии, нужны свои командиры и полководцы. Случается, что народ деградирует, блуждает в потемках, и он даже может погибнуть, если из среды своей не выделит лидера, который умом, словно лучом прожектора, осветит дорогу к победе.

Что же до меня – долго я барахтался в потемках. Добролюбов в двадцать три года «светил» всему человечеству, Лермонтов и Есенин стали первыми на Руси поэтами, я же в этом возрасте «впервые задумался».

Теперь, когда мы отбросили в сторону учебники, составленные евреями, – ведь даже грамматику русского языка писал еврей Бархударов, – и нам открылись подлинные документы новейшей истории, по-иному смотрим и на многие эпизоды собственной жизни. Оказалось, что не только моя жизнь, но и судьба всей моей семьи, да и трагическая участь родной деревни Ананьено, в прошлом Слепцовки, стала следствием

бесконечных реформ, проводимых в России сплошь нерусским правительством во главе с Бланком-Лениным, а затем Джугашвили-Сталиным.

Хотя на свет я и произведен русскими людьми, но уже с младенческих лет жил по рецептам и планам евреев.

Иудейские имена я произнес уже в трехлетнем возрасте; повторял за взрослыми забавный стишок-игру:

Ленин-Троцкий и Щипай
Ехали на лодке,
Ленин-Троцкий утонул,
Кто остался в лодке?

Малыши кричали: «Щипай, Щипай!…» Ну, их и начинали щипать.

Разумеется, мы тогда не знали, что главные лица в нашем государстве Ленин и Троцкий были евреями. Об этом не знали и наши родители. Мне думается, о существовании этого племени немногие знали и в нашей деревне, – по крайней мере, слова «еврей» я от них не слышал. И уж, конечно, вряд ли кто в деревне, где насчитывалось сорок дворов и триста жителей, знал авторов реформ, которые нам навязывали крикливые уполномоченные в кожаных куртках и с наганами в руках. Помню, как они налетели на деревню и по домам заметалось слово «коммуна». Человек десять зашли и к нам. Расселись за столом под иконами и стали что-то говорить. Мы, младшая поросль семьи, лежали на полатях и, свесив головы, смотрели и слушали. Не помню, что говорили незваные гости, но хорошо помню, как страшно, не по-человечьи, выла мать и как она потом упала на пол, билась головой, кричала: «Не отдам корову, не дам свинок и овец!…»

Нам оставляли одних кур, а всю остальную живность и муку от прошлого урожая приказали отдать на общий двор, где будет хозяйство коммуны.

И еще помню, как с полатей слез шестнадцатилетний Федор, вытащил из-под лавки топор и, подняв его над головой, сказал: «Кто подойдет к амбару – зарублю».

Потом «гости» удалились, и скоро мы уже от кого-то услышали, что Федор стоял у дверей амбара, размахивал топором, но два уполномоченных залезли на крышу и оттуда прыгнули на него, отняли топор, а самого связали и бросили под куст смородины.

Мне тогда было лет шесть-семь; со мной на полатях лежали младшая сестренка Маня и уж совсем маленькие братишки Евгений и Васенька. Еще у нас были братья Дмитрий, Сергей, Федор и семнадцатилетняя сестра Анна. Дмитрий и Сергей в это время были где-то на заработках, сестра Анна батрачила у тетки в

Самаре.

Какая же могучая русская семья! Сколько бы добрых дел наворотила в своей деревне и как бы двинулась вперед от нее родная Слепцовка!

Скотину нашу свели на общий двор, продукты отобрали, и мы стали питаться из общего котла, в котором варили кашу. Нам, детям, было даже интересно бегать к котлу с чашкой и обедать на глазах у всей деревни, но вот однажды кашу нам не сварили, и колокол, объявлявший весть «Иди есть», тревожно и таинственно замолчал. Отец пришел с улицы и объявил, что продукты в коммуне кончились, обедов не будет. И в сердцах заключил: «Все разворовали, гады!» Мать снова ударилась в слезы и снова страшно не по-людски выла.

Коммуна просуществовала с весны и до августа, мы еще чем-то питались, но теперь уже все чаще слышали слово: «Голод». А потом отец где-то раздобыл лошадь, посадил нас, малых ребят, на повозку и мы поехали в город Сердобск, до которого от нас было верст шестьдесят. Там в армейской части рядовым бойцом служил старший брат Дмитрий.

И еще помню, как мы с месяц до первых осенних дождей жили где-то в сарае у лесника, а затем пешим ходом, как безлошадные цыгане, двинулись обратно в родную деревню. А еще через месяц Федор с Анной уезжали в Сталинград. Отец уговорил их взять с собой и меня, при этом сказав: «Город не даст ему пропасть».

Так за одно лишь лето была на распыл пущена большая крестьянская семья. Участь нашу разделило большинство односельчан. Одних раскулачили, других репрессировали, третьих, как нас, придушили голодом. Сидевшие в Кремле кагановичи, мехлисы, вышинские и прочие коганы, жаждавшие поскорее «столкнуть Рассеюшку», могли радоваться: нашу деревню они столкнули. Сорок ладных нарядных домов трещали и рушились, словно все они гнездились на склоне вулкана, а вулкан проснулся и разметал домики.

Наша семья раскололась на части: мы поехали в Сталинград, два старших брата ушли в какую-то деревню на Тамбовщине помогать мастеру-валяльщику валенок, отец с матерью и тремя малолетними детьми остались в деревне. Отец скоро умрет от разрыва сердца, – не выдержало оно физических и душевных мук, а мама с детишками подалась к нам в Сталинград, в надежде, что город и им не даст пропасть. Отсюда она переезжает в богатую донскую станицу Качалинскую, а я попадаю на улицу, где под открытым небом и прожил четыре года.

Впоследствии я не однажды порывался уже в те ранние годы

своей жизни вернуться на «малую Родину» – так велико притяжение родной земли! Слышал от залетавших в Сталинград земляков, что жива еще наша Слепцовка, что не добили ее ни мор реформаторов, ни раскулачивание, ни репрессии большевичков в кожаных тужурках, и даже великая война с немцами ее не прикончила.

И после войны еще теплился в ней жилой дух, но вот явилась к малоумному Брежневу диво, похожее на Новодворскую и американскую людоедку Олбрайт, академик-социолог Заславская и посоветовала извести на русской земле «неперспективные деревни». Ну, и срыли бульдозером остатки некогда многолюдной, нарядной, песенной русской деревеньки, которую не смогли одолеть ни набеги монгол и татар, ни чумной и холерный мор, – деревни, что двести или триста лет назад была поставлена моими предками в прихоперской лесостепи, на границе трех срединных областей России: Пензенской, Саратовской и Тамбовской; на пятачке, где произросли Лермонтов, Белинский и еще много-много людей, дививших своими делами шар земной. Это про наши края, узнав, как много великих людей подарили они миру, воскликнул Чехов: «Вива ля Пенза!».

Недавно вышла моя воспоминательная книга «Последний Иван». В ней я написал: «Слепцовка… снесена с лица Пензенской земли, и на месте ее летом шумят хлеба, а зимой лежит снег, и лишь гул пролетающего самолета изредка тревожит белую тишину. Временами приезжаю в родную Пензу, обхожу ее старые улицы и новые районы, а затем еду в Тарханы. Там поклонюсь праху Лермонтова и пешком, а кое-где на попутных, направляюсь в Бековo – и дальше, к родным местам, они с возрастом тянут к себе все сильнее. Часами стою посредине поля, и картины детства, образы милых сердцу людей встают передо мной, как живые».

Я отвлекся, память увела меня далеко в мир детства. Я возвращаюсь к львовскому периоду.

Прошли два года моей редакционной жизни; я, конечно, не стал еще вполне профессионалом, но основы журналистского дела постиг, научился краткости изложения своих мыслей, точности суждений – и, пожалуй, главное, что дала мне та первая маленькая газета «На боевом посту», – это никогда не покидающее чувство ответственности за каждое свое печатное слово.

Вспыхнувшая мечта стать столичным журналистом погасла сама собой, из «Красной звезды» вестей не было, я перестал и думать о возможности переезда в Москву. Но однажды вдруг

снова вздыбились эти мои волнения: в редакцию зашел лектор политотдела капитан Протасов, – Протасовы часто встречались на моем жизненном пути, – и предложил мне погулять в скверике. Мы вышли, и он стал рассказывать: в прошлом еще до войны он преподавал в Саратовском государственном педагогическом институте русскую литературу, а еще раньше писал стихи, мечтал стать литератором.

– Читаю в газетах ваши короткие рассказы, – сказал капитан,– и вспоминаю свою молодость. Если бы продолжал писать стихи, может быть, сейчас бы уже стал серьезным поэтом, но… война спутала мои карты. А вам… У вас… может получиться. Не бросайте перо, пишите больше и чаще. Мне кажется, у вас есть задатки.

Я смутился и отвечал искренне:

– Я пишу о солдатской жизни, картинки армейского быта. Кому они нужны?… К тому же, признаюсь вам честно, пишу их для заработка. Теперь стало полегче, а еще в прошлом году было трудно кормить семью.

– Вы еще очень молодой, вам не хватает знаний. Извините, но будем говорить начистоту: для литератора нужны эрудиция, образование. У вас же… Вы знаете только войну.

Мне хотелось возразить: Лермонтов в молодом возрасте окончил свой путь, а как писал, и сколько написал! А Добролюбов, Есенин!…

– Мне мои рассказики надоели. Это такие пустяки… Тут и говорить не о чем.

Я не лукавил, и это слышалось в интонациях моего голоса. Протасов был на редкость умным человеком и, как я потом убедился, хорошо знал литературу. Больше того, он чувствовал тайные пружины литературной техники, мог глубоко и всесторонне анализировать поэзию, прозу. И я благодарю судьбу за то, что она послала мне этого человека. Мы встретились с ним в тот момент, когда я уже разуверился в своих способностях и решил не забираться высоко в планах на будущее, бросить мечты о серьезных рассказах и тем более о произведениях крупных – повестях, романах. Свою жизненную стратегию я теперь сосредоточивал на журналистике: пытался освоить репортаж, а затем очерк. Не покидала мысль перебраться в столицу, стать видным журналистом.

– Вы задумывались над таким фактом, – продолжал Протасов, – есть целые народы, у которых нет ни одного заметного писателя? Такие народы есть. Писатель, как и всякий художник, – явление биологическое. Мы пока не знаем, но я подозреваю и еще одну важную особенность художника и всякого творца: это

явление космическое. На планете есть точки, где особую силу имеют потоки энергии снизу и сверху, нужна гармония этих сил, животворящая согласованность, только в этом случае может родиться талант.

– Ну, если так, – вздохнул я облегченно, словно меня освободили от тяжкого груза, – тогда и вовсе надо бросить мысли о писательстве.

Протасов ничего не сказал на эту мою сентенцию; он некоторое время смотрел куда-то в сторону, а затем уже другим тоном проговорил:

– Что вы сделали Арустамяну? Он вас не любит.

– Ничего. Я решительно ничего плохого ему не делал.

– С полгода назад из «Красной звезды» в политотдел пришел запрос; просили у вас согласия на переезд в Москву.

– Я о таком запросе не слышал.

– Да, конечно, – продолжал Протасов, – вы и не могли слышать. Арустамян собственной рукой написал в редакцию: «Политотдел дивизии имеет серьезные претензии к Дроздову и не может рекомендовать его на работу в центральный орган печати Советской Армии».

Кровь бросилась мне в голову; судьба посылала шанс, но большеносый злобный армянин одним подлым ударом растоптал мою мечту. «Что я ему сделал? – спрашивал я себя. – Откуда такая ненависть? За что он мне мстит?»

Хотел тут же пойти к Арустамяну и потребовать объяснения, но Протасов мне сказал:

– К нам едет комиссия из Москвы, так он сейчас вызывает сотрудников и каждому задает один и тот же вопрос: «Что вы обо мне думаете?»

– Вызывал и вас?

– Да, вызывал. Я ему сказал: «Думаю о вас то же, что и каждый офицер политотдела». Он вытаращил на меня свои рачьи глаза, точно я упал с потолка, а потом, заикаясь, стал говорить:

– Да?… Интересно! Но откуда? Как ты можете знать, что думают другие? Ты спрашивал? Они отвечали?… А почему я не знаю?

Полковник был в больших неладах с русским языком, путал падежи, времена, числа. И трудно было понять, армянская у него стилистика или еврейская. Он продолжал:

– В Армении есть гора Арарат. А здесь, в дивизии, я для вас Арарат! И если ты имеете против меня фигу – приди и покажи. Но лучше ее не показывать. Армяне говорят: фигу против начальства держи в кармане. Я знаю: вы все ждете комиссию? И когда она приедет, покажете фигу. Вы народ хитрый и всю стратегию

держишь в уме.

Протасов его пугал:

– Фигу против начальства имеет каждый, но лично я показывать ее не собираюсь. Пока не собираюсь.

– Что значит, пока?…

Разговор в этом роде продолжался битый час. Полковник в чем-то нагрешил и ждал возмездия. Капитан Протасов, опытный педагог и психолог, умело скрывал неприязнь к начальнику, но не развеивал в нем тревожных ожиданий. Арустамяна дружно не любили офицеры политотдела, шла молва, что с ним не считается командир дивизии генерал-майор Шраменко и уж совсем не любит его заместитель комдива генерал Никифоров. Этот считал, и не однажды о том высказывался, что Арустамян нигде не учился и ничего в военном деле не смыслит, а схлопотал высокое звание какими-то нечистыми путями. И однажды при большом стечении офицеров громко проговорил: «В царской армии даже во время войны таких чудиков не было». Никифоров, в прошлом дворянин, был убежденным противником комиссарского института в армии, относился к политработникам, как маршал Жуков: откровенно их третировал.

Мне позвонили из политотдела: вызывает полковник.

Арустамян сидел за столом и при моем появлении будто бы приподнялся в кресле, подался вперед. Широко поставленные глаза смотрели на меня твердо, но как-то не очень прямо. Я, кажется, только сейчас заметил, что левый глаз у него не слушается, и в то время, когда он правый устремил на меня, левый уплывает в сторону, к окну. Я как журналист и как будущий литератор развивал в себе способность подмечать все подробности, а на лицах собеседников улавливать детали. Помнил выражение Толстого: «Гениальность в деталях», и на всякого, с кем говорил, смотрел во все глаза, думал, как бы я описал этого человека, как бы изобразил и внешний вид, и его манеру говорить. И, наверное, если бы посмотреть на меня со стороны, то я тоже выглядел не совсем нормальным. Так же внимательно и как бы с неожиданным изумлением я смотрел на полковника. И он под напором такого моего взгляда дрогнул, подался назад.

– Что ты на меня так смотрите?

– Как?

– А так. Будто я у тебя сто рублей украл.

– Сто рублей? У меня нет таких денег. У меня есть шесть рублей. Жена на обед дала.

– Ты как говоришь с начальником политотдела? Я что для тебя товарищ, да? У тебя тоже фига, и ты не держишь ее в

кармане, а суешь мне под нос.

– Какая фига? – удивился я искренне.

– Молчать! Смеяться вздумал. Я Вам покажу на дверь. Завтра из армии уволю.

– Товарищ полковник! Прошу не кричать. За армию я не держусь. Увольняйте. Поеду на свой завод. А слово «фига» видно армянское, я вашего языка не знаю.

– Фига – армянское слово? Где вы его видели, в Армении? Это вы, русские, такое слово изобрели, а что оно означает?… Вот что!

И он показал мне фигу. Я рассмеялся. И полковник засмеялся. Покачал головой:

– А еще писатель! Русских слов не знаешь.

Он махнул рукой:

– Ладно, идите. Зачем я вас вызывал – забыл, а когда вспомню – позову.

Я обрадовался, что разговор получился бесконфликтный, в веселом настроении возвращался в редакцию. Видимо, полковник постеснялся спрашивать у меня о том, как я к нему отношусь. А, может, веселый оборот беседы изменил его желание: армяне любят и понимают юмор, умеют рассказывать о разных смешных ситуациях. Мне кажется, прослужи я во львовской дивизии еще несколько лет, я бы поладил с полковником. Но встреча эта оказалась последней, и я о нем больше ничего не слышал.

Приближалась зима 1948 года, по штабу разнеслась весть: командир дивизии генерал Шраменко переводится в Вологду. Там создается Северный район Противовоздушной обороны, и наш генерал назначается командующим района. Несомненно, это было повышение; район – вроде округа, с дивизии на округ – конечно же повышение.

И другая весть: меня назначают ответственным секретарем газеты, которая там будет.

Надежда обрадовалась. Она северянка, вологодский климат ей нравится – ближе к родине.

Не знаю, какую роль в моем назначении сыграл наш генерал; я с ним по делам никогда не встречался, он меня не знает – скорее всего, назначение мне вышло сверху.

Солдатские сборы недолги, вечером садимся в поезд, а через две ночи мы уже в Вологде. Утро холодное, но с неба светит неяркое солнце и ветра нет. Таксисту говорю:

– Нужна квартира. Нет ли у вас на примете?

– Есть. Женщина сдает комнату – рядом с нашим Кремлем.

Штаб района расположился в только что отстроенном, еще пахнущем штукатуркой двухэтажном домике на краю города. В последних числах ноября прошел обильный снег, установились

морозы. Небо чистое, звезды веселые, мигают синими блестками, будто там наверху кружит свои игры хоровод девиц, заманивает к себе ребят. Я бегу на службу рано утром, под сапогами весело поскрипывает снег, и мне хорошо, настроение бодрое. Расстояние в три или четыре километра я пробегаю за двадцать минут, и вот уже сижу в уголке за своим маленьким столиком в большой комнате, где расположился весь политотдел и редакция. Собственно, в редакции нас пока двое, я и редактор майор Цыбенко. По всему вижу: человек он хороший. Ведет себя просто, улыбается и ко всем окружающим нас людям относится так, будто давно их знает и всех любит. Служил он в какой-то фронтовой газете ответственным секретарем, и это обстоятельство меня удручает. Он секретарское дело хорошо знает, а для меня оно внове, и я не уверен, что справлюсь с ним. Однажды я ему сказал: «Секретарем не работал, не знаю, сумею ли?», на что он махнул рукой: «А-а, справитесь». Газеты у нас пока не было, названия ее мы не знали, и майор, к моему изумлению, о газете даже не думал. Одно мне было известно о начальнике: у него очень молодая и красивая жена. Она любит наряжаться, вкусно есть и вечерами ходит на танцы.

В комнате нас человек двадцать; мы сидим как школьники, за маленькими столами, и делать нам нечего. Кто читает газеты, кто чего-то пишет, а кто в своем кружке расскажет веселую историю – и тогда в комнате вспыхнет смех здоровых мужиков, которым посчастливилось пройти всю войну и остаться живыми.

Несколько дней проходило тактическое учение первых зенитных частей, прибывших в район, и на этом учении случилось несчастье: погиб наводчик орудия рядовой Засекин. Два или три дня майор Шубин, занимавший должность политинформатора, писал донесение в Москву об этом учении, и тогда все мы молчали, но донесение майор написал и отнес генералу Шраменко, и прежнее веселое настроение у нас снова восстановилось.

Но вот перед самым обедом в комнату к нам вошел генерал – сутуловатый, грузный, медведеподобный мужчина лет пятидесяти. Во Львове я его видел часто, но все издалека, а здесь он вот, рядом, стоит посреди комнаты и что-то ищет в листах донесения, которое написал майор Шубин.

– Все верно, складно вы написали, только вот начало…

Мы все замерли, вытянув шеи, а генерал, сказав «только вот начало», почесал голову, которая была у него совершенно лысой и какой-то бесформенной, глянул в одну сторону, в другую, снова чесал голову, крякнул, прокашлялся.

– Да, начало… как бы это сказать потише, половчее.

Мы не знали, что там сказано в начале, и все смотрели на майора, писавшего донесение, ожидая от него ответа, пояснений. Но майор замер по стойке «смирно», стоял как памятник и смотрел на генерала так, будто тот замахнулся на него палкой. А генерал все яростнее чесал лысину и тихо, охриплым простуженным голосом говорил:

– Оно, конечно, так… Солдата нет, попал под колесо пушки, но мы его доставили в больницу, и он, бедняга, еще два часа жил, и врачи молодцы – сделали операцию. А тут сразу, в первой же строке «На учениях убит солдат». Ну, почему убит? Попал под колесо, задавлен… Это другое дело, а то – убит! А?…

И, обращаясь к нам:

– Он, конечно, помер, но… не так же сразу, и не убит, наконец.

Генерал тряхнул донесением:

– Посудите сами: командующий получает бумагу, начинает читать, и – сразу: «убит солдат». А?… Ну, что он подумает? Война давно окончена, а у них убивают.

Снова чесал лысину и читал бумагу. И снова к нам:

– А?… Как вы думаете? Нельзя ли полегче. Ну так… погиб. Конечно, и надо сообщить об этом, но… помягче, где-нибудь в середине. – И вдруг: – Кто тут из редакции? Может, им поручить?

Повернулся ко мне – знал меня, потому и посмотрел в мою сторону и решительно шагнул к моему столу, положил донесение.

– Врать, конечно, не надо и скрывать – тоже, но как-нибудь эдак, потише. Попытайтесь.

И направился к выходу.

Мне было неловко исправлять работу товарища, да еще старшего по званию, но делать было нечего: склонился над донесением и стал читать. Донесение начиналось словами: «В Северном районе ПВО проходили учения и на них, к несчастью, убит солдат».

Я задумался: почему, с какой целью майор в первых же строках извещал Командующего войсками ПВО страны о таком печальном событии? Или поразить хотел, приковать внимание к сочиненному им документу – спросить бы майора, ведь он рядом сидит, но я, конечно, ничего и ни у кого не спрашивал. Перечитал раза два документ, – составлен он был неплохо, я зрительно представил все перипетии «боев», схваток зенитчиков с воздушными и наземными целями, и многое оставил так, как было у майора, но все, что связано с гибелью солдата, переделал. Поместил эпизод в то место, где «бои» достигли крайнего напряжения, зенитчики действовали быстро и умело, «без

промаха разили врага», и тут вмонтировал сообщение о неловкости наводчика, попавшего под колесо пушки. Подробно рассказал, как быстро командиры организовали ему первую помощь, а затем отправили в городскую больницу. И здесь врачи сделали операцию, но то ли увечье было слишком серьезным, то ли операция оказалась неудачной, – солдата спасти не удалось. А дальше снова пошло описание хода учений, умелых действий командиров и так далее.

Отнес донесение в приемную генерала.

А жизнь продолжала катить дни, недели, месяцы службы на новом месте, и, как говорят незадачливые литераторы, «мороз крепчал». Вологда не Львов, тут в январе нет промозглых ночей и мокрого снега, и нет Карпатских гор, с которых дует и дует ветер. И не поймешь, что это вытворяет природа, как назвать такие ее шалости. Север шуток не любит, он обстоятелен и постоянен, как серьезный мужчина, если уж зима так зима. Небо ясное, светлое, а звезды веселые, и морозец день ото дня хватает крепче. Он и щеки пожилой женщины подрумянит, а стариков понуждает двигаться быстрее. Офицерская одежда против вологодской зимы слабовата; хорошо, что воевать мне пришлось на Украине, а затем в Европе. Там хоть и случаются холода, но от них тебя шерстяные носки спасут, воротник шинели укроет. Здесь же едва вышел за порог, как мороз тебя охватил с головы до ног, к спине словно железный лист студеный подложили. Ноги так и рвутся вперед, начищенные до блеска хромовые сапоги точно птицы стелются над скрипучим снегом. Путь от квартиры до штаба стал за четверть часа пробегать.

А в штабе тепло и офицерам по-прежнему нечего делать. У нас еще и начальника политотдела нет, и для редакции ни помещения, ни машин не дали. И сотрудников нет. словно забыли о нас.

Но события разные случаются. В областной газете «Красный Север» прочел информацию: «В Вологде пройдет Всесоюзное совещание молодых писателей. Начинается конкурс на лучшее литературное произведение. Стихи и рассказы победителей будут напечатаны в газете». Меня как шилом укололи: ночью не сплю, сижу и пишу рассказ на конкурс. О чем же? О передовом конюхе. Надо же! О конюхе писать вздумал. Да я и в конюшне-то никогда не был, верхом на лошади не ездил. А пишу о конюхе потому, что в газетах только и пишут о колхозах, о том, как поднимается сельское хозяйство. Рассказ назвали не «Конюх», как я хотел, а «Радость труда». Заголовок невыразительный, пресный, но, о радость! Рассказ напечатан! Сижу за своим маленьким столиком в штабе и украдкой смотрю на офицеров: знают ли они о моей

победе? Ведь это же своеобразный рекорд. Рассказов-то написано много. Наверное, каждый участник совещания принес в газету, – я так думаю, – а напечатали меня. Господи, какая же это радость! Оказывается, я умею писать. А я уже было совсем бросил это занятие. Накатила очередная волна неверия, и – бросил. Да и то сказать: дело-то какое! Писательство! Верно капитан Протасов говорил: таланты редки. Да и средние способности, как я думаю, тоже не часты. Одно дело – заметки в газету писать, и совсем другое – рассказы.

Офицеры сидят как ни в чем не бывало. «Красный Север» никто не читает, а все выписывают «Красную звезду», о моей победе никто и не догадывается. И даже майор Цыбенко, улыбчивый и со всеми приятный, ничего мне не скажет, не поздравит. Так и хочется сунуть ему под нос газету с рассказом, да ладно уж, обойдусь без их поздравлений.

А на душе праздник. И так хочется продолжать писать и посылать маленькие зарисовки и даже рассказы в другие газеты, в журналы, как я посылал во Львове. Вологда – лесная область. Только и слышишь рассказы о лесорубах. Работают на морозе, им трудно, а они на двести процентов выполняют нормы.

И в голову бросается мысль: напишу повесть о лесорубах! И это будет начало моей серьезной работы в литературе.

Редактору сказал:

– Поищу новую квартиру, дайте мне день.

– Это мысль! – воскликнул Цыбенко. – И для меня посмотри, да так, чтобы подальше от Клуба офицеров. Моя жена на танцы зачастила, а мне это не нравится.

И вот я свободен. Поднялся в четыре утра, а в пять уже сидел в пригородном поезде, ехал к ближайшему леспромхозу. Начальник леспромхоза удивился: военный журналист интересуется лесным делом. Сказал, что очередной «свистун» – так там называли паровозик, бегавший в глубь лесоразработок по узкоколейке, – будет в двенадцать дня, а сейчас девять. Ждите. Но мне не терпелось, и я решил семь километров пробежать на своих по шпалам лесной железной дороги. Начальник оглядел мою шинелишку, хромовые сапожки, покачал головой: холодновато будет. Но я бодро заявил: ничего! И подался в глубь леса. И бежал на рысях, и семь километров минут в сорок преодолел. И мороза не заметил, а ртутный столбик, между тем, показывал минус 34.

В лесу, как мне показалось, было теплее. Недаром говорят: лес – шуба.

Бригада лесорубов встретила меня с молчаливым удивлением. Разглядывали мои сапоги, очевидно думали: чудак какой-то, в этакий мороз почти необутый.

Бригадир показал на поваленное дерево, где сидело человек пятнадцать, сказал:

– Мы сейчас костер разведем.

Костер развели быстро, сухие березовые ветки вспыхнули как порох и скоро воспламенили лежавшие под ними комли, толстые лесины. Я сидел на подставленном мне чурбаке, вглядывался в лица задубелых от мороза, суровых и даже мрачноватых мужиков. Они, казалось, были недовольны моим присутствием и не скрывали этого.

Откуда-то из леса вывернулась стайка заиндевелых на морозе рабочих, и один из них, толстомордый, в новой фуфайке и добротном меховом треухе, видимо старший или пахан, тронул богатыря палочкой за подбородок и, протягивая ногу, сказал:

– А ну, стащи валенок.

Богатырь отвел в сторону ногу. Тот вскинулся:

– Чи-во-о! Права качать вздумал? Я те дам.

И с размаху ударил смерзшейся рукавицей богатыря. Удар был сильным, по щеке струился ручеек крови. Богатырь неспешно вытер рукавом фуфайки кровь, поднялся и пошел к связке приготовленного для трелевки леса. Там выбрал подходящую лесину и направился к обидчику. Тот испугался, выставил вперед руки:

– Ну, ну – медведь нечесаный!

Но тот уже занес над головой лесину, и она засвистела в воздухе. Пахан отпрянул, но было поздно: лесина со страшной силой опустилась ему на плечо, развалив почти напополам его тело. Толстомордый не успел и ойкнуть, зарылся в снег, окрашивая фуфайку и края образовавшейся ямки в красный цвет. А медведь невозмутимо и спокойно отнес лесину и вернулся на свое место. Бригадир постоял над трупом и кому-то махнул рукой. Из леса вышли два охранника. Выяснив обстоятельства дела, дали команду:

– Убрать. И подальше. Ночью волки съедят.

Окровавленное место засыпали снегом, и бригадир громко возвестил начало работы.

Завизжали бензопилы, затрещали трелевочные трактора, зашелестели ветви сваленных деревьев, которых тут же подцепляли тросами и вывозили на поляну. Я еще сидел возле костра, делая вид, что только что случившийся страшный эпизод не вывел меня из душевного равновесия. Ко мне подошел бригадир и тоном смущенного извиняющегося человека проговорил:

– Тут у нас работают лагерники. У них такое случается.

– А тому… ну, этому, который убил человека, что-нибудь

будет?

– А-а… – махнул рукой бригадир. – Еще спасибо скажут.

Много я видел смертей на фронте, – не скажу, что научился спокойно созерцать этот последний акт человеческой жизни, но здесь несчастный сам спровоцировал свой бесславный конец. Чрезмерная наглость нередко бумерангом опрокидывает на себя возмездие, – наглеца разве только мать пожалеет.

До обеда я ходил по всем участкам, заглядывал в самые дальние уголки, и, – странное дело! – ноги мои не замерзли, а после обеда, которым меня щедро угостили лесорубы, я много писал в блокноте, помечал названия механизмов, виды работ, старался овладеть всей терминологией лесорубов. Записывал их речь, ругань, реплики – всю ту экзотику лесного дела, которая, кстати сказать, довольно красочна и остроумна.

Лесорубы остались во вторую смену – выполняли какой-то горящий план, а я часу в восьмом вечера, простившись с бригадиром и с тем, кто так решительно отстоял свое право на достоинство, двинулся по той же узкоколейке к железнодорожной станции.

Домой приехал часу в двенадцатом. Надежда накормила меня ужином, и я, к ее немалому изумлению, не лег сразу спать, а сел за стол и стал писать «Лесную повесть». Забегая вперед, скажу, что она и до сих пор не напечатана, и печатать ее я не желаю, но в жизни моей она сыграла роль значительно большую, чем любой из моих опубликованных романов.

Большую группу офицеров назначили в инспекционную поездку по частям. Генеральный штаб армии смотрел больше на север, чем на запад. Опасность теперь с севера – со стороны Англии и Америки. Все главные политики уже обозначили контуры будущих схваток; Россия объявлялась для мира капиталистов врагом номер один. Сталин разворачивал оборону нового типа, на новых направлениях, и главным образом противовоздушную и морскую. Район ленинградский, мурманский, архангельский оснащались средствами обнаружения и оповещения воздушной опасности. Меры принимались самые суровые, под стать военным.

Генерал Шраменко, инструктируя нас, сказал:

– Радарные средства обнаружения целей должны работать круглосуточно. Офицер, не обеспечивший такую работу, будет предаваться суду военного трибунала и приговариваться к расстрелу.

Мне предписывалось посетить самую дальнюю радарную установку.

Помню, какой сильный мороз ударил в день нашего отъезда.

Я взял вещмешок, краюху хлеба и теплые носки. Надежда хотела одеть меня в свою теплую кофту, но я наотрез отказался. Однако она сунула эту кофту в вещмешок, и я в своем долгом и опасном путешествии не однажды убеждался, как эта кофта служила мне, а в иных критических обстоятельствах и спасала от жесточайшей простуды.

Утром мы приехали в Беломорск. Кто-то сказал:

– На улице сорок восемь градусов.

Я никогда не знал такого холода. Пока мы шли, а точнее, бежали от поезда до машины, которую нам прислали из части, мороз сковал все тело словно раскаленным ледяным железом. И потом, пока мы минут пятнадцать-двадцать ехали по городу и за город, холод лишил меня возможности дышать и говорить. Горло остыло и, казалось, заморозилось, тело под шинелью теряло чувствительность. Брезентовый кузов машины ничем не обогревался. Но вот мы у подъезда части, высыпали, как горох, и вбежали в помещение. В кабинете командира полка я запустил руку в вещмешок, – тут ли Надина кофта? – но как ее наденешь, женскую-то?

В Беломорске мы вместе работали дня три, и все эти дни мороз держался жестокий, а затем начальник нашей группы мне сказал:

– Вам купили билет до Мурманска, поедете в ваш конечный пункт – Линахамари. Это на границе с Финляндией или Норвегией, можно сказать, край нашей земли.

Удивительное дело: в Мурманске, хотя от Беломорска он и недалеко, было совсем тепло, почти ноль градусов. Оказалось, так влияет на погоду течение Гольфстрим, которое совсем рядом мощно катит свои теплые воды по Баренцеву морю.

До Линахамари плыл теплоходом: старая, ржавая посудина, таскавшая грузы и людей всю войну и счастливо уцелевшая, долго ползла по рукаву моря, врезавшемуся в тело Кольского полуострова и образовавшему удобнейшую бухту для мурманского порта, а затем вышли в открытое море и почти тут же попали в жестокий шторм. Сидя в трюме под задней палубой, я вначале не понимал, что происходит. Меня качало так, что я не мог стоять на ногах. Сидевшая в уголке на задней лавке молоденькая девчонка обхватила руками голову, уткнулась в хозяйственную сумку – ее рвало. Вспомнил, что был летчиком и будто бы не очень боялся болтанки, удивился тому, что тошнило и меня. Выворачивало наизнанку. Но я все-таки держался. Поднялся наверх и увидел поразившую меня картину: на капитанском мостике за рулем стоял огромный матрос, размахивал рукой, кому-то подавал команды, а временами

отворачивался в сторону… – его рвало. А волны, как горы, катили на теплоход, вздымали его и затем кидали в сторону как щепку. Пробегавшего матроса я спросил:

– Это что – шторм?

– Да еще какой! Такого за всю войну не помню.

И метнулся вверх по борту. Я видел, как его захлестнуло водой и он, упав, покатился к поручням, а там схватился за столбик ограды и ждал, пока схлынет волна. Потом вскочил и снова побежал, но теперь он уже бежал вниз, потому что задняя палуба вздыбилась. Когда он снова подбежал ко мне, я спросил:

– Буфет тут есть?

Он показал на дверь, ведущую в трюм носовой палубы, и я метнулся туда. Помня, что тошнота отступает, если во время болтанки на самолете что-нибудь жуешь, я купил круг колбасы, пирожков с капустой и еще каких-то сладостей и побежал в свой трюм. Девушку нашел полумертвой. Приподнял ее голову и сунул в рот колбасу, потом пирожок…

– Ешь! Не так тошнить будет.

Она стала есть, и ей сделалось легче. Думаю, не столько еда помогает в этих случаях, сколько жевательные движения челюстей. Срабатывает какой-то рефлекс, приглушающий тошноту. Мы с ней вместе ели много, она, посиневшая, с растрепанными волосами, даже улыбнулась, одарив меня благодарным взглядом.

– Спасибо вам.

И потом спросила:

– Откуда вы знаете… что еда помогает?

– Знаю. Умные люди говорили.

А шторм между тем разыгрывался все сильнее, и, когда под лучами северного сияния показались очертания полуострова Рыбачий, капитан отвернул от него теплоход подальше, дабы не налететь на прибрежные скалы.

Утром шторм стал затихать и утих настолько, что мы смогли пристать к дощатому причалу, который от прикосновения судна весь скрипел и качался, и грозил рассыпаться в щепки.

С теплохода я пересел на попутную грузовую машину и поехал в район города Никеля, где еще с царских времен добывали эту драгоценную руду, а Ленин сдал шахты в концессию англичанам, и они даже во время войны не прерывали тут добычи никеля.

С некоторым волнением подходил к радарной установке, которую определил по антенне. Она, слава Богу, подобно свиному уху, крутилась, и это, как я думал, означало бдение прибористов, их неусыпное наблюдение за воздушной обстановкой. Однако

через минуту я в этом разочаровался. Дверь в подземное помещение была приоткрытой, и я незаметно вошел в операторскую. Экраны слежения светились, на них мелькали какие-то точки, но солдат не было. Я посидел у одного экрана, у другого – в помещение никто не заходил. Потом в дверях, весело насвистывая, появился сержант. Увидев меня, он в растерянности остановился, приоткрыл рот, хотел что-то спросить, но воздуха ему не хватало. Потом выдохнул:

– Вы кто?

Я ответил не сразу.

– Я?… А кого бы вы хотели видеть?

– Я?…

– Да, вы?

– Не знаю. Я вас вынужден арестовать, – сказал он неожиданно смело.

– Меня?

– Да, вас.

– А за что?

– За то, что вошли сюда. Здесь секретный пост. Боевая точка.

– Дверь была открытой, я и вошел. Кто у вас начальник?

– Лейтенант. А что?… Какое вам дело?

– Я его родственник.

– Родственник?

– Да, родственник. Позовите его.

– Его нет на месте. Он в Норвегии, то есть за границей. Пошел обедать.

– Как это… за границу пошел обедать?

– Она тут близко – Норвегия. Там, – показал он в раскрытую дверь, – нейтральная полоса, а за ней Норвегия. И Финляндия рядом. А если на машине, то можно и в Швецию поехать. Она тоже недалеко. Вы попали на такой пятачок земли, с которого четыре государства видны. Вон на том холмике норвежский хуторок, там у лейтенанта невеста живет, и он ходит к ней обедать. Но кто вы такой? Я с вами заболтался, а у нас учение.

Сержант шагнул за дверь и ударил в рельсу. И тотчас в операторскую, как горох, посыпались солдаты. И сели за свои пульты.

– Продолжать наблюдение! – скомандовал сержант. И, обращаясь к крайнему оператору: – Ефрейтор Иванов! Вы остаетесь за меня, а я покажу капитану нашу казарму.

Мы вышли из помещения, и он плотно закрыл дверь. При этом сказал:

– Проветрили, хватит.

И сержант снова обратился ко мне:

– Вы кто?

– Мы этот вопрос уже обсудили. Но вы скажите: как это у вас получилось, что на дежурстве никого не было?

– Ну, во-первых: у нас обед, а во-вторых, мы через каждые три часа проветриваем помещение.

– Но ведь дежурство, как я понимаю, должно быть беспрерывным.

– Оно и есть беспрерывное. Станция работает, антенна крутится, экраны светятся. Разве не так?

Наш разговор походил на игру в какие-то загадки. Я пытался внушить сержанту, что дежурство у них прерывалось, а он мне доказывал, что никакого нарушения правил службы не было. И делал это так хитро и лукаво, что я, не будучи специалистом по радарам, не мог понять, где он врет, а где говорит правду.

– Вы мне голову не морочьте, – заговорил я строго, – скажите лучше, часто у вас бывает такое?

Сержант погрустнел, сдвинул черные, красиво очерченные брови. Он, видимо, подумал: а вдруг этот капитан – проверяющий? Глуховатым голосом проговорил:

– Покажите ваши документы.

Я показал командировочное удостоверение за подписью командующего генерала Шраменко. Сержант читал и перечитывал бумагу, потом аккуратно свернул ее и подал мне. Сказал:

– У нас сейчас обед, – вы, наверное, проголодались? Пойдемте, мы вас накормим.

– Не откажусь.

И мы пошли в столовую. По дороге он продолжал:

– Вы, товарищ капитан, видно на таких станциях, как наша, не работали и не знаете, что она имеет звуковой сигнал. В случае появления цели, за триста километров до нее, включается сирена и солдаты занимают свои места. Так что никакого нарушения у нас на станции не было.

Я промолчал, сделал вид, что удовлетворен объяснением. Мы как раз входили в казарму, где в дальнем отсеке располагалась столовая. И не успели мы приступить к трапезе, как явился начальник станции. Доложил:

– Товарищ капитан! Начальник станции слежения и оповещения воздушных целей лейтенант Хвалынский явился!

Мы поздоровались, и он приказал повару принести и ему обед. Видимо, там, за границей, он пообедать не успел. Я же сделал вид, что ничего не знаю о его визитах к невесте.

Лейтенант был молод, и, судя по его блестевшим как звездочки пуговицам, щегольски наморщенным в гармошку

сапогам, – и по всему виду, счастливо возвышенному, юношески восторженному, он больше был занят делами любовными, чем своей станцией. Видно, дочь норвежского рыбака, беловолосая, синеглазая Брунхильда, каковыми были все женщины на здешнем побережье, крепко ему понравилась, и он подолгу пропадал у нее в гостях. Впрочем, я не торопился делать выводы и никакого своего неудовольствия не показывал. Но подумал, что начальником станции надо назначать офицера женатого, и хорошо бы фронтовика. Очень уж дело серьезное.

Беседовали с лейтенантом. Я спрашивал:

– Позволяете ли вы хотя бы на несколько минут всем солдатам покидать свои места у экранов?

– По Боевому уставу не положено, однако случаются ситуации…

Лейтенант, видно, понял «ситуацию», которую я застал, и старался смягчить мои впечатления. Передо мной был умный парень, и этим он мне нравился.

– Минута-другая ничего не решает; за минуту самолет пролетит десять километров, и мы его все равно поймаем. А кроме того, станции поставлены в шахматном порядке и покрывают все пространство от севера до главных промышленных городов. На западе, востоке и на юге действует такая же система. Москва и Ленинград окружены семью поясами радарного слежения.

Лейтенант улыбнулся и заключил свой рассказ словами:

– Так что, товарищ капитан, не беспокойтесь: мы свою службу знаем. Хлеб едим не даром.

Он уже понял, что я не очень-то сведущ и серьезную инспекцию провести не смогу. И с чувством снисходительного превосходства разъяснял суть дела. Впрочем, чувствовалась в его словах и тревога: вдруг как напишет донесение, обвинит в срыве дежурства?

– А вы какую должность занимаете в штабе?

– Я журналист. Газеты у нас еще нет, но двух работников уже прислали.

– Наверное, вам дали задание проверить, налажено ли у нас беспрерывное дежурство?

– Да, именно так и сказали.

– И что же? Какое у вас составилось мнение?

– Вошел на станцию, а там никого нет. Сержант что-то говорил в оправдание, но я его плохо понял.

– Ну, да, сержант на язык горазд; но только стоит мне отлучиться, как он непременно что-нибудь вытворит. Тут, конечно, полного срыва дежурства нет, станция-то работает, но

Боевой устав он нарушил. Если можно, вы нас простите, а я подобного больше не допущу.

– Хорошо, я вам поверю, – обрадовался я, убедившись, что лейтенант честно во всем признается и серьезно относится к делу. – Докладывать не стану, а то ведь… знаете, какой приказ Верховного Главнокомандующего?

– Да, отдают под трибунал, а тот… – он чиркнул по шее, – секир башка. А расставаться с жизнью в моем возрасте – ох, как неохота.

Мы пришли в его комнату,– она находилась в той же солдатской казарме. Лейтенант достал бутылку вина с яркой иностранной наклейкой, налил мне в красивый фужер, – тоже, видно, не нашего происхождения, заговорил доверительно:

– Тут у нас дружба с норвежцами; они, правда, к нам не ходят, а нас охотно принимают.

– Но как же вы переходите границу?

– А тут рядом пограничная застава, а начальник мой приятель. Хотите, познакомлю вас?

Я на мгновение забыл о своем важном положении:

– Конечно, буду рад.

И в этот момент, как по щучьему велению, в комнату вошел лейтенант в зеленых погонах, растворил улыбку до ушей, встал передо мной по стойке «смирно». Мы познакомились, а через час были у него на заставе, где служило всего несколько человек, а еще через час оба лейтенанта наладили доску на высоких «ногах», перекинули ее через нейтральную полосу на норвежскую землю, и сделали мне жест рукой: мол, добро пожаловать в Норвегию. Я сделал шагов десять и был в Норвегии – государстве, никогда не воевавшем с нами и видом походившем на мирно лежащую собаку, хвост которой омывался морем Баренцевым, а нос уткнулся в море Северное. Мне почудилось, что на чужой земле темень полярной ночи будто бы сгустилась, звезды на небе вдруг потухли, а со стороны моря подул холодный и влажный воздух. Холмик, черневший на горизонте, пропал, и только три огня дома, куда мы шли, продолжали светить нам, будто мы корабли в море, а они маяки и указывали нам путь движения.

Шли мы не больше десяти минут; у ворот во двор нас встретил большой пес, он визжал и крутился возле моих ног, радостно знакомясь с еще не бывавшим здесь человеком.

Из дома вышел хозяин – мужчина лет пятидесяти с крупной головой и золотыми кудряшками волос. Он показался мне не очень любезным, что-то проговорил на своем языке, впустил нас в большую горницу, а сам удалился в другую комнату, плотно прикрыв за собою дверь. Некоторое время мы сидели одни на

лавке за большим столом под иконами, как у нас в деревенских избах, и я чувствовал себя неловко. Но мои друзья весело болтали и посматривали на дверь в дальнем углу горницы, – оттуда, наконец, появилась девушка лет шестнадцати, рослая, синеглазая, с пухлыми как у ребенка щеками. Она церемонно мне поклонилась и сделала книксен на манер русских барышень прежнего времени. Потом удалилась за висящую у края печки портьеру и долго оттуда не выходила. Лейтенант Хвалынский подмигнул нам и нырнул к ней за портьеру. Скоро они несли чайный прибор, поднос с румяными душистыми лепешками и со сливками, молоком, сметаной. Начался наш дружеский ужин. Девушка молчала, а мы весело болтали, забыв, что мы в гостях, да еще за границей. Подобные застолья, видимо, здесь, случались нередко.

Прожил я на радарной станции три или четыре дня и засобирался домой. Так же на попутной машине приехал в порт. И тут меня ожидало сообщение, от которого я оцепенел: навигация кончилась, теплоходов больше не будет до следующего сезона.

– А как же я теперь? – невольно вырвалось у меня.

Стоявший рядом парень невозмутимо проговорил:

– Пешочком. До Мурманска не так уж и далеко – полтораста верст с небольшим будет. Всего-то!

– Но ведь ночь. И, как я слышал, дорог тут нет.

– И ночь, и дорог нет. Росомахи по тундре бегают, а еще и волки голодные рыщут. Да ведь делать-то нечего! Не куковать же вам тут до марта. А и в марте неизвестно, придет ли посудина? Дыра тут, край земли!

Парень крякнул и шагнул в темноту. Я оглянулся вокруг – ни души. Не с кем посоветоваться: в какую сторону идти, как идти, что запасти в дорогу? На беду и небо заволокло тучами, сыпал мелкий колючий снег, море глухо угрожающе шумело. Дощатый причал, как больной старик, надсадно скрипел.

Невдалеке на берегу разглядел силуэты двух человек. Подошел к ним, спросил, где я могу купить хлеба, колбасу, спички. Они показали тропинку.

– Идите по ней. Там магазин.

Закупил четыре килограмма хлеба, три круга копченой колбасы, сахару и десять бутылок нарзана. Поклажа вышла тяжеловатой, но я все уложил в вещмешок, закинул его за плечи и спросил у продавщицы:

– Как мне пройти до Мурманска?

– До Мурманска? – вскинулась она и даже отступила от меня, как от сумасшедшего.

– Да, мне нужно идти в Мурманск.

– Пешком?

– А как? Разве тут есть какой транспорт?

– Нет, тут нет ни транспорта, ни дорог. Вам надо идти на восток и держаться берега моря, но не так близко. У моря овраги, ямы, и много болот. Лучше идти стороной, но всегда на восток. У вас есть компас?

– Нет, компаса нет. А вы можете его продать?

– У меня тоже его нет, и достать его нельзя. Тут недавно геологи искали – не нашли.

– Ну, ладно. Я знаю, как без компаса определять стороны света.

– По звездам?

– По звездам легко, но вот сегодня их не видно.

– Сегодня пойдете на маяк. Он на востоке, и вы пройдете пятнадцать километров до него и столько же от него. А там видно будет. Может, небо откроется.

И еще долго я говорил с продавщицей, и хотя она была молоденькой девочкой и сама ни в каких походах не бывала, но много мне дала полезных сведений, а потом вышла со мной на двор и показала маяк. Я сердечно ее благодарил, взял ее руку, прислонился к ней щекой, и слышал, как энергия ангельского, но, впрочем, могучего существа, перетекает в мое тело. Никогда не поминал Бога, но тут сказал:

– Храни вас Бог!

И отправился в свое рискованное путешествие.

Природа неласково меня провожала. Не прошел я и километра, как тучи, и без того темные, тяжело ползущие, стали еще темнее и сыпанули на меня заряды колючего снега, словно хотели остановить, загородить дорогу. И маяк вдруг пропал, и сзади портовых огней уж не было видно; я набрал полную грудь воздуха, громко проговорил:

– Иди, Ваня! Назад дороги нет.

Почему-то назвал себя Ваней, как в детстве, когда частенько случались нелегкие, почти безвыходные обстоятельства, я говорил себе: не робей, Ваня, и как-то с ними справлялся, и замечал: из каждой трудной ситуации выходил как бы обновленным, повзрослевшим и более сильным. О фронтовой жизни и говорить не приходится, тут что ни день, то и новые трудности, да подчас такие, что кажется, последний миг жизни настал.

И вот странная, необъяснимая природа психики человека: стоило было сказать: «Назад дороги нет», как тотчас и задышалось легче, и шаг стал веселее: уверенно шел я в

непроглядную темень и даже как будто запел песню:

Дан приказ ему на запад,

Ей в другую сторону…

Прошел километр, другой – и холодные волны снега схлынули, небо побледнело, и будто бы одинокая звездочка весело мигнула, – впрочем, тут же игриво спряталась в толще облаков.

Часы показывали четыре – начало вечера. Решил идти, пока не устану.

Неожиданно под ногами, точно спинка змеи, блеснул ручеек. Вспомнил, кто-то говорил, что в прибрежной полосе, похожей на тундру, много разных источников – родники, ручьи, ручейки. Но рек тут поблизости нет. И, следовательно, не надо искать переправ.

Зачерпнул ладонями воду, понюхал: пахло родниковой свежестью, таинственной подземной силой. Сделал глоток, другой – обрадовался. Ключевая! Значит, не будет у меня проблемы с водой. И рюкзак облегчится.

Земля покрыта тонким слоем снега, шагается легко, как по ковру, глаза начинают привыкать к темноте, и то ли небо временами проясняется, то ли уж вижу я, как филин, но все чаще навстречу, точно путники, движутся какие-то тени. Подойду ближе – кусты, карликовые березы, другие деревья, которым названия не знаю. От этих встреч становится веселее; вот уж когда убеждаешься, что деревья тоже живые, и встречи с ними радуют, хочется каждому сказать: «Здравствуй, старина! Ну, как ты тут? Скучновато, небось?…» Касаюсь рукой ствола, мокрых холодных ветвей. И иду дальше. Но вдруг вспоминаю: на деревьях сидят росомахи! И радость сменяется тревогой, даже чувством страха. Зорче всматриваюсь в темноту, обхожу стороной кусты и деревья.

Появилась другая ободряющая деталь: маяк береговой. Рассказывали, что он маленький, самодельный и живет на нем древний старик, не поладивший с миром, – вроде отшельника. И конура для жизни у него такая, что едва сам помещается. Решил не заходить к нему, не тратить время.

Вот он и маях; поравнялся с ним. Пытаюсь на глаз определить до него расстояние, – пожалуй, километра три-четыре будет. Это хорошо, именно на таком удалении от берега я и решил держаться. Берег, конечно, не ровен, не линейкой отмерен, где отдаляться будет, а где и близко подступится, но на ходу буду корректировать маршрут.

От маяка вроде бы пошел веселее; через два часа хода и он уж растворился во мраке. Теперь на небо стал чаще посматривать,

ждал, когда прояснится и я увижу Полярную звезду, Большую и Малую медведицу, и красную планету Марс, и все расположение небесных светил. Составлю треугольники, уточню маршрут. Не зря же в летной школе астронавигацию учил. В полете мог по звездам маршрут рассчитать. Потом в артиллерии топографию и геодезию изучал. В крайнем случае по стволам деревьев линию движения определю: северная сторона мшистая, влажная, шершавая, а южная глаже и суше будет.

Иду этак, разные варианты прикидываю, а небо все мрачнее, и сыростью дышит; – вот-вот снег из туч повалит, а то и дождь. «Не повезло же мне с погодой», – ползут невеселые думы, а сам вперед зорче всматриваюсь, по сторонам верчу голову: нет ли деревьев, не караулят ли меня кусты, а в них росомахи. Зверь этот коварный и страшный, на кошку большую похож и очень сильный. В одно мгновение голову скальпирует, и никакая ловкость тебе не поможет.

Поворачиваюсь назад и замечаю слабые мерцающие огоньки. Сначала думаю, что это звездочки, но, прикинув, нахожу, что огоньки стелются по земле. «Волки!» – пронзает мысль. И я останавливаюсь. Огоньков много: четыре, шесть, восемь. Семья, выводок. Видимо, голодные и ждут, когда я лягу спать или что случится со мной. Им бы, конечно, неплохой ужин был.

Вынул пистолет, проверил, заряжен ли? И вторую обойму в шинельном кармане нащупал. Двенадцать патронов, стреляю я неплохо – отобьюсь. Но тут же и другие мысли лезут в голову: что если нападут все сразу?…

По коже мурашки побежали. Вроде бы и не робкого десятка, и вооружен; кроме пистолета большой складной нож в кармане, а поди ж ты, как страх спину холодит.

Обыкновенно мысль противная одна в голове не ходит, к ней тотчас и вторая, и третья присоединяются. А как спать буду? Костер бы развел, а из чего его разведешь? Ну, положим, наломаешь сучья с березки – они сырые. Куст засохший найдешь – долго ли гореть будет?

Наконец, где спать лягу? На снегу? На мокрой земле?… Как же я обо всем этом не подумал раньше. Уж не вернуться ли назад?…

С минуту стоял в раздумье. Но потом крепко сжал кулак, поднял над головой: не трусь! Иди вперед. Назад пути нет.

И двинулся дальше.

Пытался считать шаги, сверять их с часами, но тут же решил: занятие это пустое. И без того знаю: крепкий бодрый шаг будет равен шести-семи километрам в час.

Огоньки позади светятся и будто бы догоняют. Я уже к ним

привык и иду спокойно. Пытаюсь услышать шум моря, но шума нет, и неба не вижу, только улавливаю слабый шелест облаков, коловращение сырых масс воздуха. Мог бы держаться левее, ближе к берегу, да все время помню: у берега сырые низины, болота, ямы и овраги. Мысленным взором окидываю расстилающееся впереди пространство: что ожидает меня, если отклонюсь вправо? А ничего страшного. Там тянется железная дорога: Кандалакша–Мурманск. Рельсы под ногами увижу.

И от этих ободряющих мыслей шаг становится веселее. Вот уж и полночь. Восемь часов хода, с двумя-тремя перерывами на отдых. Тридцать-сорок километров позади. Надо подумывать о ночлеге. Одно только скверно: огоньки продолжают за мной катиться. Уж не наваждение ли какое?…

Два огня засветились и впереди. Сначала слабо, а потом сильнее, сильнее. Эти на глаза волка не похожи, свет от них все ярче и все шире. «Костры!» – радостно бросилось в голову И я сворачиваю в их сторону.

Откуда только взялись силы: словно скаковая лошадь, получив в бок шпоры, перешел на рысь. Впереди люди, ужин, отдых, – и стая преследующих волков меня уже не достанет.

Да, теперь я отчетливо вижу два костра, только, к сожалению, они затухают. Подхожу ближе: между кострами что-то чернеет. Силуэтов людей не видно. То ли лежащий человек, то ли постель или какие вещи?… Тот костер, что поближе, отбрасывает красный свет, и я вижу лицо, длинные волосы, – кажется, женщина! Уж не мертвая ли?… Окликаю:

– Извините, я заблудился, не покажете ли мне дорогу?

– А вы кто?

Голос девичий, может, даже ребенок.

– А вы можете ко мне повернуться?

– Нет, мне больно.

– Больно? Но что же у вас болит?

– Все тело. У меня радикулит.

– Радикулит? Но он бывает в спине.

– Да, в спине, но все равно: поворачиваться нельзя: больно. Зайдите с другой стороны. Я вас увижу.

Снял вещмешок и зашел с другой стороны, здесь я мог разглядеть лицо лежащей, но свет от другого костра затухал, и я не мог определить возраста девочки.

– Тебе сколько лет? – невольно вырвалось у меня.

– А это важно?

– Конечно, важно! Должен же я знать, с кем имею дело.

– А я не хочу иметь с вами никакого дела.

– Резонно. Однако я должен знать, самостоятельная ты или

так… подросток.

– А вы самостоятельный?

– Да, конечно.

– Чтой-то не видно. Ну, ладно: я вас боюсь. Отойдите от меня подальше.

– Меня? Боитесь?… Я офицер, капитан артиллерии.

– Здесь нет артиллерии, и вам нечего тут делать, но если вы настоящий мужчина, вы меня не тронете. Я же больная, а больных даже волки не трогают. Ну, ладно. Никакой вы не капитан, а скажите: сколько вам лет?

– До пенсии еще далеко, лет десять надо служить.

– Десять… до пенсии? Значит, вы старый. А голос молодой. Я молодых боюсь, а если старый – ничего. Вы даже можете прилечь ко мне на край спального мешка.

– А почему вы молодых боитесь?

– Они глупые. И не знаешь, что им взбредет в голову. Пусть лучше старый.

– Однако ты, наверное, морочишь мне голову и смеешься надо мной. Говори, кто ты такая и почему здесь одна? Наверное, тут где-то поблизости твои товарищи и они сейчас придут?

– Мой отец геолог, тут где-то его партия, и мы ее искали. Но меня сковал радикулит, – да такой, что ни встать, ни сесть я не могу. Папа пошел в шахтерский поселок за машиной, да вот… нет и нет. Он, наверное, затерялся. А я тут одна боюсь. Там вон речушка, к ней подходили волки на водопой. У меня есть ружье, но я же не могу шевельнуть рукой. И еще в моем рюкзаке есть топор, вы можете срубить сучья и бросить в костер.

– Вот это деловой разговор.

Я достал топор и пошел к реке, которая блеснула матовой свинцовой полосой, стал искать сухие деревья. Скоро я нарубил охапку засохших березок, а затем и другую, и третью, и два костра снова запылали ярким пламенем. В их свете я разглядел лицо девушки, а точнее, девочки, – так она была молода. Достал свои продукты и предложил ей со мной поужинать, но она отказалась, сославшись на боли во всех суставах. Сделала усилие, чтобы освободить для меня часть спального мешка, на которую и я бы мог прилечь. И при этом сказала:

– Я теперь вижу вас; вы и не старый и не молодой, но военный, и я вас не боюсь. А у вас есть жена?

– Есть. И дочка есть. Они в Вологде, и скоро я к ним приеду.

Девочка лежала на спине, смотрела в небо. В ее больших и черных как угольки глазах метались всполохи пламени, и это придавало ей вид фантастического существа, упавшего с другой планеты. Видимо, она хотела спать; глаза ее то закрывались, то

открывались, а потом и дыхание изменилось, стало глубоким и шумным.

Я подложил под голову свой вещмешок, привалился к девочке и скоро тоже заснул. И спал очень крепко, как только спал на войне после изнурительных походов и бессонных ночей. И ничего не видел во сне, ничего не слышал, – и не знаю, сколько проспал, как вдруг у самого уха явственно раздался голос мамы:

– Ванятка, вставай! Вставай, милый, вставай.

Так мама будила в детстве. И я открыл глаза. И меня поразил мрак, царивший вокруг. Костры потухли, и я ничего не видел, а только совсем рядом кто-то горячо дышал и будто мокрыми теплыми губами касался моей щеки. Я вздрогнул и хотел подняться, но два горящих глаза давили меня, прижимали к земле. «Волки!» – бросилось в голову, и я рукой потянулся к пистолету, выхватил его и выстрелил. Темень огласилась страшным воем, и глаза шарахнулись в сторону, а где-то в глубине ночного мрака завыли другие волки. Я снова выстрелил, – теперь уже для устрашения всей стаи. Громовые раскаты двух выстрелов вспарывали темень, гул и треск от них, казалось, раскололи землю, разбудили небо, и тучи с шумом понеслись над головой.

Рядом со мной вырос силуэт человека.

– Что случилось? Вы кого убили?

Я повернулся.

– А… ваш радикулит?

– Радикулит?

– Да, радикулит? Вы же не могли рукой шевельнуть.

– Да, не могла, а теперь… могу. И вот… – ноги ходят. Видите?

Прошла к костру, бросила в потухшие головешки сухие ветки. Огонь вспыхнул. Девушка подняла на меня глаза:

– Как вас зовут?…

– Капитан… Ваня. Иван…

– Нужно что-нибудь одно: лучше капитан.

– У меня имя хорошее. Иван. Немцы на войне всех русских Иванами называли.

– Нет, имя нехорошее – Иван! Разве можно так… Иваном человека называть. Это раньше стариков так звали. Другое дело – Эдик, Эдуард! Или Гоэлро. У нас физрука так звали: Гоэлро Фомич. Звучно и – непонятно. Девочки любят, когда непонятно. А, кроме того, человек вы женатый, семейный. У вас дочь есть, а я скажу: Ваня, Иван. Нет, я капитаном буду вас звать. Капитан – красиво. У руля стоит, корабль в море ведет.

– Ну, ладно, – сказал я обиженно. – Раскудахталась. Ты лучше

пощупай то место, где был радикулит. Не вернется ли он снова?

Она щупала нижнюю часть спины.

– Нет, не вернется. А вернется – снова выстрелишь… У тебя пули еще есть?

– Стреляет не пуля, а патрон. Есть у меня патроны.

– А меня Ниной зовут. Я Нина Истомина, будем знакомы. Кому сказать – не поверят: выстрел, ваш выстрел. Я так испугалась… Вскочила, – и вот… нет радикулита. Смешно.

Нарубили веток, запалили костры. Пламя от них вздымалось к небу, искры дождем осыпали тундру. Я вспомнил, как мне рассказывал брат Федор: он тоже чудесным образом излечился от радикулита. Сидел в санатории за столом с больным – сердечником. Обедали. И вдруг сосед схватился за сердце: «Ой!» – и повалился со стула. Федор вскочил, наклонился к нему и, увидев, что тот мертв, кинулся бежать за врачом. Нашел врача, привел его к умершему и тут только вспомнил о своем радикулите. Его как ни бывало!

Рассказал эту историю Нине, и мы долго смеялись.

Со стороны моря потянуло ветром – влажным и будто бы теплым. Потом налетели резкие порывы, подхватили горящие головешки, унесли в темноту. Огоньки еще с минуту метались по тундре, прыгали вверх-вниз, пунктирами трассирующих пуль резали пространство, но тут же растворялись во мраке, который на глазах сдвигался в сторону от моря. И на открывшемся небе среди ярко засиявших звезд вначале чуть заметно, но затем все отчетливее и шире заиграли розово-зеленые и желто-синие полосы… Начинался концерт световой музыки – северное сияние. Я еще со школьных лет слышал о таком явлении, – и читал, и знал, что именно здесь, в Заполярье, оно и бывает, но вот увидел его и не поверил глазам: так неожиданно и мощно заполыхало небо, так фантастически прекрасно оно было.

Порывы ветра становились сильнее; Нина от страха схватилась за рукав моей шинели, я придерживал на голове шапку, и задрав голову, смотрел на валившиеся к горизонту тучи и на все ярче и шире закипавшее в небе разноцветье. А оно, словно желая меня поразить, закипало все круче и бурливее, и вот уже подожгло все небо, и то гасло, то вспыхивало, то бросало на нас исполинские полотенца, а то вдруг кидалось к морю, смахивая как метелкой звезды…

И сама тундра занялась всесветным пожаром.

Северное сияние только начиналось.

Со стороны речки, походившей сейчас на огненного змея, шел человек.

– Папа! – вскрикнула Нина и побежала ему навстречу.

Некоторое время мы втроем наблюдали северное сияние, но затем я засобирался в дорогу.

– Вот тут прямо, – показал на речку отец Нины, – место узкое и мелкое. И часто лежат камни. Вы без труда перейдете.

Мы простились.

На седьмые сутки я был в Мурманске. А еще через два дня – в Вологде.

На службе ждал сюрприз – и очень приятный: меня вызывали в Москву, в редакцию «Красной звезды». Я быстро оформил проездные документы, получил командировочные и вечером простился с женой и дочкой.

Моя жизнь делала крутой поворот, я выходил на дорогу большой журналистики.

Глава четвертая

В Москву я приехал утром. И сразу отправился в «Красную звезду». Шел по коридору третьего этажа, читал вывески: «Отдел информации», «Отдел партийной жизни», «Боевой подготовки», «Морского флота», «Авиации». Возле этой комнаты остановился. Решил, что здесь и буду работать. Ведь это моя стихия – авиация. Впрочем, и артиллерия мне родная. Но хотелось бы попасть в отдел авиационный. «Буду проситься», – сказал себе решительно и пошел дальше.

То из одной комнаты, то из другой выходили офицеры, все больше майоры, подполковники и полковники, – младших офицеров не видно; и куда-то все торопятся, на меня не смотрят; и были они сытые, красномордые – не то, что во Львове, где мы жестоко голодали, на лице ни кровинки и все злые. Эти же и одеты во все новенькое, и брюки отглажены, ботинки начищены, пуговицы горят, как звезды. «Столица! – думал я. – Тут у них и снабжение особое».

Зашел в туалет, достал из портфеля газету, стал отчищать ботинки. Здесь только заметил, что ботинки у меня разваливаются, каблуки стоптаны, носки расплющены и смотрят один вправо, другой влево – как у Чаплина. Пытался их поправить, но они становились еще хуже и грозили совсем расползтись. С ужасом подумал, что новые купить не на что, а в этих ходить можно было только в Вологде или там, в тундре, где они героически выдержали и снег, и грязь, и бездорожье. Осмотрел себя в зеркало, и мне стало не по себе; я даже похолодел от безысходности положения. Китель был весь мят и жат и на локтях потерся, о брюках и говорить нечего: они не только вид, но даже свой первоначальный цвет потеряли. И как же это я об одежде не подумал? Ну, хотя бы все отгладил, подшил бы, подлатал. Хорошо, хоть Надежда перед отъездом воротничок свежий пришила, да и китель, кажется, почистила.

Однако делать нечего: приосанился, вошел в отдел кадров. Тут в приемной сидела секретарша, женщина восточного типа – армянка или еврейка: вид у нее непроницаемо равнодушный, и даже презрительный, будто к ней приближалась жаба с поврежденной лапой и разбитой головой.

– Я по вызову, – начинаю негромко и чуть дыша, – у меня бумага. Вот…

Протягиваю вызов, подписанный главным редактором, но секретарша меня не видит и не слышит. Пауза длится несколько минут и становится нестерпимой. Бумага в руке начинает

подрагивать, будто я сильно замерз или меня трясет лихорадка. Наконец, она берет бумагу, нехотя читает. И кладет ее на угол стола, – так, что она вот-вот упадет.

В приемную вкатился подполковник, именно вкатился, потому что он был невысок ростом и толст и плечи имел покатые, точно женщина. По мне скользнул левым глазом и прошел мимо, словно боялся, что я его схвачу за руку и увяжусь за ним. Со спины он еще больше походил на женщину: слипшиеся кудрявые волосы падали на плечи, а там, где должна быть талия, выделялось утолщение и сглаживало зад, так что ноги его, короткие и почти не гнущиеся, казалось, росли из спины, и оттого он уж и совсем терял признаки мужского происхождения. Впрочем, все это я оценил в несколько секунд, пока подполковник метеором летел к двери своего кабинета.

Это был начальник отдела кадров газеты подполковник Шапиро, который вместе с главным редактором подписал вызов. Я понял это, когда секретарша, захватив со стола бумагу, скрылась в кабинете. А когда вышла оттуда, сказала:

– Ждите.

Подполковник не принимал меня долго, он еще несколько раз выходил из кабинета, пробегал мимо, и каждый раз я видел, как скользящим боковым зрением оглядывал меня, не проявляя, впрочем, никакого ко мне интереса. Я невольно вспоминал двух полковников – Арустамяна и Сварника, и майора из СМЕРШа, – они вот так же кидали на меня мимолетные взгляды и демонстративно третировали сам факт моего существования на белом свете, – пытался вывести какую-то закономерность, но, конечно, никакой связи тут не видел, а лишний раз задумывался о том, что в армии я ничего не значу, никого не интересую и на другое отношение к себе не могу рассчитывать. Снова заползали мысли о тракторном заводе в Сталинграде, где я мог бы сейчас быть заместителем начальника цеха, имел бы квартиру и пользовался бы всеобщим уважением, как это было еще до войны, когда я работал распредмастером во втором механическом цехе. Здесь же я, если и приживусь, то как устроюсь с квартирой, как буду жить на самую маленькую зарплату, которую мне положат, – и вообще, сумею ли вписаться в такой важный коллектив высококлассных журналистов, которые тут наверняка только и служат.

Приема я ждал более трех часов, а потом секретарша сказала:

– Начальник сегодня принять вас не может, вы идите в гостиницу, устраивайтесь, а завтра во второй половине дня придете.

Я еще в Вологде узнал адрес офицерской гостиницы на

площади Коммуны, поблизости от театра Красной Армии, – туда и поехал.

Скоро я имел маленький отдельный номер, оставил в нем портфель, а сам пошел гулять по городу. Мне надо было еще посетить редакцию журнала «Новый мир», показать там «Лесную повесть», но туда я решил поехать после того, как устроятся мои дела в «Красной звезде».

Часу в десятом вернулся в гостиницу и лег спать. Но через час-другой заслышал какую-то возню в номере и проснулся. Включил ночничок и увидел здоровенного лысого дядю, снимавшего гимнастерку и готового уж ложиться спать. Я вскочил и сел на край койки. Он же, увидев меня, махнул рукой и выругался:

– Черт! Эти проклятые клетки! Я номером ошибся!

Он присел на стул и стал объяснять:

– Тут, видите ли, коридорная система, на этаже сто номеров и все одного размера. Я там в вестибюле в карты играл, ну, и вот… забрел к вам. Простите, ради бога! Ваш номер тридцать второй, а мой тридцать третий. И мебель тут расставлена по стандарту: кровать, столик, стул – все одинаково. Вы, наверное, вчера поселились. Тут до вас майор танкист с супругой жил.

Мой собеседник, судя по погонам на гимнастерке, был тоже майором; широко улыбнулся, стал рассказывать.

– Случай тут на днях вышел: ребята в преферанс играли, припозднились. Один отвалился, пошел спать. Вот так же зашел в соседний номер, тихонько разделся, лег в кровать. Женщина проснулась, обняла его. Ну, конечно, приняла за своего. А уж потом, когда страсти разогрелись, рукой головы коснулась. Батюшки! – лысый. Муж-то у нее кудлатый, а у этого голова точно коленка бабья.

– Ой! Никак Леонид Фомич?

– Валентина?… А твой там, в вестибюле, пульку доигрывает.

Затихли на минуту. Валентина шепчет на ухо:

– Теперь-то уж… ладно. Если уж так вышло.

Чужой мужик, хоть и лысый, а женщине любопытно. Да и момент такой: назад дороги нет.

Майор долго и смачно смеялся.

– Вот они… эти проклятые клетки! Ну, да ладно, прости браток. Пойду к себе. А то еще и к моей бабе забредет какой-нибудь преферансист.

Он снова засмеялся и вышел. А мне было грустно. Я долго лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок. Вот она, супружеская верность. «Теперь-то уж… ладно», – говорит ему чужая жена. И вот что обидно: наверное, всякая на ее месте

поступила бы так же.

Это была минута, когда в сердце моем шевельнулась ревность.

На другой день подполковник Шапиро снова часа два подержал меня в приемной. Я, конечно, понял, что никакая не занятость была тому причиной – подполковник явно демонстрировал ко мне неприязнь, но вот в чем я перед ним провинился – понять не мог. И когда он меня все-таки принял, я мог убедиться, что начальник отдела кадров, как в свое время старший лейтенант Львов в Харькове, будет всячески тормозить мой приход в редакцию. Вопросы задавал нехотя, на меня не смотрел.

– Какое у вас образование?

– Среднее. И к тому же военное училище…

– Среднее! Да как же я вас оформлять буду? Вы об этом подумали?… Что мне скажут там, в Главпуре?… А?… Должны же вы, наконец, понять мое положение?… Едете в Москву, в главную военную газету!… А какой такой ваш диплом я представлю начальству? Мне скажут: парень где-то там работал на заводе, потом немножко воевал на фронте – и давай его в Москву. В «Красной звезде» работать хочет. А?… Я тоже хотел бы работать в Кремле, там, где кабинет товарища Сталина. Или министром по обороне! Хочу ездить в большой машине и с охраной. Я еду в Кремль, а все говорят: это Шапиро поехал на работу. Вам смешно! А мне не смешно выписывать заводскому парню удостоверение корреспондента «Красной звезды» и чтоб мне потом говорили: «Кого тащишь в редакцию?…».

Подполковник поднял на меня глаза, и я увидел в них холодный сумрак; такой был в тундре перед тем, как там открылось небо и началось северное сияние. В мокрой непроглядной вышине точно живые существа ползли тучи, и я будто бы даже слышал их шипение. В глазах Шапиро вот так же что-то копошилось и шелестело. Они были пустыми, в них, как в колодец, можно было провалиться.

– Ну, хорошо, хорошо. Генерал болен и не скоро поправится; у него воспаление легких. Завтра я к нему поеду и доложу вашу бумагу. Приходите вечером, мы что-нибудь придумаем.

И когда я выходил из кабинета, он вслед мне проворчал:

– Они делают глупости, а я должен расхлебывать.

Был вечер, когда я выходил из редакции. Шел мокрый противный снег, москвичи, подняв воротники, бежали по своим делам, никто ни на кого не глядел, никто никому не был нужен. Сознание полного одиночества и своей ничтожности – первое и весьма неприятное ощущение, которое я успел вынести от

пребывания в столице. Теперь же, когда, как мне казалось, окончательно рухнула моя мечта стать столичным журналистом, я бы хотел поскорее уехать из Москвы. Уехать в Вологду, Сталинград – куда угодно, но только уехать. И если еще вчера под сердцем теплилась надежда на устройство рукописи в журнале, то теперь и она испарилась. Уехать, уехать – и поскорее.

Назавтра пришел в редакцию после обеда. На столе у секретарши увидел свою бумагу; она, как и прежде, лежала на самом краешке стола и готова была вот-вот свалиться.

Секретарша не ответила на приветствие, сняла трубку телефона, позвонила. И я услышал:

– Товарищ генерал! Офицер из Вологды у меня в приемной.

Передала мне трубку:

– С вами будет говорить генерал.

Я взял трубку и встал по стойке «смирно». В трубке раздался хрипловатый голос:

– Должен перед вами извиниться: Главпур не разрешает мне взять вас в редакцию. Я хочу предложить вам поучиться на Высших курсах при Военно-политической академии. Год пройдет незаметно, и тогда мы вас оформим. А? Вы согласны? Ну, и отлично. Я звонил начальнику академии, обо всем договорился. Зайдите к ним в отдел кадров – завтра же.

– Благодарю вас, товарищ генерал! – отчеканил я с радостью.

Такой оборот дела был для меня самым счастливым; отсутствие образования тянулось бы за мной всю жизнь, а тут – высшие курсы!

На следующий день утром я уже был в академии и стоял перед дверью, сбоку от которой была надпись: «Заместитель начальника отдела кадров». «Вот, – думаю, – сейчас войду, а и здесь сидит…» – вспомнился Шапиро, и я почувствовал, как по всему телу бежит неприятный холодок. Однако решительно открыл дверь:

– Можно к вам?

– Попробуйте! – раздался звонкий и будто бы веселый голос.

Комната большая с красным потертым ковром посредине. У окна стол и за ним майор – какой-то несерьезный, мальчикоподобный; круглая голова с шапкой волнистых темных волос, зеленые улыбчивые глаза: смотрит на меня так, будто мы с ним давно знакомы и он меня ожидал. Сбоку от него у другого окна черный диван и на нем, закинув ногу на ногу, привалясь к спинке и раскинув руки, сидит парень в гражданском – такой же молодой, но с лицом круглым, широким, кареглазый, черноволосый. Держится независимо, смотрит на меня свысока. Он первым и заговорил:

– Ты из Вологды, да? Не твой это рассказ был напечатан в «Красном Севере»? Заголовок, правда, ужасный, но рассказ ничего. Я тоже участник Совещания молодых писателей, и мои стихи там печатали. Может, читал? Я Владимир Котов.

Поднялся и протянул мне руку. И – сидевшему за столом майору:

– Николай, оформляй. Из него выйдет толк. Я вижу – оформляй. Да так, чтобы он и стипендию хорошую получал, и эту вашу высшую школу поскорее закончил. Мы с ним дела в литературе будем большие делать. Оформляй.

Майор Николай тоже подошел ко мне и дружески протянул руку.

– Будем знакомы: Бораненков. Я тоже в некотором роде литератор: рассказы пишу. Только у меня жанр щекотливый: я, видишь ли, юмором пробавляюсь, а Гоголей и Щедриных у нас не любят.

Сел за стол, стал куда-то вписывать мою фамилию. С грустной улыбкой продолжал:

– Ладно бы юмор гражданский, а у меня военный. Этот уж и совсем не любят.

Потом вскинул на меня веселые глаза:

– Послушай, капитан: поступай на экстернат. У нас таких соискателей не любят, но я уговорю начальника учебной части. Тебе академия нужна. Будешь учиться на курсах и одновременно сдавать за всю академию. Вы ведь фронтовик, командовали батареей, а батарея приравнивается к батальону – вам многие предметы мы сразу же засчитаем. К примеру, тактику, стрельбу, строевую подготовку, физподготовку… Останутся предметы теоретические да профессионально-журналистские. А?… Полтора-два года, и в кармане диплом об окончании академии.

Я тут же написал заявление.

Майор продолжал:

– Курсы находятся за городом, на бывшей даче Ворошилова. С Белорусского вокзала поедешь до станции Перхушково. Начальником там генерал Штырляев. Завтра к нему явитесь.

Через час я уже имел в кармане все документы и, сияющий, выходил из академии. Со мной вышел и Владимир Котов.

– Вам куда? – спросил он.

– В редакцию «Нового мира». Повесть хотел бы им показать.

– О! Это мысль! У меня там стихи валяются. Я с вами поеду.

В редакции мы расстались: я пошел в отдел прозы, Володя – в отдел поэзии.

Первая же вывеска у двери кабинета меня обрадовала: «Дроздов А. Ф.». Однофамилец! Может, из наших краев.

В комнате, похожей на клетку, за маленьким, почти игрушечным столом сидел пожилой седоволосый дядя. На меня смотрел недружелюбно, впрочем, с некоторым интересом. Одет он был в серый дорогой костюм, но видом был прост, и даже чем-то напоминал мне земляков: лицо широкое, курнос, глаза большие, цвета вечерней синевы.

Решил быть смелым:

– Я тоже Дроздов, а вы, случайно, не пензенский?

– Я тамбовский – там рядом; у нас Цна, у вас Хопер. Так я понимаю?

В его ответе слышалась насмешка, будто говорит с малышом: это мне не понравилось. Продолжал серьезнее:

– Повесть вам принес. Вот… Может, годится?

Подаю рукопись. А он меня – как из ружья:

– Да нет, ваша повесть тут не пригодится.

– Почему? Вы же ее не читали.

– И читать не стану. Во-первых, у нас на самотеке другие люди сидят, а во-вторых… мы печатаем маститых авторов. Вы ведь, надеюсь, не считаете себя маститым?

– Нет, конечно, однако думаю, что у меня получилось. Иначе бы не пришел в редакцию.

Вечерне-синие глаза долго на меня смотрели, смягчились немного. В них даже блеснул зайчик интереса и доброго побуждения. Заговорил с улыбкой и как-то так, отвлеченно:

– Странные мы, русские люди! Серьезно полагаем, что везде у нас друзья, нас ждут и готовы броситься нам на шею.

Встал из-за стола, прошелся из угла в угол, потом резко повернулся ко мне и зло, почти враждебно проговорил:

– Не ждут нас, не ждут! И нет у нас в редакциях друзей, – вот если бы ты приехал из Одессы! И нос бы имел немножко другой, не такой, как у нас с тобой, – картошкой. Не такой – слышишь! Ах, господи! До капитана выслужился, а в глазах наивность детская. Рукопись нам принес. Обрадовал! Да если ты сам Пушкин или Лермонтов – все равно им не нужен. Я тут случайно и потому говорю с тобой по-дружески, а если б на другого напоролся – и говорить бы не стал.

Сел однофамилец за стол, в окно долго смотрел. А потом, когда повернулся, я увидел в его глазах боль и участие. На дверь посмотрел и тихо этак проговорил:

– Спрячь ты свою рукопись и никому здесь не показывай. Ты газеты про космополитов читал?… Знаешь, что кампания против них велась?

– Знаю, да чтой-то она быстро захлебнулась. Видно, газеты не в те колокола ударили.

– В те они ударили, в те, да только шею тем редакторам свернули, а космополиты как сидели во всех министерствах да редакциях, так и сидят. Так вот… повесть-то свою ему отдашь, космополиту, а он читать ее не станет, а взглянет на твою физиономию черноземную и скажет: а ты, парень, эти штучки литературные брось, своим делом занимайся, а это уж… оставь нам. Литературу русскую мы вам будем делать, мы.

– Кто это – мы? – спросил я с закипавшим раздражением.

– Мы – это значит – они, те, про которых ты в газетах читал. Ах, да что с тобой говорить! Дай-ка рукопись, я ее скоренько посмотрю.

Я подал ему повесть и хотел было уходить, но он показал на стул:

– Сиди. При тебе читать буду.

Читал он минут тридцать-сорок; одни страницы бегло просматривал, другие читал и даже перечитывал. А когда закончил, поднял на меня вечерне-синие глаза и смотрел долго, будто только что увидел меня и я его чем-то удивил. Потом отвалился на спинку стула и смотрел поверх меня, на стену. Сказал отрешенно, словно бы и не мне:

– Ручку между пальцами держать умеешь. И пишешь резво, – думаю даже, быстро. По почерку вижу. И кое-где складно выходит, и лихо завернешь – про облака, например, про кашку-ромашку. Но… зачем пишешь? Что сказать людям вознамерился? Писатель-то – инженер человеческих душ, а какие души вылепить собрался? Чему людей учишь – а?… Один лесоруб передовой, другой отстающий, парторг прогрессист, а начальник консерватор. Да об этом-то все пишут!

Мой однофамилец поднялся и стал нервно ходить по комнате. Потом подскочил ко мне и склонился так низко, что я слышал его горячее дыхание.

– Ну, представь на минуту, как бы это Пушкин принес в журнал повесть, похожую сюжетом на «Бедную Лизу» Карамзина. Можешь ты это представить – нет? И я не могу вообразить такого. Пушкин издателю «Руслана и Людмилу» принес, поэму, где океан красоты и могущества! Сказку, после которой великий Жуковский воскликнул: ученик победил учителя! А?… Ну, могут после твоей повести Бажов или Пришвин воскликнуть: «Он положил нас на лопатки!»? Нет, ничего такого они не скажут. Они не станут и читать твоей повести, потому что в ней ничего нет: ни красоты, ни силы. В ней есть одно попугайство. И больше ничего!

Александр Федорович вернулся на свое место, смотрел в окно и со мной не заговаривал. Очевидно, ждал, когда я возьму рукопись и выйду. Сердце мое кипело от обиды, я не соглашался

ни с одним его словом, но молчал. А между тем мне бы хотелось и ему сказать что-нибудь резкое и обидное. И я уж подобрал подходящую фразу, но вдруг решил не отвечать дерзостью на его откровенность, поблагодарить за чистосердечие. Но он тихо и тоном примирения проговорил:

– Кажется, Гюго заметил: поэты рождаются в деревне, а умирают в Париже. Ты ведь в академию приехал. Ну, ладно: поживи в столице, может быть, еще и хорошую повесть напишешь. Приноси ее тогда мне, помогу напечатать.

На клочке бумажки написал свой телефон и, подавая мне, сказал:

– Я живу на даче. Звони.

И протянул мне рукопись. И, когда я уже был у двери, сказал:

– Слог у тебя есть. Пиши больше, может, и распишешься.

Я вышел. Сердце мое колотилось, голова шумела. Мне даже казалось, что где-то под фуражкой в волосах потрескивают искры.

Волнами накатывала одна и та же мысль: если уж и решусь писать, то никаких передовиков и никаких отстающих у меня не будет.

На улице у входа в редакцию стоял Володя Котов. Подлетел ко мне, ударил по плечу:

– Стихи взяли! В следующем номере дадут большую подборку. Посмотри, что написал в рецензии Михаил Исаковский!

Я читал: «Стихи сколочены отменно, ритмика звенит, мысли свежие и весьма современные. Из Котова выработается большой советский поэт».

– Да ты, старик, понимаешь, что для меня означает такой отзыв? Исаковский – гигант, живой классик!… Эта бумага…

Он как знаменем размахивал над головой отзывом поэта:

– Ярлык на княжение! Я теперь свой человек на Парнасе. И не просто свой, а еще и заметный. Меня за сотню километров разглядишь. Да я в любой редакции суну под нос литрабу: на, читай! И печатай скорее, пока я не раздумал и не отнес стихи в другую редакцию. Я теперь на коне, старик. На белом коне! – поздравь меня.

– Я рад за тебя. Поздравляю. Но кто такой литраб?

– Ах, деревня! Простых вещей не знаешь. Литраб – литературный работник. Вот как зачнешь обивать пороги редакций газет, журналов, а потом и в издательство сунешься – так и поймешь, кто он такой, литраб. Редакционный клерк, навозный жук, а для нашего брата тигр, лев, Бог и царь! Ему ты в лапы попадаешь. А, кстати, как твои дела? Что тебе сказал этот странный и таинственный А. Ф. Дроздов?

– Сказал, что повесть еще не готова. Над ней поработать

придется. А почему он странный, этот мой однофамилец?

– Странный потому, что должности никакой не занимает и никто не знает, что он пишет и почему ошивается в литературе, а только дачу в писательском городке Переделкине занимает огромную и со всеми редакторами запанибрата: его и с Фадеевым можно встретить, и с Фединым, а при Горьком он какой-то орден получил. Жаль, что не взял твою повесть, он бы ее живо напечатал. Ну да ты, старик, не отчаивайся и носа не вешай. Литература – это игра, казино, где колесо судьбы крутится. Повезло – и ты на коне, вот как я теперь, а нет – не хнычь и не падай духом. Сиди и пиши и, как говорил Маяковский, «единого слова ради» изводи тонны словесной руды. Русский язык богат, но и податлив. Он как женщина: на нее нажмешь – и она сдается. Ну, пока, старик. Мне теперь многих друзей обежать надо. Пусть знают, с кем они дело имеют.

Мы крепко пожали друг другу руки и расстались. С момента этой нашей первой встречи пройдет много лет, и я ни разу не встречался с Володей Котовым, но всегда жадно ловил каждую весточку об этом прекрасном человеке. Он как поэт поднимался все выше и выше; наконец, занял на Парнасе едва ли не ведущее место. И на самой высшей точке его поэтической судьбы мы неожиданно встретились, крепко обнялись и уж не расставались до самой его нелепой смерти в середине семидесятых…

Кажется, ему не было и пятидесяти.

Утром следующего дня я почти забыл свою неудачу в журнале; привел себя в порядок, отгладил брюки, пришил свежий воротничок и отправился на электричку, которая помчит меня к новому берегу моей судьбы.

И вот Перхушково. По лесной тропинке я иду на бывшую дачу Ворошилова. В Подмосковье заглянула весна; с бездонного синего неба льется поток солнечной благодати, мне хорошо, и шаг мой легок, вчерашняя неудача с повестью отползла в сторону и душу не томит; напротив, я рад, что встретился с хорошими людьми – Бораненковым, Котовым, и даже странно рассерженный однофамилец мне теперь кажется уж не таким сердитым, он будто бы и рассердился за то, что я, носящий его фамилию и рожденный почти в тех же местах, что и он, не оправдал его надежд и не принес ему рукопись, равную по силе пушкинской. А его напутствие: ты пиши и, может быть, распишешься, прозвучало почти отечески. Я даже решил, что он нашел у меня способности, но из педагогических соображений о них умолчал. И эта неожиданная и счастливая догадка словно подтолкнула меня, я прибавил ходу и ощутил в груди такие силы, каких раньше у меня не было.

По некрутому косогору спустился к озеру; снег на его поверхности подтаял, и чаша голубого льда походила на глаз плачущего ребенка, устремленный в небо. А и небо было светло-радостным, словно бы хотело прокричать: «Люди, весна идет! Весна!…».

Тропинка вела через озеро, а на самой середине сидел человек, удил рыбу. Я к нему подошел, поздоровался, и он ответил мне весело, будто родному. Спросил:

– К нам на курсы?

– Да, направление получил из академии.

– Ну, ну, значит, вместе будем. Я тоже учусь на курсах.

Он был в фуфайке, а рядом с ведром, полным рыбы, лежало кожаное пальто. Он показал на него:

– Если вам нетрудно, захватите. Там, в раздевалке, повесьте. А то я, видите, рыбы много наловил, руки будут заняты.

Я кинул пальто на плечо и двинулся дальше. В раздевалке повесил его на крайний крючок. И тут же оставил свою шинель и чемодан. Поднялся на второй этаж к начальнику курсов. Генерал Штырляев, пожилой человек с внушительным орденским иконостасом на светлой стального цвета гимнастерке, принял меня ласково, хотя заметил: «Тут у нас учатся старшие офицеры да генералы, но есть и три-четыре офицера младших, вроде вас. Ничего, вам будет полезно пообщаться с ветеранами». Приказал адъютанту устроить меня в общежитие, а на прощание сказал: «Если захотите с семьей жить, снимете квартиру в деревне. Тут у нас по соседству много деревень».

В комнате меня подселили к майору Ильину, человеку шумному, разговорчивому. С первых же минут общения с ним я понял, что его способность рассказывать, поучать, все комментировать и растолковывать так велика, что от меня потребуются лишь односложные ответы «Да» и «Нет» и, может быть, еще короткие междометия. И, конечно же, надо будет запасаться терпением: люди, не имеющие тормозов, обыкновенно говорят не только много, но и однотонно, их длинные беспаузные фразы напоминают жужжание мухи в тот момент, когда вы засыпаете. Что же до меня, то я, жадный до общения со всяким новым человеком и до всевозможных сведений, всегда обладал большим запасом терпения и с молодости развил в себе способность внимательно слушать и выуживать из речи любого человека драгоценные крупицы ума и полезной информации. В данном же случае майор Ильин был для меня сущей находкой: ведь я попал в мир генералов и полковников. Во время войны они от младших офицеров были так далеко, что я их почти не видел. Самый большой начальник для меня был командир полка, а он

имел звание майора.

Я еще не успел разложить по местам свой нехитрый скарб, оглядеть кровать и тумбочку, а уже знал, что мой сосед «двадцать лет работал в трубе», – так в журналистском мире называют радио, – и после войны остался в армии, потому что «и в армии есть труба, и здесь нужны люди, знающие специфику вещания».

На вид Ильину я бы дал лет сорок пять. Крепкого сложения, широкоплеч, он чем-то напоминал медведя, к тому же бурого, потому что цвет лица и волосы его отливали красновато-рыжим, почти кирпичным оттенком. Волосы свалялись и походили на пучок медной проволоки. И уж совершенно замечательными были у него глаза: как у куклы широко открыты, подолгу оставались неподвижными и горели желтым мерцающим светом. Наверное, такие глаза бывают у колдунов и шаманов, а еще у тех редких людей, которых называют прорицателями, ведунами и боятся от них сглазу. Говорил он быстро и паузы делал лишь после длинных замысловатых экзерциций.

В этот первый день пребывания в самой высшей из школ, – она так и называлась: Высшие курсы при Военно-политической академии имени Ленина, – изучил расписание занятий на март, в книжном киоске купил толстые тетради для конспектов и пошел знакомиться с окрестностями дворца, который раньше принадлежал какому-то русскому графу или князю. Зашел и во флигель, где проводятся занятия со слушателями военной журналистики. При Ворошилове в нем жила охрана, и жила неплохо. Тут были комнаты для отдыха, небольшой зал, называемый Красным уголком. В этом-то зале и читались лекции. А во дворе оборудована волейбольная площадка.

В большом здании были столовая и буфет. С целью экономии обед я пропустил, а на ужин взял котлету, три кусочка хлеба и стакан кофе. До получки оставалось десять дней, а денег у меня только и хватит на легкий завтрак и такой же облегченный ужин. Подумал о том, что надо быстрее вызывать Надежду, вместе нам будет легче кормиться.

Спать я лег рано, но сон мой был прерван самым неожиданным образом: посреди ночи вдруг раздался ужасный крик. Я вскочил, включил свет и вижу: на койке, стоящей напротив, в нижнем белье сидит мой сосед и дрожит, как будто его трясет лихорадка. Волосы дыбом, глаза вытаращены и весь он подался вперед, словно хочет напасть на меня.

– Что с вами? Вы нездоровы? – спрашиваю майора.

– Нет, нет. Со мной все в порядке. Это я во сне… увидел сцену: будто на меня летит самолет и палит со всех стволов.

Он лег, натянул на себя одеяло и, затихая, проговорил:

– Война. Въелась во все кишки… И ночью снятся кошмары.

Я потушил свет.

Видения войны беспокоили многих фронтовиков, я слышал об этом, но меня, слава Богу, они не тревожили. Видно, так устроена нервная система. Кстати тут замечу: раньше я редко вспоминал войну и не любил пускаться в рассказы о ней, но вот теперь, когда мне уже далеко за семьдесят, картины войны встают передо мной все чаще и все ярче, и я жене своей Люше рассказываю разные военные истории. Память хранит мельчайшие подробности тех лет, когда страшное и нестерпимо трудное странным образом мешалось с возвышенным и прекрасным.

Не без волнения переступал порог аудитории в первый день занятий. Где-то под сердцем копошилась мысль: а справлюсь ли? Сумею ли понять и запомнить всю мудреную теорию политической экономии, диалектического материализма, истории журналистики и истории дипломатии… А мне сверх того предстояло еще сдать государственные экзамены и за всю академию.

Первая лекция по философии. С некоторым опозданием пришел профессор Деборин: толстенький румяный еврей с черными, как у птицы, глазами. На слушателей почти не смотрел, важно взошел на кафедру, глянул на раскрытую ладонь… Я не сразу понял, что на ладони у него, как игральные карты, лежат листки из твердой бумаги, на которых записан план лекции, цитаты, цифры… – все, что у него не держится в памяти, но необходимо для рассказа.

Для себя я решил тщательно записывать все лекции, благо что к тому времени я уже имел опыт журналиста писать быстро, почти со скоростью стенографистки. Одним словом, решил заниматься серьезно и быть готовым к любым экзаменам.

Профессор говорил не быстро, четко, давал возможность записывать отдельные важные места, и это мне очень нравилось. Уже через пятнадцать-двадцать минут я полюбил его – именно за то, что лекцию его я почти полностью мог занести в свою толстую красивую тетрадь, на обложке которой я живописно начертал мудреное слово: «Философия».

И то ли мой врожденный интерес к людям, то ли профессор Деборин оказался человеком неординарным, но я не только хорошо записывал его лекцию, но еще и успевал наблюдать за его поведением, за тем, как он стоит у кафедры, временами отходит и начинает возле нее двигаться, как будто заметил какую-то неисправность и теперь осматривает ее со всех сторон. Иногда он останавливался, вскидывал назад голову и упирал взгляд куда-то

в потолок, а то быстрыми шагами подойдет к окну и устремляет взор на деревья, стоявшие рядком у флигеля.

Аудиторию он не видел, на нас не смотрел, будто мы для него менее интересны, чем белый потолок, на котором одиноко висела трехламповая металлическая люстра.

Во второй половине часа профессор глубокомысленно замолчал и достал из своего старого черного портфеля апельсин. Не спеша очистил его и стал есть. Ходил возле кафедры и – ел. Эта сцена меня изумила. Я не знал, не думал, что преподаватель во время занятия может что-нибудь есть. Это казалось невероятным. Но Деборин ел. И при этом на нас не обращал никакого внимания. Я решил, что так может поступать профессор. Его авторитет велик, и слушатели так благодарны ему, что никто и не подумает осуждать. А он, съев половину апельсина и положив вторую на лист бумаги, снова взошел на кафедру и продолжил рассказ. При этом он сообщал много фамилий, приводил крылатые высказывания ученых и даже читал стихи…

Я писал и писал.

Вечером обложился книгами и читал. Но читать я мог лишь тогда, когда в комнате не было Ильина. Когда же он появлялся, я снова превращался в слушателя. На этот раз в роли лектора был майор Ильин. Но если профессор говорил спокойно, то мой сосед и говорил неспокойно, и вел себя так, будто его кусали клопы или блохи. Едва присев у тумбочки, он вдруг вскидывался и кричал:

– Кто ему позволяет жрать у нас на глазах апельсины? Разъелся, как боров! У меня дети малые не знают запаха фруктов, сам я по два дня не ем ничего – денег не хватает, а он – жрет!…

Однако тут же успокаивался, продолжал:

– Профессор он что надо, талант! Его вся Москва знает, но будь же ты человеком! В зале фронтовики сидят, герой подводник, разведчик легендарный Сидоров, бывший член военного совета Ленинградского фронта Кузнецов – он генерал-лейтенант, а этому нахалу и сам черт не брат!…

И через минуту:

– А, кстати, Кузнецова я что-то сегодня не видел. Кожаное пальто в раздевалке висит, а его нет. Странно это. Уж не заболел ли?

Я сказал, что вчера утром его на озере видел и пальто кожаное по его просьбе принес.

Просматривая конспекты, заметил:

– Деборин фамилий много дает, я все записал, а два других преподавателя фамилий почти не называют.

Ильин вдруг подскочил, словно его шилом кольнули:

– Религия! Тут, брат, религия и больше ничего. Вам, конечно, и невдомек, что фамилии-то даны еврейские, все еврейские! Деборин никого другого не назовет; ему не нужен киргиз, испанец, русский, он вам назовет только еврея! Религия! В том она и заключается – его религия.

Он разволновался, хватал с тумбочки то мои тетради, то книги, а то подходил к окну и принимался кулаком тереть стекло. Повернулся ко мне, сверкнул ошалелыми глазами:

– А если бы вас, русских, осталось шесть миллионов, а по всему миру двадцать или тридцать, и все бы вы перемешались со всякими шанси-манси и персами-иранцами, – вы бы что ль не то бы делали, что и он, Деборин? Вы бы на каждом углу не кричали о русских? Не талдычили бы всем и каждому о своих талантах? – религия! Она сидит в печенках у Деборина. Он говорит только о евреях, думает только о евреях, он устремляет на тебя свой взгляд – и ты в нем читаешь: ну, а ты, братец?… как ты об нас полагаешь? Любишь ли ты еврея?… Вот и сегодня на лекции: он натолкал в твою голову тридцать сынов Израиля, а ты этого и не заметил. Говорят же, они умные! А что, скажи, разве он не умный, наш профессор Деборин?…

Я листал свои конспекты и находил много фамилий, но среди них почти не встречал еврейских. Возразил Ильину:

– Философ Сенека?… А вот писатели: Лион Фейхтвангер, братья Томас и Генрих Манны?… Вот наши писатели – Константин Симонов, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков?…

– Евреи! Все они евреи! Ну, если не полные, так частично – полтинники, четвертинки… Смеляков, к примеру, – полукровка. Еще раз тебе говорю: Деборин чужого не назовет, он как машина – так устроен: знает и помнит только своих!…

Потом, много лет спустя, учась в Литературном институте, я узнал и Симонова, и Светлова – да, это были типичные евреи, видел и Смелякова: темный, большой, сутулый, он мало походил на еврея, но в стихах его почти не слышалась боль о нашем, русском. Он только на смертном одре продиктовал посетившим его друзьям огневой стих, который потом был у всех на устах:

Владыки и те исчезают
Мгновенно и наверняка,
Если они посягают
На русскую суть языка!

Но это много лет спустя. Тогда же я смотрел на Ильина как на сумасшедшего; его откровения были для меня так неожиданны и так невероятны, что я, кажется, ничего из них не запомнил и посчитал их сущим бредом. И хорошо, что Ильин, выпалив странную тираду, вдруг, словно спохватившись, замолчал, сник и

лег спать. Я еще два-три часа занимался, а потом и сам завалился в постель.

Занятий было много, и я решил соблюдать три условия: внимательно слушать лектора, тщательно записывать все интересное и важное, и на два часа сократил сон. Вечером после прогулки съедал бутерброд с чаем и принимался за чтение литературы. Если Ильин меня слишком отвлекал, уходил в комнату отдыха и там читал. Все слушатели на факультете журналистики были старше меня, в прошлом занимали важные посты и казались мне очень умными. Все лекторы без исключения мне нравились.

После всего, что происходило со мной во Львове, после оглушительных откровений Ильина я к каждому лектору внимательно присматривался, искал в нем черты еврея. Их страсть к делу и не к делу приплетать фамилии своих сородичей была поразительной и не знала исключений. Их национальность только по одному этому можно было определять безошибочно. Русский профессор назовет пять-шесть фамилий, ну, от силы десять, и эти фамилии не обязательно евреи, и даже чаще всего люди разных национальностей, но как только зачнет перечислять фамилии лектор-еврей, тут процентов на девяносто будут его соплеменники. И тут я признаюсь, что лекции со множеством фамилий были для меня предпочтительнее; я каждое новое имя воспринимал с интересом, точно это была встреча с незнакомым человеком. Лекции профессоров-евреев, а их у нас было процентов восемьдесят, проходили быстрее. Еврей не имел обыкновения углубляться в тему, нередко он и вообще только касался предмета своей лекции, а все остальное время посвящал рассказам веселых историй, сыпал анекдотами, и очень часто еврейскими и армянскими, на ходу придумывал хохмы, и хотя они были не очень остроумными, но голову нашу не утруждали, и большинство слушателей к таким лекторам относились снисходительно. Однако во время перерывов ворчали, а некоторые в голос возмущались: какого черта мы терпим этого балагура? Надо доложить в учебную часть. Но в учебную часть никто не докладывал, и балагуры, привыкшие, видимо, всю жизнь скользить по верхам, продолжали балагурить.

Серьезно мешал мне майор Ильин. Всюду, где только можно, он заводил со мной длинные разговоры и прожужжал мне уши. На занятиях не появлялся генерал Кузнецов, и разговоры о нем возникали все чаще. Вначале кто-то сказал, что он прямо с озера уехал в Москву: там у него живет дочь, но потом другой вестун сообщил, что генерал уехал в Ленинград. Однако эту весть тут же отвергли. Как же это генерал, бывший секретарь Ленинградского

обкома, поехал в свой город в фуфайке? И лишь через несколько дней пополз слушок: генерала взяли? Прямо с озера. Не дали зайти в общежитие и взять вещи.

Эта новость ударила меня как обухом. Я много слышал, как у нас берут, но чтобы такого человека и прямо с озера?…

На перемене меня за рукав потянул в сторону Ильин.

– Ты никому не проболтался?…

– О чем?

– Ну, о том, что пальто у него взял?

– Нет, никому не говорил, но что же тут особенного? Человек попросил, и я взял пальто.

– Т-с-с…– зашипел Ильин. – Не будь идиотом! Да тебя, как только узнают, живо заметут.

– Да за что? – возмутился я. – Что же я такого сделал?…

Ильин больно сдавил мне руку, потащил в сторону.

– Молчи, говорю, как рыба! Не то загремишь… туда, где Макар телят не пас. Это я тебе говорю – бывший работник СМЕРШа.

При слове СМЕРШ я поежился; дважды я встречался с этой публикой на фронте и каждый раз висел на волоске от ареста: командир полка выручал. Тут меня никто не выручит, слова Ильина показались мне не шуткой. Я молчал.

– Никогда! – заклинал Ильин. – Никому! И ни слова! Об этом знаю я один, но я тебя не выдам. Слышишь? Не выдам!…

Я чувствовал себя на крючке, за который кто-то тащил, а мне было нестерпимо больно. Он меня не выдаст! А если случится размолвка или его бешеная крыса укусит… Тогда и я… туда же, где и Кузнецов?…

На лекции не слушал профессора, ничего не записывал, а думал: «За что его?… Что же он сделал?…»

Я уже знал, что людей в то время брали ни за что, и мне Кузнецова до боли было жалко.

В день получки Ильин попросил у меня денег:

– Дай четвертную взаймы. Послезавтра отдам.

– Вы же получили зарплату.

– Получил, но мне нужно. Сказал же отдам!

Я дал ему деньги, хотя двадцать пять рублей основательно подрывали мой бюджет. Больше половины зарплаты я отсылал Надежде, остальные экономно расходовал на еду. Долг он не вернул ни через два дня, ни через три, а неделю спустя попросил десятку.

– Да откуда же у меня деньги? Я, как и вы, получаю зарплату.

– Ладно, жлоб несчастный! Давай любую половину.

– Что, половину?

– Ну, пятерку! Так у меня случилось: все деньги выветрились. Я же отдам тебе!

Подумал, что из-за такого пустяка может обидеться и… чего доброго…

Мысль эта поразила: он же будет шантажировать! Всю жизнь, до конца дней пугать этим пальто!…

Лежал на кровати и думал: что делать? Капкан, в который я попал, отравил мне все дни, я не знал, как его сбросить, как обрести прежнюю свободу и радость жизни. И – придумал!

Пошли мы с майором в соседнюю деревню искать квартиры. Майор предлагал мне снять по соседству дома, познакомить жен и жить одной дружной колонией. Я согласился, и в воскресенье мы по лесной тропинке двинулись в сторону деревни Лысково, которая была от нас в двух километрах. Стоял теплый апрельский день, солнце на небе радостно сияло, и у меня на сердце было хорошее настроение. Я был уверен, что план мой тотчас сработает, и я освобожусь от угрозы, с которой нависал надо мной майор Ильин. Спокойно и будто бы между прочим заговорил:

– Теперь только вспомнил, что генерал-то, отдавая мне пальто, называл вашу фамилию. Так и сказал:

– Там в двадцать первой комнате живет майор Ильин – ему и отдайте пальто. Ну, а если майора не будет, оставьте пальто в гардеробе.

Майор остановился, выпучил глаза. Шея его вытянулась, нос заострился:

– Ты что буровишь? Я знать его не знаю, этого генерала!

– Ну, теперь-то, конечно, зачем его знать. А тогда он мне так и сказал: «Там… живет майор Ильин – ему и отдайте пальто». Я ведь не глухой, так он именно и сказал.

– Чего же ты молчал, а только сейчас эту лажу вешаешь мне на уши?

– Считал неважным все это. Ну, подумаешь, пальто принести с озера! Это вы вокруг такого пустяка нагородили страхов, – ну, я и вспомнил. А вообще-то, плюньте вы на все и забудьте. Я же не собираюсь кричать об этом на всех перекрестках. Ну, а если уж кто спросит… да и тогда не стану разводить турусы… Дело-то выеденного яйца не стоит.

И двинулся к деревне, которая уж показалась на поляне. Но и шага не успел ступить, как Ильин схватил меня за плечо. Повернулся к нему, а он раскрыл рот и точно рыба, выброшенная на берег, дышит толчками и язык мне показывает. Испугался я, оттолкнул его.

– Что с вами, товарищ майор?

– Иван! Ты никому не говорил об том? Признавайся, не то худо будет. Нам обоим худо. Слышишь?

– Да что же тут худого? Оставьте меня, пожалуйста! Ничего я худого не делал, и бояться мне нечего.

– Иван, не дури! Не трави мне душу! Кондрашка меня хватит, если игру свою продолжать будешь. Кузнецова я и знать не знал, и ничего он тебе не говорил. Но придумал ты лихо, молодец. Сработал как матерый разведчик. Умница! Я сдаюсь на милость победителя. Но только ты меня послушай: если кто об этой шуточке твоей узнает – крышка нам! И тебе, и мне. Ты уж поверь старому волку, я в СМЕРШе работал. Там такие сидят! – Ой-ей!… Им только попади на зуб. Лубянские подвалы, допросы, пытки… Знаю я. Слышишь, Иван?

– Слышу, слышу. Я ведь не дурак, как ты обо мне думаешь. Все я понимаю. И вот тебе моя рука: молчать буду как рыба. До конца жизни. А что до тебя, так и спрашивать не стану; знаю, что ты-то уж не проговоришься. Ну и ладно. Пошли в деревню, а об этом больше ни слова. Иначе кусаться буду.

Ильин пожал мне руку и кинулся на шею. Крепко обнимал и говорил со слезами:

– Умница ты, Иван! С тобой-то я бы пошел в разведку.

Квартиры мы нашли скоро, в деревне Лысково, из которой война повыбила мужиков, места в домах оказалось много, а хозяйки все нуждались, и им две-три сотни рублей в месяц не мешали. Мы с Ильиным поселились почти по соседству, и в тот же день перенесли в деревню свои пожитки, и с нами еще пришел майор Нехорошев, бывший редактор какой-то военной газеты. День стоял теплый, ясный – по-настоящему майский. Я взял толстую книгу и пошел на берег крохотного озерца, смотревшего на мир радостно и призывно. Однако читать мне не пришлось: откуда-то выкатилась ватага ребят с футболом, и я, в недавнем прошлом заядлый футболист, ввязался с ними в игру. Ребята пчелиным роем носились за мечом, и я решил организовать игру по правилам. Создал команды, разметил поле, ворота, и игра пошла много интереснее, привлекая зевак из малышни и даже взрослых. Я демонстрировал приемы, о которых ребята могли только мечтать: движением ботинка останавливал летящий с большой высоты мяч, с любого положения бил головой, одинаково сильно и метко посылал мяч в ворота или на пас как с левой ноги, так и с правой. У ребят сразу же завоевал авторитет, и с того дня играл с ними по вечерам, а в выходные дни мы шли в другие деревни, участвовали там в турнирах. Мои увлечения футболом заметили и в академии; меня включили в академическую команду, с которой мы выступали на Всесоюзной

олимпиаде: не скажу, что проявил себя лучшим игроком, но не был и среди худших. Кажется, звенигородская команда выбила нас из круга, и на том закончилась моя футбольная карьера.

В начале мая накануне Дня Победы приехала с дочкой Надежда. Квартира ей понравилась, а годовалая Светлана, научившаяся к тому времени ходить, на целый год обосновалась во дворе, где была белая в черных пятнах собака, важно шагавший петух и несколько сереньких крикливых курочек.

Потянулись дни изнурительных занятий. У нас поселилась мама Надежды Анна Яковлевна; она по очереди жила у своих трех дочерей, навещала сына Александра, но ни у кого подолгу не задерживалась. Скоро поняла, что жить она может только у младшей дочери, к нам и приехала.

Со времени отъезда из Львова, где я писал в разные газеты, журналы и зарабатывал гонорары, вологодский период жизни, а затем и московский снова схватили меня за горло и стали душить хроническим недостатком средств к существованию. Здесь же, в деревне Лысково, я уж в который раз оказался перед лицом если не голода, то жизни полуголодной, унизительной. Наша малышка, увидев яблоко или конфету, тянула ручонки, плакала, – Надежда бежала на базар, который был в соседней большой деревне, покупала дочке фрукты и конфеты. Мне было неловко перед женой и тещей: я капитан, учусь в академии, а денег на необходимое не имею. Пытался писать рассказы, посылал в журналы – их не печатали. Однажды Надежда сказала, что поедет в Москву и найдет себе работу, но эту идею я решительно отклонил. У нашей хозяйки в Москве работал сын, семнадцатилетний парень, – так он вставал в четыре часа утра, наскоро завтракал и бежал на электричку. Затем в Москве еще проделывал длинный путь до завода… И так каждый день. Мог ли я обречь жену на такие мучения? Искали другой выход, но какой?

Как-то Надежда сказала:

– С Антониной поедем в Сухуми. Там у Греты Самойловны живет родственник, он даст нам сухофрукты.

Я возразил:

– Во-первых, на какие шиши вы купите билеты, а во-вторых, вам понадобятся деньги и на сухофрукты.

– Да, это так. Но билеты в оба конца нам оплачивает Грета Самойловна, она же даст часть денег и на сухофрукты. Кое-что, конечно, и мы добавим.

Грета Самойловна – супруга Ильина, такая же таинственная женщина, как и ее муж. Выдавала себя за цыганку, но одни называли ее армянкой, другие еврейкой, я же о национальности не задумывался, меня она привлекала своей загадочностью и

какой-то колдовской силой. Являлась она к нам всегда неожиданно, передвигалась бесшумно, как летучая мышь, а при встрече со мной отворачивала взгляд черных и раскосых, матово мерцающих глаз. Она будто чего-то скрывала, чего-то стеснялась, и я заметил, что при встрече со мной или Нехорошевым смуглые ее щеки покрывались слабым румянцем девичьей стыдливости. Она была моложе мужа лет на пятнадцать, хранила первородную стройность, и хотя я не был знатоком женской природы, но не смог не заметить, что посторонние мужчины ее интересовали. Ильины не имели детей, жили вдвоем, денег у них, конечно, было больше, чем у нас. И я разрешил Надежде поехать на Кавказ.

Скоро они вернулись, привезли много сухофруктов, рассчитались с Ильиными – им досталась большая часть товара, но и мы были довольны гешефтом. Надежда не только варила нам так необходимый компот, но и часть фруктов продала, а на вырученные деньги, к великой радости Светланы, купила дюжину маленьких гусят. Они с утра до вечера плавали и ныряли в озере, берег которого подступал к крыльцу нашего дома.

Занимался я много; читать приходилось Маркса, Энгельса, Гегеля, Фейербаха, Канта, Сенеку… С жадностью я поглощал речи Цицерона, героические поэмы Гомера, стихи Вергилия, Овидия, романы эпохи рыцарской литературы, толстые книги по истории Европы и России. Я уже знал, что учиться буду полтора года, а за это время надо усвоить весь курс академии и сдать государственные экзамены. Судьба посылала мне шанс, и я должен был его использовать.

Во время лекций старался записать каждое слово, – я как спортсмен развивал скорость письма и стал писать так быстро, что лекции в полном объеме перекочевывали в мои толстые тетради. Ко мне часто подходили лекторы, смотрели записи и удивлялись моему упорству, и я замечал, как они сочувственно ко мне относятся, поощряют мою старательность, а на зачетах, если я что-нибудь забывал, спешили прийти мне на помощь.

Кипела своя жизнь и в деревне. Тут женщины, наученные войной, старались вскопать как можно больше земли и посадить на ней картофель, капусту, морковь, свеклу и всяких других овощей. До восхода солнца вставала и Надежда со своей мамой. И работали на отведенной им земле до позднего вечера. В эти дни даже футбольные игры прекратились: ребята помогали родителям. Иные даже сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овес – для себя и для кур. Но особенно много сажали картошки. И уже скоро я понял, какую власть над человеком имеет земля: она его кормит, дает силы и здоровье, помогает воспроизводить потомство, иными словами: земля – все! Недаром говорят: «земля-

кормилица», «за землю и волю», «власть земли» и так далее. На столе у нас появились редиска, лук репчатый, укроп, петрушка, а потом и разные ягоды – земляника, черемуха, ирга… Дом наполнился ароматом таких приятных и всепроникающих запахов, которые я бы назвал духом силы и самой жизни. А уж потом в глубоких глиняных чашках задымилась и молодая картошка. Голод отступил – для меня, моей семьи и для многих миллионов людей. Земля, глубоко вдохнувшая мирный воздух, ставила людей на ноги. По деревне радостно звенели детские голоса. Наша Светлана все дни пропадала на улице, с пронзительным криком и визгом носилась в стайке ребятни по единственной улице деревни.

На футбольной площадке закипали новые баталии. Ребята посматривали в сторону моего дома, ждали своего тренера и капитана. И я, отложив Маркса, выходил к ним поразмяться.

Жизнь в деревне все больше сближала меня с Ильиным. Эпизод с пальто мы давно позабыли. Тропинкой, бегущей краем поля, а затем между деревьями от Лысково до наших курсов, мы обыкновенно неспешно шагали утром на занятия и после обеда возвращались домой. Ильин говорил, а я слушал. Это, пожалуй, единственный случай в моей жизни, когда мне нравилась эта игра в одни ворота; то есть мой спутник говорил, а я слушал. Ильин, родившийся в Москве и всю жизнь в ней проживший, да к тому же работавший, как он говорил, «в трубе», знал всех и все. По крайней мере, мне так казалось. И он не только знал человека по фамилии, он мог рассказать о его характере, друзьях, родных, и даже о таких сторонах деятельности, которые для многих, даже для близких людей, были тайной. А сверх того, Ильин был философом, историком, психологом, педагогом – всем понемногу, и в благодарность за внимание к его рассказам, или уж по склонностям своего характера, попутно приоткрывал мотивы поступков людей, объяснял общественные процессы и обстоятельства, побуждавшие поступать так, а не иначе. Он был добр от природы, в нем генетически гнездился ангел сочувствия и всепрощения; он никого не осуждал, и даже поступки, которые я не мог извинять, он готов был отнести к стечению обстоятельств. Я в таких случаях восклицал: «Ну, знаете! Этак-то можно простить кого угодно!» Ильин широко разводил руки, замечал: «Как хотите, но это уж так».

Как-то я рассказал, что меня вызвали в «Красную звезду», оттуда-то я и попал на курсы. Ильин заметил:

– «Красная звезда»? Странно, что тебя туда вызвали. Там кадрами ведает подполковник Шапиро, он таких парней, как ты, в редакцию не берет.

Я с гордостью отпарировал:

– Меня вызывал не Шапиро, а сам генерал, главный редактор.

Но и на это Ильин проговорил спокойно:

– Редактор может вызвать, но возьмет на работу только Шапиро.

Тон Ильина не предполагал возражений, и я молчал, но такая безапелляционность мне не нравилась. Я надеялся, что после учебы заявлюсь в редакцию и буду в ней работать, наконец, этого же хотел сам главный редактор, а тут – Шапиро.

Спорить я не стал и хорошо сделал, потому что Ильин был расположен к философствованию, и я неожиданно услышал вопрос:

– А как бы ты поступал, если бы русские не составляли и одного процента от населения страны? Не то ли бы ты делал, что и Шапиро?

– Я не знаю, что делает Шапиро, – искренне признался я.

– Шапиро! – воскликнул человек из «трубы». – Он только то и делает, что выгодно ему и людям его племени; на всякую должность он пристраивает своего человечка, а уж в газету-то… Ты, верно, и не догадываешься, что своей главной целью евреи считают захват печати. Их мудрец барон Монтефиори еще двести или триста лет назад поучал: «О чем вы говорите? Пока мы не будем держать в своих руках прессу всего мира, все, что вы делаете, будет напрасно. Мы должны быть господами газет всего мира или иметь на них влияние, чтобы иметь возможность ослеплять и затуманивать народы».

– Но как же они станут господами всех газет, если их так мало?

– На газеты хватит, и на радио тоже, – я то уж знаю, кто там работает! – а теперь вот телевизор в каждый дом приходит. И туда они налетели, да так густо, что яблоку упасть негде. Так что ты, Иван, мечту о «Красной звезде», если она у тебя еще теплится, брось. Если уж там Шапиро, то тебе легче в игольное ушко пролезть, чем туда попасть. Налаживай лыжи на Вологду и сиди до тех пор, пока и туда не пришел Шапиро.

– Там у нас уж есть такой… Браиловский его фамилия. В редакцию к нам просится.

– Ну, вот, значит, и там тебе не работать. Браиловский, он что твой кукушонок: всех из гнезда повыбросит. Я-то уж знаю.

Ильин вдруг одушевлялся:

– Но что же ты хотел? Где тут уж особенно такая несправедливость? Ты так это воспринимаешь, будто в первый раз слышишь об этом. А что ж на фронте разве не было таких разговоров? Разве не о том же нам писали в своих листовках

немцы? Да листовки эти дождем сыпались нам на голову! Но и немцы, идиоты, ничего не понимают! Ну, скажи, – я снова тебя спрашиваю, – ты разве не так ли бы поступал, как Шапиро, если бы русских в России остался один процент к общему населению?…

Я молчал; я действительно затруднялся ответить. Никогда мне не приходила такая ужасная мысль, что мой народ мог бы оказаться в ничтожном меньшинстве. Наверное, я бы не был таким счастливым, как сейчас, не чувствовал бы себя хозяином в стране, городе, деревне, – а это ужасно! – и уж совсем плохо, если твой народ, оставшийся в меньшинстве, был бы еще и неуважаемым, в нем бы находили дурные свойства, мешающие жить всем другим людям. Но вот как бы я в этом случае себя повел – я не знал.

Муторно становилось на душе после таких разговоров, но умом я понимал, что Ильин говорил правду, и был ему благодарен за то, что он открывал мне глаза на темы, о которых не говорили с кафедры. А Ильин рассказывал и рассказывал, нагнетал в мою душу все больше тумана и тревожных мыслей. И как-то так у него выходило, что, живописуя власть и засилье евреев, он их тут же оправдывал, призывал меня не судить строго. И еще выходило, что евреи – наш крест, и крест всех народов. «На Западе давно смирились с засильем евреев, покорно отдали им власть. Гитлер восстал против них – и ты знаешь, что из этого вышло», – заключал Ильин какую-нибудь длинную свою тираду. А однажды рассказал забавный случай, происшедший в Париже. Туда приехал в эмиграцию отец писателя Куприна. Он был полковником царской армии, известным в России человеком, и к нему на вокзале подступились корреспонденты парижских газет. Задавали вопросы:

– Как там, в Петербурге, укрепилась советская власть?

– Да, укрепилась, – отвечал полковник.

– А в Москве?

– И в Москве тоже.

– А во всей России?

– Нет, не укрепилась. На всю Россию у них жидов не хватило.

Этот его ответ был напечатан во всех газетах.

Разными путями Ильин пытался запугать меня евреями, но я, видимо, так устроен: не боялся. И был далек от мысли, что евреи, в конце концов, захватят всю власть в России. Однако факт, что в «Красной звезде» сидел Шапиро и я уже на своей шкуре ощутил его власть, отравлял мне всю жизнь. Я даже учиться стал хуже, меньше писал на лекциях, меньше читал. Когда Ильин однажды сказал, что с Шапиро ничего не сделаешь, у нас система такая –

интернационализм, я стал задумываться и о природе всей нашей жизни, о наших законах, о тех, кто сидел в Кремле и нами правил. Во время праздников на трибуне мавзолея стояли в основном люди не русские: Сталин, он же Джугашвили, Микоян, Берия, а рядом со Сталиным по правую руку от него, Каганович.

Невеселые это были мысли, смутная тревога рождалась в сердце. «Хорошо, – думал я, – что о подобных вещах я не размышлял на фронте. Ко всем трудностям боевой жизни прибавились бы и эти душевные муки». В самом деле, почему это в Кремле, резиденции наших царей, обосновались нерусские? На троне сидит грузин, но я еще в авиашколе слышал, что не Сталин у нас главный, а Лазарь Каганович. От него идут и все аресты, в том числе и армейских командиров. Кто-то мне по великому секрету шепнул: семьдесят или восемьдесят процентов высшего командного состава армии арестованы и расстреляны. У нас за два-три дня до начала войны приказано было снять моторы со всех самолетов, в том числе и с тяжелых бомбардировщиков, мы невольно думали: кто же это учинил такой приказ?… Прилетавшие к нам в Грозный летчики из других частей говорили, что такой приказ и они получили.

Все новые сомнения ползли в душу. Каждодневные беседы Ильина между тем становились все откровеннее, и чем они больше раскрывали тайн, тем муторнее становилось на душе. Я вначале пытался возражать, подвергал сомнению факты, доводы, но он легко забивал меня и словно за мое непослушание опрокидывал на мою голову новые факты, еще более увесистые и неопровержимые.

Как педагог и психолог, он в одном допускал ошибку: слишком густо сыпал свои знания черных сторон нашей жизни; я мог сломаться, даже сойти с ума, но я выдержал, и со временем стал легче переносить его удары. Ко мне снова возвращалось светлое отношение к жизни, беспечность и веселость. Думал, если уж так сложилась история нашего государства, будем исправлять положение. Я молодой, для того и учусь – кто же, как не я, будет наводить порядок в стране?…

Ильин часто в своих беседах возвращался к евреям и пытался меня убедить, что иначе они и поступать не могут. Так у них сложилась историческая судьба, такова их жизнь, – они поступают во всем разумно. Да это и неплохо, что они захватили всю музыку, фармацевтику, адвокатуру, а теперь захватывают печать, радио, литературу. Они умные – чем же им больше заниматься?…

И снова обращался ко мне с тем же вопросом: а как бы ты поступал на их месте?

Я ему рассказал сюжет фильма, который мы с Надеждой

недавно смотрели. Там была такая история.

Хозяин завода, египтянин, выбирал себе главного инженера из двух кандидатур: первая – зять, работавший рядовым инженером на его же заводе; работал неплохо, и дело знал, и трудолюбив, но… как говорят у нас: без пера… Без полета, без фантазии. С ним рядом трудился другой инженер, чужой, не любезный, и даже грубость мог сказать хозяину, но… в голове у него, как в котле, кипели идеи. И если уж возьмется за что – сделает так, что всем на диво.

Недолго раздумывал хозяин, позвал строптивого.

– Будешь главным инженером? Зарплата в пять раз повысится.

– Согласен, – сказал строптивый и больше не прибавил ни слова.

Крепко обиделся на него и на своего тестя зять-инженер, да что поделать? Хозяин – барин.

Рассказал я сюжет фильма и замолчал. А Ильин тоже молчал, ждал моего заключения, но не дождался. Спросил:

– И ладно. Положим, так. Но к чему ты это рассказал?

– А к тому, что на месте Шапиро и я бы так поступал.

– Ну, нет. Шапиро так не поступит. Ни за что и никогда!

Я на это проговорил с металлом в голосе:

– Тогда следует признать: Шапиро и ему подобные всякое дело ведут к развалу. Смычок скрипки им можно доверить, но к местам руководящим допускать нельзя.

Покраснел мой собеседник, надулся, как мышь на крупу. Почти всю оставшуюся половину пути он рта не открыл, что для наших бесед было необычно и невероятно. А когда мы уж подходили к факультету, он с мелким дрожанием в голосе проговорил:

– Крамолу эту ты, Иван, из башки своей выброс. С такой-то людоедской философией хватишь горя.

Это был наш последний разговор, когда мы коснулись еврейской темы. Раз-другой он еще ненароком упоминал слово «еврей», но я уж на эту удочку не клевал.

За два-три месяца до окончания учебы Ильин стал пропадать в Москве и я один ходил на занятия. Однажды в лесу мне встретился майор Нехорошев. Он жил в нашей же деревне, но только на самом конце и на занятия ходил по другой дороге. Это был дядя лет тридцати пяти, с крупной головой, плотно сидящей на широких плечах. Угрюм, молчалив – во время учебы мы с ним не общались. Сказал грубоватым, охрипшим голосом:

– Где твой сосед? Чтой-то не видно его.

– В Москве задерживается. Жена его и совсем туда переехала;

там же у них квартира.

Нехорошев проговорил загадочно:

– Жена у него – паровоз. По своим еврейским каналам должность ему выбивает.

– Она вроде бы цыганка.

– Слушай ты их! Цыганка. А он белорус – так, наверное, тебе говорил.

– Да нет, о себе ничего не говорил. Да русский он, разве по лицу не видно?

– Вот-вот – русский. А уши торчат, как дуги, глаза вылезают из орбит. Хорош русский!…

Помолчал майор, а потом смерил меня сочувственным взглядом:

– Тебя, как я слышал, Иваном зовут, а я Василий. Вот и вся нам цена: Ванёк да Васек. Лопухи мы, в упор еврея не видим, а вот немцы за версту жида различают.

– Да зачем его видеть? – заострял я тему разговора. Мне уже было интересно послушать суждения о евреях, и об Ильине особенно. Я, конечно, подозревал в нем какой-то чужой дух, но мысль о том, что он еврей, мне и в голову не приходила. Нехорошев же при таком моем вопросе набычился, оглядел меня с ног до головы. Прорычал:

– Зачем, говоришь? А вот укусит тебя Ильин, так и будешь знать, зачем его надо видеть. Ты что ему наболтал за время ваших дружеских бесед на пути от деревни до факультета?

– Да ничего я не болтал! – начинал я выходить из себя.

– А чего же он на тебя так воззрился? Я сам слышал, как он дружку своему Баренцу говорил: «Опасный он, этот капитан окопный. Сказать надо Сеньке из отдела кадров, чтобы подальше его от Москвы услал». Сенька-то – их человек. Он-то уж взял тебя на заметку. Э-э, да что с тобой говорить! Ваня ты и есть Ваня.

Махнул рукой и отошел прочь. Больше я с Нехорошевым не заговаривал, а напрасно: видно, много знал этот человек. Несколько лет спустя я приехал в Киев и услышал, что самым большим книжным магазином в городе заведует Нехорошев, майор в отставке. Видно, не заладилась его военная служба.

За месяц до окончания учебы Ильин мне сказал:

– Я сдал все экзамены и зачеты. У меня теперь два высших образования: Университет и академия. Скоро диплом получу.

Я только рот открыл от изумления, но вовремя спохватился и не стал удивляться.

– Поздравляю! А у меня экзамены еще впереди.

Думал, пойдет со мной в деревню ночевать, а он показал на машину, стоявшую возле волейбольной площадки:

– У меня машина – служебная. В Москву поеду. И здесь, пожалуй, уж не появлюсь. Так что, бывай. Желаю успеха.

И уже сделал несколько шагов к машине, но потом вернулся, схватил меня за руку, горячо заговорил:

– Уезжай из Москвы – и подальше. Тут тебе делать нечего.

Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Так-то!

И пошел к машине. Больше я его не видал. Никогда. Фамилия была на слуху: Ильин да Ильин. Он будто бы важный пост занимал на радио, налаживал вещание на заграницу. В «трубе» это была фигура второй или третьей величины.

Наступало время конца учебы. Зачеты сдали, экзамены тоже. Большинство слушателей получили назначение, разъехались. Я почти каждый день ездил в Москву, в главный корпус академии, сдавал зачеты и экзамены по полной академической программе. Экзамены сдал успешно, оставалось написать диплом, за который я еще не брался. Радостный возвращался из Москвы в Лысково. Я хотя и расстался с мечтой работать в «Красной звезде» – отчасти под воздействием бесед с Ильиным, – но все-таки назавтра запланировал визит к главному редактору. И каково было мое изумление, когда у себя дома за столом застал мило беседующего с моей женой незнакомого майора. Он встал ко мне навстречу, с улыбкой протянул руку:

– Я майор Макаров, начальник отдела кадров газеты «Сталинский сокол». Приехал по вашу душу. Вы ведь авиатором были, Грозненскую школу кончили?…

Сидели, пили чай. Майор рассказывал, что у них в газете много полковников, именитых журналистов, – «Михалковы разные да Эль Регистаны», а людей, способных отличить элерон от хвоста, почти нет. Предложил мне работу в их редакции. Я не стал ломаться, с радостью согласился. Но сказал: «Сумею ли?» Майор махнул рукой: де, мол, конечно, сумеешь. И на том мы порешили.

Я пошел провожать его до станции.

Глава пятая

В нескольких километрах от Москвы, в деревне, договорился с одинокой старушкой о найме комнаты. Нашел машину и поехал за семьей в Лысково. Часа через три подъезжаем к калитке, а она закрыта на замок. Старушка, высунувшись из окна, кричит:

– Я передумала, извините, извините!

Стоял возле машины и не знал, что предпринять. Вывел из оцепенения шофер:

– Тут рядом товарная станция, я сгружу вас, а вы уж как-нибудь.

Приехали на станцию, нашли местечко среди контейнеров, поставили чемоданы. Надежда – молодец; видя мою совершенную растерянность, сказала:

– Ну, ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Главное, тебя оставили в Москве, а все остальное образуется.

Обняла, прижалась ко мне щекой. Мечта жить в Москве была недостижимой, и вдруг осуществилась. А уж как начинается наша жизнь в столице – это неважно, это даже интересно. Практический ум северной крестьянской девушки ей подсказывал, что все будет хорошо, она верила в меня и готова была делить со мной все: и радости и невзгоды.

Со временем я все больше буду узнавать в ней эти замечательные свойства души: стойкость и мужество, они еще не однажды помогут нам на нелегкой дороге моей журналистской, а затем и писательской жизни.

На счастье был тихий и теплый день ранней осени, мы усадили Анну Яковлевну со Светланой на чемодан, а сами пошли искать квартиру. Ходили долго, часа два – кого только не спрашивали; заходили в какой-то барак, потом в дом, другой, третий… Одинокую пару еще соглашались приютить, но как только узнавали, что у нас есть ребенок и бабушка, шарахались как от чумных. Но одна женщина вдруг сказала:

– Не на улице же вам ночевать, проходите в квартиру.

А Бог, конечно же, есть! Утром он явился к нам в образе молодой улыбающейся женщины. Оглядев нашу колонию, мягким певучим голосом она проговорила:

– Есть у меня для вас комната, собирайтесь.

Женщина жила тут недалеко, я быстро перетащил к ней наш нехитрый багаж и, не успев перекусить, побежал на работу. Первый раз в Москве и первый раз в редакцию центральной столичной газеты. Приехал на стадион «Динамо», обогнул с внешней стороны часть этого главного в то время спортивного

сооружения, свернул на улицу Верхняя Масловка и очутился перед входом в серое небольшое трехэтажное здание, на стене которого из лучей солнца соткана надпись: «Газета Военно-Воздушных Сил страны "Сталинский сокол"». С гулко трепетавшим сердцем всходил на второй этаж, и едва поднялся на верхнюю приступку, как тотчас же и уперся в дверь с надписью: «Отдел информации». Самым младшим сотрудником этого самого младшего в газете отдела мне предстояло трудиться.

Мое появление в отделе ничем не напоминало «Явления Христа народу» – наоборот: все четыре сотрудника повернули в мою сторону головы, но тотчас же снова склонились над столами: для них я был не более чем обыкновенный посетитель.

У двери в глубине угла сидел большой массивный майор с толстыми линзами очков в светлой металлической оправе. В редакции его называли Сева Игнатьев. Он поднял на меня голову и продолжал наблюдать мое к нему приближение. Был насторожен и будто бы даже отклонялся к стене, словно я представлял для него опасность. Я его уже знал: накануне начальник отдела кадров представлял меня главному редактору газеты полковнику Устинову и тот на беседу со мной пригласил этого… толстого и сырого человека, совершенно непохожего на военного. Он сидел молча, на меня не смотрел и за время беседы не проронил ни слова. Сейчас он тоже не выражал никакого удовольствия. И когда я негромко проговорил: «Прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы», поморщился и с каким-то неожиданным и обидным для меня смешком проговорил:

– Здесь у нас не казарма.

И показал на стул. Я сел, а он склонился над листом и еще долго сидел, не начиная со мной разговора. А я зорким взглядом авиатора окинул сидящих в комнате четырех сотрудников: одна из них была женщина, а скорее, девушка, и даже будто бы не вполне взрослая – так она была молода, свежа и изящна. За ней в дальнем углу сидел богатырь с погонами подполковника, похожий строением на Игнатьева, но только ладно скроенный и даже стройный. Напротив него у окна в самом удобном месте, расположившись просторнее других, сидел худой, сутуловатый мужчина лет сорока в штатском – это был Александр Фридман, журналист, которого знала вся Москва и который знал всю Москву.

Игнатьев молчал и словно забыл обо мне. Потом стал задавать вопросы:

– У вас есть высшее образование?

– Я учился в академии, но диплома еще не получил.

Игнатьев засвистел и покачал головой. Он что-то запел; тихо, чуть слышно, но – запел. И голос у него был приятный, почти женский. Потом он забормотал, и я расслышал: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…» И снова вопрос:

– Вы член Союза журналистов?

– Нет, не член. Там, где я работал, не было Союза журналистов.

Игнатьев снова замотал головой, и снова запел, но теперь уж я не разбирал слов, а лишь смутно улавливал мелодию. Где-то ее слышал, – не помню где. И еще вопрос:

– В больших газетах работали?

– В больших не работал.

Теперь уж майор и не пел, и не свистел, а склонился над листом и чмокал мокрыми толстыми губами, и так плотоядно, что можно было подумать: он что-то откусил от меня и теперь с удовольствием пережевывал. И потом, словно вспомнив обо мне, сказал громко:

– Вот стол, садитесь. Будете сидеть напротив меня. Если я вам надоем – скажете.

И он засмеялся; на этот раз громко, с каким-то тоненьким внутренним прихлебом и раскатцем. Смех был неприятен, но так, наверное, смеются все столичные начальники. Я столичных начальников еще не видел: это был первый.

Сотрудница принесла почту, положила на стол начальника. Игнатьев ничего не сказал и лишь сверкнул толстыми линзами очков в сторону писем. Я знал, что среди корреспонденции были и такие, которые надо обрабатывать, и ждал, когда часть из них попадет и ко мне на стол, но Игнатьев что-то чертил на листе бумаги, именно чертил, а не писал, и это меня удивило. «Делать что ли ему нечего?» – думал я, не зная, чем мне заняться, и чувствуя неловкость перед другими за свое безделье. А «другие» были заняты: все чего-то писали. И только Александр Фридман время от времени выходил из комнаты и потом, вернувшись, возглашал:

– Новый зам пишет передовую.

И, обращаясь к великану, сидевшему напротив него:

– Кстати, Сергей – твоя тема. О спорте.

И опять тишина. Я уже сижу часа два, и мне нечего делать, и от этого ничегонеделания я изнемогаю. А Игнатьев исчертил один лист, потом другой – и опять чертит, чертит… Он очень большой, – даже больше того гиганта, которого Фридман называет Сергеем. Он глыбой нависает над столом, и оттого стол кажется маленьким. Иногда мне чудится, что мы сидим в школьном классе и Игнатьев едва умещается за партой.

Но вот он пригреб к себе пачку писем. Читал еще час, а потом вышел из-за стола, стал раздавать их, как подарки. Положил и мне три письма. На двух была резолюция: «Ответить», на третьем: «Подготовить в номер».

Заметка называлась: «Третий день соревнования» – о планеристах, которые в Крыму участвуют в состязаниях. Информация написана грамотно, с интересными деталями, даже с описанием какого-то дерзкого опасного эпизода. Руководствуясь своим правилом без нужды не менять текста, «не заправлять» материал и поменьше вставлять отсебятины, я деликатно заменил два-три слова, переставил два-три предложения и в конце дописал завершающее резюме. Заглавие мне показалось вялым, и я дал свое – «Крылатое племя». На это у меня ушло десять-пятнадцать минут, но, чтобы не было впечатления, что я торопился или хочу похвастать быстротой своей работы, я еще с полчаса подержал заметку на столе, а затем отдал начальнику. И затаил дыхание; боялся, как бы начальник не нашел ее плохо отработанной и не стал править заново. Но именно это и случилось. Игнатьев над моей заметкой склонился особенно низко, читал ее как-то трудно – раз, другой, а потом яростно стал переменять весь текст. Чертил и зачеркивал, а на полях писал новые слова, а потом снова чертил и зачеркивал, и так до такого состояния, что на листе уже нельзя было ничего разобрать. Позвал машинистку.

– Это срочно. В номер.

Машинистка пыталась разобрать текст. И не могла. Вернула информацию со словами:

– Я тут ничего не могу понять.

Майор покраснел, долго бухтел, а я мучительно переживал всю эту сцену. Считал себя единственным виновником. И надо же так случиться – на первой заметке и такой конфуз!

Потом кое-как текст разобрали и перепечатали. К обеду на стол начальнику положили свои заметки все другие сотрудники, и майор их подписывал почти не читая. Он как бы давал мне понять: так надо работать.

Я сидел ни жив ни мертв: кровь в висках стучала, ладони были мокрыми от пота. Меня будто бы даже слегка поташнивало. Невольно вспомнился полет на самолете Р-5 на разведку, когда над станцией Тихорецкая нас обстреляла зенитная батарея. Снаряды рвались и спереди и сзади, справа и слева – самолет качало, и кабину заволокло дымом. Я чувствовал себя так, как если бы меня поставили к стене и расстреливали. Самолет наш был из фанеры, и осколки прошивали его насквозь, один маленький снаряд от «Эрликона», зенитной пушчонки, взорвался

в кабине, и мельчайшие осколки впились мне в пах. Я услышал, как по левой ноге течет кровь…

Задание мы выполнили, но, когда вернулись, я был бледен и меня качало. Много потерял крови и натерпелся страха. Помню, как уже после перевязки я пришел к себе в землянку и почувствовал головокружение и тошноту. Тогда я думал, что тошнит от потери крови, но потом, когда, уже служа в артиллерии, я попадал в горячие переплеты и по долгу командира стоял под градом осколков и подавал команды – я потом тоже испытывал состояние легкой тошноты. Как мне говорили старые солдаты, это происходит от перенапряжения нервов. То же самое со мной случилось и здесь: я почувствовал, как тошнота подступает к горлу. Особенно было стыдно перед молодой девушкой, сидящей со мной рядом. В первый же день показать, что ты профан, не умеешь поправить маленькую заметку – но чего же ты тогда умеешь? Зачем же ты согласился работать в центральной газете?…

Нет, такого ужасного состояния я не испытывал даже на фронте. И, главное, ничего никому не скажешь, не возразишь, не оправдаешься. Не умеешь – и все тут! Начнешь оправдываться, а еще, не дай бог, спорить – и тогда уже будешь смешон. Начальник-то отдела – зубр, мастер, он всем известен, и спорить с ним все равно, что тявкать на слона.

– Ну, так что – обедать будете?

У стола стояла моя соседка. Черным огнем горят огромные глаза. В них будто бы нет снисходительной жалости, иронической улыбки. Они смотрят на меня серьезно, нет в них ни насмешки, ни осуждения.

Из-за своего стола тяжело выбрался гигант Сергей, ее сосед. Загремел басом:

– Мы питаемся на стадионе в ресторане «Динамо». Там хорошо кормят и – дешево. Пошли с нами.

Сказал просто, как старому знакомому.

Мы идем по дороге, огибающей стадион «Динамо». Подполковник шагает широко и ушел вперед, мы с соседкой сзади, идем не торопясь.

– Моя фамилия Корш, зовут Панной. А вам представляться не надо, вас зовут Иван Владимирович. Нам говорили.

Я пожимаю плечами, не знаю, что на это отвечать. Позор, обрушенный на меня начальником, еще давит сердце, мутит душу. Мне очень неудобно перед этим юным и таким прекрасным созданием; она и говорит, как поет: чисто, звонко. Идет совсем рядом, касается рукой моей руки. Мне так бы хотелось быть сильным, смелым, все знать и уметь, но именно в эту минуту я

чувствую себя полным ничтожеством, и я предпочитаю кивать головой, улыбаться. Ах, какая же глупая, наверное, эта моя улыбка! И хорошо, что Панна на меня не смотрит.

Проходим мимо киоска, возле которого Сергей Александрович пьет кефир.

Панна остановилась. Говорит:

– Подождем. Он перед обедом выпивает бутылку кефира и стакан томатного сока. Говорит, необходимо для пищеварения.

И поясняет:

– Он был спортсменом, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по волейболу. Может, слышали: Турушин. Спортсмены все так: соблюдают диету, а как уходят из спорта – разъедаются. Некоторые до безобразия. А он у нас молодец: фигуру держит.

Я, как бычок, мотаю головой и мычу: дескать, все понимаю, говорите, пожалуйста, я вас с удовольствием слушаю. И ко всем страданиям этого первого дня работы в большой столичной газете прибавляется еще и это – незнание, как вести себя и что говорить. Вдруг с языка моего срывается вопрос:

– Сколько вам лет?

– Мне?

– Да, вам. Это интересно.

– Почему это интересно?

– А так. Мне кажется, что вам очень мало лет.

– Ну, сколько же?

– Восемнадцать, двадцать.

– Нет, я уже старушка. Мне двадцать шесть. Пять лет как замужем. Мой муж…

Она называет фамилию известного поэта, редактора одного из главных литературно-художественных журналов.

– А вам сколько?

– Столько же, сколько и вам.

На самом деле, я на год моложе, но мне бы хотелось сказать ей, что я старше ее.

Ресторан небольшой, но уютный, и народу в нем мало. Садимся у окна, втроем занимаем столик. Официантка с бумажкой и карандашом в руках быстро к нам подходит и здоровается с Турушиным. Он берет ее руку, целует. Тянет к ней шею, говорит негромко:

– Вчера у вас была рыбная солянка – ах, хороша! Я, правда, без борща не могу, но вы мне принесите и то, и другое. Что больше понравится, я то и съем. А на второе бифштекс и котлеты по-киевски. Ну, и конечно, закусочку: судачок заливной, рыба красная или что там еще. Салат овощной. Сами понимаете: витамин, минеральные соли и все прочее. На третье – два

компота, кисель клюквенный, если, конечно, есть, а если нет, так мусс клубничный. Сегодня кто из поваров дежурит? Василий Иванович? О, передайте ему привет. Скажите, чтоб мусс сам приготовил, а к нему и мороженое – грамм триста. Много не надо, нынче аппетит неважный, но триста грамм – пожалуй.

Турушин привстал и что-то шептал официантке на ухо. Она кивала и смеялась. По всему было видно: Турушина она знает и любит. Его, похоже, и все повара тут знают, и помощники. Много лет он в сборной СССР играл. А два-три года капитаном армейской команды был.

Панна первое блюдо не заказала. Попросила принести лангет и сто граммов мороженого. Я заказал обед из трех блюд: борщ, гуляш и компот. Стоил он шесть рублей, по ценам того времени недорого.

Кстати тут скажу: денежное довольствие мне было положено такое: тысячу четыреста рублей месячный оклад, семьсот за капитанское звание, триста хлебных и шестьсот квартирных. Всего: три тысячи рублей. Ну, конечно, за квартиру мы платили побольше, но и на жизнь хватало. Это было время, когда цены снижались, продуктов становилось больше – питались мы нормально и кое-что покупали из одежды.

За обедом разговорились, и Турушин, быстро опорожнявший тарелки, находил время и для реплик, замечаний, не всегда остроумных, но зато простодушных и веселых. Коснулся он и моей информации:

– Смотрит он на вас зверем и заметку всю исчертил, а все потому, что вы дорожку перебежали Сеньке Гурину.

Турушин тщательно пережевал мясо, а затем добавил:

– Есть тут у нас такой. В нештатных ходит, а шеф его в штат хочет затащить. Редактор не пускает, и Макаров бдит. Еврей он, Гурин. В этом все дело.

И Сергей Александрович принялся за мороженое. Ложка у него была большая – та, которой он вычерпывал борщ и солянку,– и с мороженым он расправлялся так же быстро, как со всеми другими блюдами. При слове «еврей» я мельком взглянул на Панну: не обиделась ли? Но она сидела спокойно и даже улыбалась. Сказала:

– Гурина не люблю. Скользкий он какой-то.

И, минуту спустя, повернувшись ко мне:

– Это хорошо, что вас пригласили. Веселее нам будет.

Что означало «веселее нам будет», я не понял, но сказано это было душевно, с теплой ноткой в голосе.

– В большой газете не работал, – залепетал я, – боюсь, что не заладится.

Турушин заклокотал грудным сытым тоном:

– Заладится. Это попервости наш Сева роет носом, а потом устанет. Он поначалу-то и ко мне придирался, но я однажды, когда мы остались вдвоем, сказал ему на ухо: «Вы знаете мои подачи: ребром ладони и так, чтоб мяч юзом шел. Кто пытался взять, пальцев лишался. Ну, так вот… будете придираться…» И показал ему ребро ладони.

Откинулся на спинку стула и вздрагивал всем телом от внутреннего беззвучного смеха. А Панна миролюбиво проговорила:

– Хватит вам басни рассказывать, вы и до сих пор его боитесь, а отступился он от вас, потому что устал. Шеф наш ленивый, устает быстро. Я потому свои заметки ему под конец дня оставляю. Он в это время дремать начинает. Носом елозит по бумаге, а ничего не понимает.

Турушин не спорил, он, как и все могучие существа в природе, незлобив и спокоен. А к тому же, как я успел заметить, томно и с сахарно-паточным блеском в глазах, хотя, впрочем, и неназойливо, посматривал на Панну. Он в ее присутствии весь расслаблялся и растворялся в тихом и теплом сиянии, которое от нее исходило. Отвлекать его могли только котлета или кусок ветчины, но едва он расправлялся с очередным блюдом, он снова устремлял на Панну взгляд своих коричневых, как подошва старого ботинка, глаз, и глубоко вздыхал, словно горько о чем-то сожалея. Когда же он не был с кем-то согласен, то запрокидывал голову, жмурил глаза и сжимал свои громадные кулаки. «Он же чемпион мира!» – думал я с трепетным почтением.

Никогда раньше мне не приводилось сидеть за одним столом с чемпионом мира.

Во второй половине дня я выполнял техническую работу: относил в машинописное бюро письма, приносил оттуда отпечатанные материалы. Это уже была казнь египетская! Для меня, привыкшего на фронте повелевать и командовать, а в газете, пусть и маленькой, быть первым человеком, это челночное шмыганье из отдела в машбюро и обратно было не просто наказанием, а издевательством утонченным и почти невыносимым. Я мучительно соображал: как мне поступить? Сказать начальнику, что я согласился работать в вашей редакции не на должности секретарши, но тогда он скажет: вы ничего другого делать не умеете. Выйдет скандал, и я попаду на ковер главного редактора. Ко всему прочему прибавится момент дисциплинарный: невыполнения приказания, а это в армии – тягчайший проступок; продолжать же челночить из комнаты в комнату – да еще на глазах такой умной, все понимающей

женщины…

Раз отнес заметки, другой раз… Сердце учащенно колотилось, я весь горел от стыда и возмущения. Чтобы как-то сбросить напряжение всех духовных и физических сил, присел возле машинистки, разговорился с ней. Слышал, как ее называют Лидочкой, спросил: «И мне можно так вас называть?». Она ответила: «Конечно!». Прервала работу. Спросила:

– Вы новенький? Будете у нас работать?

– Да, сегодня первый день на службе. Никого не знаю. Плохо это, когда никого не знаешь.

– Узнаете, – пообещала Лида. – Вы молодой, – пожалуй, самый молодой в редакции, а уже капитан. На фронте были? Воевали?

– На фронте все воюют, он для того и фронт.

– Я тоже была на фронте. Зенитчица я.

– Зенитчица! Во фронтовой батарее или на охране города стояли?

– Под Ростовом, а потом под Харьковом. Там все было: то по самолетам палили, а то и от танков отбивались. Я дальномерщицей была.

Хотел рассказать, что и я зенитчик, но на том воспоминания закончил. В эти дни я уже успел форму заменить на летную – долго бы объяснять пришлось, почему зенитчик, а форма летная. Промолчал. И продолжал сидеть. Боялся, как бы Игнатьев снова не послал с какими-нибудь бумажками. Лидочка была так же хороша, как и Панна Корш, только эта русая и, кажется, ростом чуть повыше среднего. Оставаться возле нее долго было неудобно, и я ушел. С полчаса сидел без дела, потом Игнатьев подготовил еще какую-то бумагу, небрежно сказал:

– Отнесите в секретариат Артамонову.

Бумагу я отнес, но как раз в этот момент кончился рабочий день, и я не зашел в свой отдел, а прямо пошел домой. В голове шумело, я весь кипел от обиды и возмущения. Про себя решил, что если будет спрашивать, почему ушел, что это, наконец, невежливо – без разрешения уходить с работы, я тогда и выскажу ему все: и что заметку мою он «заправил» умышленно, и в секретаря пытался превратить. Но… Не на того напал. И так далее, и так далее… Словом, решил пойти на конфликт.

Подходя домой, увидел Светлану. Она уже вполне освоилась на новом месте, нашла друзей и, завидев меня, побежала навстречу. Я подхватил ее и принес в комнату. Здесь уже был жилой дух, все прибрано, полы вымыты – Надежда стала рассказывать, как хороша хозяйка, и цену положила недорогую, вот только комнату сдала на три месяца. Я подумал: наверное, мы

недели тут не проживем.

За ужином Надя спросила:

– Что невеселый? Как в воду опущенный.

– Да нет, ничего. Одевайся-ка, пойдем погуляем. Тут кинотеатр рядом. Может, сходим?

Хотелось отвлечься от неприятных мыслей. Рассказывать Надежде я ничего не стал.

Потянулись дни однообразные, серые и столь же тягостные, как первый день моей службы в большой газете. Игнатьев оказался сущим дьяволом; он ничего не сказал мне на второй день, будто и не заметил моей маленькой контратаки. И, видимо, решил поубавить свой пыл, в последующие дни даже пропустил подготовленные мною две-три заметки, но, как только я клал ему на стол информацию серьезную и пространную, читал ее по несколько раз, потом откладывал и снова принимался читать, а однажды отдал ее Турушину. Тот бегло посмотрел и, ничего не поправив, вернул начальнику. При этом недовольно пробурчал:

– Я же говорил вам: мне эта ваша метода не нравится.

И уже когда вернулся к своему столу, громко отчеканил:

– Капитан хорошо поправил заметку и нечего тут…

Игнатьев не ответил, а только ниже склонил облезлую голову над столом и засверкал стеклами очков. Стекла эти были так толсты, что если шеф поднимал взгляд, что было редко, то на вас откуда-то издалека смотрели маленькие черные бусинки, – почти птичьи. Было в этих его черных глазках что-то ненормальное, нечеловечье – пугающее.

Иногда мои заметки попадали на стол Фридману; этот правил их лихо, чертил жирные линии, и даже будто бы крякал при этом, а потом сам относил заметку на машинку, там ему тотчас же перепечатывали, и он сдавал начальнику. Игнатьев после него тексты не смотрел, подписывал с ходу.

Фридман после каждой заметки, своей и моей, быстро подхватывался и с шумом, точно на метле, выносился из комнаты. Пропадал он где-то подолгу, а возвращался всегда с какой-нибудь новостью. Иногда коротко заметит:

– Коршунов опять заболел.

Или:

– На совещании у редактора Чумак назвал боевиков гавриками.

Боевиками Марк называл сотрудников отдела боевой подготовки. Это главный отдел редакции, там работало шесть человек, и все они, кроме капитана Кудрявцева, были старшими офицерами.

Фридман выполнял в редакции роль сороки, разносившей по

всем комнатам и кабинетам новости. Турушин однажды сказал:

– Вот наглец! Он даже шастает к главному.

Не ведал я тогда, что вся редакция и обо мне уже была наслышана, что ничего-то у меня не получается и что Игнатьев не знает, что со мной делать. Как мне потом сказал Макаров, знал об этом и главный редактор. И даже посетовал, что он с подачи Макарова сразу зачислил меня в штат, а надо бы взять с испытательным сроком.

Макаров подверг сомнению все слухи обо мне и предложил редактору послать меня в командировку и дать серьезное задание. Полковник Устинов так и поступил. Когда Игнатьев посылал в командировку в Энгельсское авиаучилище Турушина, главный приказал послать с Турушиным и меня. При этом самолично дал мне задание. Пригласил в кабинет, показал на кресло у приставного столика, заговорил ласково, по-домашнему:

– Вы летчик, но на реактивных самолетах, наверное, не летали.

– Не летал, товарищ полковник.

– Ну, все равно, приемы воздушного боя для всех самолетов одинаковы. Я так полагаю.

– Есть, конечно, свои особенности, но принципы одни и те же.

– Вот и отлично. Напишите очерк на тему воздушного боя. Учебного, конечно. Из жизни курсантов училища.

Затем, подумав, продолжал:

– У нас в газете собственно летных материалов маловато; если не сказать, вовсе нету. Спецкоры опытные, есть даже писатель, но летного дела они не знают. Очерки идут через номер, но больше о людях, просто о людях – без летной специфики. Главком авиации недоволен, говорит, газета называется «Сталинский сокол», а сокол по земле ходит.

Полковник смотрел на меня испытующе, но приветливо, будто хотел сказать: «У вас получится, вы только не робейте». Эта его доверительность, теплый отцовский взгляд тронули меня почти до слез. Я уже недели две работал в газете, и каждый день Игнатьев испытывал меня на прочность, придумывал все новые способы унизить, показать, что работать я не умею, что как бы я ни старался, все равно ничего не получится. В отдел часто приходил Семен Гурин, приносил заметки с разных соревнований, и майор, прочитав их, восклицал:

– Так надо работать! Тут есть все: и форма и содержание. И пишешь ты, Сеня, как Бог!

Я на следующий день читал заметку за подписью С. Гурин и не находил в ней ничего божественного; наоборот, заголовок был бесцветный, а стиль письма вязкий, весь соткан из штампов –

вроде того: «Успех одержали молодые спортсмены…» или: «Они все были отличниками учебно-боевой и политической подготовки…» Мы даже в дивизионной газете старались избегать таких заезженных бесцветных фраз.

Я спросил:

– А какого размера должен быть мой материал?

– О размере не думайте. Был бы материал хороший.

– Не писал я очерков для большой газеты.

– А вы попробуйте. Покажите, на что вы способны.

Полковник вышел из-за стола и подошел к окну. Он некоторое время в раздумье смотрел на корпус видневшейся отсюда Военно-воздушной академии имени Жуковского и, не поворачиваясь ко мне, проговорил:

– Писать надо раскованно и смело. И не думать о цензоре, редакторе. Не надо держать за горло собственную песню. Меня, когда я начинал работу в районке на Дальнем Востоке, редактор забил, запугал: то не надо, этого опасайся, а от этого и вообще будь подальше. И я, набравшись страху, садился писать и все время думал: это нельзя, и сюда не суй носа – но что же тогда можно? В сущий ад превращалось писание маленькой заметки. И уж потом, много лет спустя, я стал думать не о том, что нельзя, а о том, что надо писать. И еще мне открылся секрет: всякая информация, даже самая крохотная, имеет свой сюжет, то есть начало, кульминацию и конец. Это как бы рассказ: вот тогда будет интересно. А уж очерк-то и подавно.

Полковник подошел ко мне со спины, положил руку на погон и сказал тихо, по-отечески:

– Макаров сказал, что вы писали рассказы и их печатали. Это верный признак ваших литературных способностей. Вот и очерк свой напишите, как рассказ, чтобы начало было, и конец, и чтоб видно было, как живут курсанты, как они летают.

Я поднялся, хотел что-то сказать, но почувствовал, как в горле пересохло и голос пропал. И будто бы даже слезы навернулись на глазах – так это было для меня волнительно, и так я был благодарен этому большому государственному человеку за то, что поверил в меня и очень хотел, чтобы получился мой очерк. Я потом четверть века буду работать в журналистике, более полстолетия в литературе, будут у меня и успехи, и большие огорчения, но всегда я буду помнить эту дружескую руку полковника Сергея Семеновича Устинова – это она, могучая рука, поддержала меня, когда я, подобно младенцу, делал первые шаги в большой журналистике. Хриплым голосом проговорил:

– Я постараюсь, товарищ полковник.

И вышел. И мы с Турушиным поехали в город на Волге, что под Саратовом – Энгельс.

Приехали в пятницу, устроились в гарнизонной гостинице, и я рванул в училище, чтобы сразу же и приступить к сбору материала для очерка. Но Турушин взял меня за рукав, с силой потянул к себе:

– Постой, постой – ты куда?

– Как куда – в училище.

– Ну, нет, капитан, ты мне такой темп не навязывай. Я человек серьезный, во всяком деле обстоятельность люблю – мне оглядеться надо, узнать, где ресторан, что за повара. Человек, он как лошадь, его накорми, а потом уж запрягай. А ты в училище! И вообще – давай договоримся: я старший, а посему и командовать буду. Твое дело ждать, когда от меня разрешение выйдет.

Неохотно я принял его предложение, но спорить не стал. Пошли в ресторан. И тут он устремился не в зал, а прямо к директору. За столом сидела женщина – молодая и модно одетая. Турушин поклонился ей и сказал:

– Я чемпион мира, а это мой товарищ. Мы будем жить в вашем городе десять дней. Прошу выделить нам в удобном месте стол и организовать питание соответственно.

Женщина не растерялась, спросила с улыбкой:

– Соответственно это как?

– А так, чтобы все по первому разряду: свежее мясо, свежие фрукты и так далее.

Директор снова улыбнулась и с готовностью пообещала:

– Будет сделано. Надеюсь, вам у нас понравится.

Повела нас в зал, показала столик; действительно, в лучшем месте: у окна в середине зала. Потом подозвала официантку и представила ее нам. Когда мы сделали заказ, она вместе с официанткой пошла на кухню и, очевидно, дала инструкции поварам. Кормили нас все десять дней действительно «соответственно». И каждый раз в конце обеда к нам подходил повар, спрашивал, все ли нам понравилось, а потом появлялась директор и тоже спрашивала. Было видно, что чемпиона мира они, как и я, раньше так близко не видели. И когда я спросил однажды, всюду ли так поступает Сергей Александрович, он ответил:

– А как же иначе? Я же чемпион мира! Надеюсь, твоя фантазия способна вообразить, что это такое?

Я ответил:

– Такое мне вообразить трудно. Не могу я представить, как это можно победить всех людей на планете, но директора ресторана и поваров я понимаю: им, наверное, никогда не

приходилось кормить такого высокого человека, они потому и стараются.

Про себя подумал: «Мой новый друг от скромности не умрет». Однако осуждать не торопился. Если учесть его гастрономические пристрастия, то, наверное, он и не мог поступать иначе.

Как козырную карту, чемпионство Турушина пришлось выбросить и в эпизоде, который случился на второй же день нашего пребывания в Энгельсе. Это произошло на стадионе, куда мы пришли представляться начальнику училища полковнику Трубицину. Тут начиналась игра в волейбол между командами города и военного гарнизона. Полковник Трубицин пригласил нас на «правительственную» трибуну. Места были почти все заполнены. С первых же минут выявилось преимущество горожан. Голы летчикам сыпались один за другим. Вот уже счет шесть на два. И тут вдруг неловко падает курсант. Товарищи выносят его с поля. И прежде чем игроки и зрители успели опомниться, Турушин снарядом вылетает на площадку, что-то шепчет капитану, и игра продолжается. Мяч удачно принимает авиатор и подбрасывает его над сеткой. Там не было Турушина, но он, оттолкнув двух игроков, подлетает к мячу и ребром ладони его ударяет. Удар был пушечным; кто-то из команды противника подставил руку и вскрикнул, замотал пальцами и, согнувшись, покинул поле. Произошло минутное замешательство. Капитан городской команды подошел к нашему капитану, и они выяснили отношения. Наш капитан показал на китель Турушина, брошенный на бортик ограждения: дескать, видите, подполковник. И игра продолжалась. Турушин вышел с мячом на угол площадки, и тут я увидел известную всему миру «турушинскую подачу». Не спеша он повернулся к игрокам спиной, приподнял на одной ладони мяч, стал вращать его в пальцах. Зрители и игроки замерли в ожидании. Необычной и явно театральной казалась процедура. И вдруг Турушин высоко над головой подбрасывает мяч. И пока тот летел вверх, а потом опускался, Турушин так же медленно, как и все, что он делал, повернулся к площадке лицом, но при этом не спускал глаз с мяча. А когда тот опустился на нужную высоту, громадное тело Турушина, изогнувшись удавом, вспрыгнуло и раздался утробный клич, соединившийся с громовым ударом. Мяч, словно шаровая молния, издавая шипение и вращаясь вокруг оси, полетел по кривой линии на дальний угол площадки противника. Кто-то из команды горожан поднял над головой руку, но тут же отдернул. Крутящийся мяч ударился в самый угол. Игроки, пораженные фантастически мощной подачей, с минуту не могли сдвинуться с места.

Полковник Трубицин сказал:

– Ну-ну! Такой подачи я еще не видывал.

А я подумал: «Вот он – чемпион мира! Теперь и я увидел, что это такое – Турушинская подача».

Игра продолжалась в этом роде и скоро закончилась со счетом девять на пятнадцать в пользу авиаторов. После матча игроков обступили, и главным образом Турушина. Все понимали, что это большой мастер, и хотели бы знать, в каком клубе он играл. А тренер городской команды долго разглядывал маленькую книжицу с фотографиями знаменитых волейболистов и узнал Турушина. Подошел к нему и сказал:

– Вот вы кто такой! Я вас сразу узнал, да сомневался; все-таки вы уж давно не играете, изменились, конечно. А теперь вижу: вы это, Сергей Александрович Турушин, капитан сборной СССР, – победили на мировом чемпионате. Нам очень приятно встретиться с вами и на себе познать силу Турушинской подачи.

Чемпиону жали руки, просили автографы.

То был день, когда мы встретились со многими другими спортсменами училища, сделали нужные нам записи в блокнот, договорились о новых встречах. А через три дня материал для подборки, которую заказал Игнатьев, был готов и мы сели писать. Я, к удовольствию своему, заметил, что Турушин легко справляется со своей долей заметок, а одну историю, увлекшись, развернул в солидную корреспонденцию с большой дозой юмора, и она получилась не только полезной для читателей газеты, но еще и забавной. Сергей Александрович долго ее отделывал, а когда закончил, – это было в два часа ночи, – разбудил меня.

– Извини, пожалуйста, но я не могу ждать до утра. Я тут написал. Посмотрел бы ты, а?…

Я подошел к столу, стал читать. И с первых же строк заинтересовался сюжетом. Неспешно и умело развертывалась бесхитростная, но смешная история о летчике, который любил поесть, полежать и совершенно не занимался спортом. Когда в училище пришли реактивные самолеты, командир эскадрильи не хотел его переучивать для полетов на них. А в школе на встрече с детьми к нему подошел мальчик-толстячок и спросил:

– А вы тоже летчик?

– Да, конечно, я летчик.

Тогда мальчик обратился к своей учительнице и обидчиво проговорил:

– А вы мне сказали, что таких, как я, в летчики не берут.

То была минута, когда всем было неловко, а сам летчик проклинал и свое пристрастие к излишней еде и нежелание заниматься спортом.

Эпизод этот как-то ненавязчиво и не очень обидно для летчика, – тем более, что это было в прошлом, – был включен в корреспонденцию, и она так засветилась добродушным поучительным юмором, что я даже удивился, как это у Турушина так ловко получилось.

– Так это же находка! – искренне сказал я. – Это же маленький чеховский рассказ!

Я от души поздравил товарища. Но он был невесел, и чем больше я радовался, тем он становился мрачнее. Наконец, сказал:

– Жаль, что не вы у нас заведуете отделом, а майор Игнатьев. Он таких вольностей не любит.

– Как? – удивился я.

– А так. Он в таких случаях говорит: «А это вы своей жене на кухне почитаете».

Я постарался его уверить, что такой хороший материал майор отклонить не посмеет. Он готов был мне поверить, и мы, довольные друг другом, легли спать.

Весь следующий день я пробыл на аэродроме, наблюдал «бой» двух реактивных истребителей. Руководил полетами сам начальник училища. Он, узнав, что я тоже летчик, пригласил и меня полетать с ним на двухместном реактивном истребителе, и я в воздухе наблюдал, и как бы сам участвовал в напряженном воздушном поединке двух первоклассных бойцов.

«Воздушные бои» я наблюдал и еще три дня, познакомился и с асом, и с другими летчиками-фронтовиками, и особенно много интересного узнал о полковнике Трубицине, который всю войну летал и сбил более сорока вражеских самолетов. Теперь он «натаскивал» молодых летчиков, инструкторов училища.

В свободные часы, в перерывах между полетами, я уединялся в безлюдном уголке и писал очерк, который назвал «Зона». В редакции попросил Лидочку отпечатать не два экземпляра, как обычно печатали большие материалы, а три. Она любезно согласилась, и я один экземпляр спрятал, один оставил у себя на столе, а один отдал Игнатьеву. У него уже лежала и наша спортивная подборка с прекрасной корреспонденцией Турушина.

Я с нетерпением ждал, когда Игнатьев будет читать наши материалы, но он сложил их в кучу и подвинул от себя подальше, – да так, что стопка листов грозила вот-вот упасть. Заметил я, что Турушин также с нетерпением ждал участи своей корреспонденции. Он даже присмирел и говорил меньше, и на обед мы ходили уж не так весело, как раньше.

Я удивлялся: как же так! Информация должна идти с колес, иначе устареет, а наши – лежат.

Сказал об этом Турушину. Он невесело улыбнулся:

– Если бы это были Саша Фридман или Сеня Гурин, а то… мы с тобой, два русака.

Покорность и бессилие чемпиона меня поражали: он, как ягненок, ждал своей участи и не хотел пальцем шевельнуть в защиту привезенных нами материалов.

На обратном пути из столовой мы шли вдвоем с Панной. Она заговорила о нашей поездке, о спортивной подборке. Про мой очерк она ничего не знала. Его я писал помимо задания; ждал, когда вызовет редактор – ведь он заказывал очерк, но редактор не вызывал. В больших газетах любой материал, даже писательский, проходил через отдел. Порядок этот выдерживался строго, и я, конечно, не хотел его нарушать. Но Игнатьев очерка не читал. Только на третий день после нашего приезда он прочел спортивную подборку. Все заметки отдал Фридману, а по поводу корреспонденции Турушина, прочитав ее и склоняясь все ниже и ниже, бормотал:

– Сергей Александрович… Вы человек взрослый, серьезный, а это что?… А?… Летчик-толстяк, много ест, и мальчик тут же. Чушь какая-то!…

Гладил очками заголовок: «Урок для дяди Васи» – так звали летчика, мотал головой, будто его кусали комары, хмыкал, охал, а затем в раздражении двинул корреспонденцию на край стола:

– Жене почитаете. На кухне.

Я не выдержал. Тоже громко и, кажется, с дрожью в голосе сказал:

– Мне эта корреспонденция понравилась. Я нахожу ее остроумной и удачной.

Реплика моя прозвучала неожиданно, и все повернули ко мне головы. Смотрели как на сумасшедшего. Они тут работают много лет, и такого у них не было. Коллектив хотя и журналистский, но дисциплина военная. Мнение мое прозвучало как пощечина начальнику, – и добро бы возмутился ветеран, авторитет, а то новичок, да еще не умеющий написать крохотной заметки.

Игнатьев поднял над столом облезлую голову, снял очки, смотрел на меня, сильно щурясь. Он, похоже, и не видел меня, а едва лишь различал мой силуэт.

Проговорил хрипло, задыхаясь:

– Да? Вы так думаете? А вы разве знаете, что для нашей газеты хорошо, а что плохо?

– Корреспонденция мне понравилась: говорю вам как читатель.

Теперь уже и я понимал, что реплика моя звучала нелепо, но мне очень хотелось защитить товарища, встать и заслонить от удара чемпиона мира, человека, которым восхищались

спортсмены в городе Энгельсе. Я смотрел на Игнатьева прямо, хотя и понимал свою беспомощность, и видел, что эту беспомощность понимают все другие, и особенно моя соседка, красивая, умная Панна, которой я очень бы хотел нравиться. Наверное, никогда в жизни, и во все годы войны, я не попадал в столь ужасное положение, когда ринулся в атаку и был сразу же разбит, разгромлен противником. Стиснул зубы, сжимал кулаки от досады и от сознания полного бессилия.

Со своего места поднялся Турушин. Прямой и могучий как великан из детской сказки. Подошел к столу начальника и спокойно взял свою корреспонденцию, а возвращаясь назад, тронул меня за плечо и сказал:

– Спасибо, друг, но тут уж ничего не поделаешь. Судьбу наших материалов решает начальник.

И тише добавил:

– К сожалению, не всегда справедливо.

Игнатьев между тем продолжал смотреть в мою сторону. И в наступившей тишине вновь раздался его хриплый дрожащий голос:

– Тут и ваш материал. Большой, на восемь страниц. У вас там в дивизионном листке, может быть, такие и печатали, а у нас отдел информации, таких простыней мы не пишем.

И как-то криво улыбнувшись высохшими губами, добавил:

– Турушина расписали, сотрудника редакции. Хе-хе!…

И майор двинул в мою сторону очерк. Я как ошпаренный подскочил и взял его. Игнатьев протер рукавом кителя стекла очков, выпрямился, как бы давая всем понять, что пугачевский бунт окончен. Все вернулись к своим делам, а я сидел еще с полчаса, потом решительно встал и пошел в отдел кадров к Макарову. Почему-то я в эту минуту думал, что очерк мой не понравится и редактору. Широко и уверенно шагал по коридору в дальний угол, где находился кабинет Макарова. Думал, вот сейчас зайду и скажу: «Оформляйте мне демобилизацию. Не заладилось у меня дело в вашей редакции. Видно, не судьба».

Почти лоб в лоб столкнулся с редактором.

– Ну, так… где ваш очерк?

– Сейчас, товарищ полковник. Я принесу.

– Хорошо, я пойду в буфет перекушу, а вы положите мне его на стол.

Ничего и никогда я так сильно не желал в своей жизни, как того, чтобы мой очерк понравился редактору. Но именно теперь, мысленно перелистывая все его страницы, я вдруг явственно, с какой-то рельефной отчетливостью видел его несовершенство и даже детскую наивность. Начиная с названия «Зона». Так ведь это

же лагерный термин! Там она бывает – зона. А я так обозначил одну из самых волнующих и романтических сфер жизни летчиков. Они поднимаются в небо, овладевают своим главным искусством – воздушным боем, а я – зона!… Черт же меня дернул!… А начало?… Вскочила же в голову мысль показать эпизод на стадионе, Турушинскую подачу, а затем рефреном провести ее через весь очерк… Тут подача, а там… Трубицинская атака. Она, атака, конечно, впечатляет: идут на встречном курсе лоб в лоб два самолета. И в тот самый момент, когда вражеский истребитель, боясь столкновения, сворачивает и подставляет бок – Трубицин бьет по нему со всех стволов и превращает в решето. Таким приемом он сбил много вражеских самолетов. По всему фронту гремела тогда Трубицинская атака. Но и Турушинскую подачу знал весь спортивный мир и миллионы любителей волейбола. Однако вещи-то разные. Поделом высмеивал меня Игнатьев.

Я при этой мысли даже вспотел. И вышел из комнаты, стал взад-вперед ходить по коридору. Вот, думаю, пойду сейчас к редактору и заберу очерк. Может, он еще из буфета не вернулся.

Тут рысцой по коридору трусит пожилой толстяк Иван Иванович Артамонов – литературный секретарь. Гроза всех сотрудников редакции. Он ведь за стилем и грамотностью следит.

Схватил меня за рукав.

– Редактор тебя зовет. По очерку замечания хочет сделать.

– Замечания? Так, значит, в корзину не бросил?

Ничего не сказал Иван Иванович, подтолкнул к кабинету главного.

Ступаю на ковер, делаю первый шаг. Почему-то вспомнилось, как во время войны мост бомбили. Мост маленький, самолет наш фанерный, Р-5 – для разведки предназначен, а мы с бомбами, да на малой высоте. А мост две зенитные батареи охраняют. И как вылетели из-за леса, батареи изо всех стволов по нас ударили.

Но и там не было так страшно. Здесь же иду, а ноги подкашиваются. И в висках… точно молотками бьют.

– Товарищ полковник! Капитан Дроздов прибыл…

Махнул рукой редактор, улыбнулся.

Смотрит на меня каким-то домашним взглядом, и так тепло, тепло. И голос его – мягкий, дружелюбный.

– Да вы садитесь. Чего же стоять… Я знаете ли, читал ваш очерк и службу свою на Тихом океане вспомнил. Там я редактировал армейскую газету «Тихоокеанский сокол», ну, а летчики-балагуры чижиком звали. Тихоокеанский чижик, значит. Не обидно звали, а так, по-свойски. Я там тоже однажды с командиром дивизии летал. И тоже учебный бой какой-то был…

Сделался серьезным полковник, взгляд устремил на лежащий перед ним очерк с идиотским названием «Зона». И тут-то вот сердце мое и совсем упало. Ну, думаю, из жалости он так ласков со мной. А сейчас скажет: «К сожалению, не получился очерк. Несерьезно все это. Видно, не по плечу вам работа у нас в центральной газете». И я уже ответ заготовил: «Отпустите домой. Я на завод поеду. Там до войны работал».

А полковник не торопится приговор произносить; видно, жалеет меня. Потом опять глаза на меня поднял. Серые, большие – ну, точно, как у отца моего покойного. Но на этот раз смотрит внимательно и строго. И говорит:

– Большая судьба ждет вас в журналистике. А, может, еще и писателем станете. Перо у вас ласковое, и сердце доброе. Красоту вы в людях ищете, теплых слов для них не жалеете. И что Турушина так описали – тоже хорошо. Пусть знают наши читатели, какие люди в редакции работают.

Вышел из-за стола, подошел ко мне. Я встал и смотрю ему в глаза. А он обнял меня и долго этак держал, как сына, которого он ждал из дальних странствий. А потом легонько подтолкнул к двери.

– Идите, работайте.

Как только я вошел в комнату, Турушин подхватил меня за рукав и со словами: «Пойдем, покурим!», хотя оба мы не курили, потянул в коридор. А здесь предложил:

– Пойдем в ресторан, выпьем.

– Так ведь рабочий же день!

– А-а, брось ты! Противно мне сидеть с этими жидами!

– Жидами?

– Ну, да – конечно. Майор Игнатьев, думаешь, русский? Он ведь тоже жид.

– А Панна? – испуганно спросил я.

– Панна? Черт знает, что она такое – Панна? Бабенка вроде неплохая. С ней легко, а вот национальность?… Клещами не вытянешь из нее признание. Я раз по пьяному делу подступился к ней: ты роду какого будешь – не иудейка ли? Она смеется, головкой своей качает: «А хоть бы и жидовочка, так что – в космополиты запишешь?…» Ничего и никого она не боится. Муж – известный поэт, редактор журнала, а и отец, говорят, какой-то чин по части дипломатической. Посол вроде бы то ли в Англии, а то ли во Франции. Его, я слышал, сам Сталин уважает. Министром иностранных дел скоро будет. А это уж заставляет думать: министрами то иностранных дел еще со времени царского только евреи бывают.

Задумались мы оба. Идем молча. А Турушин вдруг замечает:

– Ты, Иван, знать должен: чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем чаще евреи дорогу перебегать будут. Надо выдержкой запасаться, закрывать себя глубже. Я в этом отделе три года работаю, а никогда не знаю, что они думают и что замышляют. Одно вижу: своих тянут. При каждой возможности тебя по носу щелкнут, а своему дорогу дадут. Меня съесть не могут: большой я, имя громкое: шевельни – гремит сильно. А шума они боятся. И света тоже. Ты вот как вступился за меня, голос возвысил – Игнатьев ниже голову опустил. У него на лбу пот выступил. Видел я. И Фридман, этот бес на метле, весь скукожился. Они всякой атаки боятся, думают тогда они: а с какой такой стати этот тип хвост на них поднимает? Вдруг за ним сила какая идет?… Вот и тебя испугались. А как только к нам Артамонов зашел и сказал, что тебя редактор позвал, тут у нас в комнате тишина наступила, как в могиле. А Фридман тихонько вышмыгнул в коридор и по кабинетам стал шастать: что да зачем тебя редактор вызвал. А потом, вернувшись, что-то шепнул шефу, и тишина у нас до самого твоего возвращения воцарилась. Я же тебя на улицу вытащил – это для того, чтобы ты чего лишнего им не сказал. И вообще: их помучить надо. Пусть они до конца работы ничего не узнают, а когда мы в редакцию вернемся, ты делай вид веселого, беспечного человека. Улыбайся больше, всякие веселые вещи рассказывай, о разговоре с редактором – ни гу-гу. Они тогда уже и не от любопытства, а от страха сон потеряют. Га-га!… Делай, как я тебе говорю. Я-то уж ихнего брата знаю.

Пить я отказался, а Турушин выпил стакан вина и поел как следует. Незадолго до конца работы мы вернулись в редакцию.

– Верстку читайте! – радостно воскликнул Игнатьев. И Фридман из своего угла весело возвестил:

– Я вас по всей редакции искал, и в академию в буфет бегал. Думал, вы там на радостях кофе с коньячком попиваете.

Я ничего не понимал, а Игнатьев, надвигаясь на меня горой, потрясал каким-то большим листом, повторял:

– Верстка! Это же верстка вашего очерка. Редактор звонил, просил быстрее вычитать.

Я взял листок со свежим, пахнущим типографской краской набором, прочитал заголовок «Трубицинская атака». Ничего не понял, но первые же строки гранки были мои – сцена на стадионе. Турушинские подачи. Я сразу понял: редактор дал моему очерку свой заголовок: «Трубицинская атака». И очень удачно, поразительно, как метко.

Стал читать. Текст давался такой, каким я его и написал. Без малейшей правки! Может быть, она и была, но я не замечал –

настолько был деликатен мой редактор, главный редактор газеты.

Очерк получился большой, занял три колонки. И был складный, очень мне понравился – мой собственный очерк. Игнатьев почти выхватил у меня верстку, выбежал из комнаты. И Фридман что-то говорил, говорил. Но я только и услышал, как Турушин пробасил:

– Поздравляю, старик! Ты забил гол с первой подачи.

А Панна пододвинулась ко мне со своим стулом:

– Молодец, Иван! Я знала, что дело у тебя пойдет. С первого взгляда поняла: хороший парень. Ты же фронтовик.

Протянула мне руку, добавила:

– Если уж сам редактор в номер отослал материал, значит, быть тебе спецкором. Жаль только, что сидеть уж ты со мной рядом не будешь.

Не знаю, что было бы для меня лучше: выиграть миллион рублей или напечатать очерк «Трубицинская атака»? Эта небольшая зарисовка из жизни авиаторов той поры, которую я помимо своей воли сделал по всем законам малого литературного произведения, то есть рассказа, явилась ключиком, открывшим двери в волшебный мир не только большой журналистики, но и большой жизни. Меня узнали. Моя фамилия, как и фамилия воздушного аса Трубицина, запомнилась едва ли не всем людям, служившим в то время в частях и штабах Военной авиации. Тут можно вспомнить чье-то крылатое выражение: «Герой не тот, кто совершил подвиг, а чей подвиг описан». Амбразуры дотов закрывали многие солдаты, но мы знаем Александра Матросова, – о нем написан очерк; много партизан и партизанок повесили немцы во время войны, но в памяти нашей осталась Зоя Космодемьянская – о ней журналист Лидов написал очерк «Зоя». Мне скоро дадут задание написать о Гастелло, и я, изучая о нем материал, узнаю, что есть сотни случаев, когда летчики-герои направляли свои горящие машины, а случалось, что и не горящие, в скопление врага, и о многих из них писалось в газетах, но лишь капитан Гастелло врезался нам в сознание – потому что о нем не только было написано, но журналисту удалось написать о нем ярче, чем писалось о других.

Мой очерк дал мне крылья: я получил право быть в журналистике, говорить со всеми на равных, претендовать на газетную площадь, за которую в центральных газетах, как, впрочем, и во всех других, идет постоянная и подчас драматическая борьба.

На следующий день я пришел в редакцию и увидел в коридоре у стены группу людей. Тут был щит, на котором каждый день вывешивались слева «Лучший материал номера», в середине

«Лучший материал недели» и справа – «Лучший материал месяца». В этом разделе висел вырезанный из газеты мой очерк. Между прочим, до конца месяца оставалось два дня, и я спросил у стоявшего рядом капитана:

– А если завтра появится материал еще лучший?

– Не появится, – ответил тот, – в этой колонке и вообще-то материалы появляются очень редко. Вон там, где «Лучший материал номера», вывешивают каждый день, а здесь… давно не было.

После обеда к нам в отдел зашел человек с погонами инженер-полковника, вежливо поздоровался со всеми, а мне сказал:

– Капитан, прошу вас, зайдите ко мне на минутку.

– Сейчас?

– Если можете – сейчас.

Я обратился к Игнатьеву:

– Разрешите?

– Пожалуйста, – буркнул он недовольно.

Я поднялся и пошел за полковником. Вошли в комнату, над дверью которой я прочел: «Начальник отдела боевой подготовки». «Боевики… гаврики», – вспомнил я. И еще я уже слышал, что этот отдел – главный в редакции, здесь работают опытные маститые журналисты. И что самая младшая должность у них – подполковничья.

– Соболев Павел Николаевич, – представился мне инженер-полковник. И начал с вопроса:

– Вы какое училище кончили?…

– Грозненскую авиашколу. Получил аттестат штурмана военной авиации. Раньше нас называли летнабами – летчиками-наблюдателями.

– У вас есть опыт боевой работы?

– Почти нет. Я сделал всего несколько боевых вылетов. Потом попал в резерв, а из резерва в Бакинское Училище зенитной артиллерии. За четыре месяца нас сделали огневиками.

– Странно! Тут, скорее всего, вредительство. В генеральном штабе были у нас масоны, – они, конечно, вредили.

Так впервые я услышал слово «масон». Высказал и сам предположение:

– Америка поставила нам мудреные пушки – «Бофорсы», командирам нужны были знания высшей математики, так я думаю, из этих соображений нас, летчиков, и еще группу подводников и отобрали. Я потом стрелял из «Бофорсов» – громоздкие это были системы, хватили с ними горя.

– Может быть, и так. Но не исключаю и вредительства. Я в

годы войны служил начальником вооружения воздушной армии, хватал за руку масонов. Зловредная это была публика.

Я ничего не сказал об этой «публике», поскольку не знал о ее существовании, но, забегая вперед, замечу, что с полковником Соболевым мне суждено было общаться до самой его смерти в 1965 году, многое я узнал от этого человека, многим ему обязан. Тогда же без дальних предисловий он мне сказал:

– Ну, вот – авиацию вы знаете не понаслышке, а теперь еще выяснилось и писать умеете – вам и сам Бог велел служить в нашем отделе. Будете старшим литературным сотрудником ведущего отдела, это должность подполковника. Тут и зарплата повыше, и звание вам присвоим. А?… Соглашайтесь.

Я был на седьмом небе, едва сдерживал радость и без всякого кокетства кивал головой:

– Да, конечно, мне лестно, однако справлюсь ли?…

– Ну, вот и отлично. С главным редактором я уже договорился, он сам предложил эту идею; пойдемте, покажу вам место.

Рядом с его кабинетом – комната, такая же, как и в отделе информации, только здесь были три стола; один в левом углу у окна, пожалуй, самый удобный – он был пуст, и я понял: там мне придется сидеть. Но в первую минуту я взглянул на двух «гавриков». Один сидел у двери, как Игнатьев, другой – в правом углу, как Турушин. Оба они повернули ко мне головы и смотрели с удивлением. Взгляд их говорил: «Как! Его так быстро повысили?» А полковник, радостно блестя глазами и смачно пошевеливая губами, словно пережевывал кусок поджаренной молодой свинины, говорил сквозь смешок:

– Вы нас не ждали, а мы пришли. Придется потесниться и принять пополнение. Вот он… боевой летчик, фронтовик, капитан, а фамилия его – Дроздов Иван Владимирович. А? Что вы скажете?… У него и фамилия – небесная, летает. Дроздик – птичка невелика, но постоять за себя умеет. Так что не вздумайте клевать…

Полковник от двери не отходил, но и не стоял на месте: он то выходил на два шага вперед, то возвращался и окидывал меня небольшими глазками; он и вправду чем-то напоминал милого забавного зверька, от имени которого происходила его фамилия. И было как-то странно видеть такого важного человека по-детски улыбчивым и добрым, не умевшим или не желающим скрывать радости от появления нового сотрудника.

Я подходил к новым товарищам, пожимал им руку. Тот, что сидел у двери, представился:

– Майор Деревнин Григорий Иванович.

У окна:

– Капитан Кудрявцев Сергей Степанович.

Полковник воскликнул:

– Ну! Жить в мире! Молодого капитана не обижать.

И проводил меня к столу:

– Приказ будет подписан сегодня. А там, у Игнатьева, вам делать нечего. У них работают ногами, у нас головой. Мы даем статьи серьезные, и очерки печатаем – вроде того, что вы написали.

Полковник ушел, и в комнате воцарилась тишина. Первым ее нарушил капитан, сидевший напротив:

– Заголовок удачный. Ее теперь, Трубицинскую атаку, изучать будут.

– Где? – не понял я.

– В частях. В истребительных.

– А-а… Заголовок не я придумал. Видимо, редактор.

– Сергей Семенович мастер придумывать заголовки, он только не любит это занятие, говорит, к концу работы голова болит. Наш-то брат не хочет шевелить мозгами, вот ему и приходится.

– Мне, право, неудобно, что я заставил его поломать голову.

Кудрявцев отклонился на спинку стула, в раздумье посмотрел в окно. Из него был виден двор Воздушной академии, там ходила строем небольшая группа офицеров.

Капитан продолжал:

– Заголовок – гвоздь любого материала, даже малой заметки. А уж если очерк… тут без хорошего заголовка и делать нечего. Заголовок, он как крылья, с ним корреспонденция полетит, а вот если нет заголовка… нет и ничего.

Голос подал Деревнин – ясный, певучий:

– В литературе бывает – хорошая книга, а заглавие никуда. И все равно: книга живет, потому как со временем люди расчухают, что написана талантливо. И тогда уж репутация о такой книге не по заглавию закрепляется, а по содержанию. Ну, к примеру, «Война и мир». Или «Анна Каренина». Писатель, когда заглавие хорошее не найдет, по имени главного героя книгу называет: «Клим Самгин», «Васса Железнова», «Коновалов»… Горький и вообще не умел заголовки находить.

Я заметил:

– Но писатель он хороший, я люблю Горького.

На это Деревнин категорически проговорил:

– Дурной человек не может быть хорошим писателем. Горький был лизоблюд, царедворец. Посетил лагерь заключенных. Люди там содержались в ужасных условиях, но рассказать об этом

писателю боялись. И тогда выступил вперед мальчик и решительно заявил: «Я хочу с вами говорить». Горький выслушал, заплакал и уехал. Он даже не подумал, какая судьба ждет смельчака после его отъезда. В тот же день он был расстрелян. И вы хотите, чтобы я после этого уважал Горького? Да я теперь книжки его в руки не беру.

Я, конечно, о Горьком ничего подобного не знал и не был готов выслушивать такие откровения. Для меня Горький – «буревестник революции», великий писатель. Больше того, он друг Ленина, а уж Ленин-то был не только для меня, а и для всего моего поколения выше Бога и солнца. Портрет Ильича я всю войну носил у сердца в партийном билете. Мне подобные рассуждения казались святотатством, я считал, что за них можно на Лубянке оказаться, но слова сказаны, я косо взглянул на майора: на груди у него светился академический ромбик – значит, академию закончил, ведает, что говорит. Скоро я узнал, что Григорий Деревнин еще и брат какого-то министра, у него, конечно, информация на высоком уровне идет. Но хорошо помню, как я переживал наскок на человека, которым я, как и всякий русский, гордился.

Кумиры, идолы были величайшим изобретением Ленина, Троцкого и всех большевиков-евреев. Кумиров затем упорно и мастерски поддерживал на своих плечах и Сталин, очередной восточный человек на русском троне. Я говорю очередной, потому что революция привела в Кремль и посадила на трон восточных людей: Ленина, Троцкого, Свердлова, Зиновьева, Каменева и целый полк других евреев. Все они, как за дымовую завесу, прятались за псевдонимы: Ленин – Ульянов-Бланк, Троцкий – Бронштейн и так далее. Люди востока, древнее семитское племя. Отсюда их чудовищная, непонятная для русских жестокость, способность уничтожать миллионы людей, сотни тысяч храмов… Но все это нам откроется потом, десятилетия спустя, тогда же… Я был дикарем, молящимся на истуканов.

Меня поддержал Кудрявцев:

– Ну, это ты брось, Горького не трогай. Русский писатель, великий талант. Сбросим его с пьедестала, а там Маяковского скинешь – с кем останемся?…

Капитан вышел из-за стола, прошелся от окна до двери, другой раз прошелся, а потом остановился посредине комнаты, оглядел нас и вдруг звонко хлопнул тыльной стороной одной руки о ладонь другой. И продекламировал:

Недолго барахталась старушка!…

Капитан был невысок ростом, крепко сложен, лет ему под сорок. По виду чисто русский человек. Я к тому времени,

поработав в отделе информации с месяц, стал помимо своей воли вглядываться в лица людей: искал еврея. Там, в отделе информации, словно муравьи на лесной куче, клубились евреи. Одни шли к Игнатьеву, предлагали какие-то материалы, другие заглядывали к Фридману. Вначале я поражался количеством друзей, приятелей и знакомых у этого человека, а потом Турушин мне сказал: «Фридмана знают все в Москве, и Фридман знает всех». И я, сидя у двери, первым встречал каждого человека и провожал его. Разумеется, взглядом, поражаясь их сходству и однообразию речи. Они все сутулились и, войдя в комнату, как-то сторожко оглядывали нас, будто мы за спиной держали камень и вот-вот их ударим. С нами они вежливо здоровались и непременно улыбались. Я думал: а почему мы, русские, такие разные: один веселый, вот как и они, улыбчивый, другой серьезный, вежливо кивнет, но выражения лица не изменит, а третий и совсем тебя не заметит, пройдет к кому надо и во время разговора не улыбнется, сохранит серьезное, а может, даже и суровое выражение. Наш русский почти не говорит, а лишь что-то предложит или спросит и, получив ответ, уходит. Еврей же ведет себя шумно, суетится, часто взглядывает то на одного сотрудника, то на другого, и глаза его вопрошают, сверлят, ощупывают. Прислушиваясь к его разговору, я вдруг понимал, что дела у него нет, что зашел он к Фридману так, по пути, или по какому-нибудь пустячному поводу. И почти все они звонят по телефону; если аппарат занят у Фридмана, подойдет к Турушину, но чаще ко мне, – очевидно, по той причине, что я младший по чину, – и звонит. А, дозвонившись, долго и громко говорит, – и тоже ни о чем. В разговоре увлекается и перестает тебя замечать. Иногда и сядет на край стола: кричит, хохочет – словно филин в лесу. Каждый из них нес в нашу комнату шум и смутную тревогу. Я потом где-то прочитал, что «евреи любят шум и смятение». Именно, смятение. Удивительно точно сказано.

К нам в комнату евреи не заглядывали. Но на второй день я увидел их, и сразу двух, и оба работали в нашем отделе, оба подполковники, оба Борисы.

Первый вошел в отдел и протянул мне руку:

– Давайте знакомиться: Никитин Борис Валерьянович. Заместитель начальника отдела боевой подготовки.

Фамилия русская, а по лицу типичный еврей. Улыбался. И был шумный. Мне тоже хотелось ему улыбнуться.

К концу дня к нам зашел второй подполковник Добровский Борис Абрамович. Этот на меня не взглянул и знакомиться не стал. По виду он тоже был еврей, но не типичный, а, как я теперь хорошо их различаю, полукровка. Матушка-славянка подмешала

ему кровь и стать: роста он был выше среднего, черты лица правильные, брови от отца – густые, глаза черные. «Красивый мужик»,– подумал я и не обиделся на то, что он меня не заметил. «Принял за постороннего», – решил я и продолжал перебирать бумажки, лежавшие в ящиках стола.

Добровский был старшим литературным сотрудником отдела и, как мне скажут мои соседи, занимался статьями больших начальников. Он поэтому мало времени проводил в редакции и всегда говорил: «Был в Главном штабе». Деревнин заметил: «Выискивает там евреев и тащит их статьи. Отбиться не можем».

Вспомнилось: чем выше ты будешь подниматься по служебной лестнице, тем чаще дорогу тебе будут перебегать евреи.

Теперь я знал весь штат нашего отдела.

В первый же день заметил, что Кудрявцев о евреях ничего не говорит; их для него как будто и не существовало. Зато Деревнин метал в их адрес ядовитые стрелы. Вообще-то он говорил мало, больше распространялся на все темы капитан, но Деревнин отпускал увесистые, как кирпичи, реплики, всякую беседу уснащал выводом, делал заключения. И его короткие фразы звучали завершающим аккордом – он, как вздох барабана, возникал там, где кончается такт и начинается другой, подчас рождающий новую музыкальную фразу. При этом голос его отнюдь не барабанный, наоборот: нежно-баритонный, приятный.

Соболев позвал меня в кабинет. Гладил лежащую перед ним рукопись, говорил:

– Вот статья – командир дивизии прислал; летчик он первоклассный, во второй воздушной служил, у Красовского, я с ним встречался. Статей он раньше, пожалуй, не писал. Размахнулся на полосу, а мы его вполовину ужмем. А? Ужать сумеешь?

– Попробую, да ведь обижаться будет. Ему бы позвонить, договориться.

– Мысль хорошая, позвони, скажи, что так-то и так, мол, придется сократить. Вот его телефон, адрес. Будет в Москве, пусть зайдет в редакцию. Статья-то полежит у нас. Их много, таких железобетонных блоков. Читатель их не любит, а печатать надо. Газета не может без них…

– А ее разрыхлить можно, штампы поужать, фразы укоротить, а где-то и прямую речь подпустить.

– Это в статью-то авторскую? Клюквочку развесить, да? Мне редактор о том же говорит, да как тут расковыряешь железобетон этот. Он, видишь, с чего начинает: «Гениальный вождь всех времен и народов Генералиссимус Сталин Иосиф

Виссарионович…» Ну, как же тут укоротишь?

– А очень просто – напишем «Товарищ Сталин». Можно же так?…

Полковник испуганно взглянул на дверь – не идет ли кто? И на стуле заерзал. Малиновые губы шевельнулись, глаза сощурились…

– Да, да, но – потише. Тут у нас слухачей много. И стучат и пишут, но вообще-то покороче, пожалуй, можно. Смысл-то остается тот же…

Он снова посмотрел на дверь. Склонился ко мне через стол:

– Только ты того… Говорить об этом не надо. Делай, но потихому. Недавно у нас собрание было, так полковник Шишов про одного журналиста сказал: «У него в статьях Сталина мало». Не любит он журналиста этого, ну и… сказал. А тот, бедный, перепугался, неделю не спал, ареста ждал. Ну, и – в больницу слег.

– Я вас понял, товарищ полковник. Конечно, о вещах таких зачем распространяться?

– Ну, то-то ж. Бери статью, делай.

Я позвонил в Подольск, в штаб дивизии. Сказал автору, что статью будем готовить, только сократим почти наполовину, если он не возражает.

В трубке радостный голос:

– Конечно, конечно. Я не Чехов, писать коротко не умею.

Я наседал:

– Скучновата она. Я бы хотел ее поправить, сделать повеселее, чтобы летная молодежь читала.

– Конечно, конечно! – кричала трубка. – Я буду только рад. Лишь бы не бросили в корзину.

– Кое-что подсочиню за вас – можно?

– Ради Бога! Но когда будет готова, позвоните мне, я приеду, почитаю. Ладно?

– Договорились.

Пять минут разговора, а расстались почти друзьями.

Решил я и здесь, в центральной газете, которую читают летчики и техники военной авиации, и работники штабов, генералы и даже маршалы, применить опыт своей дивизионки, где мы старались каждую заметку делать яркой, броской и непременно интересной. Я потом в конце пятидесятых буду учиться в Литературном институте и там услышу формулу искусства: все жанры хороши, кроме скучного. Формула родилась несколько столетий назад, и ее автор, кажется, французский теоретик Буало, уже и в те далекие времена проник в самую глубину человеческой психики, в те сферы нашего подсознания,

где заложено вечное стремление к новизне и красоте, наше желание бежать за образцами и при этом стать сильнее своих отцов, красивее и совершеннее. Газетчики не знают этой формулы, но почти все понимают, что читателю подавай истории, интриги, забавные случаи. Потому-то самая маленькая заметка, кратенькая информация несет в себе изначальные формы рассказа, то есть художественного произведения: идею, сюжет, композицию и язык как строительный материал. Счастливец может радоваться, если ему удается остроумная фраза, народная мудрость, своя собственная языковая находка. А поскольку во мне еще с детства зашевелился вирус литератора, я с первых шагов журналистской жизни не переносил штампа, истертой, избитой фразы, вроде «Новых успехов добились бойцы в учебно-боевой и политической подготовке…». Я как наткнусь на подобную фразу, так и стремлюсь ее переправить, подменить другой, свежей или хотя бы редко встречавшейся. Потом у меня созреет убеждение, что в этом-то как раз и заключается вся суть журналистского мастерства. Журналист – тот же писатель, и на генетическом уровне он стремится «пропеть» свою заметку, статью, очерк как можно ярче, красивее и выразить мысли новые, важные, глубокие. Желание это у всех одинаково, а если не у всех хорошо получается, то это уж зависит от степени таланта.

Четверть века я проработал в журналистике; ни из какой газеты или журнала не уходил по своей воле – с одного места на другое меня переводили, и сегодня могу сказать: с падением всего уклада жизни при «демократах», оказавшихся мелким жульем и воришками, упала до самого низкого уровня и отечественная, русская журналистика. Больно видеть газеты, пестрящие пошлой болтовней о ресторанах, ночных бабочках, казино и стиральных порошках, они еще и потеряли все жанры и формы подачи материала, уронили прекрасный русский язык, наработанный многими поколениями журналистов, подменили его сорочьей трескотней полуместечкового еврейского жаргона. Ныне в газетах может работать всякий мало-мальски грамотный человек, лишь бы он был евреем. Журналистика повторила участь русской литературы, в которую в двадцатые годы хлынула орда одесских крикунов, о коих метко сказал Константин Федин: ныне всякий полуграмотный еврей – уже писатель. А замечательный философ и литератор Василий Васильевич Розанов примерно в то же время так описал это наваждение в нашей истории: «Еще двадцать лет назад, когда я начинал свою литературную деятельность, "еврей в литературе" был что-то незначительное. Незначительное до того, что его никто не видел, никто о нем не знал. Казалось – его нет. Был только один, одинокий Петр

Исаевич Вейнберг, переводчик и автор стихотворений, подписанных "Гейне из Тамбова". Только двадцать лет прошло: и "еврей в литературе" есть сила, с которой никто не умеет справиться… Через издательство, через редактуру нельзя торкнуться не в какую дверь, чтобы через приотворенную половинку ее ни показалась черная клиновидная бородка, как на рисунках пирамид в Египте, с вопросом: "Что угодно? Я секретарь редакции Захаров. Рукопись? От русского? Перевод!!? Извините, у нас свои сотрудники и от посторонних мы не принимаем"».

Я пришел в редакцию столичной газеты еще через тридцать лет после нарисованной Розановым картины. Газета военная; в военной журналистике как-то еще держался дух русского слова, где-то по углам редакций еще шевелился русский человек. К тому ж момент для меня сложился счастливый: кампания борьбы с космополитизмом только прошла. Не шибко она их задела, но все же вымела кое-кого из контор и редакций. Шапиро на кадрах в «Красной звезде» уцелел, а для майора Макарова в «Сталинском соколе» кресло освободили. Он-то меня за ручку и привел в редакцию, в отдел информации сунул. А там местечко для Сени Гурина держали. Не сломай я им эту малину, он бы уж там сидел, и им бы осталось вытолкнуть чемпиона мира, что бы они и сделали любым способом. Сюда я пришел, а и тут уж, как я потом понял, готовился на вылет Гриша Деревнин. Остался бы один-одинешенек Сережа Кудрявцев – впрочем, не опасный для них, потому как запах от него шел свой, родной – жена-то у него, как я вскоре узнаю, из них же, евреев. Он потому смущенно опускал голову, едва только неистовый Деревнин выстреливал очередной заряд в адрес вездесущего, всепожирающего племени.

Однако же мы отвлеклись в область дидактики и грустных размышлений по поводу явлений, ставших для России сущим бедствием, подрезавших ей крылья, остановивших ее полет к неизвестно каким высотам. Болит и кровоточит рана от сознания, что ни отцы наши, ни мы не сумели прервать распространение чумы и тем приостановили рост нашего любезного русского народа. Простите нас, миллионы неродившихся малюток – наших сыновей, дочерей и внуков, не ступивших ножонками на землю, не вдохнувших воздух, не увидевших солнца, лесов и полей от нашей дури и беспечности. Всех врагов отбивали мы на поле брани и жизней своих ради вас не жалели, а тут помрачило наш разум сладкоречие чертей и бесов, отшибло память, вышибло дух телевизором и рок-поп-какофонией. Простите, хотя мы и знаем: прощения нам нет, и нет конца страданиям сердца от сознания этой вины.

А тем, кто все-таки родился, расскажу о том, как все было,

как мы старались уберечь свое Отечество, сохранить дух и разум – как выдирались из мрака лжи и чужебесия, как теряли остаток сил, но и до сих пор еще сохранили веру.

Итак, судьбе было угодно, и я пришел в редакцию. Хорошо бы, конечно, чтобы не я один явился на подмогу русским в столичную журналистику, а и вся бы моя батарея, весь бы наш полк, но друзей моих боевых рядом со мной не было. Вернувшиеся с фронта товарищи, – те три процента из сверстников моего поколения, уцелевших в войне, – пошли на заводы поднимать страну, поехали в колхозы сеять, пахать и жать. Игнатьева, Никитина, Фридмана и Добровского надо было кормить, а поесть они, как я успел заметить, не дураки.

Для меня и моей семьи настало время материального достатка; я теперь получал хорошую зарплату – три с половиной тысячи, да плюс хлебные и квартирные, в ту пору эти надбавки нам еще сохраняли. Большим сюрпризом для нас с Надеждой явились гонорары. Если раньше я их зарабатывал на стороне, то теперь их платила мне и родная газета. За спортивную подборку из Энгельса нам выписали по триста рублей, а за очерк я получил тысячу двести. Игнатьев начислил за него шестьсот, а редактор эту цифру удвоил. В среднем я теперь стал получать пять тысяч рублей в месяц. Деревнин сказал: «Это зарплата министра первой категории». Министру третьей категории, например социального обеспечения или культуры, платили три тысячи шестьсот рублей, секретарю обкома партии третьей категории, таким как Полтавской, Псковской областей, платили тоже три тысячи шестьсот рублей. Уборщица получала семьсот, средний рабочий на московском заводе тысячу восемьсот… такие тогда были зарплаты.

Самая большая разница – в шесть-семь раз. Разница между рабочим и министром – в два-три раза. Выдерживался принцип социализма; думаю, очень справедливый принцип. Демократы установили новую систему оплаты труда. Рабочий получает шестьсот-восемьсот рублей, генеральный директор кампании тридцать-пятьдесят тысяч долларов, столько же берет себе директор банка. Разница более чем в тысячу раз! Вот она – визитная карточка демократии.

Вспоминается фраза, оброненная гениальным юношей Добролюбовым: история развивается по пути прогресса. Хорошенький прогресс, когда обрушена и лежит в развалинах величайшая империя, а на небольшую славянскую страну Югославию точно дождь сыплются ракеты.

И все-таки Добролюбов прав. Величайшие беды и разрушения – плата за нашу слепоту и беспечность. Тысячи статей и книг о

вредоносности еврея не могли подвинуть нас к принятию мер против этой опасности, и только потери миллионов братьев-соотечественников в годы репрессий, а затем и сама «погибель земли русской» открыли нам глаза на еврея. Мы его увидели, узнали и теперь перед всем человечеством встал вопрос: «Одолеют ли русские Антихриста?». Если не одолеют – лежать в развалинах всем странам Европы, а затем и Африки, и Америки, захлебнуться ядовитой жижей из отравленных рек и морей всем народам мира – в том числе и самим евреям.

Как и во все времена истории, на поле битвы выходит русский народ. Ныне он ослаблен алкоголем и наркотиками, придавлен нуждой и болезнями, зачумлен и развращен бесами с телеэкрана, но все же еще русский, все же еще не забывший своих отцов и дедов – князей Александра Невского и Дмитрия Донского, царя Петра и святителя Сергия Радонежского, спасителей Руси Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова. Помнит героев новейшей истории Дмитрия Карбышева и Николая Гастелло, Александра Матросова и молодогвардейцев, Покрышкина, Сафонова и Кожедуба. Горит еще в сердце каждого русского огонь отваги и ненависть к врагам Отечества. Знает мир, что и сегодня спасение ему может прийти только из России – от народа русского, от славян, душа которых обращена ко всем людям, пронизана светом солнца и величием Бога.

Но это общее, это думы о делах вселенских. Дела же мои собственные обращались в тесном кругу редакционных товарищей и в кругу семейном.

Прошли три первых месяца жизни в столице, и нам нужно было согласно уговору искать новую квартиру. И мы переехали с Даниловской площади в район Красной Пресни, сняли комнату в большой коммунальной квартире, где теснилось двадцать семейств и по утрам стояли в очередь к газовой конфорке и в туалет. Впрочем, жили дружно и весело.

Надежда купила себе красивую одежду, во все новенькое нарядила Светлану, а я купил своей дочурке большую говорящую куклу. Жена моя, чуткая к моему настроению, как-то сказала:

– Я теперь становлюсь настоящей москвичкой, а то все время думала, что нам опять надо будет ехать во Львов или Вологду.

– Почему ты так думала?

– А видела: что-то у тебя не ладилось, и я беспокоилась.

– Ты права. Моя работа в большой газете не сразу заладилась.

– А теперь?

– Теперь будто все устроилось. Меня повысили, и мы будем получать больше денег, так что ты можешь побаловать нас со Светланой вкусной едой и даже покупать мороженое. А ты скажи,

пожалуйста, я по-прежнему воюю во сне или стал потише?

– Ты теперь редко подаешь свои команды. Я давно хотела спросить, а что такое «Темп пять!» Ты часто выкрикивал именно эту команду.

– А это когда на объект, который мы охраняли, или на батарею совершается звездный налет, то есть с четырех сторон атакуют самолеты. Тогда я задаю орудиям самый высокий темп стрельбы.

– А-а… Понятно! Ну, слава Богу, ты теперь во сне не подаешь и эту команду.

Да, после войны мне часто снились танки, самолеты, а то и бегущая на батарею пехота. Мы тогда били изо всех стволов и, к нашему счастью, всегда отбивались. Эти-то атаки вдруг оживали передо мной во сне, и я тогда подавал команды, чем немало пугал свою молодую супругу. Сны такие меня чаще посещали во времена беспокойные, когда нервы мои взвинчивались на работе и положение казалось не менее тревожным, чем на войне. Теперь же в отделе боевой подготовки я работал несравненно больше, но работой моей были довольны, и мир мне казался прекрасным.

С каждым днем становились все лучше мои отношения с полковником Соболевым и капитаном Кудрявцевым. С главным редактором я встречался редко, только на совещаниях, но он обо мне на редакционной летучке сказал: «Вот тот счастливый случай, когда конкретное знание летного дела совпало с умением красиво по-писательски подавать материал». А меня однажды, встретив в коридоре, взял за руку и тепло проговорил: «Очерк ваш мне понравился, я вам персонально буду давать задания». И такое задание я скоро от него получил: принародно, опять же на летучке. Редактор приехал из Главного штаба, где Главком сообщил, что теперь комиссары эскадрилий будут назначаться из летчиков. Это было ново: летающий политработник. И летать он должен так же хорошо, как командир эскадрильи или командир полка. Сидевший со мной рядом Турушин сказал: у нас в спорте это играющий тренер. А редактор продолжал: мы должны теперь много писать о комиссарах и показывать их в деле – в полетах. Нужны очерки: яркие, сильные – и такие, где бы изображалась летная работа.

Редактор оглядел специальных корреспондентов. Их было пять, и держались они особняком, четыре полковника и один подполковник. Все они маститые журналисты, работавшие в газете еще во время войны; иные уж мнили себя военными писателями. Они сейчас ждали, на кого падет выбор редактора, но он, переведя взгляд на меня, сказал:

– Вы, капитан, поедете в Латвию, там комиссаром эскадрильи

назначен воздушный ас Радкевич – о нем напишите серию очерков. Места жалеть не станем. Пишите подробно, но – интересно, так, чтоб не было скучно. Очерки будут с пристрастием читать офицеры и генералы Главного штаба. Важно показать, что нам эта задача по плечу.

Это был момент, после которого я для специальных корреспондентов перестал существовать. Они в мою сторону не смотрели. И на приветствия мои едва кивали, а в другой раз и совсем не замечали. Журналисты, как артисты; они мечтают о первых ролях и ревниво относятся к тем, кому эти роли предлагают. В моем же случае была особая ситуация: я был молод, имел небольшое звание. Седовласые полковники, исколесившие в годы войны все фронтовые дороги, написавшие десятки очерков, и таких, которыми зачитывались, которыми восхищались, – они меня невзлюбили «с первого взгляда» и, наверное, окрестили выскочкой.

Выехать мне предстояло через три дня. Туда должен был лететь командующий Военно-Воздушными Силами Московского военного округа генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин. Он позвонил редактору и просил включить в группу сопровождавших его офицеров корреспондента. Много позже я узнаю, что он при этом сказал: «Такого, чтоб умел отличить хвостовое оперение от элерона».

В тот же день Кудрявцев пригласил меня к себе:

– У меня завтра дома маленькое торжество, хотел бы видеть и тебя с супругой.

Я поблагодарил и обещал приехать.

Кудрявцевы жили в Перловской – это старый дачный поселок в пятнадцати километрах от Москвы по Ярославской дороге. Ныне через него прошла кольцевая шоссейная дорога, но поселок уцелел, стал еще оживленнее. Тогда же там было тихо, от ветхих деревянных домов, просторных двухэтажных дач веяло недавно отлетевшей жизнью, ароматом чеховских вишневых садов, грустным шелестом бунинских дворянских усадеб.

На краю поселка стоял двухэтажный деревянный дом, построенный по типу бараков, которые в тридцатых и сороковых годах во множестве ставились по всей русской земле; народ валил из деревни в город, надо было его растолкать в маленьких клетушках. Я уже знал, что жена Кудрявцева служила в ЧК, была какой-то разведчицей – ей во время войны и предоставили небольшую двухкомнатную квартирку.

Шумно, весело было в гостиной, когда мы явились, и Сережа стал представлять нас гостям. Первым поднялся с дивана и двинулся ко мне как гора красивый могучий мужчина в

гражданском дорогом костюме, в белой рубашке с галстуком, на котором в свете электрической лампочки светилась бриллиантовая булавка.

– Знаю, наслышан – все друзья Сереги – мои друзья.

И как клещами сдавил мне руку. Это был Михаил Иванович Буренков, корреспондент «Правды», известный в то время едва ли не в каждой советской семье. Он недавно во время кампании по борьбе с космополитами писал фельетоны о евреях. Его будто бы приглашал сам Сталин и лично давал инструкции. А потом в какой-то гостинице сионисты устроили с ним драку и делали вид, будто он их, бедных и слабых, избивает. Кинооператоры снимали его, и затем в западных газетах появились статьи с изображением этой драки. Заголовки статей кричали: «Буренков пустил в ход кулаки».

Тепло и дружески встретила нас хозяйка дома – Анна Кудрявцева, женщина лет тридцати, цыганисто-черная, стройная, с обворожительной улыбкой, знавшая силу своего обаяния. Я слышал, что она имеет звание капитана органов безопасности, но здесь была в коричневом костюме и светло-желтой кофте с отложным воротником. Кругленькая головка с волнистыми волосами ладно сидела на длинной лебединой шее, – у меня мелькнула мысль: «Еврейка», и стало вдруг понятно, почему Кудрявцев помалкивал о евреях, но, впрочем, едва мы сели за стол и я рассмотрел трех ее сестер и мужей – все были чистыми славянами, и мое подозрение рассеялось. Был среди гостей дядя лет пятидесяти в погонах подполковника органов безопасности – этот сильно смахивал на еврея, но я к нему не пригляделся, не понял этого, да и вообще, надо сказать, что мне хотя уж и перебегали дорогу евреи, но я против них не имел тогда ни зла, ни предосторожности. Наверное, этим можно и объяснить нашу расслабленность, когда все мы, выпив коньяк и вино, вдруг разговорились и стали метать стрелы даже через стены Кремля. А начал критику властей Сережа. Он недавно был в гостях у своей тети в деревне, а перед этим ездил в Узбекистан на соревнование планеристов, и стал рассказывать нам о том, что узбеки на сборе хлопка получают четыре рубля за трудодень, а его тетя все годы после войны, не разгибаясь, работает на полях Орловщины, а выписывают ей на трудодни по восемь копеек, то есть работает она бесплатно.

– Вот вам наша политика в сельском хозяйстве! – заключил Сережа.

Я тоже, будучи в Энгельсе, что-то слышал о бесплатной работе моих земляков-саратовцев и о том, что в русских колхозах установлен режим крепостного права – там паспорта находятся в

сейфе у председателя колхоза и он их никому не выдает. Что-то и я сказал на эту тему. И тут вдруг поднимается подполковник, выходит из-за стола и, обращаясь к хозяйке, громко с дрожью в голосе вещает:

– Я не понимаю, Аня, что за публика собралась в твоем доме? Ты говорила, будут журналисты, а тут я слышу речи какие!

И направился к выходу. И уже готов был взяться за ручку двери, как раздался зычный бас Буренкова:

– Подполковник! Вернитесь на место!

– Это еще что такое? – возмутился офицер.

– На место!

Тот нехотя сел на свой стул.

– Ну? Что вы мне скажете? – метал искры из черных глаз.

– Вы нам только что говорили о кремлевских руководителях, о беспорядках в стране, а теперь испугались и хотите свалить такие разговоры на нас. Не выйдет! – грохнул по столу кулаком Буренков и встал. Подполковник приоткрыл рот от изумления, сжался. Буренков продолжал:

– У меня свидетели, – обвел всех взглядом, – а вы один. А теперь идите! Вздумаете болтать – пущу на распыл! Не забывайте, меня сам Сталин недавно на беседу приглашал.

Подполковник побелел, на лбу выступила испарина, он как-то криво улыбнулся:

– Я вас попугал, а вы уж и поверили. Я только об одном вас попрошу: осторожнее надо о политике партии и правительства. Мало ли что на уме у ваших слушателей. А что до меня… Не волнуйтесь и не бойтесь. Аня меня знает, я человек надежный.

Подполковник остался, но мы уж теперь сидели молча. О чем бы ни заговорили, все не клеилось, и мы скоро разошлись.

Таков был у нас с Надеждой первый выход в свет.

Глава шестая

Счастье редко бывает безоблачным, а если и случается таковым, то чаще всего ненадолго. Конец моей беспечной жизни в газете «Сталинский сокол» возвестил Фридман. Он как-то забежал в отдел, подсел к моему столу и этак тихо, будто речь шла о пустяке, сказал:

– Чумак будет выступать на партийном собрании.

Я сделал большие глаза, очевидно они выражали: «Ну, и что? А я тут при чем?» Но Фридман на меня не взглянул и, следовательно, моего удивления не заметил. Спокойно продолжал:

– Изучает твои очерки.

А это уже меня касалось. Я к тому времени опубликовал три или четыре очерка, о каждом из них на летучках высказывалось хорошее мнение, но полковник Чумак, как я уже знал, ни о ком ничего хорошего не говорит. Он всегда критикует. И двух журналистов и писателя Недугова заклеймил страшным ярлыком: «У них мало Сталина». Это был удар ниже пояса; от такого обвинения никто не мог защитить, и оно касалось не только обвиняемого, но и заведующего отделом, по которому проходил материал, и ответственного секретаря, подписавшего его к печати, и заместителя главного редактора, дежурившего по номеру, и самого главного, который в ответе за все происходящее в газете. Чумак заведовал отделом партийной жизни и был как бы негласным комиссаром редакции. Его боялись.

Я взял подшивку и просмотрел все свои материалы: Сталина в них и вообще не было. Холодок зашевелился у меня под кителем, мне сделалось не по себе. Я вспомнил кожаное пальто генерала Кузнецова, сиротливо висевшее в академии на вешалке. Ползли слухи о том, что расстреляли Вознесенского. Академик! Председатель Госплана СССР, а его – расстреляли. Служил я во Львове, затем в Вологде – там об арестах почти не слышал, а здесь, в столице…

Хотелось пойти к Фридману, спросить: «Ну и что, что нет у меня Сталина? А зачем же без повода трепать его имя?…» Но, конечно же, не пошел. Хотел заговорить с Кудрявцевым об этом, с Деревниным… – тоже не стал. Но Деревнин слышал наш разговор с Фридманом, сказал:

– Чумак опасный человек. Ему на зуб лучше не попадать.

Я беспечно заметил:

– Вроде бы я ничего плохого ему не делал.

– А это неважно. Есть люди, которые испытывают

удовольствие от страданий жертвы. Он ведь знал, что у Недугова больное сердце, – знал и ударил. Под самый дых. И тогда, когда тот, бедный, и без того едва держался на ногах. Он только что написал свой очередной рассказ, истратил весь запас энергии, набирался сил, а он его в нокаут; возвестил на летучке: «Мало Сталина». Да у него и совсем нет товарища Сталина, – видно, по сюжету не было нужды упоминать имя великого вождя, но Чумаку без разницы: мало и все тут! Ну, Недугов и совсем разболелся, в госпиталь попал. Два месяца лежал. После того вот уже полгода прошло, а он за рассказ не берется.

– А он редко пишет рассказы?

– Четыре рассказа в год выдает. Такой уговор был с редактором. Пробовали других писателей, да они авиации не знают, не получается у них, а этот вроде бы механиком где-то служил. Он рассказы не пишет, а составляет по всем правилам русского языка и литературной теории: интрига, сюжет и т. д. Потому и долго пишет: два-три месяца на рассказ у него уходит. А поскольку он хворый, то силы-то его и покидают. Он после каждого рассказа лежит долго, отходит, значит.

Мне захотелось прочесть рассказ Недугова, но голова не тем была занята. Страшные слова «Мало Сталина» сверлили мозг, заслонили весь свет. Только что я был весел, бойко отделывал очередную статью, собирался зайти в отдел информации за Панной и пойти с ней в ресторан обедать, как мы продолжали ходить каждый день, а тут на те… Чумак роет носом, очерки изучает.

К Панне я зашел, и мы с ней отправились в ресторан «Динамо». Как только вышли из редакции, сказал ей о Чумаке. Она махнула рукой:

– А ты, как только он тебя обвинит, выходи на трибуну и благодари его. Скажи, что это мое серьезное упущение, и я, сколько буду работать в журналистике, никогда не забуду об этом и уж больше не совершу такой серьезной ошибки.

Она рассмеялась и добавила:

– Мой муж работал с ним в журнале «Коммунист». Так Чумак и там все кидал такой упрек: «Мало Сталина». Здесь он тоже… Человек уж так устроен.

И еще сказала:

– Маленький он, ниже меня ростом, и делать ничего не умеет. Они, такие-то, все себя чем-нибудь да утверждают. Чумак и схватился за это, пугает всех.

Панна взяла меня за рукав, потрепала:

– Да ты не трусь. Не было еще того, чтобы по такому обвинению замели кого-нибудь. Не было!

– Спасибо, Панна. Ты камень свалила с плеч. Я-то уж сухари сушить собрался.

Потом уже за столом в ресторане признался ей:

– Вот штука какая! На войне снаряды рядом рвались, пули жужжали, а такого беспокойства, как здесь, не испытывал. От какой-то пустячной заметки, если что не так, вся душа изболится, места себе не находишь… А?… Как это понять и объяснить?

– А так и понимай: совестливый ты больно. И гордый. Во всем первым хочешь быть, а это зря. Живи как живется, люби вот, как Турушин, хороший бифштекс, ходи на стадион, на футбол, заведи любовницу…

– Разве что? Так я и жить буду.

Удивительно хорошо мне было с этой женщиной. Вот сказала несколько слов, а я снова свет увидел. И думать забыл о Чумаке. И в будущей своей жизни не раз мне придет в голову мысль о пагубе страха. Стоит его запустить в сердце, как тебя всего изъест, жизни лишит. А поразмыслишь на трезвую голову – дело-то выеденного яйца не стоит. Очень это важно – стоять на страже и не пускать в душу страх.

На следующий день я позвонил Панне и сказал, что иду обедать и что если она хочет, подожду ее у выхода из редакции. Мы встретились и не спеша пошли в ресторан. В природе догорал первый осенний день, листва на деревьях приобрела золотистый цвет, местами отрывалась и лениво падала, устилая землю солнечными пятнами. Мы шли и думали каждый о своем. Я перебирал в уме способы мщения Чумаку – за Недугова, за тех ребят-журналистов, которым он попортил много крови. И, повернувшись к Панне, проговорил:

– Как бы угомонить этого мерзавца?

– Ты о ком – о Чумаке?

Она, кажется, впервые назвала меня на ты. И продолжала:

– А я придумала, как это сделать. Выступлю на собрании и выскажу все, что о нем думаю.

– Ни в коем случае! – испугался я. – Не надо этого делать!

– Да почему? Сколько же можно его терпеть? У меня козыри есть: расскажу, как он травил тем же способом журналистов в «Коммунисте». И скажу, что если не прекратит шантажировать людей, напишу письмо Сталину. Иосиф Виссарионович знает моего мужа, и он мне поверит.

– И все-таки не советую этого делать. Боюсь за вас.

– Опять боюсь, опять страх! Ну, и мужик ныне пошел! Вы как с войны вернулись, так и в трусишек превратились. Видно, страху там натерпелись. Я на войне не была, а вот теперь начну воевать.

Собрание состоялось в тот же день вечером. Чумак выступил

с длинной речью и много говорил о моих очерках. Он находил, что писать я умею, но стиль мой несерьезный, «такой легкий фривольный стиль…» Почему-то так и сказал: «фривольный». И прибавил: «Эти два притопа, три прихлопа не годятся для центральной газеты». А вот ярлык «Мало Сталина» Чумак припас для другого журналиста – специального корреспондента, недавно окончившего политическую академию, майора Камбулова. Чумак, «разгромив» меня, сделал паузу, набрался духу и пальнул своим главным снарядом:

– А вот у Камбулова мало Сталина! – и он поднял высоко над головой газету, очевидно с очерком Камбулова, и долго тряс ею, угрожающе оглядывая нас светло-голубыми водянистыми глазами. И потом с видом Наполеона, одержавшего очередную победу, сошел с трибуны.

Не успел Чумак вернуться на место, как с первого ряда поднялась Панна и, не спрашивая разрешения председателя, направилась к трибуне. Шла, не торопясь, приподняв свою круглую, хорошо прибранную головку. И так же неспешно обвела взглядом своих прекрасных глаз сидящих товарищей. И сказала так:

– Я беспартийная, и поднимаюсь на эту трибуну первый раз, и хочу сказать несколько слов в защиту тех, кому так жестоко наносится душевная травма. Мне мой муж рассказывал, что, когда он работал в «Коммунисте», у них был сотрудник, который ничего не умел делать, но зато одной только короткой фразой мог больно ранить журналиста. Он для своих ужасных спекуляций использовал имя святого, всеми любимого человека. Ну, сотрудникам надоело терпеть от него обиды, и они обратились к редактору с просьбой освободить их от этого тирана. Редактор его уволил, но он попал в еще больший редакционный коллектив и с прежней яростью продолжает терроризировать товарищей. К сожалению, из мужчин еще не нашлось смельчака, который бы поставил его на место. Но я заявляю, что если этот зловредный человек, который еще имеет обыкновение других называть «гавриками», не утихомирится, я приму к нему решительные меры.

И сошла с трибуны. Собрание словно онемело. Как деревянный, сидел и председатель. Потом раздались смешки, зал оживился и кто-то даже захлопал в ладоши. Все знали, кто недавно сотрудников отдела боевой подготовки назвал «гавриками», и знали также, что Чумак пришел в «Сталинский сокол» из «Коммуниста» и что с ним «произошла какая-то история».

К Чумаку потом никто не возвращался, а забегая вперед,

скажу: его как бабка заговорила – он после этого уж никому не вешал страшного ярлыка. И вес его в редакции упал до нуля – его уж никто не принимал всерьез. Да, кажется, и на собраниях он больше не выступал.

Панну и без того уважали в редакции, но после этого эпизода ею восхищались. Я же, очутившись с ней наедине по пути в ресторан, прижал к себе ее головку и крепко поцеловал в щеку. Она покраснела, глаза ее сияли, из чего я понял, что мой поцелуй ее не обидел.

Я теперь не только восхищался ее внешностью, но и глубоко уважал за ум, благородство и смелость.

Как-то я сказал ей:

– Я, кажется, полюбил тебя, Панна. Что же делать мне со своей любовью?

– Она ответила просто и – загадочно:

– Это счастье, если к человеку приходит любовь.

Некоторое время мы шли молча. Потом, сияя своими грустными глазами и ослепительно улыбаясь, добавила:

– Мне твоя любовь не мешает.

А через минуту еще сказала тихо и сердечно:

– Совсем даже не мешает.

Видеть ее каждый день, слышать ее голос, ходить с ней в ресторан – это было действительно счастье, – еще одно счастье в моей жизни. И не знаю, что было для меня важнее: тихая, мирная семья с моей Надеждой – юной северной красавицей, блондинкой в отличие от Панны, прелестной дочуркой Светланой, которая со слезами провожала меня на работу и с криками радости встречала, или дружная семья товарищей в редакции, где меня все больше и больше любили, по крайней мере мне так казалось, или все более тесное общение с русским языком, который мне, едва я склонялся над чистым листом, заменял все радости жизни и был самым близким другом, источником восторга и упоения, или, наконец, Панна, эта мудрая, как дюжина старцев, недоступная, как вершина айсберга, и чистая, как небо над северным полюсом, женщина? Пожалуй, все это вместе взятое и было счастьем моей новой жизни – в Москве, в редакции газеты «Сталинский сокол».

Перед отъездом в Латвию меня пригласил главный редактор. Он, как и обыкновенно, сидел за своим огромным дубовым столом, читал гранки. Со мной говорить не торопился, давал время собраться с мыслями, успокоиться и затем на холодную голову воспринимать все, что он мне скажет. А мое чуткое сердце слышало, что командировка моя, которую он на вчерашней летучке уже назвал «большой командировкой», и раза два

повторил: «Важная, очень важная командировка предстоит нашему молодому сотруднику», будет весьма непростой.

Редактор уже не звал меня новичком, но неизменно называл молодым, потому что для такого старого, крепко сбитого коллектива журналистов я действительно был до неприличия молодым: мне в то время едва исполнилось двадцать шесть лет. Редакционный коллектив знал, что я должен «писать серию очерков и писать так, чтобы в них была видна летная работа, то есть действия летчиков в воздухе» – эту задачу редактор повторил уже несколько раз, но особую важность предстоящая командировка приобрела с того момента, когда редактору позвонил генерал Сталин, – а до этого он никогда ему не звонил, – и сухо, почти приказным тоном, попросил включить в группу его офицеров корреспондента. Васю Сталина в армии боялись, – пожалуй, все, кроме, разве что, министра Вооруженных Сил маршала Василевского. Боялись и редактора центральных военных газет. Любой чин армейский, включая министра, если и позвонит редактору, что случалось крайне редко, то говорит вежливо, тоном хотя и высокого, но культурного человека. Иное дело Вася Сталин – сын Владыки, чья власть распространялась на весь мир, а авторитет был почти мистическим.

Ходили слухи, что Василий пьет, он груб, необуздан и чего от него ожидать – никто не знал.

– Вы поедете в Тукумс, – заговорил редактор, – и там будете ждать генерала. Как только он приедет, доложите ему. Так и скажете: «Прибыл по вашему распоряжению».

Полковник, не отпуская меня, склонился над гранкой, читал. А точнее: делал вид, что читает. Затем поднял на меня серые добрые глаза, с тревогой проговорил:

– Никогда не знаешь, чего ожидать от таких людей… чья власть ничем не ограничена. Но вы ведите себя обычно, старайтесь каждый день быть у него перед глазами, не пропадайте. Мало ли что взбредет ему в голову? Может, что прикажет.

Снова читал гранки, но я видел, полковник о чем-то думал.

– Не знаю, совершенно не знаю, зачем ему понадобился корреспондент? Никогда раньше не звонил, не требовал.

Поднялся из-за стола, протянул мне руку:

– Ну, поезжайте. Будем ждать от вас очерков.

И я отправился в Латвию – страну, в которой никогда не бывал. Приехал в маленький городок Тукумс, где стояла дивизия наших истребителей – реактивных, новейших. Явился к командиру, полковнику Афонину. Встретил меня приветливо, даже радостно:

– Вы – первая ласточка! Завтра прибудет пятерка.

– Какая пятерка?

– Ну, золотая! Разве вы не знаете?

– Нет, товарищ полковник, я не знаю пятерки – ни золотой, ни серебряной.

Полковник выпучил на меня сливоподобные и, как мне показалось, чуть раскосые глаза. Он явно удивился, с минуту не мог ничего сказать, а я решил, что попал впросак, и не знал, как выбраться из неловкого положения.

Полковник посмотрел в бумажку, лежавшую перед ним на столе. Спросил:

– А вы… Дроздов?

– Да, я Дроздов. Специальный корреспондент «Сталинского сокола».

– А-а… Вы значитесь в списке седьмым. Но как же вы не знаете пятерки?

Я пожал плечами:

– Недавно работаю в газете. Многого еще не знаю.

Полковник закивал головой, стал объяснять:

– Пять летчиков, пятерка… – их собрал генерал Сталин для демонстрации группового пилотажа на сверхзвуковых самолетах. А золотые они потому, что имеют значки летчиков первого класса. Эти значки золотые, вот и пятерка – золотая.

Я посмотрел на значок, – распростертые крылья самолета, – сиявший на груди моего собеседника. В центре значка тоже значилась цифра 1.

– А у вас… тоже золотой значок?

Комдив смущенно признался:

– Да, я летчик первого класса.

Полковник при этом заметно покраснел; он был молод и скромен. На груди его было четыре боевых ордена и золотая звезда Героя Советского Союза. Внешностью он походил на Печорина: темные с синевой глаза, прямой аккуратный нос, черные усики. На вид ему было лет тридцать пять.

– Пойдемте, покажу столовую: вы можете приходить в любое время дня и ночи – вас накормят. У нас тут ночные полеты, и столовая работает круглосуточно. Потом отвезу вас в гостиницу. Вам всем приготовлены номера.

Летная столовая находилась в полуподвальном помещении при штабе дивизии, а гостиница в центре города, куда мы тотчас же и приехали. Мне дали ключ от номера, полковник прошел со мной, спросил:

– Нравится ли?… Ну, вот и отлично! Завтра привезу сюда пятерку, им тоже приготовлены номера, а потом прилетит и

генерал Сталин.

Я рассказал полковнику о своем задании, и он сразу назвал имя летчика, который стал политработником эскадрильи: капитан Радкевич. И в нескольких словах обрисовал портрет этого человека: фронтовик, сбил восемнадцать вражеских самолетов, Герой Советского Союза – любимец полка. И заключил:

– Вы с ним познакомитесь и увидите сами.

На том мы и расстались.

В тот день я ужинал в гостиничном ресторане, не торопясь ел, пил клюквенный лимонад, смотрел, как танцуют латыши. Неожиданно ко мне подошла совсем юная девушка и с заметным акцентом проговорила:

– У нас так принято: на первый вальс дамы приглашают кавалеров. Я вас приглашаю.

Я поблагодарил ее за то, что она выбрала меня, и подал ей руку. Потом я не танцевал, и ее никто не приглашал, а под конец снова заиграли вальс и я к ней подошел. Она с благодарной улыбкой поднялась мне навстречу, а во время танца сказала:

– На дворе такая темная ночь, а я боюсь одна идти домой. Проводите меня, пожалуйста!

– Конечно, конечно, – согласился я. – Я вашего города совершенно не знаю, но, надеюсь, не заблужусь.

И действительно, ночь была темная – хоть глаз выколи, дул холодный ветер, а вдобавок ко всему еще и короткими зарядами налетал дождь. Мы шли по узенькой улице вниз по склону, и нас окружал такой мрак, будто мы были на дне колодца, прикрытого плотной крышкой. Но вот впереди точно змейка блеснул весело журчащий ручеек и на его берегу на невысоком холмике чернел дом – к нему и подошла моя спутница, которую, кстати, я еще и не знал, как зовут. Она взялась за ручку калитки, а я поспешил сказать:

– Как я надеюсь, мы дома и позвольте пожелать вам спокойной ночи.

– Нет! – схватила она меня за рукав, – мы пойдем в дом и будем пить чай.

– Нет, нет, теперь поздно, а к тому же я и не хочу ни есть, ни пить.

– Нет, пойдем!

И как раз в этот момент из темноты выступил мужчина и тоже сказал:

– Мы будем рады гостю, проходите.

Делать было нечего, и я прошел в дом.

В доме меня посадили за стол у окна, и как у нас, у русских,

под иконами. Только иконы у них были другие, и не было деревянных окладов, золотых и серебряных узоров, а со стен из полумрака на нас смотрели настороженные глаза каких-то стариков в темной глухой одежде. У стола хлопотала пожилая женщина, ей помогала моя барышня, а на лавке, выплывшие откуда-то из темных углов, расселись четыре молодых мужика; очевидно, как я решил, братья моей девицы. Но я заметил, что ведут они себя странно, почти на меня не смотрят и говорит со мной один, мужик лет сорока с реденькой рыжей бородкой:

– На дворе пошел сильный дождь, мы вас не отпустим, будете ночевать у нас.

На столе появилась бутылка водки, и этот старший налил мне целый стакан, но я его отодвинул:

– Я нахожусь на службе и спиртного не пью.

Меня стали уговаривать, но я решительно отказался. Говорил:

– Я был на фронте, пить было некогда, и я этому занятию не научился.

Потом мне показали постель, и я стал раздеваться. Повесил плащ и фуражку у двери – так, чтобы видеть их из своего угла. Ложится не торопился. Внимательно наблюдая за мужиками, все больше укреплялся в подозрении, что они что-то замышляют, и решил усыпить их бдительность. И как только я беспечно проговорил, что остаюсь у них и стал раздеваться, они, один за другим, ушли в соседнюю комнату. Прильнул ухом к дощатой перегородке, уловил приглушенную речь, где слышались слова: «пистолет и документы…» Тут же, не медля, схватил плащ и фуражку, скользнул за дверь.

Не стал открывать калитку, а перемахнул через забор и бегом устремился вверх по улице.

Минут через пятнадцать я был в гостинице.

И то ли психологический стресс тому причиной, то ли дорожная усталость, но спал я на этот раз до двенадцати часов и вряд ли бы еще проснулся, если бы в номер не застучали. Открыл дверь и увидел перед собой, – вот уж кого не ожидал! – товарища по Грозненской авиационной школе Леху Воронцова. Он был в плаще и в погонах полковника. И первое, о чем я подумал: «Воронцов?… Полковник?…» Но сказал другое:

– Ты? Какими ветрами?

– Ванька, черт! Не рад что ли? Дай же обниму тебя!

Стиснул в объятиях – у меня затрещали кости. Он и раньше был выше нас ростом, могуч, как медведь, теперь же и совсем казался богатырем и будто бы округлился в плечах и животе.

– Ты летчик что ли? – спросил я, еще не успев продрать как

следует глаза и опомниться.

– Вот те на! Да кто же я – сапожник по-твоему? Да ты что говоришь? Сам-то, как мне доложили, щелкопером заделался. Чернильная душа!… Ну, да ладно: давай, рассказывай: где живешь, как это ты с неба свалился? Летал-то вроде неплохо. А?… В газете работает! Вот уж чего не думал!…

Он сбросил плащ, и в лучах заглянувшего в номер солнца засверкал кучей боевых орденов. Среди них два ордена Ленина, два Боевого Красного Знамени и три ордена Отечественной войны. Особняком над всем этим иконостасом поблескивали две золотые звезды… Дважды Герой Советского Союза. «Ну и ну! – подумал я. – Вот тебе и Леха!».

Вспомнил, как в строю, возвращаясь с аэродрома, я обыкновенно вставал сзади Воронцова и, прячась за его могучей спиной от глаз сержанта, дремал, а иногда и крепко засыпал, не нарушая, впрочем, ритма движения строя, попадая в такт шагам товарищей. И если только строй по не услышанной мною команде внезапно остановится, ударю носком ботинка по ноге Воронцова и ткнусь ему в спину лицом. Он, добродушный и покладистый, засмеется только и негромко проговорит: «Дроздов опять спит, собака!». Любил я Леху, как любил многих товарищей, но его особенно – и за его крепкий товарищеский дух, за его физическое превосходство над всеми нами и какую-то основательную мужскую красоту.

Но теперь, глядя на его полковничьи погоны и золотые звезды, я невольно робел и не знал, как его называть, как с ним себя вести. И откровенно сказал ему об этом:

– Ты теперь полковник, дважды Герой… Я впервые вот так близко вижу дважды Героя.

– Ванька, черт! Будешь ломаться – побью. Ты для меня Ванька Дрозд, я для тебя Леха. И если станешь императором Эфиопии, и тогда назову тебя Ванькой. Да вспомни житье наше в ГВАШке; ты нам гимн сварганил, и мы орали его полтора года… Эх, что ни говори, а такого времени в жизни уж не будет. Как вспомню, так плакать охота.

– Но ты не в золотой ли пятерке?

– Я командир пятерки! Да ты не знаешь что ли?

– Нет. Я же недавно в газете. Только начинаю… Но позволь, мы же с тобой учились на бомбардировщика, и к тому же с уклоном штурманским.

– И что же? Я, во-первых, на семь лет старше тебя и до авиашколы инструктором в аэроклубе работал, на спортивных самолетах летал, на фронте с Васей Сталиным встретился. Ну, он и пересадил меня на истребитель. С тех пор и кручусь волчком в

воздухе, одним из первых реактивные освоил, командиром полка был, а теперь вот… На воздушных парадах всему свету мощь сталинской авиации демонстрируем.

Потом Воронцов представил меня остальным товарищам и мы пошли с ними в летную столовую. Кроме Воронцова, в пятерку входили два полковника и два подполковника. Полковники до перехода в пятерку командовали дивизиями истребительной авиации, а подполковники – полками. Из пяти трое имели золотые звезды героев Советского Союза, были во время войны воздушными асами, а Воронцова, сбившего тридцать два вражеских самолета, большинство из которых были бомбардировщиками, и подполковника Петраша, сидевшего сейчас рядом со мной, – он во время войны сбил двадцать восемь самолетов, – Гитлер объявил своими личными врагами. На них, как на Покрышкина, Кожедуба и легендарного летчика-североморца Сафонова, была объявлена охота в воздухе. Но как ни старались воздушные асы Германии сбить хотя бы одного из них, каждый раз, бросившись в атаку, сами оказывались битыми.

Об этом за обедом со всякими шутками-прибаутками говорили летчики. И я, побуждаемый неистребимым любопытством журналиста, обратился к Воронцову:

– Ну, а ты, Алексей, тоже дрался с этими охотниками?

– Не часто, но случалось, – сказал он негромко и перевел беседу на другую тему. Я успел заметить, что мой друг, хотя и балагур великий, но о себе рассказывать не любит. Мы заканчивали обед, когда он сказал:

– Тут в дивизии много замечательных летчиков, но есть два, с которыми я встречался на фронте: сам командир полковник Афонин и второй – майор Радкевич. Его недавно назначили комиссаром эскадрильи. Надо же! Такого летчика сунули в политработники. Вот о ком ты расскажи в своей газете. А то они хотя и дрались как львы, а сидят в безвестности. У нас ведь как? Расписаны одиночки, остальных и в полках-то своих не все знают. Я недавно читал хорошую книгу, так в ней немецкий пленный генерал, которого сбил наш лейтенант, шел по аэродрому и увидел этого лейтенанта, лежащего на брезенте под крылом самолета. И сказал: «У них герои валяйс, как дрова».

Радкевича мне и командир дивизии уже предложил для очерка, но Алексею я ничего не сказал. Материал для очерка решил собирать не спеша, тем более что мне надо представиться генералу, а что он скажет и прикажет, я не знал.

В эти дни в дивизии шли ночные полеты, отрабатывалась техника пилотирования новейших реактивных истребителей, которые только что поступили на вооружение. Таких машин не

было еще и в Московском военном округе – посмотреть на них и обкатать золотую пятерку и летел в Латвию генерал Сталин.

Новых машин было пять или шесть, летали на них самые лучшие пилоты: полковник Афонин, командиры полков, эскадрилий, – летал с ними и недавно назначенный комиссаром эскадрильи капитан Радкевич.

Я попросил разрешения у командира дивизии наблюдать эти полеты.

– Вам будет удобно сидеть на командном пункте. Там отделение руководителя полета и большая стеклянная комната для участников. Есть столик, и вы будете сидеть за ним.

В десятом часу вечера я подошел к штабу и отсюда мы поехали на аэродром. К радости своей, в стеклянной комнате, кроме местных летчиков, увидел и всю пятерку во главе с Воронцовым. Тут хотя и собралось много людей, но сохранялась тишина; не было того гомона, который обыкновенно возникает при встрече нескольких человек. Воронцов сидел за маленьким столиком поближе к двери, из-за которой доносились четкие команды руководителя полетов. Им был командир дивизии полковник Афонин. У прозрачной стены, обращенной к взлетно-посадочной полосе, установлен экран и на нем летают, а точнее сказать, медленно передвигаются взад-вперед, влево-вправо светлячки; это самолеты, выполняющие пилотаж в зоне. Чаще всего их два, но руководитель полета дает команду на взлет третьему, и тогда мы видим, как он появляется на экране и направляется в зону. Я скоро заметил, что светлячки меняются в размерах – то один из них уменьшается, а другой увеличивается, а то вдруг все три принимают одинаковый размер и некоторое время его не меняют. Подполковник Петраш, сидевший возле меня, объяснил: размер светящейся точки зависит от высоты полета и расстояния. Вон, смотрите, правый стал удаляться: он сейчас пошел на боевой разворот и уменьшается.

Петраш посмотрел на бумажку с каким-то чертежом и пояснил:

– Это майор Радкевич, он сейчас атакует командира третьего полка. – И, помолчав, добавил: – Очень сильный летчик, этот командир полка.

– А Радкевич? – спросил я неумеренно громко, подбиваемый своим интересом.

– Радкевича я не знаю. Ничего не слышал о нем.

Однако не прошло и минуты, как мы о нем услышали. Взглянувший на часы Воронцов с восхищением проговорил:

– Ничего себе! Уже закончил боевой разворот и ястребом пошел в атаку.

Другой полковник из золотой пятерки заметил:

– Радкевич набрал большой запас высоты.

Петраш пояснил:

– Вы поняли, в чем дело? Высота позволяет разогнать скорость. Сейчас последует атака.

Летчик, сидевший ко мне спиной, негромко проговорил:

– Хитрец, этот Радкевич! Всегда запасается высотой.

Молодой капитан, его сосед, заметил:

– Командир полка сейчас закрутит петельку и окажется в хвосте у вашего хитреца.

Но командир полка петельку не закрутил, видно, старые фигуры, характерные для винтовой авиации, не годились для самолетов с «бешеными» скоростями. Светящаяся точка его самолета медленно отклонялась в сторону от падающего на него истребителя. И что у них произошло в следующую минуту, мне, к сожалению, было непонятно. Я только видел, как покачал головой Воронцов и негромко произнес:

– Ну и ну! Молодец Радкевич!

В блокноте своем я записал: «Спросить у Воронцова, как же завершился бой Радкевича с командиром полка?».

Потом одна звездочка отделилась и стала увеличиваться в размерах.

– Пошел на посадку, – сказал Петраш.

Через две-три минуты раздался мощный гул и на освещенную двумя дорожками фонарей посадочную полосу из темноты ночи свалился огнедышащий самолет. Из-под колес вырвались густые снопы огней. И как только самолет свернул куда-то в ночь, на старт вырулил и пошел на взлет новый истребитель. Кто-то сказал:

– Капитан Касьянов на семерке. На ней ночью еще не ходили.

Сидевший рядом с Петрашом майор пояснил:

– Касьянов – командир звена, самый молодой из нынешней смены.

Скоро его самолет превратился в звездочку, пошел на сближение с двумя, летавшими в правом углу экрана, но через пять-шесть секунд пропал. Кто-то испуганно воскликнул:

– Ой, братцы!

И воцарилась тишина, – такая тишина, что, казалось, в большой стеклянной кабине сидят тени, а не живые люди.

Громко, отчетливо и тревожно окликал воздушное пространство руководитель полета:

– Маяк! Маяк! Что случилось?

Среди шума и треска радиопомех раздался глухой голос:

– Я видел пламя.

И другой голос:

– Я тоже видел. Похоже на взрыв.

И – тишина. Теперь уже совсем гробовая. Мне казалось, я слышал дыхание своего соседа Петраша. Руководитель полета громче обычного вопрошал:

– Маяк! Маяк! Отзовитесь. Мы вас не слышим.

Воздушный океан хранил свою тайну. Потом один за другим приземлились два самолета. И ушли в сторону, в ночь. И там замолкли. Теперь тишина воцарилась на всем аэродроме. И в целом мире. И долго еще люди в обеих кабинах не решались малейшим движением нарушить тишину. Потом из малой кабины вышел командир дивизии, глухо, не своим голосом проговорил:

– Будем ждать.

Радист, оставленный у пульта руководителя полета, продолжал пытать воздушный океан:

– Маяк! Маяк! Маяк!… Мы вас не слышим.

Маяк не отзывался. Полковник Афонин вернулся на свое место. Теперь уже два голоса продолжали пытать воздушную стихию, но она упорно молчала.

Воронцов поднялся, кивнул своим, и мы, не простившись ни с кем, спустились к ожидавшей нас машине, поехали в гостиницу.

Я прошел в свой номер и, не раздеваясь, прилег на постель. Никто ко мне не приходил; я лежал, потрясенный случившимся, бездумно смотрел в потолок. Мне казалось, что на войне мы немного привыкли к смертям и уж не будем так переживать, увидев, как умирает или погибает человек, не будем испытывать таких потрясений, а вот услышали, как она взяла свою жертву, и душа оледенела от ужаса, – именно, от ужаса, потому никаким другим словом я не могу выразить своего состояния. Погиб молодой летчик, – чей-то сын, чей-то муж, отец девочки-малютки, которой, как я слышал, не было еще и двух лет, погиб в мирное время, когда небо ясное и чистое и в нем нет вражеских самолетов, не стреляют зенитки. Два года он летал в грозовом небе войны, дрался с вражескими летчиками, сбил восемь самолетов, а сам уцелел, и даже не ранен, а тут вот…

Но, может быть, он жив, с ним ничего не случилось? Дай-то Бог, дай-то Бог!…

С этой мыслью я, не раздеваясь, уснул.

Утром в летной столовой мы услышали: самолет капитана Касьянова при наборе высоты взорвался. Причины никто не знал. И вряд ли кто узнает. Взрыв разметал машину на мелкие кусочки, отдельные уцелевшие детали собирали в окрестных деревнях, а о человеке… никто и не говорил. Воздух, которому он посвятил жизнь, взял его в объятия и стал последним приютом.

Воронцовская пятерка завтракала молча и молча же, не заходя к командиру, направилась в гостиницу, я же, движимый тайной пружиной своей профессии, в гостиницу не пошел, а присел на край лавочки в сквере военного городка, ловил каждое слово случайных разговоров. Я еще не знал, буду ли писать об этом трагическом эпизоде, – скорее всего, о таких фактах не дают печатать ни редактора, ни цензура, но жизнь летчиков интересовала меня во всех проявлениях, и я испытывал потребность знать подробности происшедшей трагедии.

В день похорон золотая пятерка стояла возле гроба во втором ряду, а я в сторонке от летчиков, знавших Касьянова или приехавших из других частей, и неотрывно смотрел на окаймленный черной рамкой портрет капитана, которому было лет двадцать восемь. Он был красив, всем нам улыбался и будто бы спрашивал: чтой-то вы носы повесили?… А под сводами небольшого зала, где был установлен гроб, величаво плыла траурная музыка, заполняя зал нестерпимым чувством утраты чего-то большого, невосполнимого.

Две женщины подвели к гробу молодую вдову, державшую за ручку девочку. Музыка смолкла и вдруг раздался крик:

– Откройте гроб! В нем нет моего Васеньки! Нет! Нет! Разбился самолет, а Васенька жив! У него был парашют. Откройте крышку!…

Рыдания вырвались из груди несчастной, но вдруг она затихла, стала опускаться на руки стоявших возле нее женщин. Кто-то сказал:

– Потеряла сознание.

Ее понесли к выходу. Девочка шла за ними, но кто-то загородил ей путь, и она очутилась возле меня, запрокинула головку и смотрела с вдруг пробудившимся интересом. Я поднял ее, и она положила ручонку мне на погон, – видно, привлекли ее те же четыре звездочки, что были и на погонах ее отца. Она гладила их, а потом перевела взгляд на фуражку, которую я держал в руке, поддела пальчиком золоченый краб с покрытой красной эмалью звездой. Тихо, почти шепотом, произнесла: «Папа!». Я задохнулся от волнения, вышел из зала, сел на лавочку, а ее поставил рядом. Хотел спросить, как ее зовут, но затем опомнился: зачем же разрушать иллюзию се счастья. Ведь если отец, то он не стал бы спрашивать, как ее зовут. А девочка захватила ручонками мой краб, и для нее ничто в мире, кроме краба, не существовало. Из дверей зала рвалась наружу музыка Шопена. Я сидел, обвив рукой талию девочки, боялся, как бы она не упала с лавки. И не заметил, как сзади подошла женщина, протянула к ребенку руку:

– Пойдем, Верочка. Ты устала, тебе пора спать.

И они ушли, а я сидел как каменный, и ощущение неизбывного горя железным обручем сковало мою грудь.

Подошел Воронцов, тихо проговорил:

– Вот она… наша профессия.

Я не ответил. Посидели несколько минут и пошли прочь со двора. Слонялись по улицам города, ждали, когда процессия направится к кладбищу. В гробу не было тела, прощаться было не с кем, но летчики золотой пятерки, как и весь личный состав дивизии, был готов проводить гроб с фуражкой и по русскому обычаю бросить в могилу горсть земли.

Трудно дались мне эти похороны; я, кажется, на фронте никогда с такой мучительной, почти непереносимой болью, не хоронил даже близких своих друзей.

Кто-то сказал:

– Капитану еще не исполнилось и двадцати семи.

Судьба не щадила и тех немногих моих сверстников, которых война оставила всего лишь по три человека из каждой сотни.

Дня три после похорон мы в дивизии не появлялись, даже в летную столовую не ходили. Гуляя со своими новыми приятелями по городу, питаясь с ними в ресторане, я ближе узнавал их, жадно вслушивался в рассказы о том, как они воевали, а затем служили в разных концах страны. Все они были постарше меня лет на пять-шесть, но жизнь летчиков-истребителей, многотрудная и быстротечная, каждодневные бои и опасности, а затем и положение крупных командиров сделали их многомудрыми и острыми на взгляд и чутье; они, казалось, видели меня насквозь и по причине врожденной славянской доброты принимали меня за товарища. И только Воронцов, оказавшийся еще большим балагуром и пересмешником, чем во время курсантской жизни в Грозненской авиашколе, частенько ставил меня в неловкое положение, как бы давал понять, что гусь свинье не товарищ, так и я никогда не стану с ними на одну доску. Он говорил:

– Что за профессию избрал ты себе – газетчик? А?… Вечно будешь на побегушках: там послушал, там понюхал – тьфу! Угораздило же тебя! Переходи к нам в истребительную авиацию.

– Кто меня возьмет в вашу авиацию? В Грозном мы на штурманов учились. Бомбы под брюхом таскали, а если когда и ручку управления давали, так это редко. Все больше мы маршрут чертили, а в полете курс летчику задавали да бомбы сбрасывали. Хорошо это вы… – я его при людях на вы называл. Полковник все-таки! – Вы до училища летать умели, в аэроклубе инструктором были, а я?… Долго меня учить надо.

– Выучим! – гудел Воронцов. – Какие у тебя годы! Скажу

приятелю, командиру дивизии, – под Москвой в Кубинке у нас элитная дивизия стоит, – там тебя живо натаскают. И затем командиром эскадрильи сделаем, а там и командиром полка!…

Я после таких разговоров и сам начинал верить, что летное дело скоро могу освоить. База-то у меня есть! Я Грозненскую школу с отличием окончил. Воронцов на что хорошо летал и во всем первым был, а серебряный знак-самолетик только десять отличившихся получили. Но в то же время я думал: «А что мне даст положение летчика? Я же не войду в золотую пятерку! И командиром полка не скоро стану, если и стану еще?»

Такие мысли сразу гасили мои минутные мечты о воздухе.

А Воронцов продолжал:

– Ну, если в газете застрянешь – в редакторское кресло прыгай. Повелевать надо, а не корпеть над заметками. На большом лимузине ездить – на «ЗИМе» или на «ЗИС-110», как наш командующий Василий Иосифович. Ключевые посты в государстве надо занимать, а то сдадим Расею ублюдкам разным да гомикам.

– Гомикам? Кто это такие – гомики?

Воронцов с минуту смотрит на меня удивленно. Затем спрашивает:

– Ты что – не знаешь, кто такие гомики?

– Почему не знаю. Те, что в цирке – комики.

Раздается взрыв хохота. И смеются летчики долго, Петраш схватился за живот, чуть не падает.

Я не обижаюсь, смеюсь вместе со всеми. А когда мои товарищи успокоились, рассказываю им, как еще задолго до войны в нашей деревне женщина брала с собой в баню детей, их ставили на полок и просили петь песню, где были слова «братский союз и свобода». Так в слове «братский» дети вместо буквы р выпевали л и женщины веселились до упада. И мои слушатели, как и те женщины, тоже зашлись новым приступом смеха.

А Воронцов меня выручает:

– Ну, а если по-твоему гомики это комики в цирке – ладно, пусть будет так. Пусть они там смешат честную публику. Не знаешь ты их – и ничего. Это мы потерлись в столице, так и узнали. А в других городах про них вроде и не слышно. Они все больше в конторах важных, да в министерствах. Как крысы, по злачным местам шуруют. И в кресла больших начальников лезут; тянут друг друга и лезут. В Африке обезьяна есть такая: она как вспрыгнет на дерево – хвост другой подает. Так они и карабкаются на самую вершину за бананом. Гомики да педики, да всякая одесская шушера на тех обезьян похожа. Скоро вся власть

к ним перейдет, Иосиф Виссарионович недавно жамкнул их по башке – кампанию против космополитов учинил, да они-то ужом извернулись, выскользнули из рук. Новую кампанию надо начинать.

Я решил: гомики это и есть космополиты. Но чтобы не вызвать новый взрыв смеха, я о своей догадке умолчал. А только подумал: «Эти ребята, наверное, тоже от евреев натерпелись – ворчат против них».

Воронцову нравилось поучать меня и говорить со мной, точно со школьником. И делал он это не обидно, а даже и как-то тепло, по-отечески ласково. Все другие его товарищи, видно, не осуждали меня за то, что я путаю гомиков с комиками, а посматривали на меня сочувственно и вполне дружелюбно. Я был для них тем наивным провинциалом, к которому еще не пристала отвратительная грязь знаний о сексуальных меньшинствах.

Генерал Сталин не приезжал, что-то задерживало его в Москве, и пятерка без него начала полеты на новых машинах. Я тоже не терял времени, каждый день общался со своим героем, много узнал о нем интересного, но писать не торопился. Звонил в Москву, и редактор сказал, чтобы я непременно дождался генерала и ему представился. Как-то мы обедали вместе с командиром дивизии, и тот словно бы нечаянно спросил:

– Вы учились в Грозном вместе с полковником Воронцовым?

– Да, но только Воронцов тогда не был еще полковником.

А Воронцов, повернувшись к комдиву, сказал:

– Представьте себе: он кончил школу с отличием, а меня едва выпустили.

Полковник Афонин улыбнулся и сказал мне:

– Вы, я слышал, много интересуетесь летной работой Радкевича. Может, хотите слетать на новом самолете?

Я удивился: слетать? Неужели он не знает, что мы летали на тихоходных винтовых машинах. Да и давно это было. Я все перезабыл.

Но полковник пояснил:

– У нас есть одна тренировочная спарка. Я вас провезу.

Я согласился, и мы утром следующего дня поднялись в воздух. Уже на взлете я ощутил разницу между винтовыми и реактивными самолетами. У нашего Р-5, на котором я учился, скорость на взлете не превышала ста километров, тут же она достигала двухсот, а может, и больше. Земля у края полосы сливалась в сплошную пелену, и я видел только уплывающую под крыло дымчатую поверхность. В момент отрыва сильно прижало к стенке сиденья: это тоже было для меня новым. А потом давило все сильнее. Прибор скорости показывал пятьсот, шестьсот,

восемьсот километров. В шлемофоне услышал голос:

– Пойдем на левый боевой разворот.

Я кивнул, и мы «пошли». Вот тут я увидел первую и наиважнейшую фигуру высшего пилотажа. Наш Р-5 тоже производил боевые развороты – когда надо было зайти на бомбометание или круто изменить маршрут. Но это были развороты по небольшому радиусу, здесь же радиус был огромный, внизу точно рассыпанные спичечные коробки мелькали деревни, небольшие латышские хутора. Я представил самолет противника, он тоже должен уходить от атаки на таких же гигантских фигурах: или с дикой скоростью устремляться в набор высоты, или, наоборот, идти на снижение, и при этом обязательно крутить какую-нибудь фигуру по вертикали…

В шлемофоне раздалось:

– А вот горка!

И самолет вздыбил нос, турбина зазвенела… Меня прижало сильно; еще мгновение – и я бы, как мне казалось, потерял сознание. Но я все-таки по положению земли и корпуса самолета успел разглядеть «горку».

Затем был снова боевой разворот – теперь уже со снижением. И через минуту-другую мы зашли на посадку.

Выйдя из кабины, я поблагодарил полковника Афонина.

– Понимаю. Вы меня пощадили и серьезных фигур не делали, но я теперь представляю, какие вензеля может выписывать этот новый самолет в руках опытного летчика в воздушном бою.

– Да, машина хорошая.

Ночью неожиданно прилетел генерал-лейтенант Сталин Василий Иосифович. В сопровождении генерала и полковника он поднялся на командный пункт полетами. Все мы встали. И он, небрежно козырнув нам, прошел в малую комнату, где руководил полетами полковник Афонин. Летчики один за другим стали покидать большую комнату; я тоже вышел из-за стола, но меня за рукав взял незнакомый офицер, только что поднявшийся к нам по лестнице:

– Я подполковник Семенихин.

Он протянул мне руку. Я знал, что Семенихин наш постоянный корреспондент в Латвии.

– Мы сейчас представимся генералу.

Семенихина тут знали; он подошел к одному офицеру, затем другому, о чем-то с ними беседовал. Он был высокий, толстый, но передвигался резво, почти со всеми успел поздороваться, перекинуться словом. Такие свойства очень нужны журналисту, именно таким я себе представляю короля русской журналистики Гиляровского, но должен признаться: я такими качествами не

обладал и, проработав четверть века в журналистике, не стал ни проворнее, ни резвее. Наоборот: с трудом сходился с людьми, не сразу вызывал их на откровенность. Знакомая журналистка Белла Абрамовна Грохольская меня поучала: «Иван! Ты родился не для газеты, но раз уж забрел в нашу шайку, будь как все! Ты зажат и застегнут, а надо распахнуть рубашку и на каждого смотреть с пожарной каланчи. Кто тебе не нужен – проходи мимо, а если нужен – хватай его за шиворот и допрашивай, как прокурор. Люди – дети, и вдобавок – дураки. Они всего боятся, а нашего брата – тем более. Даже министр! Он смотрит на тебя со страхом и думает, как бы не брякнуть чего лишнего. Ты же каждое слово занесешь в блокнот, а затем пропечатаешь в газете. Ну!… Вот и выходит: ты министра не боишься, а он смотрит на тебя так, будто ты бешеный пес и можешь его укусить. Страшнее газетчика нет зверя. Недаром нас четвертой или там шестой властью зовут. Мы – власть, да еще и какая!».

В другой раз Беллочка, круглая как шар и лупоглазая как русская матрешка, дальше развивала свои мысли:

– И писать надо быстро и раскованно. Иной боится белого листа, как боялся его Горький. Я листа не боюсь. Сажусь и пишу. Поначалу сама не знаю, что пишу, а потом распишусь. И что ты себе думаешь? Я еще немножко попишу, а потом вижу – статья готова.

– Так у тебя же нет статей. У тебя – заметки.

– Заметки? Да, это уже редактор их так кромсает, что в газете она – заметка. Но вы что – не знаете, какой это народ – редактор! Сам-то он… тупой пилой его режь – ничего не напишет. От злости лютует. Посмотрели бы на него, если бы я была редактор, а он репортер. Вы бы от него и заметки не увидели. О, матка-боска! Я от них устала и все время жду, когда придет умный редактор. Тогда уже мои статьи будут большие, как портянки. И даже целые простыни. И все увидят, какой я талант.

Белла выдавала себя за польку и в минуты отчаяния нередко поминала матку-боску.

Посредине комнаты стали составлять столы, а вскоре с подносами и всякой снедью появились две официантки из офицерской столовой. Я сказал Семенихину:

– Мы, наверное, тут неуместны. А?…

– Представимся генералу, а там видно будет.

Я хотел подойти к Воронцову, но из маленькой комнаты вышел генерал Сталин и сопровождавшие его лица. Семенихин шагнул к нему:

– Товарищ генерал-лейтенант! Разрешите представиться: собственный корреспондент газеты «Сталинский сокол»

подполковник Семенихин!

Выдвинулся из-за его широкой спины и я:

– Товарищ генерал-лейтенант! Специальный корреспондент «Сталинского сокола» капитан Дроздов.

Генерал, набычившись, исподлобья, оглядывал каждого из нас и нескоро, и будто бы нехотя, обратился к обоим сразу:

– А что это значит: один собственный, другой специальный?

Отвечал Семенихин:

– Собственный – это значит аккредитован при армии, живу здесь, в Латвии, а специальный – приехал из Москвы.

Генерал перевел взгляд на меня; я увидел, что он слегка пьян. Глаза цвета неопределенного, он щурил их и выказывал то ли нетерпение, то ли неудовольствие.

– В Москве живете?

– Так точно, товарищ генерал!

– А зачем сюда приехали?

– Имею задание: написать очерк о политработнике.

– Очерк?… А вы умеете писать очерк? В школе мы проходили Глеба Успенского. Вот тот умел писать очерки. А вы?…

Я молчал. Не находил, что ответить, и оттого сильно волновался. А генерал перевел взгляд на Семенихина. Спросил:

– Здесь, в Латвии, есть собственный корреспондент, у меня в Москве нет. Почему?

– Там рядом с вашим штабом вся редакция…

– Меня не интересует редакция. Меня интересует собственный, то есть мой корреспондент.

Генерал перевел взгляд на стол, где уже стояли и манили красивыми этикетками грузинские вина, а нам махнул рукой:

– Вы свободны.

Я повернулся и направился к выходу. Спустившись по лестнице, ожидал Семенихина, но он не появлялся. Я подошел к машине, которая нас возила, попросил шофера отвезти меня в гостиницу. Укладываясь спать, думал о Семенихине, его решение остаться ужинать с генералом и близкими ему офицерами, считал непозволительной дерзостью. И был доволен собой: «Хорошо, что не остался. Ведь никто же меня не приглашал». И с этой хорошей светлой мыслью заснул.

А на следующий день в штаб не пошел, сел писать первый очерк. Не пошел и на второй день, и на третий. Не ходил и в офицерскую столовую, а питался в ресторане. Не видел я все эти дни никого из золотой пятерки. Мне хорошо работалось, я писал очерки. А потом неожиданно в ресторане увидел Воронцова. Он был взволнован и сразу же мне сказал:

– Рассобачился с генералом!

Я неуместно спросил:

– С каким?

– Со Сталиным, конечно! Какой же тут генерал-то еще?

– Надеюсь, это не смертельно?

– Не смертельно, а службе конец. Отлетался. В газету к вам приду! – если примете.

Я не знал, чем утешить друга. Предложил меню, чтобы выбрал обед, но он резко поднялся. И скомандовал:

– Пошли в столовую! Чтой-то я, как барышня… расквасился. Афонина бросил. А ему горше, чем мне. Его-то он из армии турнуть пообещал.

– А он разве может – уволить из армии? Он же округом командует, а не всей военной авиацией.

Воронцов обнял меня за плечи.

– Ах, ты, Иван, наивная душа! Хорошо тебе жить с твоим идеализмом. Во всем ты хорошее хочешь увидеть, законам веришь. А жизнь, она не законами управляется, а самодурством разным, да вражьем поганым. Ты там на фронте из пушек палил, да ребят немецких, таких же, как мы с тобой, крушил, так уж думал, и всех врагов одолел, а вот приехал в столицу и увидишь: врагов-то тут побольше, чем там на фронте было. Вот он, Вася-то, сын Владыки мира, меня сегодня жамкнул, а я не однажды видел, как и сам он плачет в тисках вражья разного. Да я думаю, и отец его живет да оглядывается: не знает, откуда смертушки ждать. У него недавно приступ сердечный был – от пустяка случился. Играл он, как всегда, сам с собой в бильярд, а потом к окну подошел, задумался. А кий-то и упади на пол. В ночи звук резкий раздался, а Иосиф Виссарионович метнулся за портьеру: думал, значит, выстрел это. Ну, сердце-то и затрепыхалось. Три дня после этого аритмия была: сердце то ударит, а то остановится. В другой раз три удара, на четвертый остановка. Хорошо это, скажи?… Попросил Светлану позвать, да сына Василия, а ему и в этом отказали.

– Сталину?… Отказали?… Да кто ж над ним права такие имеет?

– Имеют, значит, – ответил спокойно Воронцов. – Германию на лопатки положил, страху на весь мир нагнал – так, что и Черчилль в его присутствии сесть не смел, а вот простого семейного счастья не заслужил. Не пускают к нему сына с дочерью. Мы однажды сказали генералу, чтоб он к отцу обратился, да самолетов у него для округа столичного побольше попросил, а он нам сказал: «Когда-то я теперь к нему попаду». Посмотрел на нас и добавил: «Вы что же думаете, я с отцом каждый день щи хлебаю?… Нет, ребята. Если в три месяца раз

допустят к ручке, так и радуйся». А вот кто это такую жизнь даже Сталину мог устроить, этого я пока тебе не скажу. Знаю, но не скажу.

– Ты так тепло и хорошо говоришь о генерале… А он с тобой вон как обошелся.

– Да как же он со мной обошелся? – всполошился Воронцов. – Что же ты такое знаешь о генерале, что судить так смеешь?

Струхнул я малость, сообразил, что сболтнул лишнее.

– Так сами же вы сказали! – перешел я на вы.

– Сказал! Так то же я, а не кто-нибудь. Я и сказать имею право, а ты пока… Слушай, да на ус мотай, а то в историю попасть можешь. Шепнут ему на ухо, он из тебя котлету сделает.

– Да, конечно, ты прав. О генерале судить мне как-то не с руки. Лучше помалкивать.

Долго мы после этого молчали. Полковник свернул на улицу в сторону от штаба. Зашли в ювелирный магазин, где продавали много изделий разных из янтаря. Воронцов купил красивый медальон на золотой цепочке, предложил и мне сделать такой подарок жене. Я признался, что денег таких не имею. Он попросил у продавца второй такой же медальон. Подавая его мне, сказал:

– Бери. Будут деньги – отдашь.

И опять мы блуждали по городу. Воронцов шел медленно, сворачивал в разные переулки. У летчиков такие маневры называются: «Гасить время на виражах». Было видно, что ходьба и беседа со мной его успокаивают. А к тому же он, видимо, хотел выговорить обиду на генерала, а может, в чем-то его и оправдать.

– Пить он стал все больше, а когда выпьет – бес в него вселяется.

Воронцов говорил спокойно и будто бы с сочувствием к генералу.

– Не скажу, что становится бешеным, но из каждого пустяка готов раздуть историю. Ну, и на этот раз. Мы летали с Афониным, и я трижды кряду оказался битым. Ну и что же тут такого! Афонин каждый день тренируется, а я на этой машине впервые – естественно, будешь бит. Скорость оглашенная, а все реакции от прежней машины. Ежу понятно, а он надулся и ворчит. Не затем, говорит, я вас сюда послал, чтобы вы честь столичного округа позорили. Меня это слово обидело, я и скажи: не из той я колоды карт, чтобы честь чью-нибудь позорить. Ну, тут он и взорвался: молчать! Если говорю – позорите, значит, так оно и есть! Нашелся мне – лидер золотой пятерки. Полковник Афонин – вот лидер! А вы поезжайте в свой Хабаровск. Там служили и служить будете. Но уже не командиром дивизии. Скажите спасибо, если

эскадрилью дадут.

Выслушав эту тираду, я вынул из кармана служебное удостоверение за его подписью и положил перед ним на столе. И спокойно проговорил: на родину поеду, в Саратовскую область. Там я родился, там и помирать буду.

А генерал – к Афонину:

– Принимайте пятерку. В Москву переедете.

Афонин поднялся, твердо проговорил:

– На место Воронцова не пойду. Воронцов – гордость нашей боевой авиации, и я на его месте быть недостоин. А результаты наших учебных боев?… Полковник умышленно мне бок подставлял; не хотел авторитета моего в глазах дивизии ронять.

Генерал рванул со стола скатерть и ушел. А через час он уже со своей свитой вылетел из Тукумса. Такая-то вот история!

Я к тому времени написал все три очерка и получил команду возвращаться в Москву. Вылетал я вместе с пятеркой самолетом, который предоставил нам командир дивизии. Он был спокоен, вел себя так, будто ничего и не случилось. Тепло прощались мы с ним, а Воронцов ему сказал:

– В Москву приедете – заходите.

– Боюсь, вы уже будете под Саратовом.

– Нет, конечно. В случае чего перейду в гражданскую авиацию. Москва – это магнит; если уж к ней прилепился – не отдерешь.

Очерки мои печатались один за другим. Печатались они без сокращений и правке не подвергались. Шума вокруг не было. И только редактор на летучке сказал:

– Я из этих очерков многое для себя узнал. Думаю, и другие прочтут их с пользой.

Мои друзья по комнате молчали. Кудрявцев читал их с карандашом, все исчертил, но что означали его подчеркивания, он не говорил. Никитин и Добровский делали вид, что ничего не произошло. Но я чувствовал: очерки явились событием, которого никто не ожидал. А начальник отдела полковник Соболев, сверкая глазами, повторял:

– Хорошо, золотце. Это очень хорошо.

Других комментариев не было.

Однажды перед концом рабочего дня, а это было часу в десятом вечера, – работали с трех до одиннадцати, – к нам в комнату вошел полковник, которого я видел в Тукумсе в свите генерала Сталина. Не закрывая за собой двери, он поманил меня, сказав:

– Капитан, пойдемте. Дело есть.

Мы пошли в кабинет заместителя главного редактора,

который был пустым. Прикрыв за собой хорошенько дверь, полковник сел за стол хозяина кабинета, а мне предложил сесть в кресло. И начал так:

– Вы меня знаете?

– Я видел вас в Тукумсе.

– Хорошо. Я полковник Орданов, референт генерал-лейтенанта Сталина. Имею к вам дело. Завтра будет приказ о назначении вас собственным корреспондентом «Сталинского сокола» по Московскому округу Военно-Воздушных Сил. Сейчас вы занимаете должность подполковника, а будет у вас должность полковника. И зарплату вам повысят. Однако в вашем положении мало что изменится. Стол в редакции за вами останется, но вам выделен кабинет и в штабе округа. Будете сидеть рядом с золотой пятеркой. Воронцов-то, я слышал, ваш однокашник.

– Да, мы с ним учились в Грозненской авиашколе. Но он будто бы впал в немилость?…

– В какую немилость?… А!… Это там, в Тукумсе?… Все уладилось. И вам об этом нигде не советую рассказывать. Это кухня… наша, семейная. До нее нет никому дела.

– Я понимаю, и никому ничего не рассказывал.

– Вот и хорошо. Главное для людей, стоящих близко к генерал-лейтенанту… это молчать. Молчать как рыба. Это – главное.

– Понимаю. Но скажите: почему такая таинственность в самом факте моего назначения?

– А это разговор особый.

Полковник бегло взглянул на дверь, – она была плотно заперта. Посунулся ко мне, заговорил тихо:

– Месяца два-три назад у генерала был директор военного издательства, предложил ему написать книгу: «Воздушный флот страны социализма». И сказал, что дадут в помощь литературного сотрудника. Генерал возмутился: «Как это так! Мне заказываете книгу, а писать ее будет другой? Да как же я имя свое под чужим трудом поставлю?…». Отчитал издателя, но мысль о книге в голову засела. Пытался было писать, да все времени нет. На каком-то совещании с редактором вашим встретился, ну тот ему и посоветовал. И вас предложил. Хорошенький проект? А чтобы вы поближе к нам были, собственным корреспондентом вас назначат.

– Оно бы и хорошо, и взялся бы я за дело, но книг-то я не писал. Сумею ли?

– Редактор лучше нас знает; говорит, что сможете. Главное, чтобы язык за зубами держать. Чтоб никто об этом не узнал. А то ведь… сами понимаете?…

Полковник показал на потолок, что, очевидно, означало: на самом верху могут узнать. И как на это посмотрят – никто сказать не может. Словом, генерал Сталин, очевидно, никого так не боялся, как отца родного. И хотелось ему, что если уж книга выйдет, пусть всякий думает, что он ее написал, а не кто другой.

Полковник Орданов повторил:

– Пуще огня одного боимся, чтоб раньше времени о книге болтовни не было.

– Ну, за это можете не беспокоиться. Я чай, как и вы, человек военный.

– Ну и отлично. Дело по книге будете со мной иметь. А уж там посмотрим, как у нас дальше дело пойдет. А сейчас идите и работайте по-прежнему. Остальные инструкции от редактора получите.

Редактор пригласил меня на следующий день. Поблагодарил за хорошие очерки, сказал, что они понравились на всех уровнях; их и Главком читал, и генерал-лейтенант Сталин. Он даже мне сказал, что вы в Тукумсе и сами летали на новейшем самолете и будто бы отлично справились с управлением.

Эта информация меня озадачила. Я не мог опровергать слов такого высокого человека; сделал вид, что не все понимаю из того, что говорит редактор. Смущенно залепетал:

– Да, я летал на тренировочном самолете вместе с командиром дивизии. Я, конечно, отвык, да и летал-то прежде на винтовых самолетах…

Полковник меня перебил:

– Если вы умеете водить грузовой автомобиль, то и на легковом без труда поедете.

– Оно, конечно, так, но пилотаж реактивного самолета…

– Мне было приятно слышать отзыв генерала о вашем полете. Пусть, думаю, они знают, какие молодцы у нас в редакции работают.

Я не спорил и в дальнейшие дискуссии не вдавался. Про себя подумал: может, это командир дивизии представил дело генералу, будто я сам пилотировал реактивную машину. А может, пересмешник Воронцов так изобразил мой полет.

А полковник сдвинул брови, погрустнел, задумался. И, покачивая головой, заговорил:

– Жаль только, расставаться нам приходится. Генерал-то просил назначить вас собственным корреспондентом при его округе. Я на это заметил: вся редакция наша считает себя вашим собственным корреспондентом, а он мне: вы мне зубы не заговаривайте. Присылайте парня, я ему кабинет выделю. С вами полковник Орданов говорил?

– Да, говорил. Но он сказал, что ничего в моем положении не изменится. И даже стол в отделе за мной останется.

– Так-то оно так, да боюсь, что в штабе-то они найдут вам работу, далекую от редакционной.

Я ждал, что редактор заговорит о книге, но он смотрел на меня внимательно, – очевидно, ждал, когда я сам о ней заговорю. Но я молчал. И ему мое молчание, видно, понравилось. В его серых, заботливых глазах светилось тепло и одобрение. Вспомнил я, как в полку также по-отцовски любил меня и старался во всем помочь командир дивизиона капитан Малютин, человек для нашего круга пожилой, в прошлом директор средней школы в Новосибирске. Он любил выпить, и старшина батареи всегда хранил для него бутылку самогона или трофейного коньяка. Бывало, прикажу я пожарить на сале картошку, – он любил именно жаренную на сале, – открыть баночку соленых огурцов или помидор, – водились у нас трофейные, – так он выпьет полстакана спиртного, – больше не пил, – и смотрит на меня веселыми улыбающимися глазами. И, бывало, спрашивает: «Признайся, ты ведь года четыре себе прибавил?». Я на это неизменно отвечал: «Ну, что вы, товарищ капитан! Ничего я себе не прибавлял». А сам думал: «Вот дознаются как-нибудь – и что тогда со мной сделают?». А капитан покачивал головой и говорил: «Прибавил. Что же я не вижу, что ли?… Вот приедет генерал и скажет нам с командиром полка: "Что же это вы детсад развели? Пацана командиром батареи назначили"». Я, конечно, при поступлении на завод прибавил себе два года, но два, а не четыре. А он никак не хотел видеть во мне взрослого человека. Однако командиры батарей в полку ценились по количеству сбитых самолетов и танков, а у нас этот показатель самый высокий. И каждый раз, когда счет наших трофеев увеличивался, командир дивизиона радовался, как ребенок, и щедро представлял нас к новым наградам. А уж как мы, офицеры и солдаты батареи, любили дивизионного, и говорить не приходится.

Было что-то общее между капитаном Малютиным и полковником Устиновым. Оба сибиряки, и глаза у них были сильно похожими – зеленоватыми, излучающими свет и тепло. Я теперь, по прошествии десятилетий, безмерно благодарен судьбе за то, что послала мне этих армейских отцов-командиров. Сидел в кабинете Устинова и думал о том, как бы мне каким-нибудь неосторожным поступком не подвести своего начальника.

В день, когда был подписан приказ о моем назначении, я позвонил полковнику Орданову и сказал:

– Если не возражаете, я пока буду сидеть в редакции на своем

месте.

– Да-а, сидите, пожалуйста. Когда вы нам понадобитесь, я вас найду. И если вздумаете писать о ком-нибудь из нашего округа – вы мне сообщите.

– Разумеется, я буду советоваться и с вами и зайду в Политуправление округа.

– К ним вы зайти можете, но вообще-то… вы больше связывайтесь со мной. Я им уже сказал, они о вас знают.

Я из этого разговора понял, что генерал не очень-то и хочет, чтобы я кому-нибудь, кроме него, подчинялся.

Начальник отдела инженер-полковник Соболев ни о чем меня не расспрашивал и даже делал вид, что ничего не произошло, но, зайдя в начале дня в нашу комнату и раздавая для обработки статьи Деревнину и Кудрявцеву, мне никакого задания не дал. Я понял: он уже получил инструкции от редактора не занимать меня текущей работой.

Словно ветер, влетел в комнату Фридман. Схватил мою руку, шумно поздравлял:

– Ты, старик, теперь напрямую можешь обращаться к Василию Иосифовичу. Редактор и позвонить к нему не смеет, а ты – запросто, хоть ногой дверь открывай. Эх, мне бы такую должность. Мы бы в этом вшивом домишке и дня не сидели!

– А где же? – почти разом воскликнули мы.

– Как где? Да хоть бы и во Дворце Петровском. Он же пустой стоит. Зайди к генералу, попроси для редакции Петровский дворец.

Я молчал. Предложение Фридмана мне казалось шуткой, – и даже очень неуместной. Я и вообще не хотел, чтобы этот человек знал о моем новом назначении, но он-то как раз первым узнает все редакционные новости.

– Проси машину! – наседал Фридман.

– Какую машину? – пучил я на него глаза.

– Персональную. Не у него проси, а зайди к Войцеховскому и потребуй. Ты с ним не церемонься, – я его знаю: плут отменный и трусишка. Заходи важно, подавай для приветствия два пальца. Не больше. Тогда уважать будет. Он такой: если робеешь – и не посмотрит, а вот если важно с ним, да каждое слово через губу цедить будешь – он таких боится.

– Да кто такой, этот Войцеховский?

– Хо! Он не знает, кто такой Войцеховский!…

В этот момент к нам вошла Панна Корш и Фридман обратился к ней:

– Панна! Расскажи ему, кто такой Арон Войцеховский. Твой муженек у него на коленях просил для редакции два старых

автомобиля. Войцеховский ему дал, а вместо них из Хозяйственного управления Министерства Обороны получил новые. Ты тоже проси. И не проси, а скажи так: «Арон! Мне нужна машина. Хорошая, большая. Лучше будет, если "ЗИМ"». Называй его по имени: Арон. Он хотя и генерал-майор, но того, кто называет его Ароном, боится. Ты, Иван, слушай меня. Поработаешь с месяц – проси квартиру. Арон даст. Арон, если захочет, все даст. А он захочет. Я же его знаю. Ты думаешь, ему неважно, как ты будешь к нему относиться? Ты же у плеча Василия встанешь. Хорошенькое дело – стоять у плеча! Можешь слово обронить: «Арон хороший», а можешь и сказать: «Арон плохой».

– Да в чем дело? – воскликнула Панна. – О чем речь? У какого плеча?… Наконец, кто такой Войцеховский?

– Ты не знаешь своего благодетеля! А на чьей машине ты подкатываешь к редакции? На его машине, Войцеховского. Он же Хозу! Хозяйственное управление Московского округа ВВС, Васькиного округа. У него в кармане все! Московский университет тоже у него в кармане. Ты что же думаешь? Он не может позвонить ректору и сказать: зачисли студентом этого, дай степень или звание профессора тому-то и он не даст?… Где ты найдешь человека, который не послушает Войцеховского? Да у него в кармане все!…

– Но ты-то при чем? – недоумевала Панна.

– Я?… Я знаю Войцеховского, а он знает Сашу Фридмана. Вашего Сашу знают все. А если знают, то этого уже хватит. Ну, да вот сейчас… Я позвоню – и вы увидите.

Набрал номер телефона. И заговорил своим особенным, характерным для Фридмана и для многих евреев, тоном:

– Арон?… Здравствуй, дорогой! Звонит Фридман. Саша Фридман – ты что забыл?… Ты слышал новость?… Не слышал, ну, так я тебе скажу, а ты это запомни, что новость сказал тебе я, Саша Фридман. Ах, ты забыл, откуда я. Ну, Арон! Ты как стал уже генералом, так и всех забыл. Я сижу тут рядом, от вас через дорогу – в «Сталинском соколе». Сталинском! – слышишь?… К вам от нас назначили человека, ты понял? Человек небольшой, но важный. Он капитан. Хороший капитан. Был на фронте и в кого-то там стрелял. А недавно он был в Тукумсе вместе с твоим генералом. И там с ним летал. На новом реактивном самолете. Летал и еще как!…

Я слушал и не верил своим ушам: какую чушь несет этот ужасный еврей! Я летал вместе со Сталиным! Да ведь эту ложь разнесут по всей Москве. А уж золотая-то пятерка попадает от смеха. И полковник Орданов узнает, а там и сам генерал

Сталин!…

У меня кружилась голова. Сердце гудело как реактивный двигатель. Я готов был умереть от стыда. В первый же день и такой позор!… Я уже представлял, как обо всем этом докладывают Устинову и как он морщится, склоняясь над столом. Это же и для него катастрофа. Да кто же все это сказал Фридману?… Кто, наконец, просит его болтать об этом?…

А Фридман, подмигнув мне, продолжал:

– Была золотая пятерка, а теперь будет шестерка. Ну, и что ж, что капитан! А летает он покруче вашего Воронцова. Наш капитан семьдесят самолетов сбил. Ага!… Вот тебе и капитан!…

Я схватился за голову: семьдесят самолетов! Да сам Покрышкин, трижды Герой, сбил шестьдесят два! Какую же чушь он несет?…

Я хотел вырвать у него трубку, да теперь-то… после всего, что он сказал…

Потом он что-то говорил насчет машины – персональной, черной, большой, но я уже ничего не слышал. Я свою карьеру считал оконченной и теперь только думал, как и что я скажу Устинову, Воронцову, Орданову.

А Фридман бросил трубку, возвестил:

– Будет тебе машина! Понял? Вот так надо делать дела.

– Но я с генералом не летал, – осевшим голосом проговорил я.

– Как не летал?… А в твоем же очерке что написано?

– Я летал с командиром дивизии.

– А! С генералом или комдивом – какая разница? Важно, что летал. И освоил новый самолет.

– Ничего я не освоил. Летали на спарке…

Фридман вскочил как ошпаренный:

– Да что ты пристал, в самом деле! Летал не летал…

– Да ведь генералу доложат.

– Какому генералу?

– Сталину.

– Че-во-о?… Сталину? Да кто ему докладывать станет? Войцеховский?… Да он и в кабинете у него не бывает, а если пустят иногда, так на пузе к нему ползет. Генералу!… Наивняк же ты, Иван! Вот ты посмотришь потом, что такое генерал Сталин. Да там только при имени его понос у всех прошибает. А ты – доложат. Я его пугнул как следует, Войцеховского, а ты теперь проси у него что угодно. Да он тебе самолет персональный устроит. Погоны генеральские прилепит. Хозяин-то там не Сталин, а Войцеховский. Сегодня он в округе хозяин, а завтра – в Министерстве обороны, а там и в Кремль заползет. Я-то уж знаю,

чего он может, Арон Войцеховский, и чего добивается. Многое он уже имеет, а будет иметь еще больше.

Фридман поднялся, хлопнул меня по плечу:

– Дружи с Фридманом! И он сделает тебя Папой Римским.

Он ушел, а обитатели нашей комнаты, оглушенные натиском Фридмана, еще ниже склонились над листами. Они отрабатывали статьи.

Панна сказала:

– Пойдем обедать.

И мы пошли.

По дороге в ресторан Панна рассказала:

– На твое место Домбровский с Никитиным уже человека тянут, – такого же, как они, еврея.

– Устинов, я думаю, не пропустит.

– В наш отдел за твой стол уже посадили Сеню Гурина. А теперь Турушин уходит на тренерскую работу. Я, говорит, не могу больше видеть, как этот слепой дьявол мокрым носом по моим заметкам елозит. И подал заявление. Ну, Фридман и на его место своего человека подыщет.

– А что же майор Макаров, начальник отдела кадров? Зачем же одних евреев набирать! Несправедливо это.

Панна отвечала спокойно:

– Макаров человек подневольный, над ним редактор, а над редактором Шапиро сидит.

– Какой Шапиро? Уж не тот ли, который в «Красной звезде» был?

– Он и есть. Его теперь в Главное политическое управление перевели, он кадрами всех военных газет заведует. А ему наш Фридман напрямую звонит. Он, я думаю, наш Фридман, масон высокого посвящения. Уж больно развязно со всеми разговаривает, даже с таким, как генерал Войцеховский, близкий человек к Васе Сталину.

– Слыхал я про масонов, а только о них ничего не знаю. Это те же космополиты, что ли?

– Ну, нет, эти ребята покруче будут. Космополитом всякий может быть, к примеру меня возьми: нерусская, так могу и не любить Россию и народ русский. Лапотники они, иваны, вроде тебя. Ты вот и в центральной газете работаешь, а про масонов ничего не знаешь. Масоны, они, конечно, из евреев все, или почти все, у них дисциплина и цель: они к власти рвутся. Во время войны с немцами сидели тихо да подальше от фронта уползти старались – в Ташкент, Ашхабад, Коканд, а теперь снова из щелей полезли, войну нам объявили. И война эта будет пострашнее прежней, много русских людей она возьмет и разруху нам пуще

той, что в Гражданскую и в Отечественную была, учинят.

– Каркаешь ты, Панна! Ничего такого быть не может.

Панна не обиделась и в мою сторону не взглянула, а я подумал: «Муж-то у нес – редактор наиглавнейшего журнала в стране, он-то, поди, знает». Но все-таки ни во что такое верить не хотелось. Сказал примирительно:

– Прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, конечно, а мне-то откуда знать? Но чего же они хотят, масоны? Какая власть им нужна?

– Либеральную демократию установят.

– А что это такое?

– А это, когда все дозволено, вроде анархии. Говори, что хочешь, делай, что хочешь, и ни тебе никакой власти, никаких законов. Все продается, все покупается. Вот тогда евреи все имущество скупят и деньги захватят, и радио, и газеты – все у них будет. Они потом продажу земли наладят, а чтобы народ ослабить, государство на мелкие части раздерут. Везде свой царек, свои порядки. Как в России встарь было, когда князья дрались между собой и силы у народа никакой не было. При таких-то порядках легче людьми управлять. И лес, и газ, и нефть за границу качать будут, а деньга себе в карман положат.

– Да сколько же это денег у них будет?

– Денег много не бывает, их всегда не хватает, тем более еврею.

Панна засмеялась. В эту минуту она была похожа на древнюю старушку, впрочем, очень красивую.

– Но как же Сталин? Он разве таких вещей не знает?

– О Сталине говорить не надо. И нигде ты о нем не заговаривай. Имя его поминать опасно. Помнил бы ты, Ваня: там, где соберутся трое, там и Фридман будет. Мы ими окружены и аттестованы. И не дай Бог, если неприязнь в твоих глазах заметят. Тут они тебе живо ножку подставят.

Вошли в ресторан и сели в излюбленном месте у окошка. Людей поблизости не было, и Панна продолжала:

– Ты ведь и вправду подумал, что машину тебе большую черную Фридман охлопотал? Нет, конечно. Фридман только узнал у Войцеховского, что машина тебе по штату положена, как собственному корреспонденту. И везде они, собкоры, машины имеют. Им же по частям приходится мотаться.

– Но как же Войцеховский две машины твоему мужу дал? Муж твой гражданский, а тут военный округ.

– У мужа моего в журнале свой Войцеховский есть. А они все как сообщающиеся сосуды и живут по принципу: ты мне, я тебе. Войцеховский списанные машины журналу дал, а за это пять

своих человечков в редакцию натолкал. Считай, он выиграл маленькую операцию. Они сейчас всю власть захватывать будут, и главная цель – печать. Кремль они давно заняли, там и яблоку негде упасть, а теперь – министерства, печать, банки. Во время-то войны их сильно потеснили, многие Москву покинули, а теперь они возвратились, им должности и квартиры подавай. Первонаперво, столичные города занимать будут: Москву, Ленинград, Киев, Минск… Ты-то считал, что война для тебя закончилась, а тут снова на войну попал, да еще на самую передовую.

Заканчивали обед, и Панна, видя мое унылое настроение, тронула за руку, сказала:

– Прости меня, Иван. Нагнала на тебя страху. Я, конечно, все это от мужа узнала. А тебе сказала, чтобы ты ушами не хлопал, а скорее в обстановке разобрался. Будь внимательным, хитрым и бдительным. Палец им в рот не клади, а разыгрывай простачка и показывай, будто любишь их. Словом, дурачь их, как Фридман дурачит нас.

Подходя к редакции, я сказал спутнице:

– Спасибо тебе, Панна. Ты мне противника показала, а у нас в авиации правило есть такое: увидел врага – победил.

В штабе округа мне выделили кабинет – через дверь от комнаты, в которой находилась золотая пятерка. Генерал-майор Войцеховский, к которому я зашел, вручил мне ключи от кабинета и сейфа и сказал почти шепотом, как о деле секретном и касающемся только нас двоих:

– Командующий мне ничего о вас не говорил, но я и сам понимаю, какая важная у вас должность и что надо вас обеспечивать по первому разряду. Я уже приказал начальнику АХО, это наш административно-хозяйственный отдел, чтобы он выдал вам талоны на все самое дорогое: шинельное сукно и ткань на китель, брюки, ботинки, – все самое лучшее, ведь вы – референт Сталина… – генерал поднял палец. – Референт! Это вам не шуточка.

Сам генерал был одет в какой-то серебристый китель, на пологих женских плечах топорщились мятые погоны – и тоже белые, увитые серебром. Он был интендант и на военного так же походил, как я на балерину. Большой живот лежал на столе, китель туго облегал круглую, как шар, фигуру. Руки короткие, пухлые, шеи не было, а прямо на плечах сидела большая кудлатая голова.

Генерал говорил без умолку и на меня почему-то не смотрел:

– Вы летчик, сбили много самолетов,– Саша мне звонил…

– Фридман ошибся, я летал на бомбардировщиках и самолетов не сбивал.

– Это неважно, раз летали, то кого-то же вы сбивали. Это же война, а на войне кто-нибудь кого-нибудь подбивает. Хорошо, что вас не подбили совсем и вы остались целы. Я тоже остался цел, хотя было нелегко. Все время куда-нибудь вызывали. А уж потом после войны дали погоны, и я, вот видите, жив и здоров. А?… Что вы сказали?…

– Я ничего не сказал, товарищ генерал-майор.

– Не сказали?… И хорошо. А я вам дал машину. Завтра к вам подъедет шофер, и вы будете ездить, как ваш главный редактор. У нас Воронцов, это самый ловкий летчик на свете, – а и он имеет только право вызова, и вся пятерка может лишь вызывать машину, а у вас будет персональный. Я так решил и так будет. Мог бы дать вам старую «Победу», а я дал «ЗИМ». Он тоже немножко старый, но ничего. Вы знаете, что такое «ЗИМ»? В главном штабе не каждый генерал ездит на «ЗИМе», а вам я дал. Если вы в газете, то вам надо ездить, а если вы еще и при Сталине – вам надо ездить на хорошей машине. Я так решил и кто мне чего скажет?…

Генерал только два или три раза взглянул на меня, – и я едва успел разглядеть темно-кирпичные, оплывшие жиром глаза, но потом он все время говорил и смотрел на стол, будто там лежала бумажка и он читал написанный текст. И неизвестно, сколько бы еще он говорил, если бы не зазвонил телефон и его куда-то не позвали. Уже на ходу он бросил:

– Вы будете иметь все. Да, да – все.

Я поднялся на третий этаж, где располагался мой кабинет. Проходил мимо комнаты золотой пятерки, зашел к ним. Воронцов в радостном порыве раскинул руки:

– Старик! Это же здорово, что мы снова с тобой вместе. Я как узнал от Войцеховского, что тебя к нам назначают, обнял его и чуть не поцеловал. Сказал, что ты есть мой учитель и пусть дает тебе новую форму. Ты же смотри, какой старенький у тебя китель.

– Но какой же я твой учитель?

– А кто меня учил, где надо ставить запятую, а где тире? А? Помнишь?… Я ему говорю, что ты мой учитель, а он таращит на меня рыжие глаза и спрашивает: «Но если у вас две золотые геройские звезды, то сколько же таких звезд у вашего учителя?» Я говорю: «Много».

На это я заметил:

– Не хотел бы оказаться объектом ваших розыгрышей. Дойдет до генерала…

– Генерала? Да он терпеть его не может и никогда не принимает. Я уже командующему доложил, что вместе с тобой учились и ты отлично летал на самолетах. Ну, ладно, ты нас

извини, мы уезжаем на Центральный аэродром. Готовимся к параду и много летаем. Кстати, там и генерал-лейтенант. Он командует парадом и будет вести над Красной площадью флагман.

В тот же день я поехал в штаб парада и доложил генералу о своем назначении. Беседа наша была короткой, он сказал, чтобы я зашел к нему позже.

Вместе мы пошли с ним на летное поле и тут встретили Воронцова. Мой товарищ, кивнув на меня, сказал:

– И у нас теперь есть собственный корреспондент. Я уж вам говорил: мы с ним вместе учились. Отличный парень и мой хороший друг.

Генерал внимательно выслушал аттестацию Воронцова и серьезно проговорил:

– Не нравится мне, что его кабинет рядом с вашей комнатой. Капитан, как мне доложили, не курит, не пьет, а вы его научите и тому и другому.

– Непременно научим! Какой же это мужик, если не пьет и не курит. А еще, если вы позволите, я сам провезу его на тренировочном самолете.

– Возражать не стану. Скажите Афонину, чтобы включил в график тренировочных полетов.

– Нас больше учили на штурманов.

– Тем лучше! Штурман и летчик – это же хорошо. Штурманская подготовка была моей слабостью; я всегда боялся заблудиться.

Я сказал, что мне очень понравился полковник Афонин и я рад, что он теперь служит в войсках нашего округа. На это Василий Иосифович с гордостью сказал:

– Афонин – лучший летчик истребительной авиации.

И, кивнув на Воронцова, съязвил:

– Он на новых самолетах на вертикальных виражах побивал и вашего друга. Так что и вы, если вас потренирует Афонин, утрете нос полковнику.

– Непременно утрет! – воскликнул Воронцов. – И я не буду обижаться. Зато будет смех на всю авиацию: журналист побил Воронцова.

Афонин теперь командовал одной из престижных истребительных дивизий и был представлен к званию генерал-майора. Такова была тактика Василия Сталина в подборе кадров: собирать в столичный округ лучших летчиков и командиров.

Генерал спросил:

– Как вы живете? Есть ли у вас квартира?

За меня ответил Воронцов:

– Какая квартира? Он с женой и маленькой дочкой мотается по чужим углам. Фронтовик! Кавалер многих орденов…

Генерал выслушал его, а мне сказал:

– Надеюсь, вы так же будете писать о нашем округе, как написали об афонинской дивизии. Желаю успеха!

Я уходил с аэродрома, унося самые лучшие впечатления от встречи с генералом.

Недели через две сообщили, что мне предоставлена комната в квартире, где жил адъютант маршала Тимошенко комбриг Амелин.

Я не сразу осознал реальность такой вести. Но Воронцов тряс меня за плечи, повторял:

– Комната в Москве! Своя собственная! Ты больше не будешь мыкаться по чужим квартирам.

Радость моя была так велика, что я не мог ничего сказать. Я в эту минуту боялся какой-нибудь ошибки: вдруг что-нибудь не так и комнату мне не дадут?

Но комнату дали. Не знаю, кому я обязан таким счастьем: генералу ли, или полковник Устинов выбил для меня жилье, но факт этот счастливейший состоялся. В тот же день ко мне вкатился генерал-майор Войцеховский, мягко опустился на диван и проговорил тихо, кося взгляд на дверь:

– Я что вам говорил? Что?… Я говорил вам, что вы будете иметь все. Когда к нам приехал Воронцов и эти его пять летчиков, которые умеют кувыркаться в небе… Когда они приехали, я им тоже дал квартиры, но только через полгода. Вам я дал генеральское сукно на шинель, дал машину, а вот теперь и жилье. И не где-нибудь, а на Можайском шоссе, в генеральском доме.

Войцеховский говорил еще с полчаса, а потом вдруг прервал свое красноречие, с трудом поднялся и показал мне спину. Медленно выходил из кабинета, а у самой двери повернулся, и я увидел, как сверкнули его глаза. Он с каким-то грудным присвистом проговорил:

– Я тоже начинал карьеру, но немножко не так скоро.

В редакции я поблагодарил полковника Устинова и сказал, что поеду на новую квартиру. Я был без машины, и он мне предложил свою. При этом сказал: «А то на радостях-то под трамвай попадете». На Красной Пресне, где мы снимали крохотную комнату и платили за нее четыреста рублей, трехлетняя дочка Светлана, игравшая с детьми во дворе, подбежала ко мне с криком:

– Папа, покатай нас!

Шофер раскрыл дверцу автомобиля и туда, словно горох, посыпалась детвора. Ее набилось так много, что кто-то уж

вскарабкался на спину водителя, и он, словно дед Мазай, повез их катать. Навстречу мне из дома вышла Надежда. Я смотрел ей в глаза и смеялся точно Иванушка-дурачок.

– Что с тобой? – испуганно спросила она.

– А как ты думаешь, что со мной?

Надя пожала плечами.

– Ну, не пугай меня, говори скорее.

Я не торопясь, как генерал Войцеховский, достал из кармана ключи и покачивал их перед носом Надежды.

– Ты нашел новую квартиру? Это было бы очень кстати. Мне изрядно тут надоело: кухня на двенадцать семей и всего лишь четыре газовых конфорки.

– Теперь в нашей квартире семей будет поменьше: всего лишь три.

– Только-то? Это же прекрасно! Но сколько стоит такая квартира?

– Семнадцать рублей в месяц.

– Ну, не дури. Скажи – сколько? И где она?

– На Можайском шоссе. По нему на свою Ближнюю Кунцевскую дачу ездит товарищ Сталин.

– Твой командующий?

– Нет, тот Сталин, большой.

– Ну, поедем же!

Светлана была в восторге от того, что мы все вместе ехали по Москве. Эта кроха быстрее всех оценила преимущество автомобиля, и не было для нее большего счастья, чем на нем кататься.

Я сгорал от желания показать Надежде ордер на нашу квартиру – первую в жизни собственную законную квартиру, ведь во Львове мы хотя и имели комнату, но ордера на нее не было. Здесь же, во-первых, не Львов, а Москва, а во-вторых – квартира наша.

Подъезжаем к дому, я останавливаю машину немного в стороне от подъезда, – кстати, с самого начала я усвоил для себя такое правило.

Открыли дверь и увидели странную картину: в коридоре стояла женщина в нарядном платье и длинным шестом колотила в потолок.

– Здравствуйте! Что это вы делаете?

– А там над нами живет такая скотина, я хочу его выкурить. Но кто вы такие? Кто вам дал ключи?…

Я сказал, что у меня ордер, и попросил ее показать нам свободную комнату.

– Тут две. Вот эту дали подполковнику Верхолетову, а та, –

она показала на дальнюю дверь, – будет ваша.

Перед нами была комната с большим окном, выходившим во двор, комната совершенно пустая, прибранная. В ней было около пятнадцати квадратных метров, но она казалась нам дворцовой залой.

Надя спросила:

– Ордер? У тебя на нее ордер?

– Да, родная. Хватит тебе мотаться по квартирам и дожидаться очереди у газовой плиты.

Надя ничего не сказала. Обошла комнату и вышла в коридор. Женщины с шестом уже не было, и мы осмотрели всю квартиру. Она была из тех прекрасных квартир, которые потом будут называть сталинскими. Просторные ванная и коридор, кухня, как хорошая комната, потолки три с половиной метра.

Надя переспросила:

– Тебе дали ордер? Насовсем?

– Вот чудачка! А как же еще дают ордера?

Она стояла у окна на кухне, и по щекам ее текли слезы. Это были слезы радости.

Часть Вторая

Глава первая

Вот уже год, как я работаю собственным корреспондентом при штабе округа. Перебираю записные книжки того времени. Едва различаю запись:

«Сколько готовились, сколько волновались. И вот он настал, день авиационного парада. Я стою на Центральном аэродроме возле вагончика, в котором оборудован узел связи. В воздухе раздается гул; вначале чуть слышный, но затем он становится все сильнее, и вот уже мы видим, как с северной стороны, точно журавли, появляются ряды и колонны самолетов. Идут стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. Головную машину ведет наш командующий генерал-лейтенант Сталин. Гул перерастает в сплошной раскат грома. Миллионы глаз устремились на крылатых защитников Родины. Сердца замирают от гордости за наш народ, за армию, сильнее которой нет в мире.

На трибуне мавзолея стоят руководители государства и среди них Сталин. Вот он видит, как флагман-ракетоносец, ведомый его сыном, проходит над Красной площадью, как вслед за ним, ряд за рядом, колонна за колонной, проплывают дальние бомбардировщики. За штурвалами этих грозных машин сидят летчики, разгромившие авиацию всей Европы».

И тут же стихи Пушкина:

Идут – их силе нет препоны,
Все рушат, все свергают в прах,
И тени бледные погибших чад Беллоны,
В воздушных съединясь полках…
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад, летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.

И приписка: «Боже мой! И это пишет четырнадцатилетний мальчик! Какая же сила духа – русского духа! – кипела у него под сердцем!…»

«Но вот пролетели ракетоносцы. В репродукторах раздался голос диктора:

– В небе реактивные истребители, знаменитая пятерка… Ее ведет воздушный ас, наводивший ужас на вражеских летчиков, дважды Герой Советского Союза полковник Воронцов.

В небе над южной окраиной столицы появилась пятерка истребителей. Они круто шли в высоту. Сверкавший на солнце серебристый клин. Плотно прижаты друг к другу. Идут как пришитые. Забирают все круче. Свечой вонзаются в небо. Следует

переворот на спину, летят вверх колесами. А строй так же плотен. И скорость, близкая к звуковой. Петля завершается, еще петля, еще… Я замер. Мне кажется, у меня остановилось сердце. Такая скорость! Такие вензеля! И ведь не один самолет, а пятерка. Интервалы, дистанции – во всем ювелирная точность. Я хотя и несостоявшийся летчик, но все-таки понимаю, какое искусство надо иметь для такого пилотажа.

Я счастлив, я горжусь своим другом, горжусь его пятеркой – и обладай я талантом Пушкина, я бы тоже сказал: "Идут, их силе нет препоны…"»

В тот же вечер я написал репортаж о воздушном параде. Помню, что в том месте, где я писал о мастерстве наших истребителей, я задыхался от волнения, и слезы подступали к горлу.

В предыдущей главе мы заметили, что в жизни человека случаются счастливые денечки, но нередко им на смену приходит полоса невезения. Откуда-то подует ветерок, и небо заволокут облака, а потом и тучи, которые покажутся вам беспросветными.

Я находился в Марфино, в офицерском доме отдыха, и там приятель сообщил мне ужасную весть: в Казани разбился самолет, на котором летела группа хоккеистов из команды нашего округа. В живых остался легендарный хоккеист и футболист того времени капитан команды Всеволод Бобров. Он опоздал к вылету. Все ребята были лучшими спортсменами страны, их пригласил в свою команду, пестовал и опекал Василий Сталин.

Офицер не знал наверняка, но от кого-то слышал, что есть доля вины в этой трагедии и Василия Сталина. Казань не принимала самолет, там была плохая видимость, но генерал вроде бы требовал, чтобы они летели.

Я резко возразил:

– Вот вы говорите «вроде бы», значит, не знаете наверняка, а зачем же муссировать эти слухи?

Он не стал со мной спорить.

В тот же день на отдых приехал майор Камбулов, наш специальный корреспондент, и подтвердил эти слухи. Рассказал некоторые подробности, которые циркулировали среди офицеров; будто генерала отговаривали от такого решения, но он был нетрезв и требовал от командиров гражданской авиации разрешить взлет и посадку. Те доложили министру обороны маршалу Василевскому, тот позвонил нашему командующему и тоже отговаривал его, и Василий Иосифович будто согласился с маршалом, но затем все-таки настоял на вылете. Аэропорт действительно был закрыт низко ползущими тучами, а самолет не был оборудован надежной системой слепой посадки, – летчики

сажали машину по интуиции. И, удивительное дело, правильно совершили «коробочку», зашли на полосу и точно снижались, но ребята, чувствуя неладное и зная, что при катастрофах безопаснее всего находиться в хвосте, стали покидать свои места. Этим они нарушили центровку, и самолет потерял управление.

Страшная история! Потрясены этим событием были спортсмены, больно отозвалось оно в сердцах авиаторов и, особенно, среди офицеров Московского штаба и округа.

Я уже знал, что вокруг сына Сталина возникает много досужей болтовни: и о его чрезмерном увлечении спиртным, и о женах, любовницах. Не скажу, что для таких суждений не было повода, но с большим огорчением убеждался, что эти разговоры часто возникали в разгоряченном сознании всяких недругов, – а их у него было достаточно; другой источник – шумные пьяные застолья людей, которые когда-либо были знакомы со Сталиным. Давая волю фантазии, щеголяя знанием деталей и подробностей, которых на самом деле никогда не существовало, они городили самые невероятные истории. Да, спиртным он злоупотреблял; я не однажды видел его, как говорят, на подпитии, но никогда он не терял над собою контроль. И когда мне говорят, что он посылал самолет в аэропорт, где была плохая видимость, я не верил тогда и не верю теперь в такое безответственное решение командующего. Камбулову сказал:

– Это не похоже на нашего генерала.

Дом отдыха располагался в красивейшем уголке Подмосковья вблизи деревни Марфино, которая в оные времена принадлежала графу Панину, воспитателю царей. Мы жили в его дворце, окруженном вековым парком и двумя живописными озерами. Догорал златоглавый сентябрь, и, как часто бывает в Подмосковье, время это было тихое, теплое, без единого облачка на небе. Природа слышала поступь зимы и словно бы задерживала летнее тепло, не желая с ним расставаться.

С утра мы шли на озеро, где была лодочная станция, бесплатно выдавали отдыхающим прекрасные одноместные и двухместные байдарки, изготовленные немцами в подарок летчикам округа.

Мы выбирали двухместную байдарку, а рядом с нами стайка юных девиц, по-моему, еще несовершеннолетних, – они тоже брали байдарки. Камбулов им сказал:

– А идите к нам, мы вас будем катать.

Бесцеремонность приятеля мне не понравилась. И я сказал:

– Девушки хотят сами сидеть на веслах…

Они нам не ответили, повернулись и пошли в дальний угол лодочной стоянки. Настроение мое было испорчено. Я вообще не

люблю приставать к девушкам, считаю это для себя унизительным, а для девушек оскорбительным, а тут… такая откровенная бестактность. Сказал об этом майору:

– Зачем надо вам было вязаться к девочкам?

А он ответил:

– А для чего же они здесь? Им для того и путевки дают, чтобы они развлекали нашего брата. А иначе, зачем бы и разрешал им тут отдыхать Вася Сталин!

Это циничное откровение меня поразило. Когда я получал путевку сюда у Войцеховского, он говорил:

– Вы поедете в такой Дом отдыха, которого нет нигде. Ну, может быть, в Иране у шаха есть такой дворец, или у Папы Римского, но больше – нигде. Там отдыхают офицеры нашего округа. Да! Только офицеры! А если жена или сын, или мать, теща – они поедут в Крым или в Сочи. У нас в Марфино – только офицеры. И только летный состав. Так хочет наш командующий. А если бы это был другой командующий, вы думаете, он бы имел у себя Марфино? Нет, ему бы никто не дал Марфино. Такой там дворец, и такую подают еду – это только у нас. Вот я вам и даю туда путевку.

Так говорил Войцеховский. А тут эти девочки. И я спросил:

– А разве они тут отдыхают?

– А что же они тут делают? Не в гости же к кому-нибудь приехали – сразу двадцать наяд.

– А почему двадцать?

– А это потому, что ваш командующий, большой любитель балета, приказал ежегодно за счет средств округа выделять сорок путевок для Хореографического училища. Двадцать в июле и двадцать в любое удобное для них время. Это даже странно, что ты работаешь в округе, а таких вещей не знаешь. Да об этом знают все военные в Москве. И не только в Москве.

И Камбулов засмеялся – дробно, как-то по-женски. Было что-то нечистое в этих его рассказах.

Вполне серьезно возразил ему:

– Я бы на месте командующего поступал бы точно так же. Стипендия у них мизерная – пусть отдыхают.

– И я бы… точно так же. А разве я против?

В редакции я относился к Камбулову с уважением. Он из казаков, хорошо писал очерки, было в его стиле что-то сродни шолоховскому. Я с удовольствием читал все, что он писал. И уж совсем он высоко поднялся в моих глазах, когда я узнал, что в Воениздате вышла его небольшая книжечка «Лопата – друг солдата». Тема, далекая от нашей, авиационной, но все равно ведь: книжка же!…

– То-то я вижу, что они совсем молодые.

– Из молодых, да ранние.

И опять дробно, противно хихикнул.

О балеринах мы больше не говорили. Но зато Камбулов снова стал рассказывать о разбившихся хоккеистах:

– Когда такая власть у человека, от него ожидай чего угодно.

– Ты это о ком?

– Ну, о ком же еще – о твоем командующем. Какую фамилию человек носит! Да он только скажет: «Генерал Сталин!» – и у каждого кишки от страха трясутся.

– Да уж, что и говорить: фамилия звучит. Но я, грешным делом, ни разу не слышал, чтобы он назвал свою фамилию.

– А часто ли ты с ним общаешься?

– Да, если признаться, совсем не часто. И даже, можно сказать, очень редко.

– Ну вот, так и скажи. Что мы знаем о жизни таких людей? Да ничего.

– А если ничего не знаем, так и говорить нечего. Негоже это для нашего офицерского звания чужие сплети разносить.

– Откуда ты взялся, моралист такой?

– Откуда и ты – из академии. Только ты с дипломом, а я еще не успел его защитить.

– Диплом нужен. Ты пока тут работаешь, вроде бы и ничего, никто его не спросит, а как вылетишь – скажут: «Диплом подавай».

Камбулов лет на пять постарше меня; он имеет много достоинств: хорошо и быстро пишет, всю войну на фронте был, в одесских катакомбах много месяцев отсидел – оттуда набеги на немцев делали. Впоследствии он военным писателем станет и первая его повесть была «Свет в катакомбах». Я и теперь помню, как высоко над нами подняла она имя Николая Ивановича. Он пригласил нас «обмыть первую книгу», мы сидели тесным кружком, журналисты, недавно начавшие свою карьеру в газете, и по-хорошему завидовали товарищу. Кто-то воскликнул:

– Николай! Подари нам книгу с автографом!

На что жена его, Марина Леонардовна, москвичка, успевшая уже родить Николаю трех сыновей, поднялась со своего места, вскинула над головой книгу, грозно прокричала:

– Каждому дарить книгу? Многого захотели! Книга – это великое богатство, ее надо написать. У Николая талант, он ее и написал, а вы пишите свои статьи и очерки.

Вино помрачило разум молодой женщины, и она в счастливом ослеплении не ведала, что говорила. Но мы ей простили такой удар по нашему самолюбию. Каждый из нас уже

тогда мечтал написать книгу, но мало кто верил, что у него это получится.

Но это произойдет год или два спустя. Сейчас же он успешно работал в газете, писал очерки и его печатали, – меня попросил, чтобы я устроил ему путевку в наш окружной Дом отдыха, и я это сделал. Здесь я увидел некую развязность, которая в редакции не проявлялась. Не сразу понял, что по утрам он, как заправский пьяница, один, без свидетелей, выпивает стакан или два вина или полстакана водки, а спиртное, как это часто бывает, снимает разум с тормозов, и он становится нескромным, и даже нагловатым. Выпей он еще больше – стал бы спорить, а то и лезть в драку. Я уже подумал: мне с ним неинтересно и искал повода от него освободиться.

Помог счастливый случай: в Дом отдыха приехал генерал Сталин и с ним Воронцов. Увидев меня, он воскликнул:

– Я знал, что ты здесь, и позвонил директору Дома отдыха, чтобы он поселил нас в одном большом номере. Не возражаешь?

– Я рад, но только вы же со Сталиным, а я…

– Со Сталиным?… Поселились мы в том же генеральском крыле, где и он живет, но подъезды у нас разные. Там у него в дверях охранник стоит, и не какой-нибудь, а…

Воронцов понизил голос – почти до шепота:

– Я так думаю, личный представитель Берии – в звании полковника, а то и генерала. Сын Микояна прошел с ним, а сунься мы с тобой… Ох, Иван, ты не знаешь этих людей. И никогда не узнаешь, потому как жизнь их закрыта и живут они не как все. Они и думают не как мы с тобой, и на нас смотрят, как на пожухлую осеннюю траву, которая уж никому не понадобится. Ты слышал, как его папаша в какой-то из речей своих подданных винтиками назвал. Государство живет, колеса крутятся, а мы с тобой – винтики. После войны из Германии и из многих других стран вернулись два с лишним миллиона человек – бывших пленных, а он, покуривая трубку, тихонько этак своему подручному Берии сказал: «Отправьте их в лагеря. Пусть они там поработают, раз воевать не хотели». А что этих ребят немцы десятками тысяч окружали, а наши генералы в плен сдавали – этого «гений всех времен и народов» в расчет не взял.

Воронцов проговорил свою тираду с какой-то глубокой внутренней тоской и болью. Я был изумлен и почти напуган его смелостью, мы такого о Сталине не только говорить, но и думать не смели, а он – говорит.

Принес подушку, одеяло и лег у меня на диване.

– Можно, я у тебя полежу?… Помнишь нашу комнату в училище? Мы с тобой на одной койке спали: я на первом этаже,

ты на втором.

– Неужели так с пленными обошлись?

– Так, Ваня. У меня брат из плена вернулся, его сразу же на границе – в товарный вагон и на Колыму. А жена его, как таскала плут во время войны, так и сейчас таскает.

Мысленно перенесусь я с того времени в день нынешний, когда я не по документам, не по рассказам, а по одним лишь своим воспоминаниям пишу эти строки. Я часто, почти каждый день, получаю письма от читателей моих книг, меня иной раз спрашивают: как я отношусь к Сталину? Почему не высказываю о нем своего мнения? Скажите же, наконец, что вы о нем думаете?

Да, о Сталине я молчу. Я не историк, не рылся в архивах и не изучал тему Сталина, а мнение субъективное, свое собственное, высказывать боюсь. Боюсь ошибиться, ввести в заблуждение своих читателей. А все дело в том, что Сталин, как целое, неделимое, не укладывается в моем сознании. С одной стороны, этот владыка расширил границы империи, принял Россию с сохой, а оставил детям и внукам с атомной бомбой. Сталин – полководец, одержавший победу в самой тяжелой из всех войн в истории. И он же после войны поднял уставший до предела народ на великую стройку и за пять лет восстановил все разрушенное за время войны – города, заводы, села. И уже через пять лет мы стали жить в относительном достатке и с достоинством, а потом и вырвались так далеко вперед, что покорили космос, создали надежный ядерный щит и возглавили поход человечества к прогрессу.

Все это было, но было и другое – и главное: русский народ потерял свою русскость, из народа превратился в население, которое уже в этом веке оказалось неспособным сдержать напор сатанинских сил и тихо полезло в хомут, сработанный за океаном.

Гигантская империя, созданная ценой стольких жертв и усилий, рухнула в одночасье, едва к ней прикоснулись руки трех пьяниц-инородцев.

Население не знает своего рода, не помнит подвигов и деяний отцов,– оно мало чем отличается от стада овец, где каждая особь видит хвост впереди идущей и толкается в стаде, бездумно перебирает ножками, не зная, не ведая и не желая знать, куда их ведут, зачем их ведут и где опустится над ними топор.

Русский народ за время правления еврея Бланка-Ленина, грузина Сталина, а затем еще и нескольких интеллектуальных пигмеев – и тоже нерусского происхождения, превратился из народа в население, и теперь нет уверенности: выживет ли?

Русские люди часто являли пример для других стран и

народов,– они за то прослыли богоносной православной нацией, но они же и показали всем народам пример того, что может случиться с ними, если правление над собой они будут доверять инородцам. Я иногда думаю: неужели народ Русский, как сын его Александр Матросов, не бросится на амбразуру дота ради спасения человечества?… Вначале он позволил убить в себе душу, а потом и положил на плаху голову.

Ну, а Сталин? Какова же тут роль Сталина?

Я незадолго до смерти Иосифа Виссарионовича, по заданию Василия, разыскал в Москве капитана Ужинского, который в немецком концлагере жил в одной комнате с Яковом, старшим сыном Сталина. И долго беседовал с ним, изучая все, что относилось к жизни Якова в плену. Так он мне сказал, как Яков, характеризуя отца, обмолвился: он больше всего боялся своих друзей, знавших его прошлое, – их он, одного за другим, расстрелял, а еще он боялся… русского народа. Видно, понимал нелепость такого исторического парадокса, когда грузин по воле иудеев-ленинцев воцарился на русском престоле. Заметим тут кстати, что и грузин-то он необычный. Биографы пишут, что он сын сапожника, но мог ли простолюдин-сапожник двенадцать лет обучать сына в духовной семинарии, а затем отправить его в Рим в годичную школу иезуитов – факт, упорно скрывавшийся от народа.

В самом деле, почему на японском престоле всегда был японец, в Китае – китаец, в Корее – кореец. И так всюду… А у нас? В прошлом веке были немцы, в нашем веке – еврей, грузин, потом пошли выходцы с Украины, потом опять еврей Андропов?… А потом уж, накануне катастрофы, воцарилось в Кремле меченое Чудовище. Этот и совсем без роду, без племени, без малейшего намека на национальность.

Почему?… Уж не потому ли, что русских лишить русскости могли только нерусские?…

Вот и судите теперь, мой дорогой читатель, почему я до сих пор ничего не говорю о Сталине. А если прибавить ко всему сказанному еще и то, как страдала и мучилась при Сталине наша многодетная семья, как она металась в поисках пропитания и как деревня моя многолюдная, песенная Слепцовка частью вымерла, а частью разбежалась по свету, и я сам, восьмилетний мальчонка, очутился в тридцать третьем голодном году на улице в Сталинграде и видел там трупы замерзших людей.

Много покосил тот голод славянского люда, одних только украинцев полегло шесть миллионов.

Нам могут сказать: не один только Сталин сидел в Кремле и управлял страной, он и сам был во вражеском окружении, но это

уж дело историков определить степень вины тех или иных политиков. Вполне возможно, что Сталин пытался освободить Кремль от чужебесов, но не сумел этого сделать. И это во многом его извиняет. Но и все равно: человека судят по делам, а не по его намерениям. Я же говорю о том, что было, что есть, чему я был свидетель.

Трудно, – ох, как трудно мне говорить о Сталине!…

Но вернусь в Дом отдыха Марфино. Тогда баловень судьбы и счастливец, одолевший в многочисленных схватках-дуэлях немецких асов, увенчанный множеством боевых орденов и двумя золотым звездами, и бронзовым памятником, который ему поставили в родном селе земляки, – этот необычайно яркий, сильный и красивый человек, разоткровенничался и говорил, говорил мне о том, что его волновало.

Было темно, к стеклам окон прислонилась синь поздней ночи, – невеселые то были рассказы Алехи Воронцова:

– У тебя сегодня плохое настроение. Что случилось?

– А ты не знаешь? У нас большое несчастье: ребята из хоккейной команды в Казани разбились.

– Я слышал.

– Слышал, а ничего не говоришь. Хитрец ты, Иван! Раньше за тобой такого не замечалось. Молчишь, ждешь, когда я тебе расскажу.

– Жду, конечно. Я-то слышал звон, а ты, надо думать, в курсе дела.

– И я мало чего знаю. Разбились и все. Ползут такие слухи, что наш генерал виноват, но слухи они и есть слухи. Мне-то он ничего не говорил.

Свет потушили, но спать не хотелось. Болит душа от сознания такой великой потери. Каждого хоккеиста мы знали в лицо, любили их, гордились победами своей команды. Я не могу вообразить такого: разбились! Разум отказывается верить. А душа болит так, что хочется плакать. Не на войне погибли, а в мирное, светлое, счастливое время.

– Слышь, Алексей! На войне тоже от потерь страдали, но будто бы не так рвалась душа. Я помню, как однажды на краю лужицы нашел немецкую листовку. Прочитал: «Иван! Мы идем освободить тебя от жидов, а ты идиот: лезешь за них под пули. Хоть бы подумал, какой ценой платишь: десять тысяч человек в сутки!… А сколько раненых?…»

Меня потрясла эта цифра. Я все время думал: сколько же мы потеряем за год, за два – за всю войну?…

– Теряли много. У нас в полку состав истребителей почти полностью заменялся за полгода. У Василия Сталина из прежнего

состава полка будто бы осталось несколько человек. И это летчиков! Ты ведь знаешь, как нелегко их подготовить. А за что воевали? Нас-то хоть понять можно: за семью, за Родину, – наконец, за свою честь и свободу, а они?… За чужие земли? Но Россию хоть бы и победили, но как владеть такой огромной территорией? В тайге и болотах попробуй, закрепись!…

За окнами открылось небо, и звезды весело мигали, будто радовались встрече с нами. И чудилось, они тоже хотели бы спуститься к нам и послушать нашу беседу.

Воронцов продолжал:

– Чем дальше от нас война, тем я чаще задумываюсь о ее смысле. За менее чем полстолетия нас во второй раз столкнули с немцами. И заметь: у нас и у них вожди-то пришлые, из инородцев. Гитлер, по слухам, австрийский полуеврей, и в нашем тоже будто бы смесь грузинской крови и еще какой-то. Одни говорят: осетин в нем сокрыт, другие Пржевальского ищут. А немцы полуеврея раскопали. Зовут-то Иосифом.

– Не может этого быть! – воскликнул я, противясь всем сердцем таким измышлениям. – Что он осетин – в это как-то еще можно поверить, а вот что полуеврей? Чушь какая-то!

– И я думаю: чушь, а вот Василий… Он когда выпьет сверх меры, в себя смотрит, точно глубокий старик перед смертью. Я тогда слышу, – я будто бы даже клетками своими ощущаю боль его души. В другой раз сверлит меня темным полубезумным взором, тихо проговорит: «Тебе хорошо – у тебя национальность есть, а я что такое? Кого любить я должен?… Вот ты русский, людей своих любишь, а я кто?… Залез бы ты хоть на час в мою шкуру…»

Мне в такие минуты страшно смотреть на него. Глаза-то его и без того неопределенный цвет имеют, а тут то мрак в них колодезный закопошится, а то желтые искры сверкнут. И не смотрит он в одну точку, а мечет взгляд то в одну сторону, то в другую. И дышит неровно, и кулаки до хруста в пальцах сжимает. Я ему однажды сказал:

– В Бога поверьте. Легче вам станет.

А он мне:

– В какого Бога? Вы это серьезно?…

И уж если много выпьет, он тогда обхватит меня рукой за шею, горячо шепчет в ухо:

– Дурачье только верит в интернациональность, нет в природе никакой интернациональности. Каждый ищет и тянется к своему родному человечку, чтоб похож был на него. Если, к примеру, твой земляк, тамбовский, то ему люб нос картошкой, и глаза синие, вот как у тебя. Но кого мне искать? Грузина?… Я

этих кацо не понимаю. Чужие они! Зовут меня в Тбилиси, а я не хочу. Но, может, во мне больше русского понамешано?… Русские мне ближе, у меня мать русская, и дед…

Он часто проговаривался о деде, но скажет: «дед» и дальше не идет. В другой раз примется говорить о природе Центральной Азии, какую-то породу лошади вспомнит. И опять молчок. Но мы-то знаем: Пржевальского поминает, внуком его себя чувствует. А однажды заплакал даже. Про себя тихо-тихо бормотал: кто же я такой? Ну, кто, вы мне скажите?…

Выходит, если кровь перемешана, то мутит это человека, мучается он всю жизнь. Не знает, кого ему любить, а без любви жить нельзя. Любовь она силу человеку дает и крепость земную. Если любит, так ему и легко, и весело – он даже и ходит иначе; его словно бы незримая сила по земле несет.

Воронцов замолкает, мы оба смотрим в потолок и думаем об одном и том же: кто наши предки, где мы родились и выросли.

Мы не говорим о своем генерале, но оба думаем о тех детях, которые родятся от смешанных браков. Я не знал этого явления, но уже в детстве слышал от взрослых, что жениться на мордовке из соседнего села – большой грех и что за всю историю нашей Слепцовки был всего лишь один случай, когда парень привел в дом мордовскую девушку. И когда у них родился мальчик Фотий с большой головой и слабенькими ножками, бабы говорили: их Бог наказал.

Воронцов словно подслушал мои мысли – с твердостью в голосе проговорил:

– Нет, надо жить по законам предков, хранить в чистоте свой род. Сторонних девиц наши предки боялись, потому как не знали их породы, характера и ничего не могли сказать о дедушках, бабушках и родителях.

И все-таки я возразил:

– Нет, Алексей. Я такую философию разделить не могу. Грибоедов взял замуж грузинскую красавицу Нину и был счастлив с ней.

– Грибоедов – да, он полюбил Нину и был с ней счастлив. Но назовут ли себя счастливцами их дети?

– У них, кажется, не было детей.

– Ну, вот – деток им Господь не дал. И правильно сделал. Бог любил и русского Александра, и грузинку Нину; он потому и не дал им детей.

Мне было странно слышать от Алексея: Бог, Господь… Во мне еще пылал жар пионерских костров и дух комсомольских собраний.

– Ты, я вижу, в Бога веришь? Много летаешь и, наверное, там

на небе с ним познакомился?

– Иван! Не богохульствуй! – прикрикнул Алексей. – Бога никто не видел, но он есть, и в этом я не сомневаюсь. Иначе, откуда все! Откуда вечные муки людей порочных, неправедных, и радость жизни людей хороших? Ты вот не веришь в Бога, но дел, противных ему, не сотворяешь – и живешь спокойно, в достатке, в согласии с женой и со всем миром. Бог любит таких, а если по своему неразумению ты в него не веришь, он тебе великодушно прощает и знает, что ты к нему придешь, как пришел я и от близости к Богу испытал безмерное счастье.

– Ты пришел к Богу, ты счастлив, – заговорил я серьезно. – Я тоже приду – слышу зов сердца, приду. Но скажи, как это ты служишь в авиации, летаешь на таких чудо-самолетах и в то же время в Бога поверил?

– А потому и поверил, что летаю на чудо-машинах. Я на фронте после каждого боя, в котором мне удавалось свалить на землю немецкого аса, невольно восклицал: «Слава Богу!» И когда я посбивал столько самолетов и остался жив, и даже не ранен, я проникся глубокой благодарностью ко Всевышнему и теперь вечно буду его славить.

– Но я ведь тоже бывал в переделках и тоже остался цел, а вот чтобы благодарить Бога – к этому разум меня не подвинул. Видно, слабоват он, мой разум.

– Наверное, слабоват. Но хорошо хоть, что сейчас задумался и, уверен, придешь к истине. Я тебе, Иван, желаю этого великого счастья – быть вместе с Богом.

– Хорошо, я буду много думать об этом. Но ты мне скажи, зачем Бог позволяет вражду между людьми? Почему же он не благословляет брак русского с еврейкой, узбека с чеченкой?…

– А это понять очень просто: Бог создал русских русскими, а евреев евреями, дал каждому народу свою внешность и свой характер, а чтобы они не смешивались, разделил языками. Ты же знаешь, что случилось в Вавилоне, когда строить Вавилонскую башню съехались многие народы. Они смешались и перестали понимать друг друга. Оттого случилась великая смута.

Далеко мы зашли в разговоре о смешанных браках, и чтобы не вынуждать своего друга говорить крамольные речи, больше его ни о чем не спрашивал.

К откровениям друга могу добавить следующее: два лобастых еврея – Маркс и Ленин – придумали для человечества капкан и в качестве приманки положили в него обещание рая земного. Русский народ, глупый и доверчивый, сунул в этот капкан не ногу, а голову. Поначалу-то было не больно, и даже приятно ощущать на шее предмет, изготовленный инородцами, но

постепенно хомут сжимался и русский человек стал замечать происходящие с ним гибельные перемены: женщины перестали рожать – народа становилось меньше; родившиеся дети не помнили, какого они роду-племени, они уже не знали и не хотели знать, чем славен русский человек – из него, точно пар, выходила душа. Десятки тысяч таких юношей и девушек могут выйти на стадион и, подражая бесноватому существу, изнемогающему в конвульсиях и корчах, прыгать и дергаться до помрачения.

Такие-то люди и отдали власть чужебесам; в городах и селах учинились невообразимые беды; на земле воцарился голод.

На горизонте третьего тысячелетия замаячил бунт, в котором прольются реки крови, а может, и взметнутся к небу грибы ядерных взрывов, возвещающие начало самоубийства народов.

Я пишу эти строки в дни, когда самоуничтожение народов уже началось – в Косово, на землях Югославии. Там албанцы режут сербов и цыган, а сербы, обороняясь, режут албанцев. И все из-за того, что когда-то великий интернационалист Иосип Броз Тито позвал албанцев в Косово – в места, где издревле проживали сербы, и сказал им: все люди братья, поселяйтесь в нашем доме и чувствуйте себя хозяевами. Не учел великий партизанский полководец одного обстоятельства: в сербской семье родятся два-три ребенка, а в албанской – восемь-двенадцать. И скоро Косово стало уже не сербским, а албанским. Вчерашние хозяева стали лишними, им предложили убираться. Возникло то самое Вавилонское столпотворение, в котором люди перестали понимать друг друга. Закипела свара.

Обыкновенно я с вечера быстро засыпал, но на этот раз сон ко мне не шел. Я слышал волнение своего товарища, тревогу его сердца, и мне передавались его смутные думы.

Решил кинуть другу якорь, успокоить его:

– Надеюсь, все обойдется, и очень скоро волнения улягутся. Нашего генерала никто не станет обвинять, если он в чем-то и виноват. Кто поднимет на него руку?

– Сталин никого не щадит. Во время войны Гитлер предложил ему поменять генерала, захваченного в плен под Курском, на его сына Якова. Сталин сказал: «Я генералов на солдат не меняю».

Воронцов замолкает, но ненадолго. Вдруг заговорил громче и тоном, в котором я слышал не одно только удивление, но и досаду, возмущение:

– Дочка его, Светлана, едва окончила школу, спуталась со старым жидом, режиссером Каплером. Ей восемнадцать, а ему – сорок. Каково?… Подобрался же, мерзавец, умыкнул дочку. Видно, рассчитывал, что смилуется грозный Владыка, простит им

и она народит внучат от Каплера. А, может, на женушку Сталина надеялся. Она-то ведь тоже еврейка, младшая сестра Кагановича. Но усатый рассвирепел!… Вначале их в Ростов сослал, а потом Каплера в лагеря упек. Шуток он таких не любит. Светлану вернул из Ростова.

– Жена у Сталина еврейка. Вот новость.

– Евреи облепили его. Ты смотришь на Ворошилова, думаешь – русак, а у него женушка еврейка; Калинин возле него крестьянской бородкой, как козел, трясет – и у него тож под бочком жидовочка калачиком свернулась, Андреев еще там, Андрей Андреевич, всеми важными кадрами в ЦК заведует: секретарей обкомов, министров подбирает… и у него жена еврейка, Сатюков на «Правде», Поспелов – секретарь ЦК по идеологии, Щербаков, комиссар армии, – и у них жены – дочки израилевы.

– Ну, ладно – жены, но сами-то они русские! Должны же и честь знать, не ставить на все посты одних евреев.

Воцаряется пауза. Кажется, мой собеседник мимо ушей пропустил мою реплику, но он, глубоко вздохнув, сказал:

– Хорошо тебе, Иван, веришь ты в справедливость и в человека, а мужик, если он женат на еврейке, то и сам хуже еврея становится. Он вокруг себя кроме еврея никого не видит, и нас с тобой, русаков, не слышит и слышать не желает. Такую силу ночные кукушки-иудейки имеют, колдовская в них энергия кроется. Еврейка Эсфирь обольстила персидского царя Ксеркса и вымолила у него согласие на истребление семидесяти пяти тысяч персов.

Нехорошо мне стало от такого рассказа. Я почти с отчаянием проговорил:

– Но есть же возле Сталина порядочные люди!

На что Воронцов с невозмутимым спокойствием сказал:

– Порядочные, может, и есть, русских нет.

– Как! – приподнял я голову с подушки.

– А так. Смотри сам. Микоян, Берия, четыре брата Кагановичи, и все на важных постах – они, может, русские?… Нет, Ваня, мы с тобой хотя и сломали хребет Гитлеру, но за спиной у нас, крепко вцепившись в холку, сидела власть иудейская. На нее недавно Сталин руку поднял, но ему по носу щелкнули, и он, не нанеся им урона, отступил. А я тебе скажу по секрету: неизвестно еще, что хуже – хомут немецкий или еврейский? Москва и Ленинград уже залезли в хомут еврейский, Киев тоже, и Минск там же; столицы оккупированы, очередь теперь за Россией. Вот такую я пропел тебе колыбельную песенку. Ты только начинаешь работать в газете, а если задержишься в ней – и не то еще

узнаешь.

Синь за окном поредела, на нашей стороне, на восточной, засветились первые весточки утренней зари.

– Спать! Спать! – приказал Воронцов, и мы оба замолчали. Но и после этого сон еще долго не приходил ко мне.

А когда мы проснулись, у нас в большой комнате хлопотала официантка. Заглянув к нам, тихо проговорила:

– У генерала ночью был сердечный приступ. Ему укол делали.

Новость неприятная и ничего хорошего нам не предвещала.

События развивались по какой-то нарастающей спирали: не успели опомниться после гибели спортсменов, как случилась другая, поразившая меня история: прихожу в редакцию, а кабинеты пустые. И в нашем отделе не вышли на работу Никитин, Домбровский, Серединский – все евреи. И во всех других отделах сидели одни русские. Впервые я своими глазами увидел пропорцию русских и евреев: из семидесяти человек, работавших в редакции, русских было человек тридцать.

Зашел к главному редактору; обрадовался – он сидел за своим огромным дубовым столом. Кивнул мне и склонился над гранками. Я спросил:

– Почему людей мало? Выходной что ли?

Устинов ответил просто, впрочем тихо:

– Евреи не вышли на работу.

– Почему?

– Не знаю.

Все мы слышали, что Сталин, затевая борьбу с космополитами, приказал в Сибири и на Дальнем Востоке построить лагеря для евреев, и я подумал: уж не туда ли их всех этой ночью?

Устинов сказал:

– Советую Вам не распространяться на эту тему. Будем ждать.

В конце работы в редакцию пришел лектор и говорил о вреде, который наносили нашему государству врачи-отравители, шпионы всех мастей. Сообщил, что евреи, работавшие в нашей редакции, переправили американцам списки всех командиров авиационных частей, и даже эскадрилий. Фамилий корреспондентов не называл, но мы все знали, кто ездил по частям, писал о летчиках.

Лекция оглушила. Молча расходились по комнатам. Говорить ни о чем не хотелось.

Следующий день решил провести дома. Кажется, первый раз в жизни не пошел на работу. Позвонил в секретариат редакции, спросил о судьбе трех моих очерков, которые лежали без движения. Мне сказали:

– Ставили на полосу, но редактор снял. Сказал, что Московского округа было много, надо теперь выпустить материалы из других округов и армий.

Задумался: еще один признак опалы. Командующего теснят. В частях работают комиссии, а газета будет расписывать доблести москвичей. Редактор действовал логично, не хотел распускать фейерверки в честь столичного округа.

Надежда ушла на работу, теща Анна Яковлевна со Светланой гуляла. На кухне тоже никого не было. Завтракать не стал, а заварил крепкого чая. Неожиданно в незакрытую дверь вошел Фридман. Он был бледен, темно-коричневые глаза широко распахнуты, длинные пальцы рук дрожали.

– Иван! Меня ищут! Если позвонят – не выдавай.

– Садись, будем чай пить. Кто там тебя ищет? – говорил я с нарочито напускным спокойствием. – Кому ты нужен?

– Нужен, нужен – ты ничего не знаешь. Нам всем позвонили ночью и сказали, чтобы мы не ходили на работу. Потом звонили утром и велели сидеть дома, ждать распоряжений. Ты слышишь: я должен ждать распоряжений. Каких? Зачем они нужны, распоряжения? Я что – лейтенант или полковник, чтобы ждать распоряжений. Я вольный человек, гражданский – хочу работаю в этом гадком «Сталинском соколе», а могу и показать ему спину. Нет, ты только подумай: звонят ночью и дают приказ. А потом придут и скажут: «Собирайся»! Я их не знаю? Да?… Они придут и скажут. А что ты сделаешь? Ну, скажи, Иван, что ты им сделаешь?…

Я поднял руку:

– Помолчи! Ты вот садись, я тебе сделаю бутерброд с черной икрой. Она теперь всегда есть в нашем магазине и стоит двенадцать рублей. И рыбу продают – живую. Она плавает в бассейне. Говорят, приказал Сталин, чтобы в Москве была живая рыба.

– Да, Сталин. Он если прикажет, то будут продавать. Теперь он приказал не ходить нам на работу. Ты можешь это себе представить: всем евреям приказал.

– Не было такого! Что ты выдумываешь?

Решил ему соврать:

– Вчера я был в округе, ходил по кабинетам. Все евреи сидят на своих местах. Рассказывают анекдоты и смеются. Ты же знаешь, твои соплеменники любят рассказывать анекдоты. Я, как попутай, сыпал и в свою речь его интонации. Замечу тут кстати: моя последующая жизнь будет протекать среди евреев – в журналистике и писательском мире – и я, видимо, рожденный с задатками артиста, так их копировал, что сбивал с толку: они

таращили на меня глаза и думали: не еврей ли я? А приятели из русских покачивали головой: ну, Иван! Ты говоришь так, будто сошел со страниц рассказов Шолом Алейхема. И лицо твое преображается: ты принимаешь их облик.

Мой собеседник не был похож на того Фридмана, которого я знал в редакции. Там он был, как ртуть: вечно куда-то бежал, кому-то звонил, и все рассказывал, рассказывал. Он всегда был весел, все знал и готов был ответить на любой вопрос. Здесь же он только спрашивал:

– О чем ты говоришь? Какие евреи в вашем округе? Там один еврей – Войцеховский, да и то его не пускают на третий этаж. Вася не может терпеть его рожи!

– Но зачем же он пригласил его на такую важную службу?

– А ты не знаешь?… Ты что, Иван! Как можно не знать таких простых вещей. Хорош бы был ваш командующий, если бы на снабжении у него сидел генерал с такой же физиономией, как у тебя. Кто бы и чего ему дал? Да приди ты на любую базу – там все дадут, если ты человек приличный.

– Приличный? А как они сразу и узнают – приличный я или неприличный?

– А морда? Куда ты денешь свою морду? Разве на базе там не имеют глаза и не видят, кто к ним пришел? Если морда как сковорода и на ней можно картошку жарить – значит, не их, не наш. Татарин ты и есть татарин.

– Какой же я татарин?

– Для нас вы все на одно лицо: татары! И если уж ты татарин – какая же тут приличность? И кто тебе чего даст?… Ты, Иван, вообще меня удивляешь: не можешь понимать простых вещей. Ты знаешь, что о тебе сказал ретушер Коган?… Он сказал, что это не ты пишешь очерки, которые хвалит редактор. Человек с такой мордой не может писать очерки. Ну, ладно, мы отвлеклись: ты мне скажи, есть ли в редакции наши? Что говорит редактор? Ты к нему заходишь запросто – скажи: что он говорит? Я сейчас детей отправил к дяде в Мытищи – у него русская жена, его не возьмут, моя жена уехала в другой город к подруге, а я бегаю, как заяц, по друзьям – и тоже захожу только к русским, как вот теперь зашел к тебе. Скажи: что происходит? Почему нам так приказали – не ходить на работу?… Я знаю, что ты знаешь!…

Зазвонил телефон. Трубка не сразу, хриплым, недовольным голосом проговорила:

– Дроздов?… Это я, ваш генерал, узнаете?…

– Василий Иосифович?

– Он самый. Есть просьба: купите бутылку хорошего коньяка, немного конфет – несите в академию Фрунзе. Шестой этаж,

аудитория двадцать семь.

– Звонил Вася Сталин? – поднялся из-за стола Фридман. – Ого! Это не шутка!…

– Извини, я должен ехать.

– Давай, давай… В случае чего, мы его попросим. Ему слово стоит сказать!…

Через минуту мы уже были на улице. Я сказал Фридману:

– Лови такси, а я зайду в магазин.

Купил две бутылки коньяка – самого лучшего, юбилейного, батон, баночку икры, краковской колбасы, сыра, шоколадных конфет, все уложил в портфель и – на улицу. Здесь уже стоял Фридман с такси.

– Я с тобой?

– Да зачем?

– Старик! Мало ли что надо будет? Такси сторожить или еще чего…

Я понял: он должен где-нибудь быть, лишь бы не дома.

По дороге он горячо дышал мне в ухо:

– Спроси, что с нами будет. Что тебе стоит – спроси. Я тебя от имени всех наших прошу. Тебе зачтется. Не раз еще спасибо скажешь, что сделал это для нас.

Попросил его держать такси – хоть час, хоть два, и пошел в академию. Двадцать седьмая аудитория была закрыта – я постучался. Дверь открыл полковник Микоян. Генерал сидел за преподавательским столом и смотрел на меня так, будто я ученик и иду к нему отвечать урок. Я доложил:

– Товарищ генерал-лейтенант!… Ваше приказание выполнил!

Он махнул рукой:

– Ну, какое же это приказание. Я вас просил…

Я доставал из портфеля свои припасы. А когда все выложил, отступил назад и с минуту ждал нового приказания. Сталин спросил:

– В штаб не приехал маршал Красовский? Он должен инспектировать нас.

– Нет, товарищ генерал.

– Ну, приедет.

Микоян добавил:

– Старик с еврейской фамилией – он такой же летчик, как я врач-гинеколог.

Я сказал:

– Вчера у нас в редакции все евреи не пришли на работу.

Сталин после некоторой паузы, не поднимая на меня глаз, спросил:

– Много у вас в редакции евреев?

– Всего у нас сотрудников семьдесят человек, сорок из них – евреи.

Микоян засмеялся, сказал:

– Сорок?… А скоро будет из семидесяти семьдесят один. А вам они предложат должность вахтера.

Генерал улыбнулся:

– Если еще предложат.

И после некоторой паузы строго спросил:

– А чего это ты судьбой евреев озабочен? Можешь не беспокоиться: они уже вернулись на работу. И перед ними извинились. Не так-то просто сковырнуть эту братию. Не раз уж пытались.

Микоян разлил вино. Сталин, поднимая рюмку и взглянув на меня, проговорил:

– Вам не предлагаю. Вы, как мне доложили, не пьете и правильно делаете.

И глухим мрачным голосом добавил:

– Если хочешь быть человеком, в руки не бери эту гадость. Ну, ладно – спасибо вам. Вы свободны.

Выходя из академии, думал: «Не пью, конечно, но не настолько же, чтобы не выпить с генералом Сталиным. Моего же собственного коньяка пожалели. Но, скорее всего, не захотели принять в кампанию. Рылом не вышел».

И это «рылом не вышел» осталось под сердцем надолго. Впервые мне показали место, почти открытым текстом сказали, что лакеем я быть могу, а вот за стол с хорошими людьми не садись. Нет тут для тебя места. И хотя я человек не злой, многое способен прощать людям, но на этот раз обида меня поразила сильно. Ведь я с ними был примерно одного возраста и так же, как они, воевал, и, может быть, воевал не хуже их, а вот за красный стол не посадили. Обошлись как со слугой.

И чем больше я об этом думал, тем сильнее разгоралась в моем сердце обида. Ну, ладно, сын Сталина, но выказывать так открыто пренебрежение?…

Это была минута, когда мое хорошее отношение к сыну Сталина пошатнулось. Много лет прошло с тех пор, а этот будто бы и незначительный эпизод не могу я забыть и не могу простить даже Сталину.

Я и раньше замечал эту черту в русском человеке: многое он может простить, и даже нанесенная ему боль физическая со временем забывается, но не забудет и не простит он обиды и унижения. Во времена дуэлей пощечину мерзавцу или обидчику стремились нанести публично – только в этом случае она приобретала значение несмываемого унижения, и только в этом

случае дуэль считалась неизбежной. В моих отношениях с генералом не было никакого дружества и взаимной доверительности; он меня просто не знал и не желал знать. И это воспринималось мною как логически оправданная ситуация. Слишком большая дистанция была между нашим общественным положением: Командующий округом и рядовой сотрудник газеты. К этому прибавлялся ореол Принца, сына Владыки. Я, правда, подозревал великую несправедливость в том, что он, человек совсем молодой, – всего на два-три года постарше меня, – и такое имеет звание, такую должность. Но зависти никакой я не испытывал: такова судьба у человека, – не виноват же он, что родился сыном Сталина. И что он не видел меня, не замечал, не подавал руки – тоже не обидно. Каждый кулик должен знать свое болото! Но вот когда при мне разливают вино и меня не принимают в расчет, и даже не предложили сесть – тут я вдруг почувствовал себя униженным. Кровь бросилась в лицо, обида вздыбила неприязнь, – я готов был повернуться и, хлопнув дверью, выйти из комнаты. Но – сдержался. Закончил затеянный мною же разговор и, получив разрешение, вышел.

Обида осталась. Но она же взвихрила и мои мысли, заставила еще и еще раз подумать: а кто я есть? Чего достиг в жизни? За какие шиши требую к себе почтения?… Газетчик?… Рядовой журналист?… Бегаю по частям, вынюхиваю новости, а потом пишу репортажи, – ну, иногда очерки… И так же буду бегать в тридцать, сорок лет, а может, и до седин проторчу в шкуре журналиста?…

Это был момент моей жизни, когда я задумался о своем будущем, о месте в нашем обществе журналиста и о том, стоит ли мне посвятить этому всю свою жизнь. О писательстве я думал еще во Львове, увидев в журнале, а потом и в газетах свои первые рассказы. Затем в Вологде во время Всесоюзного совещания молодых литераторов редакция газеты «Красный Север» напечатала мой рассказ «Конюх», – правда, дала ему ужасное название «Радость труда», – я уже тогда, воодушевленный успехом, отправился в леспромхоз и собрал там материал для «Лесной повести», но консультант «Нового мира» не нашел в ней ничего интересного и тем надолго охладил мой пыл. Теперь я вновь стал думать о писательстве. И думал так: если не писатель – так значит никто. Журналистика не может стать делом жизни для серьезного человека.

Больше стал читать, особенно интересовала эпистолярная литература, дневники, биографии. Чехов работал в газете, писал для нее свои прекрасные короткие рассказы, но братья-газетчики упорно не видели в нем серьезного литератора. В каком-то из

писем он горько сетовал, что в Москве у него наберется сотня знакомых газетчиков и ни один из них слова хорошего не сказал о его рассказах. Потом Горький… Тоже работал в «Нижегородском листке». И писал остроумные заметки, информации, мини-фельетоны. Когда в Нижний приехала цирковая труппа лилипутов, он написал: «Обыватели изумились, увидя, что на свете есть люди мельче их». Или он увидел, как в зоопарке пьяные дяди острием железного прута кололи для потехи обезьянку. Горький, стоявший рядом, сказал: «Прости им, животное. Со временем они станут лучше».

Горький, Чехов, Диккенс, Джек Лондон работали в газетах… Но многие ли из газетчиков выходят в писатели?… В «Сталинском соколе» есть журналисты-зубры, полковники, специальные корреспонденты. Они пишут очерки, но что это за очерки, если их трудно дочитать до конца, там нет ни картин природы, ни ярких, запоминающихся находок. О деталях и говорить нечего – их и с лупой не найдешь. А ведь способность подметить и ярко выразить деталь Толстой называл чертой одаренности литератора. «Гениальность – в деталях», – говорил он. Выделяется из очеркистов Михалков. У него есть две-три удачные басни, но очерков он не пишет или пишет редко. Есть поэма для детей «Дядя Степа», ее расхвалили критики, ее издают и переиздают, но я прочитал ее внимательно и ничего не нашел в ней остроумного. Уродливо долговязый милиционер всем стремится на помощь… Ни сюжета, ни композиции, и стертый, как старая подошва, язык…

Забегая вперед скажу, что, работая в издательстве «Современник», я узнал об органической близости Михалкова к той среде критиков, о которой Маяковский сказал: «Они все – коганы». И мне стало ясно, почему этот литератор, подпадавший под характеристику Шолохова «А король-то голый», так превозносится литературной бандой Чаковского, так щедро увенчан всеми мыслимыми и немыслимыми званиями и наградами – и Герой труда, многократный лауреат, и академик Академии педагогических наук… Наконец, чуть ли не в молодости вознесенный на пост Главы российских писателей, на котором и пробыл до глубокой старости…

Если бы мне нужно было сравнить кого-то с Растиньяком, я бы лучшей кандидатуры, чем Михалков, в цеху своем литераторском не нашел.

Скажут: Дроздов ругается. Видно, здорово насолил ему Серега Михалков.

Нет, мне лично ничего плохого он не сделал. Но мы должны знать, что за люди ходили в «героях» у нас в двадцатом столетии,

кто их сажал на командные высоты, как они «подпиливали» фундамент Российской империи. Сговор в Беловежской пуще – это лишь заключительный акт трагедии Российской империи, три инородца лишь подписали зловещую бумагу о развале самого могучего в мире государства, не сделай этого они, так сделали бы другие, – Русского государства к тому времени уже не было, оно представляло собой трухлявый пень, изъеденный Михалковыми да чаковскими, бандой лжеученых вроде Шаталина и Арбатова, Примакова и Аганбегяна, миллионной ратью журналистов и писателей-иудеев, алчной армией молодцов из русских, которых назвали шариковыми или шабес-гоями… Все они за деньги и лауреатские медальки все семьдесят лет точили и подпиливали Русского исполина, а в Беловежской пуще его лишь толкнули – и он упал. И лежит почти бездыханный до нынешних дней. Некому его поднять. Нет Русского народа, а есть бездуховный сброд, ведомый в бездну Киркоровым и Пугачихой.

Слышу вопрос читателя: поднимется ли поверженный Илья Муромец?

Об этом мы еще с тобой, дорогой читатель, будем говорить.

У людей таких, как Михалков, а их, к сожалению, было много, за спиной маячили зловещие тени главных разрушителей – лжебогов, которым русский народ молился в двадцатом столетии: Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина.

Близится день, когда все предатели и мучители русского народа будут названы поименно. Велик будет этот список, велико будет к ним презрение.

Однако вернемся ко дням и часам моей молодой жизни. Она, жизнь, скучной и однообразной не бывает, все время преподносит сюрпризы. В те дни я подолгу оставался дома, лишь на час-другой ездил на работу – в штаб или редакцию.

Пятого марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. А не прошло и месяца, – кажется, в начале апреля, – Хрущев освободил от должности и его сына – Василия Сталина.

Я позвонил в гараж, попросил прислать машину. Диспетчер замялась.

– Ваша машина в ремонте.

И положила трубку. Я понял: началась опала. Кто-то распускал слухи о том, что Василия будут судить и уже началось следствие, назывались имена его ближайшего окружения, с кем он «кутил» и «безобразничал». Называлась и моя фамилия. Подумал о Войцеховском: он теперь многих завяжет одной веревочкой. Воронцов тоже попадет в «близкие». Впрочем, Воронцов – фигура, им гордится вся авиация. Он дважды Герой!…

В редакции меня никто не ждал. Добровский прошел мимо и взглянул как на белую стену, даже не ответил на мое приветствие, Никитин едва кивнул, а Деревнин с Кудрявцевым подняли на меня голову. В их глазах я прочел: «Ну, что вы там натворили? Скоро и тебя заметут?…» Но ничего не сказали.

За моим столом сидел подполковник Серединский: длинный и худой еврей, едва державший на тонкой шее неестественно большую голову. Он в газете никогда не работал и над статьей, которую ему давал Соболев, сидел по несколько дней, показывал Фридману, Игнатьеву и другим евреям, советовался, как ее поправить и надо ли сокращать. Я спросил у Макарова:

– Зачем же вы таких берете?

Он развел руки и сказал:

– Я беру? Скажи лучше, как его не взять? И как Устинов мог его не взять. Из канцелярии Андреева звонили!

В то время я еще не знал, как вездесущ и могуч институт жен важных государственных мужей, как они умеют «пробить» своего человечка на любое место. Потом, в середине семидесятых, я напишу роман о металлургах «Горячая верста», и там, как бы между прочим, покажу так называемый институт жен-евреек. Это было время правления Брежнева, интеллектуальная элита знала о делишках супруги генсека,– можно себе представить, как встретила «семейка» этот мой роман и что я ожидал от коганов. Но критика предусмотрительно его замолчала. И только бешеная «Комсомолка» пальнула по роману разносной статьей, – на том коганы и успокоились. В это время уже умный проницательный читатель ждал и искал книги, которые не нравились официальной критике. Набирал оборот спасительный механизм: «Ах, вам не нравится! Значит, тут что-то есть». Или по русской пословице: «Трясут только ту яблоню, на которой есть плоды». Я мог радоваться: меня трясли.

Серединский служил в каком-то заштатном городе интендантом, к нему привязалась лейкемия, болезнь крови, понадобилось серьезное лечение, частые переливания крови, его перевели в Москву, устроили в редакцию. Я пришел как раз в тот момент, когда у него начинался приступ. Лицо побледнело, глаза лихорадочно блестели, в них отражался страх смерти.

– Знобит, – сказал он, обращаясь ко всем сразу. – Будет трясти как в лихорадке, пока не сделают переливание.

Я сидел у окна рядом с ним.

– Вызвать скорую помощь? – спросил я.

– Нет, пусть меня отвезут домой на редакционной машине. Ко мне ходит врач на квартиру.

Я вызвал машину и проводил его к ней. Возвращаясь в

редакцию, зашел к Панне, сделал знак: дескать, пойдем в ресторан. Она встала и, ничего не сказав Игнатьеву, пошла со мной.

– Ну, рассказывай, что там у вас происходит? – заговорила Панна.

– Я давно не был в штабе. Но, может быть, ты знаешь, за что Хрущев отстранил от должности нашего командующего?

– Он еще в день смерти отца начал рыть себе яму. Был все время пьяный и громко кричал: «Не своей смертью умер мой отец. Делайте экспертизу». А тут стоят Берия, Каганович – каково им слышать?… Ну, и начали теснить. Я так думаю. А теперь жди, подсыпят чего-нибудь. Сталина-то тоже ведь… Он будто бы в минуты просветления сознания коченеющей рукой показывал на лежавшее на столе надкушенное яблоко и что-то пытался сказать.

И, немного помолчав:

– Ты с Васей в кутежах не участвовал? Теперь, я думаю, друзей его куда-нибудь подальше расшвыряют.

– Генерал дружит с сыном Микояна, все другие, которых я возле него видел, – заместители да референты, все они боевые летчики, достойные люди. Почему говорят о каком-то окружении, будто это шайка жуликов? Я этого не понимаю.

– Ты, Иван, недавно живешь в Москве, в тебе много идеализма. До мест, где ты служил, наверное, не доходили слухи о бесчинствах Берии, об арестах, расстрелах… Они не в одном только тридцать седьмом году были. Ночные визитеры и сейчас являются в квартиры многих людей, и чаще всего русских, патриотов. Берут одного, а вместе с ним и близких, так называемое окружение. Недавно вдруг исчезает достойнейший человек, председатель Госплана Вознесенский. Академик, теоретик-экономист… А еще раньше – Ленинградское дело.

– Да, у нас в академии на Высших курсах учился генерал-лейтенант Кузнецов – его, можно сказать, у меня на глазах забрали.

– Многих замели по Ленинградскому делу. Люди самые достойные. Все это и порождает страхи, подозрения. Но тебе, Иван, беспокоиться нечего. Ты еще не поднялся на ту ступень, где идет мясорубка. Ты мне поверь – мой супруг в верхах обретается, у него собачье чутье, он знает.

– Ну, Панна, нагнала страху. Лучше бы сидеть мне во Львове в маленькой газетенке «На боевом посту» и не лезть сюда к вам в столицу.

– Ну, ну – запел песню труса. Не думала, что сидит в тебе пескарь-обыватель. Но если не ты, не мы с тобой, кто же мать-Россию защитит?… Над ее головой не успела одна война

прошуметь, как тотчас же началась другая. И поверь мне, Иван, эта новая война только началась, долгая и страшная, потому как противник-то у нас похитрее немецких фашистов будет. У него тысячелетний опыт покорения народов. И лезет он не с автоматом, не с пушкой, а со сладенькой улыбочкой. И окопы свои роет не в поле, а в министерских кабинетах, в Кремле, в обкомах и редакциях.

– Верно ты говоришь, Панна. Наш генерал приказал выписать мне пропуск в ЦК – не на тот этаж, где секретари сидят, а туда, где инструктора. Так я иду по коридору и читаю вывески, а на них пестрят имена: Коган, Лившиц, Осмаловский, Ливеровский…

– Вот, вот. Это их окопы. Придет момент, и они объявят народу: власть переменилась, банки в частные руки, заводы хозяину. А на трон взгромоздится их Продиктор – представитель Мирового правительства.

– Да откуда ты все это знаешь? – воскликнул я.

Панна улыбнулась и ничего не ответила. А я подумал: вот что значит быть женой главного редактора главного журнала страны.

– Ладно, Панна – скажи: не заметут меня вместе с окружением?

– Пока на свободе Василий, вам нечего бояться. А уж потом… как посмотрят на дело. Но ты работник редакции, в кутежах с Василием не замечен, тебе нечего бояться.

На том мы закончили этот неприятный разговор. Панна, как всегда, меня успокоила. Пока на свободе Василий… Мне казалось, он и всегда будет на свободе. И слава Богу!

Мы ждали нового командующего. Уже было известно, что им будет маршал авиации Степан Акимович Красовский – человек, с которым судьба-капризница повяжет меня потуже, чем с молодым Сталиным, – и об этом я буду еще говорить, а теперь я почти каждый день заходил к воронцовской пятерке и слушал рассказы о Красовском, который еще продолжал командовать авиацией Прикарпатского военного округа и не торопился к нам в столицу. Он во время войны командовал Второй воздушной армией, был советником по авиации у Сталина, большого Сталина, конечно. Говорили, что он никакой не летчик, а лишь в Гражданскую войну, будучи малограмотным пареньком из белорусской деревни, поднимался в воздух на французских самолетах того времени «Фарманах» или «Ньюпорах», сидел возле летчика с мешком на коленях и бросал на окопы вражеских солдат заостренные на концах короткие куски проволоки, похожие на стрелы, и эти стерженечки, визжа и кувыркаясь, набирая скорость, дождем сыпались на землю и, если попадали в голову или в плечо жертвы, пронзали человека насквозь. Не ахти какое оружие, а для

солдата не менее страшное, чем нынешняя ракета или атомная бомба.

Другого опыта летной работы этот маршал авиации не имел, но у Сталина пользовался большим доверием.

Послушав эти страшные, и не очень страшные, а по большей части забавные рассказы, я на часок заходил в редакцию – тут продолжали лежать без движения мои очерки, и новых от меня никто не ждал, я отправлялся домой, и тут, к великой радости бурно подраставшей дочурки, шел с ней гулять, а то и в кино, детский театр, Уголок Дурова… И каждый раз мы с ней заходили к нашей маме, которая работала в аптеке кассиром, что была неподалеку от нашего дома. Работы у Надежды было немного, и она могла с нами поболтать.

Однажды после обеда я уложил Светлану спать, а сам подсел к телевизору, но тут меня отвлек телефонный звонок. Говорила незнакомая женщина:

– Это ваша жена работает в аптеке кассиром? – спросила она тоном, не предвещавшим ничего хорошего.

– Да, это так, а в чем дело?

– Дело тут скверное, можно даже сказать отвратительное: она спуталась с директором аптеки.

Я спросил весело – почти с радостью:

– А он молодой, этот директор?

Наступила пауза, – впрочем, небольшая. В голосе моей незнакомки послышался металл:

– При чем тут возраст – молодой или старый?… Мужик как мужик.

– Ну, нет, извините – мужики бывают разные. Если директор молодой и красивый – одно дело, а если он старый козел – другое.

– Странно вы рассуждаете! Ну, положим молодой, и не безобразный…

– Молодой – это хорошо, – отвечаю я уже почти с восторгом. – Если моя жена нравится молодым, да еще не безобразным, как вы изволили сказать, это разве плохо? Значит, она интересная, я не ошибся в выборе подруги…

– Хороша подруга, если треплется!

– Подождите, подождите – что значит треплется? Вы же сама женщина, и судя по звонкому приятному голосу – молодая и даже, наверное, красивая. Вы лучше скажите: не треплются, а любят друг друга, приглянулись один другому, понравились. А вы должны знать по опыту: если вам понравился мужчина, вы, как я понимаю, тоже не отбежите в сторону.

– Послушайте, хватит скоморошничать! Вы что – чокнутый

или от рождения идиот? Я вам говорю: спуталась!… Вы русские слова понимаете?

– Ну, положим, я вас понял. Что я должен делать?

– Как что?… Пресечь это безобразие!…

– Вот теперь все ясно. Но я пресекать ничего не стану, потому как это никакое не безобразие, а любовь. А со своим советом вы обратитесь к его жене. Вот она вам поможет.

На этом месте моя собеседница бросила трубку.

Вечером я подступился к своей супруге с щекотливым разговором:

– Кто у вас директор аптеки?

– А-а… Лысый башмак! Ко всем девчонкам нашим пристает. И ко мне тоже. А жена его смотрит на нас как фурия и злится. Наверное, придется уходить.

– Да, работа твоя мне не очень нравится. Я давно хотел просить тебя оставить ее. Ну, что нам твои шестьсот рублей, если я за очерк получаю в два раза больше? Прошли времена, когда нам было трудно.

– Но я вижу, и у тебя начались какие-то затруднения.

– С чего ты взяла? У меня все нормально. Ну, сняли командующего. Я от него далеко и в штате состою редакционном. Нет, у меня все нормально.

– Сдается мне, что ты меня успокаиваешь. Я ведь не слепая и вижу, когда у тебя вдруг плохое настроение. Слышу сердцем, что не все и не всегда у тебя ладится на работе. Вот и теперь какая-то полоса началась, ты и спать стал хуже, что-то во сне говоришь. Раньше газеты приносил с твоими очерками – я читала их и вместе с тобой радовалась. А теперь вроде бы и печатать тебя перестали. Уж не рассердился ли на тебя редактор? Заметила и другое я: машина по утрам к тебе не подходит, ты вроде бы, как и мы – под дугой ездишь, только без колокольчиков. А?… Поделись со мной, открой душу.

– Ты, Надежда, мудрая стала, как-то вдруг повзрослела. Столица, что ли, на тебя так действует. Настроение – да, конечно, разное бывает. Жизнь она полосами идет: нынче светлая полоса, завтра чуть темнее. Машину мне генерал давал, а сегодня его нет, отстранили от дела. Да ведь без машины-то жили мы с тобой, и теперь не пропадем. Я и вообще думаю, что машины персональные нашим чиновникам зря дают. Больно уж дорогое это удовольствие. А к тому же от людей отдаляет, червячок какой-то фанаберистый в тебе заводится. Везут тебя по улице, а ты будто свысока на людей посматриваешь: вы вот, дескать, пешочком шлепаете, а меня на машине везут. Кто-то мне говорил, что машин персональных в нашем государстве миллион

насчитывается, а водителей и того больше, Иной-то начальник двух шоферов имеет. На громадном заводе Магнитке пятьдесят тысяч рабочих трудится, а тут – миллион! Сколько же таких Магниток! Ну, вот, – а ты говоришь, машина. На фронте у меня мотоцикл был – я там батареей командовал, а тут что я за птица?…

Но Надежда от меня не отступалась:

– Слышала я, Василий Сталин под следствием. За что это его?

– В народе говорят: был бы человек, а статья найдется. Следователь ему растраты клеит – будто бы одиннадцать миллионов рублей в карман положил, но мы-то знаем, что копейки народной он на себя не тратил. Я ему коньяк из своих кровных покупал. А еще будто и пятьдесят восьмую статью пришили – это антисоветская пропаганда. Сын-то Сталина против советской власти агитировал? Чушь собачья! Но ты об этом не распространяйся – меня подведешь. Каждый скажет, от меня такая информация идет.

– Что ты – господь с тобой! Не враг же я себе, чтобы болтать об этом. И тебя прошу: молчи ты больше. Я и так боюсь, что не оставят тебя в покое. Будут вызывать, спрашивать – о чем шли разговоры, да что видел.

Долго мы этак говорили с Надеждой, я насилу успокоил ее, сказал, что ни о чем меня не спрашивали, да и не знаю я ничего. Надя с тревогой спросила:

– Квартиру у нас не отберут?

– Вот еще что надумала! На квартиру ордер дали, навсегда она. Живи спокойно.

Квартира в Москве – это, конечно, богатство. Да и не квартира, а комната небольшая, а все равно – называли квартирой.

Настрадалась без собственного угла моя Надежда – квартира для нее казалась счастьем неземным, почти фантастикой.

– Ну, хорошо. Тогда я уйду с работы и буду заниматься со Светланой. Скоро она пойдет в школу, и ее надо готовить.

Это был разговор-предчувствие.

Именно в эти дни ломалась вся моя судьба, заканчивался мирный период жизни, начиналось время сплошных постоянных тревог и даже катаклизмов. Этот момент своей жизни я бы сравнил с состоянием, погоды: ясные солнечные дни радовали своей благодатью, но вот на горизонте появились тучки – сначала небольшие, и не очень темные, но на глазах они разрастались, темнели; подул ветер, порывы его становились чаще, сильнее – и вот уже заволокло все небо, началось ненастье.

Уже на второй день после нашего разговора нам объявили:

газету нашу закрывают. Никаких оснований для этого не было – закрывают и все. Очевидно, новому хозяину Кремля не нравилось название газеты «Сталинский сокол». Да, это было так: толстый шарообразный человек чувствовал себя неловко в лучах солнцеподобного имени. Он был неприятен и даже смешон. Нужен был грандиозный скандал, на обломках которого он мог бы подняться и заявить о себе. И он начал подбираться к имени Сталина, подтачивать и крушить все, что напоминало людям вчерашнего Владыку. Имя Сталина выветривалось.

Семьдесят человек вдруг остались без работы. Я пошел в штаб округа. На столе у меня лежала записка: «Позвоните Войцеховскому». На мой звонок ответил полковник Шлихман:

– Пожалуйста, сдайте ключи от кабинета и сейфа. Вам будет предоставлено другое место.

– Я бы хотел поговорить с генералом Войцеховским.

– Генерал переведен в Главный штаб, он получил повышение. Вы разве не знали?

– Да, да – я все понял. За ключами пришлите, пожалуйста, секретаря или порученца.

– Товарищ капитан! Исполняйте приказание!

Со мной говорил полковник – по уставу я обязан был выполнить его приказ. И я сказал:

– Хорошо. Я разберу бумаги и принесу ключи.

Шлихман фальцетом прокричал:

– Даю вам час времени!

Я вошел к нему через полчаса. Отдавая ключи, сказал:

– Вы, очевидно, новенький? Я вас в штабе не видел.

– Да, меня срочно вызвали из Львова. И со мной переводятся в Москву еще двенадцать офицеров – интенданты, мои бывшие подчиненные. Все они получают квартиры в Москве.

Полковник проговорил это подчеркнуто громко, в голосе его слышалось торжество полководца, одержавшего победу над вражеской армией. И, проговорив это, он еще долго смотрел на меня темными широко открытыми глазами, словно спрашивал: как вам это нравится?… Я пожал плечами и, не простившись, вышел. Шлихмана я больше никогда не видел, но не сомневаюсь, что очень скоро он стал генералом и заместил место Войцеховского, который, в свою очередь, получил новое назначение, еще более высокое. Судьба меня крутила по орбите, где звездочки на погоны мне не давались, но зато я мог собственными глазами наблюдать нового Владыку и не однажды убеждался в наличии у него двух основных свойств: убогости интеллекта и нежных пристрастий к соплеменникам Шлихмана.

С таинственной и никому не понятной яростью Хрущев

увеличивал производство спиртного в стране, рушил православные храмы, – кажется, он порушил их десять тысяч, – и продолжал теснить русских с ключевых постов и заменять их сродственниками Шлихмана и своего зятя Аджубея, которого, как нам рассказывали, он любил больше, чем собственную дочь Раду.

Дней пять мы занимались ликвидацией газеты. Я работал в отделе боевой подготовки, помогал Деревнину и Кудрявцеву складывать в папки документы, составлять списки, скреплять их подписями начальников, редактора. Никитин и Добровский распределяли работу, устанавливали сроки, подгоняли нас. Я зашел в отдел информации – там сидела одна Панна. Турушин к тому времени уволился, работал в каком-то спортобществе тренером, на моем месте сидел Сеня Гурин, но ни он, ни Фридман, ни Игнатьев в редакцию не являлись, и Панне приходилось одной трудиться за весь отдел.

– А где же ваши? – спросил я, принимаясь вместе с ней сортировать папки.

– Они, как зайцы, бегают по Москве, ищут новую работу.

– И как – находят?

– За них не беспокойся, не пройдет и недели, как все они расползутся по редакциям газет и журналов. Моему супругу уж навязали двух наших, – и, кажется, среди них Фридман.

– Но он же и заметки путевой написать не может, как же будет работать в иллюстрированно-художественном журнале? Сказала б ты об этом мужу, зачем же берет его?

Панна молчала, а я вдруг вспомнил примерно такой же разговор с майором Макаровым по поводу Серединского. И подумал: наверное, и тут навязывают сверху. И Панна ответила:

– Мой муж редкого сотрудника может взять по своей воле. Чуть случится вакансия, тут же следуют звонки – и звонят все больше жены или референты, но попробуй им откажи. Недавно прислали парня, страдающего болезнью Дауна. Головой трясет, языком едва ворочает – сказали: «Найдите должность». Пришлось увольнять способного журналиста, который писал прекрасные репортажи и даже очерки. Ты, Иван, не удивляйся: поток евреев в столичные города теперь усилится. Русских будут выдавливать изо всех редакций. Банки они захватили еще до войны, теперь пойдут на штурм газет, журналов и министерств.

– Да что вы, в самом деле! – не выдержал я. – Всюду только и слышишь: бесшумная война, оккупация… А мы-то – спим, что ли?… если уж все это так, то надо же действовать!

– Успокойся и сиди тихо. Ты вот уже на мушку попал и не знаешь, когда грянет выстрел. Не хотела я тебе говорить, да лучше уж, чтобы ты знал.

Слова ее тихие, и даже будто бы нежно участливые, точно обухом ударили по голове. Кровь хлынула в лицо, в висках застучало. Понял, о чем она говорит: я попал в списки «окружения», и над всеми нами нависла угроза. Но откуда она знает? Неужели и в такие дела муж ее посвящается?

– Тебе муж говорил?

– У мужа Фридман был – он и рассказал. Евреи все знают. Васе-то вашему антисоветчину шьют. Одиннадцать миллионов растрат. Он ровно бы кабинет свой превратил в клуб антисоветчиков, и они там регулярно собирались.

– Я в его кабинете раза три был.

– Но ты дружишь с Воронцовым, а Воронцов – ближайший человек к Василию. Коньяком снабжал генерала, пил с ним…

– Пил?

– Да, пил. Никто не видел, как вы там в академии пили, но из академии ты вышел пьяненький. Все это зафиксировано.

– Подозреваю, кто помог зафиксировать.

– Это неважно – кто помог, важнее, что все это было.

Я возмутился:

– Ты так говоришь об этом, будто рада.

Я смотрел на папки, но уже не видел надписей, номеров и не знал, какую и куда класть. Сердце, как мотор, набирало обороты, и я боялся, что вот-вот меня хватит удар. Подумал: ну, и вояка, чуть на горизонте опасность появилась, а ты уже и в истерику. И еще пришла мысль: а как же на фронте-то?… Там едва ли не каждый день бомбы сыпались на батарею, снаряды рвались – и ничего, не было такого страха, а тут пустую болтовню услышал, и весь расклеился. Даже стыдно сидеть возле Панны. Вот как сейчас посмотрит мне в глаза, а в них ужас и растерянность.

Но Панна на меня не смотрела. Тихо и спокойно проговорила:

– Могла бы и промолчать, но лучше принять меры.

– Какие?

– Уехать куда-нибудь. Работы нет, начальников нет – тут самый раз и скрыться.

– Да куда? Я же военный!

– И что, что военный. Что же тебя Устинов, что ли, искать будет? А кому надо будет – пусть поищет. Раз придут, другой раз, а там и отстанут.

– Куда я скроюсь? Что ты говоришь, Панна?

– Я тебе достану путевку в дом отдыха – под Москвой он, рядом тут. Укроешься там. А я каждый день буду позванивать твоей Надежде, спрашивать, кто и когда тобой интересовался. Если интересуются из органов – приеду к тебе, придумаем вместе

что-нибудь, а если кто по службе – тоже к тебе приеду.

– Да неужели все так серьезно?

– Да, Иван. Если попадешь на зуб Лубянки – очень серьезно. Ты сейчас иди домой и все время будь у телефона. А я поеду в редакцию к мужу и там куплю для тебя путевку.

– Ладно, Панна. Спасибо за участие.

Собрал кучу папок и понес их в отдел кадров. Тут поговорил с майором Макаровым. Этот еще больше подсыпал жару.

– Ну, что Василий? Кажется, ему шьют антисоветчину? Тебя на допрос не вызывали?

– А меня зачем?

– Как свидетеля. Ты, если вызовут – говори правду. Что видел, что знаешь – то и говори.

– А что я видел? Что знаю? Странно вы рассуждаете!

– Вызывать будут многих. Следователь к нему прицепился дошлый – Николай Федорович Чистяков. Он будет все трясти.

От него, не заходя в отдел, пошел на выход, поймал такси и поехал домой. В голове, словно метроном, звучала фамилия: Чистяков, Чистяков…

Никогда я не имел дело со следователями, а вот Чистяков… Мир тесен. И с ним меня судьба все-таки свела на жизненной дороге, но произошло это много лет спустя. Я уже был писателем, почти каждая книга моя встречалась в штыки критиками. Но однажды, как мне рассказали, Александр Чаковский, редактор «Литературной газеты», на совещании сказал сотрудникам: «Поэта Сергея Викулова и прозаика Дроздова чтобы в газете не было – ни с хорошей, ни с плохой стороны». Но и чугунная плита замалчивания не отвратила меня от литературы, сидел себе и писал романы. И вдруг однажды – звонок:

– С вами говорит начальник разведуправления Комитета государственной безопасности генерал-лейтенант Чистяков.

– Николай Федорович? – вспомнил я.

– Да, он самый. А вы меня знаете?

– Не то что знаю, а слышал. Так чем я могу быть вам полезен?

– Хочу с вами встретиться.

– Я должен к вам приехать? – спросил я упавшим голосом.

– Да нет, если позволите – я к вам приеду. Назначьте время, место встречи, и я буду у вас.

Я пригласил его домой. И вот у меня в квартире грозный человек, которого лагерники называют «главным крючком страны». Перед ним трепещет вся скрытая от наших глаз армия резидентов и диверсантов, все хитрецы, наладившие хищение народных богатств в особо крупных размерах. К такому роду расхитителей в свое время причислили Василия Сталина. Он уже

тогда распутывал такие дела, а сейчас-то – генерал-лейтенант! Начальник Управления комитета государственной безопасности. Не скрою: холодок по спине бежал так, будто я на Северном полюсе и меня раздели догола. Зачем же он ко мне пожаловал?…

Чистяков был одет в строгий черный костюм, белая рубашка, неброский, но свежий галстук. Высок, строен, волосы и глаза черные, обличье славянское. И – улыбается. Пожимая протянутую руку, я подумал: «Вот так же и нашему генералу он улыбался. Улыбался и задавал свои вопросы. Сейчас и я услышу первый вопрос». И услышал:

– Я к вам по рекомендации из ЦК партии. Мне вашу фамилию Суслов Михаил Андреевич назвал. Вы помогали маршалу Красовскому писать мемуары. Я тоже написал. И мне нужна помощь.

У меня отлегло от сердца. Но Суслов? Серый кардинал! Меня даже знает Суслов! А Чистяков продолжал:

– Конечно, материальная сторона будет обеспечена. Гонорар разделим поровну.

Я спросил:

– Рукопись с вами?… – И, посмотрев ее: – Когда нужно сдавать?

– Когда будет готова. И если вы согласны, я оформлю на вас издательский договор – все сделаем чин по чину.

Я согласился. И в три месяца сделал рукопись. Сдали в издательство, а оттуда ее послали в Комитет самому начальнику КГБ Андропову. Я как об этом узнал, так и махнул на нее рукой. В рукописи-то главные расхитители, причем расхищали по сто килограммов золота, – хозяева подпольных заводов, и все они – евреи. А Андропов сам еврей. Конечно же, положит под сукно.

Гонорар мне не платили. Чистяков звонил, извинялся, говорил, что заплатит мне из своей зарплаты, но я его успокаивал. В конце концов получаю хорошую зарплату и обойдусь без этого гонорара. Но однажды он меня попросил позвонить самому Андропову или на худой конец его заместителю Цвигуну. И я позвонил Цвигуну. И говорил с ним довольно резко, на манер того: «А что, если бы вам не платили зарплату – как бы вы на это посмотрели?… А вот мне за работу над книгой не платят!».

Он выслушал меня внимательно, а затем сказал:

– Позвоните завтра директору Военного издательства.

Мне не пришлось никуда звонить; через пару часов позвонил сам генерал-майор Копылов, директор издательства, и стал меня отчитывать:

– Ты, Иван, что – дорогу ко мне забыл? Жалобу на меня

катанул! И кому?… Или ты не знаешь, что это за заведение? Хотел в Колыму, что ли, меня заслать? Выписал я тебе гонорар. Приезжай.

Гонорар мне выписали большой – так, будто я книгу один писал. Получив деньги, зашел к директору, с которым и встречался-то раза два, а он меня Иваном называет. Встретил как старого друга. Продолжал журить за то, что к нему не зашел, – давно бы деньги отдали.

– А Чистякову?…

– Генерал положил мне руку на плечо:

– Нашел, о ком беспокоиться. У них там своя кухня.

Книгу хотя и не скоро, но выпустили. И раскупили ее быстро – в несколько дней. Помню, там была история с Пеньковским и другие громкие предательства и хищения. Раньше подобные дела хранились в тайне. Но они и тогда были. Только расхитителей этих не называли олигархами и новыми русскими, и они не ездили в бронированных «Мерседесах» и с охраной, а находились там, где им и положено быть, – в тюрьме.

Путевку мне Панна привезла домой, приехала счастливая, веселая, ходила по нашей комнате, подсела к пианино, взяла аккорды. Было видно, что играть она умела, но не стала. Говорила все больше с Надеждой, спрашивала, когда она пойдет в роддом и в какой – не боится ли? Спросила, что надо для будущей малышки, записала. Я отдавал ей деньги за путевку, но она не взяла, сказала, что путевка бесплатная, оплатили из какого-то фонда журналистской взаимопомощи. Я спросил:

– Будешь ли устраиваться на работу?

– Да, буду, но только уж по своей специальности. Я ведь кончила МАИ – авиационный институт, а журналистика у меня не пошла, я тут таланта не обнаружила.

– Ты что же – на завод пойдешь?

– Я инженер-конструктор. Поищу места.

– Но, может быть, тебе лучше в КБ Сухого, или Яковлева, или Микояна?… Хочешь, я посоветуюсь с Воронцовым? Он знает Павла Осиповича Сухого, испытывает его новейший сверхзвуковой самолет.

– Да, конечно, похлопочи, пожалуйста. Может, и возьмут меня.

Я тут же позвонил Воронцову. Он в своей обыкновенной шутливой манере спросил:

– Сколько ей лет?… Она красивая?…

Я сказал:

– Очень. И умна. И талантлива. Словом, это не просто молодая выдающаяся особа – это целое явление.

– Ну, если это явление, то пусть она ко мне придет, я поведу ее к старику и скажу: «Берите на работу, иначе не буду испытывать ваши самолеты».

Панна очень обрадовалась, она много слышала о Воронцове, видела его у нас в редакции – он заходил ко мне, – и сказала:

– Ну, если у меня будет такой покровитель…

Я с искренним сожалением заметил:

– Влюбишься в него, а я буду в ответе перед твоим мужем.

В этот момент Надя была на кухне, готовила угощение, – Панна сказала:

– Все вы, мужики, ревнивые. А я, действительно, влюбчивая. Вот теперь мне грустно оттого, что нам с тобой придется расстаться.

– Нет, Панна – такие красавицы, как ты – холодные. Вас любят все, и, чувствуя свою силу, вы не даете себе труда задержать на ком-нибудь свой убийственный взгляд. И это естественно: человеку нужно спокойствие, а эту земную радость дает равнодушие. Я же вижу: ты на мужиков смотришь, как на белую стену.

– Да, это так, тронуть мое сердце нелегко, но я ведь говорю не о симпатиях, а о любви. Любовь нужна каждому человеку – и мужчине и женщине, а без любви жизнь как скучная статья: ее не выбросишь и читать неохота.

Вошла Надежда и позвала нас к столу. Тут у плиты уже вертелась Светлана. Панна подала ей руку:

– Давай знакомиться. Меня зовут Панна.

– Какая красивая!

– Тебе понравилось мое имя?

– Да. И вы красивая. Очень!

Панна подняла ее на руки:

– Ах, ты, комплиментщица. В папу уродилась.

– Да уж, – согласилась Надежда. – Отец наш комплименты говорить умеет. У нас соседка Вера Александровна – злющая, как фурия, со всеми ссорится, а он ей каждое утро комплимент скажет – и она весь день ходит веселая. И на меня не нападает.

Панна и Надежда понравились друг другу, обменялись телефонами, и мы стали общаться семьями. Муж ее замечательный человек, долгое время работавший редактором журнала, много сделал для русских писателей, все время ходил под обстрелом критиков-коганов, но не боялся их и как опытный боевой капитан уверенно вел журнал между рифами опасной и капризной политики. Когда вышел в свет мой роман «Подземный меридиан» и на него напала «Литературная газета», а затем и сам глава идеологического ведомства, будущий главный разрушитель

нашего государства Яковлев, он не побоялся такого грозного чиновника и на пленуме Союза писателей сказал обо мне: «Вломился в литературу, разломав заборы».

Визит Панны, ее участие и щедрость пролились на меня успокоительным дождем: держал в руках путевку и думал: зачем она мне? Там, в редакции, работают мои друзья, а я куда-то бежать?… Ну, ладно, я на время спрячусь, а Надежда? Ее, беременную, куда-то вызовут, станут допрашивать… Да нет же! Никуда я не поеду.

Время подходило к обеду, я вышел на шоссе, остановил такси, поехал в округ. Зашел к своим соседям, летчикам золотой пятерки. Воронцов, как всегда, был в центре внимания, что-то рассказывал, а его друзья смеялись, как дети – самозабвенно, до потери сознания. Воронцов повернулся ко мне:

– Где ты пропадал? Мы тебя ищем. Я затащил сюда Шлихмана, схватил его за шиворот и, страшно вращая глазами, зашипел: «Ты куда дел нашего друга, корреспондента газеты?» Он что-то лепетал: «Нет газеты, не будет у нас корреспондента». – «Как не будет? – заорал я на него. – Не будет "Сталинского сокола", так будет "Советская авиация". К тому же он наш друг-приятель. Давай ключи!» И вот… – Воронцов достал из ящика стола ключи от моего кабинета и от сейфа. Подал мне.

– Спасибо, но газеты-то, действительно, не будет. А насчет «Советской авиации» я ничего не слышал.

– Не слышал! Вас разгоняют, а вы и лапки кверху. Я позвонил главкому авиации: «Как же это так? Военная авиация и без газеты. Морской флот имеет газету, Речной флот – тоже… А мы без газеты». Он в тот же день связался с министром, и тот ему сказал: «Будет у вас газета. И назовем ее "Советская авиация"».

Не дав мне опомниться от радости, спросил:

– Тебя Чистяков не вызывал?

– Кто такой Чистяков?… Ах, да – следователь. Нет, не вызывал.

– Нас вызывал. Я его отбрил как следует. Сказал: какие это одиннадцать миллионов вы ему шьете? Да, он тратил деньги, но на что?… Плавательный бассейн построил, спортивный комплекс для детей, стадион ремонтировал… А чтобы хоть одну копейку себе взял?… Да вы что, в самом деле?… Если будете оскорблять Василия Иосифовича, я в суд на вас за оскорбление чести боевого генерала подам. Наш командующий – боевой летчик, с немецкими асами дрался, как лев, – боевые награды заслужил, а вы что забрали себе в голову?…

Присмирел следователь, пообещал во всем разбираться тщательно и чести боевого генерала не задевать. Вот так, Иван.

Он посмотрел на меня пристально, и так, будто испугался: не наговорил ли чего лишнего? Тоном старшего сказал:

– А если тебя вызовет, будь с ним потише и повежливей. Не каждому дозволено то, что мне. Однако, что знаешь, то и говори следователю. А то ведь чего удумали: миллионы растратил! Да Василий у меня деньги занимал! Черт знает, что это за люди, кегебешники?…

Я пошел в свой кабинет, позвонил Устинову, доложил, что жду вызова нового командующего. Наш редактор хорошо знал маршала Красовского, они вместе служили на Дальнем Востоке. Сергей Семенович сказал:

– Я говорил по телефону с маршалом, он меня заверил, что военная авиация без газеты не останется. Скоро он встретится с министром обороны Василевским и скажет ему о газете. Так что вы постарайтесь представиться маршалу. Он, между прочим, газетчиков любит.

В тот день маршал меня не вызвал – сильно занят был, потом он уехал в войска, неделю пробыл там, а через неделю жизнь преподнесла мне очередной сюрприз: я был вызван в Главное политическое управление Советской Армии и полковник Шапиро, тот самый Шапиро, который принимал меня в «Красной звезде», не предлагая даже сесть, сухо проговорил:

– Есть намерение послать вас в Румынию. А пока выводим за штат, ждите назначения.

И склонился над бумагами, давая понять, что разговор окончен.

– Если я не соглашусь?

– Не согласитесь – демобилизуем.

Поднял на меня желтые глаза и с какой-то противной дрожью в голосе добавил:

– Вы были ближайшим сотрудником Василия Сталина. Многих теперь вызывает следователь, не исключено, что понесут наказание. Так что я бы на вашем месте радовался: вам светит служба за границей.

– Что я должен делать?

– Сидеть дома и ждать вызова.

И потянулись долгие дни ожидания. Но вот через месяц или полтора меня снова вызвал Шапиро и вручил документы, в том числе и проездные: вначале я должен был явиться в посольство – это в Бухаресте, а затем отбыть в Констанцу, в штаб наших войск, которые в Румынии тогда в большом количестве находились.

То было время, когда Пятая колонна, убрав с пути Сталина, посадила в Кремль своего человека Никиту Хрущева. Скоро он развернет кипучую деятельность по ослаблению нашего

государства, но пока еще Россия крепко стояла в странах – сателлитах Гитлера.

Помню, как плохо воевали румынские солдаты, и мы их называли кукурузниками.

Теперь я ехал к ним жить и работать.

Глава вторая

Румыния?… Хорошо это или плохо? И почему я должен ехать не прямо в Констанцу, где штаб нашей армейской группы и редакция газеты, а в Бухарест и явиться «лично к послу»?… Я же военный!…

Так я думал по дороге из Главного политуправления домой. И еще приходили на ум мысли: «А хорошо ли это и вообще-то мое решение поехать в Румынию, – не лучше ли было бы демобилизоваться из армии и устраивать дальнейшую жизнь в гражданке?…»

Тут мне припомнилась как-то сказанная фраза Камбулова: «Диплом об окончании академии тебе не нужен, пока ты в редакции, а как вылетишь из нее – тут тебе и скажут: пожалуйте диплом об окончании высшего образования».

Да уж, это так – журналиста без высшего образования не может быть.

Эта последняя мысль укрепила меня в правильности принятого решения. Тут я начал думать и о том, что хорошо послужить за границей. Там и платят побольше, можно будет купить красивую одежду жене, дочери, – скоро и второй ребенок у нас родится. За границу многие офицеры стремятся, а меня посылают, – и хорошо.

На какой-то пересадке с троллейбуса на автобус позвонил в редакцию Грибову, – его, кажется, тоже назначили в Румынию, – и точно: он радостно кричал в трубку:

– Да? И тебя посылают к туркам? Хорошо! Едем вместе. Румын он называл турками, а Румынию – Турцией.

Условились встретиться у входа в Парк культуры Горького. Встретились. Ходим по аллеям, глазеем на фонтаны, скульптурные группы, – мой спутник рад, он счастлив; едем за границу. Мне тоже передается его настроение, и я уже не жалею друзей ни по штабу, ни по редакции, – даже Панна, к которой, как мне казалось, я питал сильную привязанность, вдруг стала далекой, бесплотной.

О женах, семьях тоже не жалеем. Моя Надежда скоро будет рожать, но у нее есть мама, приезжает сестра, я вроде бы и не очень нужен. Один за другим у меня напечатаны два рассказа, – я их сделал из очерков, которые так и не пошли в газете; получил пять тысяч рублей, оставляю их Надежде. Все хорошо, и я все больше заражаюсь счастливым ожиданием отъезда.

– Моя драга боится! – восклицает Юрий. – Она ведь знает: я – мужик не промах, если какая наедет – в сторону не отбегу.

Драгой он называет свою жену Тоню. Я ее видел, она хорошенькая, стройная, черноглазая, с кругленьким, почти детским личиком. Скоро я постигну его образный язык, а в будущем мне откроется и его подвижный как ртуть характер, порхающая легкость, с которой он на моих глазах пролетел по жизни.

Мы сидим за плетеным столиком в открытом павильоне и пьем доставленное на самолетах чехословацкими друзьями пильзенское пиво.

Грибова я частенько видел в редакции, он иногда заглядывал к нам в комнату, – и всегда накоротке, бегом, куда-то торопился. В редакцию он пришел из какого-то военного института, где заведовал секретными делами; пользовался хорошей репутацией, быстро и живо писал, но больших материалов мы за его подписью не видели.

– Пиво! – взмахивал руками Грибов. – Я очень люблю пиво. Мне надо поправиться, – говорят, способствует.

Я вспомнил, как во время войны через нашу батарею вели трех пленных немецких офицеров. Я предложил конвоирам пообедать. Посадили за стол и немцев. Высокий худощавый майор, помешивая ложкой суп, отодвинул тарелку, сказал:

– Жирное не ем. Живот болит.

– Отчего же он у вас болит?

– А мне уж лет-то – под сорок. В этом возрасте у нас почти все офицеры с гастритом или язвой ходят. – И рассказал: – Пиво любим. А его у нас из картофельной ботвы варят. Слизистую разъедает.

Кто-то из наших офицеров заметил:

– С больным-то пузом на Россию прете.

Потом, много позже, когда я займусь алкогольной проблемой, узнаю: пиво всякое плохо действует на желудок. Но народ – дитя, ему сказали: пиво хорошо, он и дует по 5-6 литров за раз. Да еще вот, как Грибов, приговаривает: ах, хорошо!…

– Зови меня Юрий. Меня в институте все так звали. Я молодой.

Сказал так, будто мне-то уж было под семьдесят, а между тем родились мы с ним в одном и том же 1924 году. И, может быть, потому, что он не числил меня за молодого, я ему не сказал: «Ты тоже зови меня по имени». Впрочем, он тут же меня и назвал Иваном.

Говорили о «Турции», – оказалось, оба мы во время войны протопали по ее кукурузным полям. Юрий вспомнил легенду о майоре-газетчике, склонившем двадцатилетнего короля Михая выйти из войны с нами, – то ли быль, то ли забавная басня.

Подвыпивший майор на редакционном «Виллисе» первым подкатил к королевскому дворцу и, напугав охрану, приказал вести его во дворец. Тут его встретил изрядно подвыпивший король:

– Как?… Вы уже в Бухаресте?…

Майор, не зная, что перед ним король, но различив знаки лейтенанта, грозно прорычал:

– Как стоишь, скотина, перед старшим офицером?

Тот уловил смысл замечания, принял стойку «смирно». Майор, как все русские, был человеком незлобивым, тут же простил лейтенанту оплошность. Дружески обнял его, просил вести к королю. А по пути дал знак: мол, выпить не найдется?… Король закивал, хлопнул в ладоши, и им принесли вино. Они стали пить. И пили до поздней ночи, а потом до обеда спали, а, проснувшись, снова пили, – и так трое суток.

В минуты просветления майор, хлопая ручищей по плечу короля, – он уже узнал, что перед ним король, – говорил:

– Какого черта вы пошли за этим недоноском Гитлером и двинули на нас своих кукурузников?… Да они и воевать не умеют, и дрожат, как зайцы. Наш снаряд как шарахнет – они врассыпную. Давай им команду, пусть выходят из войны, а я тебе орден схлопочу. Папа Сталин даст. Ты не гляди, что он такой страшный – он у нас добрый. Будет у тебя такой же, как у меня.

Майор ткнул большим пальцем в Красную Звезду, висевшую у него на груди.

В конце третьего дня их пьянства по дворцу забегали офицеры, в зал, где они сидели, вошла женщина с бриллиантовой розой в темных волосах, укоризненно покачала головой и что-то негромко проговорила. Король поднялся, стал искать китель, но найти его не успел. В дверях появился советский маршал с большой группой сопровождавших его офицеров. Кто-то из румынских генералов показал ему на Михая:

– Это король.

Маршал нехотя взял под козырек:

– Ваше величество, Бухарест взят советскими войсками. Румынские дивизии частью разбиты, частью разбежались. Подпишите акт о капитуляции.

Король нетвердым языком, пошатываясь, проговорил:

– А мы вот давно, – показал на майора, – еще вчера вывели Румынию из войны. Прошу учесть, я самолично…

Маршал перевел взгляд на майора:

– Из какой части? Как здесь очутились?

Кому-то через плечо сказал:

– Арестовать его!

Майор всплеснул руками:

– Позвольте! Я журналист. По какому праву?…

И когда два офицера подошли к нему, он, отстраняясь, протянул королю руку, сказал:

– Будь здоров, Михай. Орденок за мной. Я напишу Сталину.

И, проходя мимо маршала, пожал плечами:

– И это вместо благодарности.

Эту историю в той или иной аранжировке мы все слышали во время войны.

Я тоже рассказал Грибову историю, как в Румынии, в Яссах, я отстал от эшелона и вышел на шоссе, чтобы на попутной машине догнать его. Остановил грузовик, назвал станцию, шофер показал на кузов: залезай. Я взобрался в кузов и тут увидел сидящих на лавочках: с одной стороны – румынские офицеры, с другой – немцы. Они смотрели на меня, а я на них. Мы все, конечно, были вооружены. Румын, сидящий у самой кабины, выдохнул:

– Как?… Уже?…

– Что – уже?…

– Город заняли?

– Да, заняли.

– А станция… куда мы едем?

– Не знаю.

Невдалеке от станции румын забарабанил по кабине.

Машина остановилась, и я, козырнув офицерам, спрыгнул. Почему-то и мысли не было, что кто-то в меня выстрелит.

До станции было рукой подать, и я скоро догнал свой эшелон. Наш путь лежал на Будапешт. Там закипала великая битва.

Так мы болтали, пили пиво и, уговорившись встретиться на вокзале в день отъезда, разошлись.

Дома Надежды не оказалось, и я было хотел поспать, но едва начал обедать, как в квартиру, крадучись и как-то таинственно оглядываясь, заявился Фридман. Он был возбужден и, дважды заглянув в коридор, зашипел:

– Плохо дело, Иван! Тебя отправляют в Румынию. Завтра вызовет Шапиро.

Я хотел сказать: уже вызывал, но промолчал. Хотел бы знать, почему же мое дело плохо?

Фридман хотя и сгорал от нетерпения высыпать свои новости, но из какого-то тайного помышления не торопился этого делать, а поглядывал на дверь, будто ждал кого-то, и все шире пучил свои темно-коричневые глаза, которые здесь, в лучах солнца, лившегося из окна, попеременно изменяли свой цвет – то до состояния жженого кирпича, а то вдруг светлели до

свежемолодой охры.

Да, это были глаза еврея – непостижимые, неуловимые и никем до конца не понятые. Невольно мне вспомнились слова поэта:

Я в них пустыню узнаю,

Тоску тысячелетних фараонов.

Мне так и хотелось крикнуть: «Ну, говори же!…» И Фридман заговорил:

– В Румынии есть наша газета «Советская Армия», но тебя… – прервал речь, поднялся, кошачьей походкой подошел к двери, оглядел коридор: – … посылают в посольство. А зачем это – ты знаешь?…

– В самом деле – зачем? Я думал над этим, но признаться…

Фридман залпом осушил стакан вина, кинул в рот кусок колбасы и придвинулся к моему уху:

– Ты сделал мне хорошо. Помнишь, спросил у Сталина, что с нами будет. И это уже хорошо. Евреи такого не забывают. Так вот: слушай внимательно.

Фридман перешел на шепот со свистом, и мокрые крошки изо рта летели мне в лицо.

– Двадцать человек из ближайшего окружения Васи рассылают по посольствам, а там… тихо возьмут, и – крык!…

Он приставил палец к виску.

– … на распыл. Всех! До единого!…

Кровь бросилась мне в лицо. Я поверил, – вдруг, сразу. И малейшего сомнения не возникло. Да, на распыл. И всех. До единого. Разбираться, сортировать не будут. Это же Берия. Но позволь – какое я окружение? Десятая спица в колесе!

Стукнул кулаком по столу.

– Ну, что я для сына Сталина? Он меня в упор не видел, а я и не шился к нему. Что ты меня пугаешь?…

– Нет, старик, не пугаю: добра хочу. Ты мне верь: если Фридман говорит, так это уже и будет. Евреи все знают. Они везде – за пазухой у Сталина, и под столом у Берии. Ты думаешь, кто владыка?… Кто царь?… – знаешь? Откуда тебе знать, русскому Ивану. А я – Фридман!… Ты завтра пойдешь к Шапиро – он тоже Фридман. Потом ты явишься в Бухаресте к послу – и там Фридман. Ты, Иван, глуп, как все русские, но ты сделал евреям хорошо, и я тебя спасу. Ты хочешь знать как?… Тогда слушай. В Бухаресте ты придешь в посольство, но к послу не заходи день, другой, третий. Посол тебя не знает, ты его тоже. Ходи по коридорам, смотри на вывески и спрашивай Лену. Там есть такая Лена Фиш. Евреи любят рыбу – фиш, а там есть Лена Фиш. Так ты к ней подойдешь и некоторое время ничего не говори, – смотри

на нее и ничего не говори. Женщины любят, когда на них смотрят. А потом ты ей скажи: «Фридман передает вам привет». Фридман ее помнит, Фридман не забудет, когда она вернется в Москву. Она знает, что это такое, когда Фридман не забудет. От нее ты узнаешь все: как быть и что делать. Что она тебе скажет? – не знаю, но она тебе поможет. Ты поедешь туда, куда она пошлет, и придешь к человеку, – он тоже Фиш, – и ты ему передашь то, что тебе скажет Лена, которая тоже Фиш.

Фридман откинулся на спинку стула, захватил одной рукой бутылку, другой стакан – стал наливать. Выпил один стакан, другой, расправился с яичницей, которую я поджарил, и снова отклонился на спинку стула. Теперь уже он смотрел на меня взором, из которого сыпались бриллиантовые искры. Фридман торжествовал… Наверное, вот такую же радость испытывал Исаак Ньютон, когда он открыл закон всемирного тяготения.

Все это походило на глупую шутку, но я не стал его оспаривать и ни о чем не расспрашивал. Мы поднялись, и я пошел его провожать. По дороге нам встретилась Надежда, и мы расстались с Фридманом.

Рассказал, что уезжаю в Румынию и что сожалею, что не могу остаться в Москве до ее родов.

Надя – молодец! Легко и весело меня отпускала:

– Служба есть служба, ты за меня не беспокойся.

Поразмыслив, добавила:

– Я боялась, что тебя демобилизуют.

– Чего ж бояться? Пойду в гражданскую газету.

– А как не примут – тогда куда?

– Была бы шея, хомут найдется. На завод подамся. Чай не забыл болты точить.

Шуточный разговор не вязался, и Надежда заметила мою рассеянность, но, очевидно, отнесла это к естественному состоянию близкой разлуки, продолжала свою умиротворительную речь:

– Ты там устраивайся, а я пока побуду одна. А подрастет малышка – вызовешь нас. Поживем за границей. Говорят, там платят хорошо, хотя, слава Богу, ты и здесь хорошие деньги получал. А теперь у тебя снова рассказы пошли. Глядишь, писателем станешь.

Благодушный тон Надежды, ее умение во всяком повороте судьбы видеть счастливые обстоятельства разогнали мрак фридмановского карканья, – смертельная опасность, которую он закачал в душу, рассеялась, и я уже почти успокоенный ложился спать. Однако сон не приходил, с наступлением сумрака и тишины ночи в душу снова поползли тревоги. «Фридман знает, –

лезла в голову мысль, – евреи – сообщающиеся сосуды, они в курсе всех событий, особенно тревожных, опасных. У них в органах свои люди, они ему и сказали».

Вышел на кухню. Пожалуй, впервые в своей жизни – тревога подняла меня, и я, как старик, сижу посреди ночи, думаю свою горькую думу. Слышу, как в висках пульсирует кровь. Это сердце. Вот так случается инфаркт или инсульт.

Вспоминаю отца Владимира Ивановича. Он часто просыпался ночью, садился у стола под иконами, курил. По деревне с наганами ходили активисты продовольственных отрядов, забирали зерно, муку и все съестное, а у нас в семье было десятеро, чем кормить ораву детей?… Он от страданий и умер в сорок пять лет от роду.

Заснул я под утро.

В тревоге и тоскливых думах прошли двое или трое суток, и мы с Грибовым отбыли в «Турцию».

В Бухаресте он пересел на поезд, следовавший в Констанцу, а я отправился в посольство. Здесь в зеленом уютном скверике на белой лавочке сидела темноволосая ясноглазая девица, чем-то похожая на Панну Корш. Она и улыбалась, как Панна, ласково, по-матерински. Я поздоровался, замедлил шаг. Хотел спросить Лену Фиш, но она меня опередила:

– Вы капитан Дроздов?

– Да, с вашего позволения.

– Хорошо, пойдемте со мной. Мне звонил Фридман, я и осталась после работы.

Мы вышли со двора посольства, немного прошли по большой улице, а затем свернули в тихий зеленый переулок. Здесь в глубине сада выглядывал из-за деревьев двухэтажный зеленый особняк с белым веселым крыльцом. Над парадным входом и по сторонам, точно кружева, висела ажурная вязь чугунных решеток и резных украшений. Цвета они были черного, и это тонко сочеталось с остальными цветами, создавая гармонию вкуса и роскоши маленького дворца.

Поднялись на второй этаж и вошли в просторную квартиру, где в одной из дальних комнат, напоминавшей танцевальную залу, валялся на диване дядя лет сорока в шелковом цветастом халате. Он был пьян, смотрел на нас так, будто в комнату к нему залетели две мухи и он удивлялся, откуда они взялись.

Лена показала мне на стул у стола, а сама открыла стоявший в углу холодильник, достала оттуда вино и фрукты.

– Ты, Роман, лежи. Пить больше не будешь.

Кивнув в мою сторону, назвала меня…

– Будет работать в «Скынтэе». А это… – ткнула рукой в

сторону дивана, – Роман Ухов, главный переводчик посла и румынских вождей. Он тоже капитан, закончил Военный институт иностранных языков.

Пододвинула ко мне вазу с фруктами, налила вина:

– Вам с ним надо подружиться.

Воспаленными, покрасневшими глазами Роман Ухов смотрел в потолок и никак не реагировал на факт моего присутствия. Не смущал его и приказной тон Елены.

Вяло проговорил:

– В «Скынтэе» он работать не будет. Я слышал разговор посла с министром печати, – русского журналиста им не дают.

Я знал, что «Скынтэя» – главная газета Румынской республики. «Ага, – смекнул про себя, – значит, поеду в Констанцу в газету "Советская Армия"». Однако молчал: не выказывал ни тревоги, ни интереса.

– Куда ж его? – пытала Лена, словно речь шла о кочане капусты.

– Берия найдет местечко, – не близкое и не теплое.

Ухов говорил тихо, выдавливал слова мокрыми, толстыми губами. Шапка рыжих волос на нем свалялась, и в них торчали два клочка бумаги, веснушки густо теснились на щеках, на лбу, но цвет имели блеклый, землистый. Удивительно, как он был похож на Фридмана: с такой же легкостью и так же цинично он предрекал мою судьбу, она – в руках Берии.

«Сообщающиеся сосуды… все знают».

Реплика Ухова не оставляла надежд; я понял: здесь, в «Турции», им легче брать человека – ни шума, ни разговоров. Но за что? Что я такого сделал?… И в чем виноват наш командующий? Наконец, он сын Сталина. Как можно его-то?…

Но тут же текли и другие мысли: «А генерала Кузнецова? А Вознесенского?… Председатель Госплана, член Политбюро, академик!… Берия положил на стол Сталину бумагу, и тот на уголке мелким почерком написал: "Расстрелять!…"».

– Каркаешь!… Ну что вы за человек, Ухов! Вас если послушать…

Лена хотя и бранилась, но как-то неуверенно, нетвердо. В голосе ее чувствовалась власть, но власть не формальная, не юридическая, а скорее, сила характера, убежденность правоты и морального превосходства.

Ухов продолжал:

– Поступила команда: «Брать под стражу!». Говорю вам, а вы действуйте.

– Ах, так! Уже и под стражу!… А не врешь ли ты, Ухов? Не валяешь ли дурака? Ведь с тебя станется.

Ухов на эту тираду и глазом не повел. И в мою сторону не взглянул, – продолжал лежать, запрокинув голову, – так, что нос его, похожий на толстую морковь и такой же красный, задрался кверху и от натужного дыхания шевелился, будто хотел сползти с лица. Но хотя речь шла обо мне и был только что произнесен мне смертельный приговор, я не дрогнул и, больше того, не поверил Ухову, а решил, что он пьян и несет околесицу. Однако не такое благодушие читал я на лице Елены. Я, как человек от природы влюбчивый и всю жизнь увлекавшийся женщинами, смотрел ей в глаза и думал о силе их обаяния, о струившихся из них лучей неброского, не сразу замечаемого магнетизма, которым окрашивалось все ее лицо с красиво очерченными губами. Может быть, кощунственно об этом говорить, но именно в эту трагическую для меня минуту, и в часы, когда, может быть, у меня родился второй ребенок, – и родила его прекрасная, обожаемая мною супруга, – именно в эту минуту я думал о том, что вот передо мной сидит женщина, которую я, может быть, искал и которая одна только и могла бы составить для меня полное счастье.

Однако взгляд ее дрожал. Она отвела его в сторону. И как раз в этот момент Ухов поднялся и широкими шагами стал ходить по комнате. Подошел ко мне, положил на плечо тяжелую руку, сказал:

– Мы тебе поможем, капитан!

И повернулся к Елене:

– Идите на Садовяну, а я буду звонить кому надо.

Лена молча вышла из-за стола, кивнула мне:

– Пойдемте.

Был уже поздний вечер – южный, тихий и теплый, которые часто опускаются на Бухарест, город чем-то напоминающий Ленинград, и Будапешт, из которого я выбивал немцев. Мне еще в Москве говорили, что он похож и на Париж, только вдвое меньше и нет в нем ни Елисейских полей, ни Эйфелевой башни, но зато есть фонтаны и самая большая в Европе аллея алых роз.

Я шел с чемоданом по улицам и бульварам, и – странное дело! – меня больше волновала близость удивительной женщины или девушки, – такой молодой и властной, и такой своеобразной в смысле чисто женского магнетизма, подавившего во мне все другие эмоции, – даже, казалось бы, и такие сильные, каковыми бывают страх и смертельные тревоги. Но, может быть, я с момента фридмановской паники уж притерпелся, пообвык и больше не воспринимал угрозы, а может быть, – и это скорее всего, – наш организм в подобных ситуациях способен защищаться, наш мозг из каких-то тайных запасников

выбрасывает миллиарды только что дремавших клеток, и они, как засадный полк в Куликовской битве, внезапно появляются на поле боя и теснят противника. Да, удивительно, но это так: я уж больше не боялся, а покорно шел за своей проводницей о одной только мыслью продлить общение с ней, слушать и слушать ее голос, смотреть в ее участливые и немного испуганные глаза.

Вдруг сказал ей:

– Вы принимаете во мне участие. Зачем?

Она остановилась. Смотрела на меня, – и мне казалось, что я даже в полумраке тихого переулка вижу блеск ее синих, но здесь ставших темными глаз.

– Зачем?… А вы., если б я попала в вашу ситуацию, – разве бы не стали помогать мне?

– Как можно?… Я – другое дело. Воспитан на военном братстве. У нас закон: живот положить за други своя.

– Вот и я… живот готова за вас положить.

Отдаленный фривольный намек вырвался у нее нечаянно и рассмешил нас обоих. Мы подошли к подъезду многоэтажного дома, и она большим ключом открыла дверь. Свернули направо в квартиру первого этажа. Свет она не зажигала.

– Военная маскировка.

Была полночь; мы сидели за круглым столом и пили очень вкусный, умело сваренный кофе. На столе лежала коробка шоколадных конфет, крупный ананас и виноград, – а дело было в мае. Вина не было.

– Этим зельем не балуюсь, – сказала Лена, когда мы только еще садились за стол.

И, спустя минуту, мягким, но в то же время твердым голосом заключила:

– Вам тоже не советую. Совсем. Исключить напрочь. Ваша жизнь потребует от вас абсолютной трезвости и ясного ума.

Я молчал. Яркий свет, лившийся из дома, стоявшего напротив, легко проникал через газовые занавески наших окон, и я хорошо различал черты лица моей хозяйки. Я очень хотел узнать подробности сложившейся ситуации, но боялся выказать трусость и глубокомысленно молчал.

Говорила Лена:

– Вы были помощником сына Сталина, – вообразите, как это будет звучать на Западе!

– На Западе?

– Да, на Западе. Но где же еще вы сможете жить, если не на Западе? Судьба подвела вас к необходимости сделать выбор: или жить, или умереть. Но умирать вам, как я понимаю, рановато, остается жизнь на Западе.

Было уже далеко за полночь, но спать я не хотел; временами откидывался на спинку стула и, пользуясь тем, что Лена лишь различала мой силуэт, закрывал глаза, и тогда мне чудилось, что я вижу сказочный, романтический сон, где много ярких сцен, постоянно возникают опасности, и я, ведомый за руку волшебной принцессой, легко и весело преодолеваю их, и мы идем вперед, где далеко-далеко восходит заря новой жизни, и я невольно ускоряю шаг, и мы будто бы даже поднимаемся над землей и летим вместе с облаками.

– Трагедии никакой нет, – возвращает меня на землю нежный музыкальный голос. Еще совсем недавно мой муж Арон Фиш оказался в ситуации куда более скверной… Мы скоренько переправили его в Румынию, а отсюда – в Париж. Кстати, он вас там встретит и будет вам помогать.

– Но я не хочу уезжать из России. Я – русский!

– Я тоже русская. Все мы русские – дураки, покорно кладем шею под топор злодеев, которые нами правят.

– Нами правил Сталин.

– Да, Сталин. Под старость он как человек религиозный, двенадцать лет проучившийся в духовной семинарии, задумался о встрече с Богом. Хотел прогнать из Кремля бесов, но они его перехитрили. Место его занял Хрущев, который и не Хрущев вовсе… Черты лица вроде славянские, а кровь иудейская. Вот теперь мы, русские, еще и не так запляшем. Начнутся великие стройки, сосущие энергию народа и убивающие все живое на земле, разольется винное половодье, а на подмостки театров выскочат бесы. Вновь будут уничтожаться храмы и русские деревни. Богатства наши потекут в республики – к малым народам, которые нас не любят и знать не хотят.

Моя сверстница! Откуда она все знает? – думал я, пытаясь разглядеть черты ее лица.

Слова тяжелые и страшные, они скользили мимо сознания, не задевая и не проникая в душу. Я лишь удивлялся уму этого юного существа, и если бы не чарующий тембр ее голоса, ненавязчивая мягкость речи, я бы, наверное, возмутился и отверг бы ее пророчества. Но я молчал. Я вспоминал Фридмана – он тоже все знал, – а тут еще и Фиш, и рыжий дьявол, которого только что видел. Какая-то партия посвященных, чужая и далекая, но зорко наблюдающая за всем, что происходит там, в Москве, на Родине.

– Вы много знаете. Я не посвящен…

– Он не посвящен! А кто у нас в Союзе посвящен? Кто в России посвящен? И есть ли она, Россия? Есть ли Москва, в которой на главной площади лежит непогребенный, не преданный земле еврей Бланк?

– О чем вы? Решительно не могу понять! – впервые возвысил я голос.

– И откуда понять вам, – наклонилась ко мне через стол моя собеседница, сколь прекрасная, столько же и таинственно роковая, извергающая поток разрушительной энергии, сатанинского соблазна, зовущего куда-то в пропасть, зовущего и увлекающего своей новизной и какой-то дерзкой романтической силой.

Окна, светившие нам из соседнего дома, погасли, и я теперь во мраке все более темнеющей ночи видел один лишь силуэт Елены, – в моменты, когда ее речь становилась особенно энергичной и открывала оглушающие новости, она казалась мне ведьмой, принявшей образ юной красавицы, – о чем бы она ни говорила, слова ее звучали музыкой, вздымали волны сочувствия, – я верил, мне хотелось верить даже и в то, что казалось невероятным.

А между тем слова валились на меня, как камни, взрывали душу, мутили мозг.

– Маркс – еврей, Ленин – еврей, Сталин – грузин… Вы – русский. Неужто вам не противно ходить под хлыстом этих коварных восточных палачей?… Когда же вы поймете, наконец, что с 1917 года мы живем в еврейской оккупации? И что Гитлер нес нам не порабощение славянских народов, как вас заверяли наши доморощенные Геббельсы, а лишь пытался заменить одну оккупацию – еврейскую – своей оккупацией – немецкой?… А теперь прикиньте: какая лучше, и вам станет ясно, за что вы воевали, за что положил наш народ двадцать миллионов своих парней.

– Ну, это уж слишком!

– Что слишком?… Вы рассуждайте, а не возмущайтесь. Попробуйте доказать мою неправоту, и тогда я вам приведу новые факты, от которых ваша прекрасная прическа сделается седой, как у старика. Впрочем…

Она поднялась и подошла ко мне. Положила на голову руку; нежно, по-матерински проговорила:

– Я вовсе не желаю, чтобы эта умная и такая красивая головушка до срока поседела.

Взъерошила волосы:

– На сегодня хватит. Пойдем, покажу тебе твою комнату.

Мы шли в темноте, и я дышал ей в затылок, невольно касался руками ее рук, талии, – слышал во всем теле гул закипавшей крови, но умом смирял естественную страсть и только боялся, чтобы инстинкт природы не победил мой разум.

На прощание поблагодарил за участие, за хлопоты,

прислонил тыльную сторону ее руки к своей пылающей щеке, – что-то и она мне сказала, но что – не помню.

Уснул я скоро, как только привалился к подушке. Но с Леной не расставался и во сне. Она явилась мне в белом платье с большим вырезом на груди и алой розой в волосах. Жестом Улановой подала мне руку. И мы пошли, но не по городу, а будто бы плыли в каком-то бесплотном бледно-голубом пространстве. Я пытался пожать ее руку, привлечь к себе, но рука, как и все вокруг, была прозрачной и невесомой и куда-то ускользала. Потом была комната, и стол, – письменный, с множеством ящичков. Из приоткрытого ящика вдруг показалась голова змеи. И потянулась к моему лицу. Я отпрянул. Знал, что змея не простая – смерть от ее укуса наступает почти мгновенно.

– Не бойся меня, – говорил голос. – Я тебя ужалила, – вон, видишь, красное пятнышко на лбу, но это не опасно. От моего укуса ты будешь красивый, как Есенин, и могучий, как Маяковский.

Говорила она, Елена.

Я пробудился, и очень обрадовался тому, что змея была во сне.

Прошел в комнату, где мы сидели ночью, и тут, на столе, был накрыт завтрак и лежала записка: «Мой милый капитан! Я тебя закрыла на ключ, и ты не пытайся вырваться из моего плена. И не отвечай на телефонные звонки и сам никому не звони. Ни в коем случае! Я скоро приду и все тебе расскажу».

Успел побриться, принять душ и только что позавтракал, как явилась хозяйка. Глянул на нее и – оторопел: белое платье с глубоким вырезом и алая роза в волосах: все точно такое, как привиделось во сне.

– Я только что проснулся. Между прочим, во сне вас видел.

– Приятный сюрприз! Хочу почаще являться вам в сновидениях.

Лена смеялась, шутила, – не было и тени вчерашней мудрой вещуньи, – она как бы даже жалела о проведенной на меня атаке.

В ней не было заметно откровенного кокетства, но, как всякая женщина, она невольно принимала эффектные позы, хотела показать все скрытые в ней достоинства и делала это с большим искусством.

– Я готов весь остаток жизни провести у вас в плену, но скажите: мне что-нибудь угрожает?

– У нас мало времени, а потому буду с вами откровенна: по линии Фиша у нас всегда идет верная информация. Фиш живет в Париже, но он знает больше, чем наш посол. И, может быть, больше, чем министр иностранных дел. Я шифровальщица,

владею четырьмя языками – первая получаю шифровки для посла и отправляю донесения министру, но и мои знания ограничены. В одном только я уверена: информацию о вас получу первая. Если будет опасность – дам знать и возьму вам билет на скоростной поезд до Парижа. Рапидом называется. Там вас встретит Фиш. Он думает, я работаю на него, но я русская и работаю на Россию. Вы мне показались надежным союзником, – вот вам моя рука.

Я с жаром пожал ее и сказал:

– На меня надейтесь, как на себя. Если моей Родине будет нужно, чтобы я жил в Париже, – я готов.

Лена порывисто меня обняла, поцеловала в щеку.

– Вы мне нравитесь.

– Эти слова я вам должен был сказать, но не посмел.

– Тоже мне – фронтовик, да еще, говорят, летчик, а перед бабой робеет.

Мы вышли из дома. У подъезда стоял автомобиль – длинный, широкий и – серебристый. Глаза-фары отсвечивали луч солнца… Змея!… Серебристо-белая с горящими глазами.

Я опешил. Остановился.

– Что с вами?…

– Странно!… Я видел сон… и ваше платье, и роза в волосах, и этот автомобиль.

– Я этого хотела. Я теперь часто буду приходить к вам во сне.

Широким жестом растворила дверцу переднего салона:

– Садитесь.

И мы поехали.

– У вас такой роскошный автомобиль.

– Мне подарил его Фиш. Только не подумайте, что он был моим мужем. Да, мы расписались, я ношу его фамилию, но мужем и женой мы никогда не были.

– Странная история! – проговорил я голосом, в котором слышалась целая гамма неясных, до конца не осознанных, но вполне различимых эмоций; наверное, тут были и сомнение в правдивости ее слов, и удивление невероятностью ситуации, но главное – ревность, зародившаяся в глубине подсознания, зародившаяся помимо моей воли.

Несомненно, она услышала тревогу сердца, одушевилась победой, – бросила на меня взгляд своих сверкающих глаз.

Женщина сродни охотнику и охотится постоянно, невзирая на возраст, – и каждый удачный выстрел доставляет ей радость. Наверное, здесь таится главнейший закон природы,– скрытый от посторонних глаз механизм продолжения рода, приспособительная сила внутривидовой селекции.

– Сказавший «а» должен сказать и «б». Так, наверное? А?…

– Хотел бы услышать не только «б», но и «в», «г», «д», – и весь алфавит. А там – и таблицу умножения. А еще дальше – и бесчисленное множество алгоритмов.

– Мужики – жадный народ, вам всегда и всего мало. Но так и быть, расскажу вам историю моего превращения из Елены Мишиной в Елену с противной фамилией Фиш. Хотите слушать?

– Еще бы! Если не расскажете – я умру от любопытства.

– Я была студенткой Института международных отношений. И вот уже на пятом курсе случается беда: моих родителей арестовали. Они были дипломаты, работали в Америке, а я жила в Москве с бабушкой. За что?… А за то, что они – русские. Их должности понадобились евреям, и их оклеветали. В КГБ был Берия, а в Министерстве иностранных дел копошился еврейский кагал, подобранный еще Вышинским и тщательно оберегаемый Громыко, у которого жена еврейка, да и сам он, кажется, из них. Из дипкорпуса выдавливались последние русские. Евреи готовили час икс – момент, когда русские оболтусы окончательно созреют к расчленению России и к смене политической системы. Ленин не хотел такой смены – его убрали, Сталин прозрел и решил им свернуть голову – его отравили, теперь вот Хрущев. Если и он заартачится – и его уберут.

Меня вызвали в ректорат, сказали: «Курс заканчивайте, но диплом не дадим». Я – ДВН, дочь врагов народа.

Ничего не сказала ректору, но, выходя от него, решила: отныне вся жизнь моя принадлежит борьбе. С кем бороться, за что бороться – я тогда не знала, но не просто бороться, а яростно сражаться, и – победить! Вот такую клятву я себе дала.

Ко мне подошел Арон Фиш – толстый, мокрогубый еврей, секретарь комсомола института. Сказал: «Есть разговор». И предложил пойти с ним в ресторан.

Заказал дорогой ужин, стал говорить: «Хочешь кончить институт?… Выходи за меня замуж. Возьмешь мою фамилию, и для тебя откроются все двери в посольствах. Ты будешь заведовать шифровальным отделом, а через несколько лет станешь первым секретарем посольства».

Я оглядела его стотридцатикилограммовую тушу и – ничего не сказала. Судьба посылала мне шанс, – я за него ухватилась. Но как же быть с моим принципом «Не давать поцелуя без любви»? Мне было двадцать три года, и ни один парень меня еще не касался. Как быть с этим?…

Машина вынесла нас за город и, шурша шинами, понеслась по безлюдному шоссе. Елена молчала. Казалось, незаметно для себя, она подавала газ и автомобиль, влекомый мощным, шестицилиндровым двигателем, выводила на скорость взлета

самолета Р-5, на котором я проходил начальную стадию летного обучения, – скорость эта равнялась ста двадцати километрам.

Я отклонился на спинку сиденья, смотрел на обочину дороги и по движению травы, кустов, деревьев мог заключить: скорость уже полетна. Взглянул на спидометр: да, он показывал цифру «140». Елена, взбудораженная своим же рассказом, сообщала машине энергию чувств, воспоминаний.

– А давайте я поведу машину!

– У вас есть права?

– Да, – вот. Права водителя-профессионала.

Она убрала газ, затормозила.

Я вел машину, она продолжала:

Мы расписались. Была роскошная свадьба. Я думала об одном: как не пустить его в постель, что сказать при этом?…

И – о, чудо! Он, провожая меня в спальню своей роскошной квартиры, взял за руки, сказал: «Понимаю, ты меня не любишь. Но, надеюсь: мы поживем и ты ко мне привыкнешь».

Я не привыкла. И он это понял. На прощание Арон сказал: «Когда созреешь, дай мне знать и я тебя позову. Ты получишь высокую должность». Я не созрела и не созрею никогда. И никогда не впрягусь в их упряжку, хотя Арон и думает, что скоро из меня окончательно улетучится русский дух и я стану пламенной интернационалисткой, что на их языке означает: «иудаист, сионист». А точнее: шабес-гой, пляшущий под их дудку. Таких людей в России очень много; они-то и составляют их главную опору в разрушении нашего государства, а затем и уничтожении русского народа.

Она замолчала. А я, потрясенный ее рассказом, главное – перспективой, нарисованной ею для русского народа, сбавил скорость до шестидесяти, ехал тихо, думал.

Лена вдруг снова заговорила:

– Ты меня осуждаешь? Да?…

– Нет! – почти вскричал я. – Нисколько!… Наоборот: ты сделала это ради борьбы за самое святое: за Родину!… Я поступил бы точно так же. Если говорить по-нашему, по-летному: ты точно зашла на цель и теперь можешь сбрасывать бомбы. А если говорить языком артиллериста – я ведь еще был и командиром батареи, – ввела точные координаты цели и пушкари поведут огонь на поражение. Ты молодец, Лена! Я верю тебе и готов пойти за тобой хоть на край света.

Она тепло улыбнулась, но ко мне не повернулась, не обдала меня жаром вечно горящих глаз, он которых у меня уж начинала мутиться голова.

Впереди открылось озеро. Лена показала ларек, где

продавались пляжные товары.

– Тебе ничего не надо?

– Как же! Очень даже надо!…

Мы подошли, и я сразу увидел то, что мне было нужно: красивые плавки. Я спросил:

– За рубли продаете?

Продавец кивнула и назвала сумму. По нашим меркам дешево: плавки за четыре рубля. У нас такие стоят десять – двенадцать рублей. То было время, когда рубль был посильнее доллара на восемь копеек.

Нашли удобное место для машины, переоделись, и Лена повела меня к причалу, где напрокат давались водные лыжи. Десятиминутная езда за катером стоила рубль – это было совсем дешево.

– Но я не катался на лыжах.

– Научим! Дело нехитрое.

И Лена показала, как надо вставать на лыжи, погружая их в воду, и затем, по ходу катера, приподнимая переднюю часть лыж, вылетать из воды.

К радости своей, я вылетел с первого раза и так, словно катался на лыжах сто лет. Натягивая трос, заскользил сбоку катера. Лена вслед кричала:

– Ай, молодец! Сразу видно – авиатор.

Простота отношений пришла к нам сама собой, и мы оба этому были рады.

Потом из-под навеса, над которым я прочел вывеску «Водный клуб», вышли ребята, девушки, обступили Лену и о чем-то с ней говорили. Вынесли лыжи, трос, и Лена тщательно их осмотрела. К причалу подошел белый, как чайка, катер, напоминавший формами ракету. Моторист протянул Елене руку. Я стоял на пригорке возле автомобиля и отсюда наблюдал, как парни и девушки, – а их было уже много, – во главе с тренером подвели Лену к причалу и долго прилаживали у нее на ногах особые спортивные лыжи. Я начал беспокоиться: уж не затевается ли здесь какой опасный номер?

И я не ошибся: катер взревел двигателем и полетел от причала. Вслед за ним понеслась и Лена. Ребята хлопали в ладоши, что-то кричали. А Лена отклонилась от катера далеко в сторону, – так, чтобы ей не мешала вздымаемая им волна, – и здесь, на ровной глади, подняла ногу, да так, что лыжа очутилась у нее над головой, а сама, как оловянный солдатик, скользила на одной ноге, затем… – о, чудо! – повернулась на сто восемьдесят градусов и, сохраняя то же положение, летела вперед спиной. Но вот прыжок… Приводняется на обе лыжи, и то с одной стороны

катера, то переходит на другую. И с разных положений описывает круг в воздухе – один, второй… Кольца в воздухе! Целый каскад…

С берега кричат что-то по-румынски. Спортсмены прыгают от радости, хлопают в ладоши.

А катер заходит «на посадку».

Лена бросила трос, взбурунила лыжами воду, остановилась у причала. И тут ее обступила стайка девчат, подхватила на руки, понесла к лежакам.

Потом спортсмены угощали нас обедом. От них я узнал, что Лена – заслуженный мастер спорта, победитель каких-то международных соревнований. Она давно не тренировалась и выполнила лишь три-четыре упражнения, но «кольца», или, как говорили спортсмены «мертвые петли», в Румынии никто не делал.

– Поучите нас, – просили ребята.

– Я и рада бы, да времени нет. С работы не отпускают.

На обратном пути заехали в маленький городок. Тут на высоком холме был монастырь и при нем гостиница. Лена, остановив машину в стороне от небольшого двухэтажного здания, сказала:

– Прошу тебя, поживи здесь два-три дня, и потом все прояснится в твоей судьбе. По вечерам я буду к тебе приезжать.

Помолчав, добавила:

– Давай условимся: говорить друг другу все, ничего не утаивать. Вот я тебе признаюсь: звонила в Париж Фишу, сказала, что ты человек наш, и пусть организует тебе защиту.

– Фиш?… Защиту?… Но что же он за птица, что может организовать мне защиту?…

– Ах, Господи!… Вот она, наша русская простота! Не можем и помыслить, что чья-то злая воля держит нас в своих цепких руках. Рабочий, стоящий у станка, колхозник, идущий за плугом, – те могут жить спокойно, они рабы, их дело кормить и обувать – создавать ценности, но если ты приподнял голову, стал заметным, – ты должен служить режиму или исчезнуть. А режим оккупационный, власть чужая, и нестрашнее для России той, что вы сокрушили на поле боя.

Я молчал. Мы сидели в машине и могли говорить, никого не опасаясь. Солнце скатилось за поддень и полетело к озеру. Оно не так уж ослепительно горело, и мы, как орлы, могли смотреть на него, не жмурясь. Мне было тяжело переваривать информацию Елены, но и не было причин сомневаться в ее правоте. Мне и Воронцов говорил примерно то же, но только в его словах я не видел столь мрачной картины и они не звучали столь безысходно. Я теперь хотел знать все больше и больше, и Елена, заглядывая в

боковое зеркало автомобиля и вспучивая ладонями волосы, говорила:

– Фридман звонил Фишу, он сказал о какой-то книге, которую ты писал Василию, о том, что у тебя все материалы… Ты ездил к капитану Ужинскому, забрал материалы о старшем сыне Сталина.

– Никаких материалов у меня нет. А Фридман большой враль и мерзавец.

– Ты теперь можешь говорить что угодно, ты вынужден опровергать, оправдываться, а по законам сионистов, масонов – тот, кто оправдывается, уже наполовину виноват. Но я хочу тебе помочь. Ну, а если так – слушай меня и не перечь. Посол болен, тебе нечего делать в посольстве. Я буду дежурить у аппарата, караулить информацию. Ну? Договорились?…

На этот раз я ничего не сказал, покорно остался в заштатном городке, гулял, бродил по нему, завтракал и обедал в чайных, кабачках, которые тут назывались бадегами. Поэт Алексей Недогонов, работавший в Констанце в военной газете, – мне суждено будет занять его место, – на письменном дубовом столе вырезал строки:

Мангалия, Мангалия,

Бадега и так далее.

Елена навещала меня каждый день, но на четвертый я ей сказал:

– Завтра утром приеду на автобусе в Бухарест и заявлюсь в посольство. Мне надоело прятаться. Да и не хочу я в Париж. Что бы мне ни грозило – останусь в России.

Елена помрачнела, глаза ее прелестные, по-детски распахнутые и счастливые, потухли, – она смотрела в сторону, будто что-то там читала. Проговорила глухим, недовольным голосом:

– Уговаривать не стану. Ты – русский; таким-то что втемяшится – не отступят. Но зачем же автобусом? Поедем со мной, сегодня же, но только накорми меня ужином.

Заказал ужин, и мы сидели с ней по-семейному, говорили о разном. Впрочем, говорила она, а я ей не мешал и не перебивал ее мысли. Ей было грустно, и она своей печали не скрывала.

– Ты уедешь, а я снова одна, и некому слова сказать; душа закрыта, на сердце холод.

– Я полагал, мне в посольстве работу дадут или тут, где-то рядом. Сама же говорила: в газете румынской хотят русского иметь.

– Хотят-то они хотят, – советского хотят, да только не русского. И нам пресс-атташе нужен – и тоже не русский, я по

заданию первого секретаря посольства справки наводила: нет ли у тебя родственников из евреев?… Оказалось, никого. Чист ты и светел, аки стекло, а для них гой поганый. Они такого-то пуще огня боятся. А и в газете румынской одни паукеристы сидят, – они тоже справки наводят. Им это просто: позвонили нашему же первому секретарю – информация готова. И ты им не нужен. Они лучше прокаженного возьмут, чем Ивана.

– Кто это – паукеристы?

– Анна Паукер у них есть, до недавнего времени членом Политбюро была. Это такое же чудовище, как в Германии Клара Цеткин, а у нас в России Фанни Каплан или мадам Крупская.

– Крупская?…

– Да, Крупская. Для нас, идиотов, она – жена Ленина, да детей любила, пуще матери обо всех нас заботилась, а она… сущий дьявол в юбке. Приказала из библиотек все книги по русской истории выбросить. Классиков вместе с Пушкиным и Толстым… Особенно Достоевского ненавидели, о котором картавый Ильич прокаркал: «Архи-с-квер-р-ный писатель!» Это за то, что Федор Михайлович «Дневник» написал, в котором сущность евреев раскрыл. И слова пророческие ему принадлежат: «Евреи погубят Россию». Много зла эта польская жидовка натворила, да только-то народу русскому ничего не ведомо. В потемках он сидит, народ русский. А те, кто вновь рождаются, и вовсе ничего не знают. Вот пройдет еще два-три десятка лет, и народятся Иваны, не помнящие своего родства. Они и знать не будут, что русскими родились, и назовут их именами чужими: Роберты, да Эдики, а иных Владиленами уж сейчас нарекли, Эрнстами, Мэлорами, Спартаками кличут. В истории нашей для них одни мерзости оставят. Уже сейчас два академика-иудея Митин да Юдин новую историю им пишут, а Марр – академик язык русский подправляет. Ну и вот… Снова я тебе невеселую сказку рассказала.

– Поразительно, как много ты узнала. Мне, право, совестно; мы одногодки, я как-никак журналист, а рядом с тобой профаном себя чувствую, круглым идиотом.

– Не казнись, Иван, и не суди меня за стариковское ворчание. Недосуг тебе было в сущность нашей жизни углубляться; самолеты водил, из пушек стрелял, а в академии учился – и там знаний подлинных не дают. Профессора-то, поди, тоже иудеи?…

– Да, уж, больше половины из них.

– Ну, вот, а иудей он везде свою линию гнет, чтобы ты род свой и отечество невзлюбил, а его, жида пришлого, во всяком деле за вожака признал и чтоб шел за ним, не рассуждая и ни о чем не спрашивая. Ты и не мог знать больше, а я меньше знать не

могла, потому как в семье потомственных дипломатов родилась: дед мой при царе в Австрии послом был, – я, кстати, и родилась в Вене. И отец тоже дипломат, а мама – переводчица. Я с младенческих лет речи гневные слушала – о России, русском народе и о жидах, скинувших царя глупого Николашку и забежавших во все кремлевские коридоры. Ну уж, и сама у пульта посольской информации четыре года сижу. Насмотрелась и наслушалась, что посол знает, то и я… – Вот они откуда мои знания. Говорила уж тебе…

– Спасибо, Лена. Ты мне глаза настежь растворила. До встречи с тобой я как в мешке сидел. Дурак дураком был.

Сгущался сумрак южного вечера, когда мы выезжали из городка. Лена держала малую скорость, одна рука ее лежала на коленях, другая на руле, – выражение лица хранило грустную мечтательность. Мое решение идти в посольство до выздоровления посла ей, видимо, было понятно; я как человек военный не мог уклоняться от общения с властями, не мог я и трусить, опасаясь каких-то злых сил.

– Одно мне в тебе не нравится – молчишь ты много. Я говорю, а ты слушаешь, и получается у нас игра в одни ворота. А мне бы очень хотелось знать о тебе побольше. Про жену бы рассказал, как встретились, любишь ли ее, и если любишь – как сильно.

– Жена – вятская девчонка, из северных, русокудрых. А глаза зеленые, как у кошки. Но главное, конечно, человек она хороший. Честная, совестливая, во всем обстоятельная. Мне с ней хорошо.

Проговорив эту тираду, я умолк, молчала и Елена. Потом неожиданно сказала:

– Не хотела бы я, чтобы муж мой, если он у меня будет, так обо мне отзывался. Эдак я могу говорить о своей машине, о квартире, но о любимом человеке!…

– Но ты теперь видишь, почему я мало говорю. Не горазд на речи.

– А еще журналист! Как же ты читателя словами зажигать будешь?…

Разговор принимал неприятный характер, и я не знал, как его свернуть на более легкую и веселую тему. Не торопилась делать этого и Елена. Было видно, что дела мои семейные – особенно же отношения с женой – сильно ее занимали. Мой же короткий рассказ расценила как нежелание входить в подробности на эту глубоко личную тему.

Набежавший холодок в наши отношения не рассеялся и утром, когда Елена, накормив меня завтраком, рассказала, как добраться до посольства городским транспортом, и уехала на работу.

В десятом часу я входил в кабинет первого секретаря посольства. За столом сидел мужчина лет сорока, полный, с розовым, гладко выбритым лицом и маленькими птичьими глазами. Смотрел на меня неприветливо и даже будто бы злобно.

– Вы где пропадаете? Мы ждали вас три дня назад.

– Посол болен…

– Ваше какое дело? Посол болен, посольство работает. Вас к нам направили по ошибке. Поезжайте в Констанцу в редакцию газеты «Советская Армия». Явитесь к редактору полковнику Акулову.

– Слушаюсь! – доложил я по-военному. И, видя, что секретарь меня не задерживает, попрощался и направился к выходу.

Вечером скоростным поездом отправился в Констанцу.

С Леной не простился. Заходить к ней считал неудобным, она же меня не искала.

В портовый город на Черном море Констанцу приехал утром, как раз к началу работы редакции. Полковник Акулов, ладно сбитый крепыш с коричневой от загара лысиной, встретил меня радушно, будто мы с ним были давно знакомы, и между нами установились дружеские отношения. У него в кабинете сидел Грибов и ответственный секретарь газеты подполковник Чернов Геннадий Иванович. Все они смотрели на меня весело, улыбались, – я понял: Грибов им обо мне рассказывал и, видимо, отзывался хорошо.

– Нам о вас звонили из посольства – но позвольте: при чем тут посольство? Вы же человек военный, а они при чем?…

– Не знаю. По-моему, тут какое-то недоразумение.

– И я думаю! – воскликнул редактор. – Я просил очеркиста, писателя, – и Шапиро назвал вашу фамилию.

– Нам очерки нужны, – заговорил Чернов, – у нас есть очеркист, но он пишет медленно, в месяц один очерк, – ну, от силы два, а нам они нужны в каждом номере. О рассказах и говорить нечего: когда праздник какой или просто воскресение – рассказ нужен, а где его взять? Я помню, мы в Москве, в «Красном соколе», и то мучились. О летчиках никто не пишет, а закажем лихачу какому, так он такое накрутит, хоть святых выноси.

– Ну, в рассказах и я не силен. Тут писатель нужен.

– Был у нас писатель! – воскликнул Чернов. – Алексей Недогонов, слышали, наверное? Он за поэму «Флаг над сельсоветом» Сталинскую премию получил. Но поэт он и есть поэт, из него не только что рассказ – заметку порядочную клещами не вытащишь. К тому ж и пил сильно.

Редактор с печалью в голосе сказал:

– В Москву поехал, там напился и под трамвай попал.

Грустная история!…

Редактор поднялся из-за стола и, обращаясь к Чернову, сказал:

– О делах потом будем говорить, а сейчас устраивай его… думаю, к тебе в номер поселим.

– С превеликим удовольствием! Вместе воробьев гонять будем. Они, черти, спать мне не дают. Ни свет ни заря прилетают на балкон и начинают свой базар птичий.

Чернов и Грибов повели меня в гостиницу «Палац», где редакция снимала дюжину номеров. Гостиница стояла прямо на берегу моря, – в прошлом белое, но теперь порядком обшарпанное здание, которое было тут же, в ста метрах от редакции. В номере Чернов показал мне койку в глухом углу, его же койка стояла у самого балкона, дверь которого по причине жарких июньских дней была все время открыта.

Из номера со второго этажа мы спустились вниз и зашли в ресторан, просторный, вполне приличный даже по московским меркам.

– Вам надо позавтракать? – сказал Чернов, – мы составим компанию.

И – Грибову:

– А, Юра?… Устроим себе второй завтрак?…

С Грибовым они были знакомы и в Москве. «Красный сокол» – газета дальнебомбардировочной авиации, ее расформировали вместе с нашей газетой, – так сказать, за компанию, – Грибов, в бытность еще нештатным корреспондентом, работал на два фронта – у нас в «Сталинском соколе» и не оставлял без внимания нашу младшую сестру. Чернов и там был ответственным секретарем газеты.

Чернов словоохотлив, говорит без умолку, – и обо всем с юмором, со смешком. Правда, юмор его мало смешит, но желание рассмешить тоже интересно, вызывает невольную улыбку.

– Ваша должность, – говорит он мне, – самая престижная, мы ее берегли для писателя. Даже заявку в Союз писателей дали, – ну, они и прислали Недогонова. Парень он хороший, веселый, и выпить был не дурак, да вот беда: ни очерков, ни рассказов не писал. Это, говорит, проза, а я – поэт. Очерк для меня черная работа… Грязной тачкой руки пачкать – ха-ха!…

– Ну, рассказ напиши, – говорили ему. – Ты должность писательскую занимаешь.

– Рассказ? – восклицал Недогонов. – Рассказы Чехов умел писать, а все остальные пишут солому. Я лауреат! И подпись свою под чем зря ставить не буду.

И уходил. И не приходил в редакцию три-четыре дня. Потом

нам звонили из городской милиции, просили прислать кого-нибудь и забрать пистолет и документы Недогонова. Ночью он где-то валялся пьяный, и милиционер, чтобы его не обокрали, забирал у него документы и оружие и сдавал дежурному по отделению.

А еще Недогонов, когда не очень был пьян и сохранял способность двигаться, шел к памятнику Овидию, лез к нему на пьедестал и говорил: «Ты, старик, подвинься, я постою на твоем месте. Ты тут триста лет стоишь, – устал, небось…» И вставал рядом, обнявшись с Овидием.

Поэт он был талантливый, но стихи для газеты, что соль для каши, – много не положишь.

– Должность спецкора занимал, – вас на нее прислали. Тут и зарплата высокая, и гонорар хороший платим. За очерк – шестьсот лей, а за рассказ все восемьсот. Такую сумму здесь инженер получает, а рабочий – четыреста, пятьсот.

Заказывали салат, семгу, котлеты по-венски… Очень бы хотели выпить хорошего вина, но – не пили. Служба. Чернов, как опытный служака, за рамки не выходил.

Поднимаясь из-за стола, сказал:

– Сегодня уж в редакцию не приходите. Знакомьтесь с городом, а завтра… обо всем поговорим.

Мы с Грибовым пошли на море, взошли на один из многих волноломов – бетонных глыб с острыми углами, – стали загорать.

– Не повезло, черт знает как! – усаживаясь на верхушку глыбы, возмущался Юрий. – Здесь море, пляж, портовый, веселый город, а меня назначили собкором в Тимишоары.

– Собкор – вольная птица, – пробовал я его утешить. Сам себе господин, – живи в свое удовольствие.

– А мне на черта свобода, если я в коллективе жить хочу. К тому ж тут штаб армии рядом, девчат навалом, – я ведь монахом-то жить не собираюсь. Ты когда укрепишься, поговори с редактором. Не дело он затеял, турнуть меня к черту на кулички. Я там с тоски сдохну.

На соседний волнолом взобрался майор в румынской форме. Поднял в знак приветствия руку, сказал по-немецки:

– Хотите со мной к дельфинам сплавать?

Посмотрел на часы:

– Скоро они будут здесь. Я с ними встречаюсь.

– А они… не кусаются?

– Не-е-ет. Они – народ мирный. И очень любят играть с человеком. Меня они знают, и вас узнают.

Мы понимали немецкий язык, и нас заинтриговало предложение майора. Я сказал:

– Я с удовольствием.

Грибов махнул рукой:

– Вы уж без меня. Я плохо плаваю.

Скоро показалась стая дельфинов, и мы с майором пошли им навстречу. Я вырос на Волге, плавал хорошо, – уверенно шел впереди майора. Дельфины, завидев нас, тоже к нам повернули. Головной, приближаясь ко мне, приподнял морду и я, к своему изумлению, явственно увидел широкую улыбку. В первую минуту оторопел, не знал, что делать, но дельфин подвернулся ко мне боком, словно приглашая на нем прокатиться. Я обнял его и почувствовал, как он мягко, плавно увлекает меня от берега. Но тут другой дельфин подплыл под меня и вздыбил над водой. И увлек в сторону от того, первого дельфина. Я соскользнул в воду и очутился между двумя дельфинами; обнял их обоих, и они стали носить меня по кругу. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди, в висках стучало, но видя, как смело играет с дельфинами майор, хватает их то за хвост, то за голову, и они вьются возле него стаей, успокаивался и я. А тем временем и возле меня уже была стая, и я то к одному подплывал, то к другому, и не было случая, чтобы меня как-нибудь толкнули, неловко задели, – я был для них как малое дитя, с которым они обращались нежно и любовно.

Боясь, что устану, что далеко отвлекусь от берега, я стал клонить к волноломам, – и дельфины тут же разгадали мое намерение, выстроились по сторонам эскортом, – то и дело поднимали морду, смотрели на меня, точно спрашивая, не нужна ли помощь. Я убежден: начни я тонуть, они тотчас бы меня подхватили и невредимым доставили на берег.

Удивительные животные! Скорее это разумные существа, с которыми человек еще не нашел формы достойного общения, не научился вполне понимать их и отвечать любовью на их преданность и любовь.

Дельфины, как мне потом сказали, не любили портовую акваторию моря, редко сюда заплывали. Я жил в Констанце три года, несколько раз видел стайки дельфинов, он они были далеко, и я уже с ними не общался.

Купались и загорали мы до обеда, а после обеда я завалился в постель и крепко уснул. Но долго мне спать не пришлось; меня разбудил вахтер и сказал, что из Бухареста мне звонит женщина и я смогу поговорить с ней из кабинета директора гостиницы.

Звонила Елена:

– Мой капитан! Вы уехали, не простившись, я плачу, и меня некому утешить.

– Извините, Леночка! Спасибо вам за все, но я считал

неуместным искать вас перед отъездом.

– Понимаю, я вас очень хорошо понимаю. Вы такой деликатный и умница. С вами приятно иметь дело. Я тут на страже, и если что – найду вас и скажу, что надо делать. Вами интересуется Фиш, вы ему очень нужны, а это значит, что вы свободны и ни о чем не думайте. Я к вам приеду. При-е-ду!… – слышите?… Найду вас, и мы будем много-много говорить. Я очень скучаю и жду встречи. Думайте иногда обо мне. Ладно?…

– Леночка, милая, я буду думать о вас не иногда, а всегда. Спасибо вам, я рад нашей встрече. Жду вас с нетерпением.

– Ах, это хорошо! Как это мило, мой дорогой капитан. До встречи, и я вас целую.

Сейчас, по прошествии стольких лет, я не могу в подробностях описать свое состояние; я только помню, что ни страх ареста, ни перспектива побега за границу не волновали меня так сильно, как этот звонок из Бухареста. Похоже было на то, как если бы резкий порыв ветра налетел на зеркальную гладь моря и вздыбил волны высотой с многоэтажный дом. Сердце мое сладко замерло от вдруг нахлынувшего счастья. Я любим этой девушкой! По всему слышал, – и по словам, но, главное, по интонации голоса, по ее счастливому возбуждению, по нетерпению, с которым она ко мне стремилась… Слышал сердцем, всем существом – она меня любит! Такое совершенное, прекрасное создание! Умница, спортсменка, чемпион – а как легко, грациозно ходит, какая головка, прическа… – глаза, на которые долго нельзя смотреть. В них тонешь, как в колодце. Они жгут и ласкают, светятся и пронзают, в них живут и луна и солнце, и небо и звезды… Я нигде и никогда не видел таких глаз, покоряющих и берущих в плен.

А Надежда?… Она и вправду во всех отношениях хорошая жена. Ведь совсем недавно и она вот так же… – покорила, взяла в плен. Что же я за человек, что так быстро падаю на дно женских чар?… Много ли будет еще женщин, которые поразят, оглушат своей красотой? И что же мне делать?… Добиваться любви и умирать в объятиях?…

Вопросы трудные, я не видел на них ответа. Самое лучшее – до срока выбросить из головы.

До срока? Но до какого?…

Хорошо, что сосед по номеру попался разговорчивый и шумный. Каким-то важным, парадным шагом ходил по комнате и в такт каждому слову махал руками, будто слова свои во что-то забивал. Они не поддавались, а он вколачивал, вколачивал.

– Очерк – это проблема, которая трет мои печенки. Стихи мне напишет пан Ручьевский, – есть у нас такой, – всякую забавную

смесь надергает из старых газет Белостецкий, – и такой есть, – но где я возьму очерк о солдате? А если рассказ нужен? Тут его хоть рожай!… А вы и очерки пишете и рассказы.

– Кто вам говорил?

– Сам читал! «Сталинский сокол» – это ж матерь наша, сестра старшая.

– Ах, да. Очерки писал, рассказы тоже!… Три-четыре были напечатаны. Но если строго говорить… – газетные. Их и рассказами-то не каждый назовет.

– Чехов тоже газетные рассказы варганил. Их тоже не признавали. В каком-то письме он жаловался: в Москве у него среди газетчиков добрая сотня приятелей, и никто из них не признает в нем писателя. А?… Вот подлецы! Вот снобы!… Я сам писал очерки, и фельетоны кропал и одни тумаки за них получал.

Чернов эти последние слова выговаривал с каким-то пронзительным визгом. И совсем фальцетом восклицал:

– Вот черти! А?… Только себя хотят видеть, а товарища в упор не замечают… Вас тоже понесут по кочкам! Что бы ни написали – все не так да не этак.

Он яростно махал кулаком и то переходил на шепот, то вдруг вскрикивал, – и смеялся, смеялся… До слез, до потери голоса. Не было ничего смешного в его речи, а он смеялся. И как раз вот над этим, над тем, что было не смешно, а он смеялся, я тоже стал смеяться. Про себя подумал: «Странный человек! Так смеяться может только большой добряк и любитель жизни».

Мне с ним было хорошо и уютно.

В ту ночь я долго не мог заснуть: и мучила меня не боязнь людей в зеленых фуражках – я думал о Надежде, о дочке Светлане и о малыше, который вот-вот должен появиться на свет.

С Надеждой мы уже прошли трудную полосу жизни – не было жилья во Львове, Вологде и Москве, не хватало денег на еду. Как мужчина, я считал себя за все ответственным, было совестно смотреть ей в глаза. Молодой, пришел с войны победителем, а жену с ребенком содержать достойно не умел.

Вновь и вновь вспоминался вечер во львовском Доме офицеров, когда я с тремя командирами своей батареи стоял в уголке залы и оглядывал ряды девчат, лепившихся у стен. И то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

– Ну, давайте смотреть самую интересную: какую покажете, на той и женюсь.

Они дружно выбрали девушку в синей юбке и белой блузке. Я подошел к ней, пригласил на танец. Она танцевала легко, как пушинка, и была стройна, как молодой лебедь.

Через три месяца стала моей женой.

Любил ли я ее?… Кому-то может показаться – любовь так не зарождается, но у меня было именно так, и я благодарю судьбу за такой оборот моей жизни. Надежда со временем мне нравилась больше и больше. Бывая с ней на встречах, вечерах, я с радостью отмечал, что она лучше других, ярче, – и даже умнее. Любовь моя не только зародилась, но и крепла с каждым днем, перерастала в дружбу, привязанность. В редакции мне встретилась Панна Корш, – на что уж хороша, а домой-то я все равно стремился, у меня и на минуту не возникала мысль о порушении союза с Надеждой.

Видимо, живы были в нашем поколении законы предков: если уж женился – живи и о предательстве не помышляй.

Но кроме традиций оставалась и биология, у нее тоже свои законы: если ты родился мужчиной и сила созидания себе подобных в тебе клокочет, – глаза твои невольно ищут кого-то и зачем-то; и если в поле зрения попался объект соблазнительный, а паче того, движется в твою сторону – тебе не уклониться, не отбежать. Не мы придумали механизм коловращения, не нам его и менять.

С этой примирительной мыслью я и заснул.

Однако спал недолго; кажется, только что смежил глаза, как над самым ухом раздался звук, похожий на пистолетный выстрел. Вскочил, и – шасть под подушку: пистолет искал по фронтовой привычке, но вспомнил, что время мирное и нет вокруг противника… Но что же?…

За дверью балкона маячит фигура, в руках палка, точно копье Дон-Кихота.

Входит в комнату:

– Черт бы его побрал, этого проклятого разбойника: ни свет ни заря, а он уже над ухом – тут как тут: чик-чирик!… А?… Ну, что вы скажете? Вы – молодой, дрыхнете, как убитый, а мне каково?… Я чуть какой звук – уже просыпаюсь. И затем заснуть не могу, хоть глаз выколи!…

Геннадий Иванович ходит по комнате и грозно поводит своей пикой – то вверх, то в сторону. Очевидно, он делает это в волнении. Вся одежда на нем – черные длинные до колен трусы. Грудь и плечи волосатые, хоть косы заплетай. На голове сноп торчащих волос, глаза красные от бессонницы.

– Сон разлажен, до двух-трех часов заснуть не могу. И только начинаю засыпать, он уж прилетел. Сядет на решетку балкона и чирикает. Да так пронзительно – у меня перепонки трещат. Мне кажется, пулемет над ухом застрочил. Вам хорошо – хоть из пушки пали, но мне-то, мне каково?…

Я сижу на краю кровати и начинаю понимать его святой гнев в адрес «проклятого разбойника». С трудом доходит до сознания:

воробья ругает. И с мыслью «Чем же я могу помочь?» валюсь на постель, но, кажется, часа не проходит – слышу истерический крик:

– Они с ума посходили! То воробей, а теперь этот… Вы слышите, как он шкрябает своей поганой метлой? Вжик-вжик, вжик-вжик!… Но ведь рано же! Людей всех перебудит.

Я снова сижу на койке и едва удерживаю клонящуюся на грудь голову. Глаза слипаются, я очень хочу спать, но Геннадий Иванович ходит с палкой по номеру и ругается на чем свет стоит.

– Нет, вы только послушайте, – этот проклятый турок так шкрябает метлой… А?… Вы слышите?…

Я начинаю понимать, что ругает он дворника, подметающего площадь перед гостиницей. Действительно, если прислушаться, то слышно, как он «шкрябает» метлой. Но зачем же в такой ранний час, когда сон особенно крепок, прислушиваться ко всем посторонним звукам?…

Я этого понять не могу и снова валюсь на подушку. И теперь засыпаю так крепко, что уж не слышу и ругань Геннадия Ивановича. Однако Чернов будит меня и в третий раз: трясет за плечо:

– Вставайте!… Пойдемте на море!…

На море?… – думаю я. – Зачем же нам идти на море, если мне еще так хочется спать?…

Геннадий Иванович берет полотенце и делает мне жест рукой:

– Пошли, пошли… Мы каждый день утром идем на море, а уж затем на завтрак.

Наскоро одеваюсь, беру полотенце и нехотя плетусь за Черновым. Вяло текут мысли: «Неужели он каждый раз… будет вот так… колобродить ночью?…»

Взбираемся на камень, расстилаем полотенце. На соседнем камне сидит и смотрит на нас знакомый мне румынский майор. Я поднимаю руку, и он меня приветствует. Я еще не знаю румынского языка, а то бы сказал ему: «Доброе утро». И еще бы спросил, приплывут ли к нам наши друзья дельфины? Однако он понимает меня и без слов, показывает на даль моря, где мы играли с дельфинами, разводит руками: «Дескать, не приплыли и, наверное, не приплывут».

Я смотрю в ту сторону, откуда, огибая порт, плыли к нам эти удивительные жители моря. Там, далеко, у самого горизонта, тянется шлейф белого, как вата, облака. И непонятно, то ли оно поднялось из глубин моря в виде испарения, то ли опустилось с неба и отдыхает, точно русокудрая красавица на пляже. Море тихо, волн почти нет, и только длинные полосы воды, движимые

незримым и неслышным волнением атмосферы, гонят к берегу весело журчащие гребешки. Море в эту пору зеленое, манит ласковой прохладой, зовет в свои объятия. Очарованный, смотрю я в нескончаемую даль, и все мои заботы, тревоги, волнения пропадают, мне легко и свободно дышится, – невольно и неосознанно я прикоснулся к вечности, и душа наполнилась тихой радостью, ощущением покоя и величия.

– Вы по уграм всегда так – идете к морю?

– А как же? – восклицает Чернов. – Было бы преступно не пользоваться этой благодатью.

Чернов был горячий, взрывной и сильно нервный человек. Занимая в редакции пост ответственного секретаря – начальника штаба газеты, он обладал самым главным для этой должности качеством: умел верно оценить материал и определить ему место на полосах. Газета «Советская Армия» была большая четырехполосная – формата «Правды», «Красной звезды» и выходила ежедневно. Но если в «Известиях», где я потом десять лет трудился, числилось в 1960 году сто пятьдесят человек, а затем с приходом туда Аджубея, зятя Хрущева, триста, то у нас на такой же объем работы было всего сорок человек. А если учесть, что в «Известиях» под руками был весь цвет столичной публицистики, художников, фотомастеров, – им кликни и они прибегут, – то в Констанце мы находились, как на необитаемом острове, а газета, что твой голодный волк, требовала еды: и проблемной статьи, и рассказа, и фельетона, и яркого фото, смешной карикатуры… – можно себе представить положение редактора и ответственного секретаря.

Чернов благодушно высмеивал главного журналиста газеты Нестора Лахно и за глаза звал его Махно; – о нем говорил:

– Я сам поставлял на полосы «гвозди», – да, в молодости умел написать и хлесткую статью, и даже фельетон, но сейчас рука ослабла, однако журналиста понимаю: «гвоздь», хотя и не иголка, но его нужно найти, покопаться, изучить, а потом уж написать. Но нельзя же, как этот чертов Махно, писать порядочную корреспонденцию полмесяца!…

– У нас в «Сталинском соколе» был Недугов, так тот рассказ писал несколько месяцев, а потом в изнеможении падал и болел еще месяц.

– А вы так и поверили Недугову. Хитрец он был великий, дурачил вас, а вы верили. Он, конечно, не Чехов, но рассказы вам писал приличные. И Устинов ценил его, и все ему прощал, потому как пусть хоть такой, да есть, а у нас в «Красном соколе» и такого не было.

Успокоившись, добавлял:

– Чехов рассказ писал за несколько часов! И писал о чем угодно. Друзьям говорил: поставьте передо мной вечером чернильницу, а утром будет готов о ней рассказ.

– Так то ж Чехов! – пытался я защитить Лахно, с которым мне предстояло вступить в невольное соревнование. – Такие таланты рождаются раз в сто лет.

Чернов уже совсем мирно заключал:

– Что и говорить: дело наше проклятущее. Все требуют от газеты яркости, новизны, разнообразной информации, – и чтоб вся жизнь была охвачена, а талант литературный – большая редкость. Я за свою жизнь в десятке газет работал, начал с районки, и представьте: писателя у нас ни одного не выработалось. Писатель, как я думаю, это такая же большая редкость, как человек на трех ногах.

Он засмеялся. И смеялся он, как и все, что ни делал, тоже необычно: как-то толчками, сухим, нутряным звуком, так что сам он вздрагивал, и при этом зачем-то зажимал рот рукой, будто и не хотел, чтобы смех его был услышан другими.

Потом о Лахно говорил тепло, душевно:

– Вы еще не видели нашего… Махно. Из сельских учителей парень, тонкий, хилый – в чем душа держится, а ишь ведь… фельетон сварганить может. Недогонов лауреат был, а его ржавой пилой пили – не напишет.

Потом мы купались, а потом шли в номер, брились и спускались на первый этаж в ресторан.

По вестибюлю шли мимо огромного, написанного во весь рост портрета Сталина. Чернов кивнул на него:

– Папа завалился: слава те, Господи!…

Интересно, что примерно так же отмечал факт смерти Сталина мой старший брат Федор. Он приехал ко мне в Москву как раз в день смерти Сталина. Кивнув на радиоприемник, из которого лилась траурная мелодия, сказал:

– Наверное, дружки помогли ему. Палачи проклятые.

Так он отзывался о членах политбюро.

И продолжал:

– Там все больше люди восточные: Берия, Каганович, Микоян… Народ жестокий, коварный: мать родную не пощадят, если на пути к власти встанет.

Я разговор не поддержал, посоветовал ему не распространяться на эту тему. Брат мой Сталина не любил. Я не однажды приезжал к нему в гости в Днепродзержинск. На встречу со мной собиралась вся его бригада электрослесарей, – и они дружно не любили Сталина. И это после Победы в 1945 году, которую газеты приписывали «полководцу всех времен и народов»

генералиссимусу Сталину.

Укладываясь спать, я сказал Чернову:

– К Сталину вы относитесь без особого уважения.

– А за что уважать? – вскинулся на койке Чернов. – Он Гитлера боялся, старался умиротворить зверя, уверял его в своем миролюбии. И для этого даже оборонительную линию по всей западной границе приказал разобрать. Перед началом войны командиров посылали в отпуск. Не верил донесениям разведчиков, называл их паникерами. Ты был в авиации – знаешь, как за день-два перед войной вы моторы с самолетов по приказу из Москвы снимали. Было такое? Скажи – было?…

– Да, было. Я и сам снимал двигатели с тяжелого бомбардировщика ТБ-3. Признаться, до сих пор не понимаю, зачем мы это делали.

– Сейчас кричат: «Победа! Победа!»… Да, немцу мы шею свернули, но какой ценой? Двадцать пять – тридцать миллионов парней уложили, пол-России немец спалил, а Германия целехонька, за исключением Берлина да еще нескольких городов, и потери у них в два раза меньшие. Так где же тут Победа? А ведь мы в обороне были. Ну-ка, вспомни боевой Устав пехоты. Какие потери должны нести войска в обороне? В два раза меньшие, чем наступающие. А у нас что получилось?… Вот она – наша Победа! Да если уж по справедливости, то его, Сталина, надо было заменить Жуковым, или Антоновым, или Василевским уже в первые месяцы войны, но не тот режим был установлен в Кремле, чтобы менять Владыку.

Мы после этой черновской тирады долго лежали, и я уж думал, что мой сосед уснул, но он вдруг снова заговорил:

– Победу нам принесла не мудрость Сталина, а глупость Гитлера. Ему бы не на Россию следовало попереть, а на Англию. Со Сталиным же нужно было заключить союз, и вместе они бы могли покончить с владычеством евреев над миром. Вот где зарыта собака, мой молодой друг, и не пытайся искать других объяснений всему, что происходило на наших глазах и что творилось нашими руками.

Резким движением сбросил с себя простыню, поднялся и стал в возбуждении ходить по комнате. Вышел на балкон, стоял там с минуту, а затем подошел ко мне близко и вскинул руки над головой. В полумраке лунной ночи он походил на зловещую тень, слетевшую на меня с неба.

– Сталина хвалят глупые пустые люди! От них только и слышишь: принял Россию с сохой, а оставил могучую атомную державу с самой сильной в мире армией. Разгромил немцев и за пять лет восстановил страну, построил первое в мире

социалистическое государство!… И представьте: все так и есть! Все это правда! Одного только не замечают пламенные интернационалисты: Сталин вслед, за Лениным разобрал главный двигатель могущества государства: лишил русских памяти. Превратил русский народ в Иванов, не помнящих родства, в безликое население, которое бредет по дорогам истории без цели и смысла. Ну, представьте вы на минуту, если бы в большой и дружной семье стали вдруг забывать, кто брат и сестра, где мать и отец? Такую семью назвали бы сумасшедшей, к ней вызвали бы доктора. Но не то ли случилось при Сталине с русским народом? Нас хватило на Победу над Германией, но уже теперь нарождаются русские люди, не помнящие своей национальности. Учителям в школах вновь запрещают произносить слово «русский». И не пройдет полсотни лет, как эти манкурты будут добровольно подставлять шею в хомут иноземных завоевателей. Вот она, правда истории! Не скоро поймут ее люди, но ты, Иван, человек русский, ты имеешь задатки стать писателем, – запомни эти мои слова и передай их будущим поколениям русских людей. Погибнет Россия, если русские не вспомнят, что они русские!

Взмахнул кулаком и пошел к своей постели.

– А теперь спать! Завтра будет много хлопот по номеру.

Чернов впервые назвал меня по имени и обратился ко мне на ты. Он годился мне в отцы, и мне приятна была такая его фамильярность.

Редактор газеты полковник Петр Васильевич Акулов кратко обрисовал мои задачи:

– Москва назначила вас специальным корреспондентом. Должность престижная, единственная в нашей газете – будем ждать от вас ударных материалов.

Я напомнил ему расхожий в среде журналистов анекдот. Поступающему новичку редактор говорит:

– Вы гвозди писать умеете?

– А что это такое гвозди?

– Ну, это такие ударные материалы – их гвоздем номера называют.

– А вы печатаете одни гвозди?

– Нет, конечно. Печатаем муру разную.

– Вот эту муру я и буду вам поставлять.

Оказалось, ни редактор, ни присутствующий здесь же Чернов не слышали этого анекдота – они долго и от души смеялись.

– Вам Чернов покажет ваш кабинет – небольшая комната с видом на море. Там за дубовым столом Алексей Недогонов сидел. Время ваше считать не будем. Знаем, что в «Сталинском соколе» вас первым пером называли. Нам приятно иметь такого

сотрудника.

– Редактор был слишком добр ко мне.

– Ладно, ладно. Не скромничайте. Собкором к сыну Сталина кого зря не пошлют! Кстати, он уже арестован. И несколько офицеров из ближайшего к нему окружения тоже попали под следствие. Но мне звонили из Главпура: за вами грехов не числится.

Из кабинета редактора я перешел в кабинет Чернова и его заместителя Михаила Давидовича Уманского. Тут Геннадий Иванович сказал, что на недавних учениях в войсках отличились связисты, – хорошо бы очерк о них написать. Если надо командировку – выпишем.

– А здесь, в Констанце, разве нет связистов?

– Как нет? Целая рота. И, кстати, прекрасные ребята!

– Ну, вот – о них и напишу.

Был жаркий день. Грибов, болтавшийся в редакции и не торопившийся отъезжать к себе в Тимишоары, потащил меня к морю.

– Ты птица вольная – можешь в редакцию и не ходить. Я бы на твоем месте…

– Ну, уж собкоровская вольница мне знакома. Ты и вообще-то можешь не писать. Пока о тебе вспомнят.

Пошли на пляж – подальше от редакции. Здесь купались и загорали солдаты. Я спросил у лейтенанта:

– Рота связи где находится?

– А вот она – почти вся здесь. Нам за успехи на учениях свободный день дали.

Разговорились. Офицер поведал мне о недавних учениях. Он оказался общительным малым и умел интересно рассказывать. На учениях случались разные забавные истории, на связь выходили генералы, старшие офицеры – кто и что говорил, и как говорили, кого и как ругами, а кого хвалили. О том же, как действовали его солдаты, – особенно один из них, – я, к сожалению, забыл его фамилию, а газет со своими очерками и статьями не собирал, – я спросил, а есть ли он здесь, этот солдат?… Офицер подозвал его, и я долго с ним беседовал.

Грибову сказал:

– Пойду вон на тот камень, а ты загорай один.

Развернул свой большой блокнот и, не долго мудрствуя, написал заголовок: «Песня солдата».

Работал часа три-четыре, не торопился, старался написать получше. И к обеду очерк был готов.

Тут самое место заметить: есть журналисты, и таких большинство, которые «делают» материал. Как правило, долго его

изучают. Лахно, к примеру, как мне говорили, неделю, а то и две собирает факты. Потом он читает подобные очерки или статьи в других газетах. И даже полистает журналы. Составляет план, ходит по отделам, советуется с опытными журналистами, как бы они решили эту тему. И уж только после этого начинает писать.

Я не однажды наблюдал, как работают мои коллеги, и очень опытные, маститые, известные и почитаемые в стране журналисты – к примеру, известинцы, с которыми я впоследствии буду работать: Юрий Феофанов, Борис Галич, Евгений Кригер, Виктор Полторацкий, Мариэтта Шагинян… Все они работали примерно так же. Уж не знаю, как они изучали, «организовывали» очерки, но видел, как писали. Процесс этот у них у всех был долгим и мучительным. Они искуривали не одну пачку сигарет, а Феофанов, Галич при этом пили коньяк, уединялись дома. Все знали: пишут! Потом приходили и нередко говорили: «Ничего не получается». Но затем, все-таки, продолжали писать. И – делали очерк. Или статью, или фельетон.

Так писал и здешний очеркист Лахно. Не скажу, что они писали плохо, но говорю, что они писали вот так.

И еще – если уж об этом я стал говорить. Каждый журналист, сколько бы он ни изучал тему и как бы мучительно ни писал, не мог выжать из себя больше того, что он мог. Все его материалы, как близнецы, были похожими один на другой. И если он вдруг скажет: «Материал мне удался! За три дня написал!» – все равно он будет точь-в-точь такой же, как предыдущий. Это как певец: и то споет, и это, но голос один, и модуляция, и диапазон, и кантилена – все те же. Если бы взять их очерки, разложить на столе и почитать – удивительное вышло бы наблюдение: все на одно лицо; как в хорошем строю солдаты. В каждом немного прямой речи, две-три попытки обрисовать психологическое движение, дать картинку природы, – редко получится удачной, – и попытка сказать что-нибудь броское, хлесткое. В итоге – статья, корреспонденция с потугой на живость.

Не мне бы это говорить, коллеги все-таки; куда как удобнее и пристойнее развести свои турусы ученому, лектору, но у них, сколько я их слушал, и вообще непонятно, что же такое очерк, статья, корреспонденция.

Подспудно, неосознанно газетчик стремится к архитектуре рассказа. Чем ближе подойдет к нему, тем интереснее очерк, любой газетный материал. Кажется, я уже приводил высказывание Горького, который, как писатель, вышел из газеты. Он чутьем художника понял: каждый факт сюжетен. У него есть начало, развитие и конец. Отсюда и природа любой заметки: она сюжетна. А уж что до очерка – тем более. И если уж очерк, то

непременно всплывает человек. А человек – это его внешность, его речь, его характер, его дело. И непременно – прямая речь. Ведь герой очерка не живет на необитаемом острове. Рядом с ним товарищи, коллеги, родные. Казалось бы, чего проще: пиши об этом так, как ты рассказываешь. Ведь рассказывать-то всякий умеет.

Газетчик склоняется над белым листом, и – о ужас! Затор мысли. Перо повисло и – ни с места. Белый лист его отторгает. Он сидит час, а слова еще не написал. И тогда из-под пера рождаются фразы: «Больших успехов в учебно-боевой и политической подготовке добился солдат Пупкин». И другая фраза: «За отличные показатели он получил благодарность командира!». И третья: «Пупкин дал слово учиться еще лучше». И так далее.

Слова и фразы, уже виденные им в других статьях много раз. Фразы не его, чужие, стертые, как медные пятаки, – шаблон, компиляция… Вот это и есть «мура разная», о которой говорил новичку редактор, мусор, которым от века заполняются все газеты.

Когда однажды на летучке в «Сталинском соколе» раскритиковали одну передовую, то поднялся комбриг Амелин, бывший некогда адъютантом у маршала Тимошенко, сказал: «Друзья мои! О чем речь?… Эта передовая написана в двадцатых годах, с тех пор она кочует из номера в номер по всем газетам – перекочевала и к нам. Ее в слегка измененном виде и предлагает нам автор. Вот если бы он написал передовую своими словами – тогда бы ваш гнев был понятен».

В той же редакции особенно жестокой критике подвергался майор Яковлев, пришедший к нам из академии. Что бы он ни написал – рвут на части. И тогда он в одну из своих заметок подверстал абзац из какой-то журнальной статьи Пушкина. На летучке один за другим поднимались особо кровожадные критики, в клочья изорвали именно это место в информации. Ну, а потом поднялся Яковлев и зачитал Пушкина. При этом сказал: «Я сделал это, чтобы проверить, насколько вы правы». А позор этот стоил ему карьеры: его уволили из газеты. Журналистская «шайка» очень спаяна, таких шуток не прощает.

Журналисту как воздух нужны литературные способности. Когда их много – близость к рассказу, когда мало – очерк, когда совсем нет – статья или потуги на очерк. Потому евреи, лишенные этих способностей, начинают ниспровергать жанры, подменять их поделками. Очерк они назовут зарисовкой, главу – главкой, а рассказ или повесть – эссе. Особенно женщина небрежно скажет: «Я набросала эскизик». И тогда уж никто ей

претензий предъявить не может.

Очерк я написал в общей сложности часов за пять и на обед явился уже с готовым материалом. Но Чернову и даже Грибову ничего не сказал, не хотел выпячивать свою способность так быстро писать. К тому же и не знал, как его воспримут. А утром следующего дня отдал Чернову.

– Как?… – удивился он. – Когда же вы успели?

На службе он называл меня на вы, а дома на ты.

Я пожал плечами,

– Но где же вы материал взяли? За очерком надо же куда-то идти.

– А рота связи при штабе армии; она тут… совсем рядом.

Позвонил по внутреннему телефону:

– Аннушка, солнышко ты мое, к тебе сейчас придет наш новый сотрудник, – ты для него постарайся. Угу, умница.

Попросил меня пройти в секретную часть:

– Там сидит Аня Чугуй, она будет печатать ваши материалы.

Анна Чугуй сидела в комнате за железной дверью, встретила меня широко раскрытыми синими глазами. Смотрела так, будто я к ней со стороны моря в форточку влетел. А моей первой мыслью было: «И здесь мне судьба посылает испытание». Аннушка была чудо как хороша. Свежа, как только что распустившаяся роза. Маленький носик, пухлые щечки… «Вот еще и в эту влюбишься!…»

Подал ей небрежно исписанные листы из блокнота.

– Разберете ли?

Аня внимательно прочла страницу. Вскинула на меня свои шальные с невысохшим изумлением глаза:

– Да, мне все понятно. Заходите после обеда. Я не машинистка, печатаю медленно.

Поблагодарил ее и вышел.

До обеда не знал, что делать. Сел за свой дубовый стол с автографом Недогонова: «Мангалия, Мангалия, бадега и так далее», смотрел на море. Справа был виден край порта, белый теплоход стоял у причала, над ним завис клюв подъемного крана, а из клюва, точно паук на паутинке, спускался легковой автомобиль. Слева смотрелся в окно моей комнаты похожий на корзинку балкон здания морского клуба. Само здание я уже осматривал и обошел вокруг; оно было построено триста лет назад, в год, когда на городской площади был сооружен памятник Овидию, коротавшему здесь, в небольшой приморской деревне, дни своей ссылки за стихи, в которых слишком страстно изображалась любовь и которые, по мнению греческого сената, оскорбляли беспорочную нравственность. Интересно, какие бы

вердикты вынес этот сенат, просмотрев хотя бы одну страницу «Московского комсомольца» или современный фильм?…

В комнату вошел, как упал с неба, человек с лицом и фигурой до боли знакомыми. Он широко улыбался, – и эта улыбка до ушей могла принадлежать только одному человеку:

– Саша… ты?…

– Не видишь, что ли? – улыбнулся он еще шире.

Я поднялся, и мы заключили друг друга в объятия.

– Бобров, черт!…

– Иван!… Я слышал, я ждал тебя.

Это был Александр Бобров, мы с ним вместе учились в авиашколе.

– И ты не летаешь?

– Ползаю, как и ты.

– Черт с ней, с авиацией! – кидал он слова-камни, – зато видишь, встретились на кукурузном поле.

– Как?…

– Румыния! Страна сплошной кукурузы. Но нам, слава Богу, подают в ресторане и мясо.

И началось обычное:

– Ну, как ты здесь?

– А-а… Будь они трижды прокляты: что ни напишешь – все не так. Роют носом – противно.

Я подумал: «Забракуют очерк, а иначе я писать не умею».

– Ты меня пугаешь.

– К тебе придираться не станут. Редактор на совещании уж сказал: «К нам едут два зубра столичной журналистики. Ты вроде бы уж и рассказы печатаешь. Начни они к тебе придираться, все скажут: "Ну, если уж эти не угодили!…"».

Действительно, ко мне не придирались. Очерк напечатали, и никто ничего по его поводу не сказал. Даже на летучке его не отмечали. Редактор хотел вывесить его в коридоре на доске лучших материалов, но я сказал:

– Я вас прошу мои материалы на доску не вывешивать и впредь, если таковые у меня объявятся.

Редактор посмотрел на меня внимательно и сказал:

– Я вас понимаю, чтобы не возбуждать зависть. Но вообще-то вы тут всех нас удивили: второй день работы – и очерк. Похоже на то, что вы привезли его из Москвы.

И потом – неожиданно:

– Вы в водное поло играть умеете? Ну, это… две команды гоняют мяч на воде.

– Играть не могу, но плавать умею. На Волге вырос.

– Отлично. Зачисляю вас в свою команду. Будете левым

крайним, ходить по глубине.

И вот – обеденный перерыв. Прежде чем идти в ресторан, редакция почти в полном составе идет на море. Вратари несут на плечах ворота с якорями, капитаны команд – мячи.

В воде располагаются по всем правилам. Только в отличие от взаправдашных игроков не все занимают места на глубине. Мне такая привилегия предоставлена. Редактор – центровой. Он стоит в воде по горло. Пожилые, толстые, не умеющие хорошо плавать – на правом фланге. Там они погружены по плечи.

Судья – толстяк и великан, подполковник Калмыков дает свисток. Игроки двинулись. Наш капитан с мячом, на него надвигается Бобров. Он черен, как негр, здоров, как буйвол, – идет посредине, распластав по сторонам руки. Редактор входит в азарт и тоже принимает позу борца на цирковом ковре. Он ниже Боброва, но сколочен туго. Мышцы плеч и рук напряжены. Лысина, как зеркало, отсвечивает солнечные лучи.

Сошлись. И оба погрузились в воду. Там идет возня. А к ним уж подоспели другие игроки середины и все – под воду. Возник бурун, почти вулкан. Я знал, как играют в ватерполо, но такой свары и ярости не видал. Из воды немного в стороне от буруна выныривает малиново-красный капитан. Выпученными глазами ищет меня. И точным броском посылает мяч мне на руку. Я понял его замысел: пройти по глубине к воротам. Что я и делаю. Ко мне бросается зашита, но не успевает. Мяч в воротах. На берегу раздаются крики: «Ура!… Браво!…» Там уж болельщики. Их набралось десятка три.

Накал борьбы нарастает. Голы следуют один за другим. Моя молодость и умение плавать во многом обеспечивают успех нашей команде. Капитан, он же редактор, мною доволен. Но в упорстве и отваге с ним может равняться лишь Бобров. Когда они сталкиваются, оба уходят под воду и возникает бурун. В него втягиваются почти все игроки. И тогда вода так закипает, что ничего уже не видно и нельзя понять, что происходит. Кому-то ногтями ободрали спину, и он, как ошпаренный, вылетает из воды, другому порвали трусы – он выныривает и, поддерживая их, матерится на чем свет стоит. Мата я давно не слышал, и мне он режет уши. А на берегу – смеются. Болельщики видят больше нас, – их смех перерастает в хохот, кто-то валяется на песке, вот-вот лопнет.

Несколько дней спустя к командующему нашей армии генерал-полковнику Голикову приехал на отдых сын. Он мастер спорта по водному поло. Генерал ему сказал:

– У нас редакция играет. Пойди к ним.

Сынок пришел. Редактор обрадовался: это хорошо, что с нами

будет играть мастер спорта. И вот первая свара. Мяч попадает к нему, на него, вопреки всяким правилам, набросилась целая стая. Он – под воду. Его достали и там. Закипел бурун. А через минуту он вылетает из воды и, поддерживая руками в клочья изодранные фирменные плавки, идет к берегу, громко обвиняя нас всех:

– А еще редакция. Культурные люди!…

Половина болельщиков лежала на песке в приступах гомерического смеха.

Больше он играть к нам не приходил.

А мы играли каждый день. Много плавок на мне было изорвано, много кровавых следов оставалось на спине, но теперь, по прошествии почти полстолетия, я вспоминаю нашу игру с чувством почти детской радости и неподдельного умиления.

Как-то я сказал Чернову:

– Эта ваша Аннушка – чистый ребенок! Ей, поди, и восемнадцати нет.

– Ребенок? Девица зрелая. У нас в деревне таких перестарками называли.

Подумав, сказал:

– Работник она хороший. Вот вам очерки печатает – единой ошибочки не сделает. А что до нашего брата, мужика блудливого, на пушечный выстрел не подпускает. Я, говорит, не монашка, но мне полюбить надо. Вишь как: полюбить! А так чтобы с кем зря – ни-ни.

– Так оно и следует. А без любви-то смысла нет. Особенно им, девицам.

Очерки писал я каждую неделю. Иногда и рассказы приносил ей. Она хотя печатала медленно, но я сердцем слышал: принимала меня приветливо, и будто бы даже рада была, когда я к ней обращался. А однажды сказала:

– Мы завтра на пляж идем. Пойдемте с нами.

Я обрадовался и сразу же после завтрака сказал Чернову:

– Сегодня воскресенье – на пляж пойду, на весь день.

– В такую жару?… А-а… Голых баб посмотреть захотел.

– Почему голых?

– А там пляж веревочкой разделен – на мужской и женский. Так женщины почти все раздетые. И ходят так, мерзавки, у мужиков под носом – дразнят, значит. Не-е-т, я туда не ходок. Лучше я в жару такую дома книжку почитаю.

Грибов, как я понял, уж завел себе любезную, – у нее на квартире пропадал. Бобров на пляж не ходил: у него голова от солнца болела. Я и пошел один. Аня стояла на пустом песчаном пятачке, завидев меня, подняла руку. Я не спеша к ней приближался; видел ее в купальном костюме и, как от яркого

солнца, жмурился. Строением фигуры она не была совершенна, как моя Надежда или как Елена, – во всем у нее была какая-то ребеночья припухлость, она походила на румяный, свежеиспеченный пирожок. Но именно эта примечательность ее словно бы игрушечной фигурки и придавала ей особенную прелесть, я испугался ее обаяния, ее красоты. Или уж я так устроен был в молодости – легко поддавался женским чарам, но, скорее всего, судьба в награду за такое к ним отношение посылала мне женщин редкой красоты и еще более редкого благородства и, я бы сказал, величия. Теперь моя жизнь на закате, могу подвести итог: никогда и никаких конфликтов с женщинами у меня не было. Наоборот, каждая из них, становившаяся мне в той или иной степени близкой, выказывала свойства души более высокие, чем мои собственные.

Надо тут заметить, жизнь частенько ставила меня в обстоятельства, где я подвергался испытаниям на прочность. Четверть века журналистских мытарств носили меня по свету в поисках интересного, необыкновенного, – я часто отлучался, и надолго, а трижды вынужден был выезжать из дома в общей сложности на десять лет. Жена моя Надежда работала сначала в институте, а затем ученым секретарем биологического факультета Московского государственного университета, – занималась спортом, ходила в турпоходы, отпуска проводила в кругу друзей на море, и никто ее не мог заподозрить в супружеской неверности, в непорядочности по отношению к друзьям и близким. Это был человек удивительной гармонии: северная неброская красота сочеталась в ней с самыми высокими свойствами русской женщины.

Жена моя знала о «легкости» моего нрава, восторженном отношении к женщинам и на это говорила: «Что же вы хотите? Литератор, ему нужны объекты для вдохновения».

«Объекты» же, которыми я вдохновлялся, может быть, и огорчались при расставаниях, но ни одного слова упрека я от них не слышал. Наоборот, одна моя близкая знакомая из Донецка, когда я там три года был собкором «Известий», выйдя замуж и уехав в Киев, на второй же день прислала мне телеграмму: «Помню, люблю, жду».

Привел я эту телеграмму, а сам подумал: уместны ли здесь такие откровения? В литературных воспоминаниях обычно избегают амурных тем, не любят муссировать любовные коллизии, особенно этим отличаются мемуары военных начальников, но я всю жизнь был человеком обыкновенным, можно даже сказать, маленьким, – и, может быть, потому стараюсь показать жизнь во всех проявлениях. Наверное, есть

люди, в том числе уважаемые, достойные, в жизни которых женщины не играли заметной роли. Тогда иное дело, можно эту сторону и опустить, но что касается моей жизни, я бы в ней отметил две примечательные черты: первая – во всех моих делах, и особенно в мире духовном, психологическом, важнейшую роль играли женщины; а во-вторых, я как сквозь строй шел между евреями и они, как шомполами, больно лупили меня по спине. Ни одну книгу я не написал без моральной поддержки и без самой разнообразной помощи женщин, и ни одну книгу не напечатал без жесточайшего сопротивления евреев. Ну, и как же после этого я бы в своих воспоминаниях не писал о женщинах, как бы я не сказал в их адрес добрых благодарственных слов?…

Лена мне очень понравилась, но странное дело! Возможно ли такое? Мне так же сильно, почти до умопомрачения, понравилась Аннушка Чугуй. И я, зная свою обремененность семьей, чувствуя глубокую привязанность к Надежде, не позволил бы себе смутить покой такой прелестной, и как мне чудилось в первое время, юной девочки, если бы она первая не дала мне знак: пойдемте на пляж. Наверное, она и не догадывалась, какой соблазн мог иметь для здорового молодого мужчины один только ее вид, да еще в купальном костюме. А, может, и знала об этом, и ей доставляло удовольствие смущать покой невинного человека, выбивать его из колеи привычной деловой жизни. Ведь как раз в это время Чернов Геннадий Иванович лежал на нашем камне и мечтательно оглядывал даль моря, и ни о чем не думал, не забирал себе в голову дерзких рискованных мыслей, – он отдыхал, и я бы мог с ним лежать рядом и, может быть, даже спать безмятежно, а тут ют смотрю на нее и вижу, как она улыбается и говорит мне: «О чем вы думаете?…» Наивное дитя! Ну, о чем может думать молодец, вроде меня, глядя на такое диво?…

Вспомнил я каламбур, слышанный еще во время курсантской жизни. Солдата или курсанта спросили: часто ли он думает о ней? И он сказал: «Я всегда думаю об ёй».

Аннушка оказалась искусной пловчихой; увлекла меня далеко в море, и все плывет и плывет в глубину, а я следую за ней, и уж начинаю думать, не русалка ли она, завлекающая меня в такую даль, откуда я не смогу добраться до берега. Подплываю к ней поближе:

– А если я начну тонуть?

– Ляжете на спину, а я возьму вас за чуб и потащу к берегу.

– Хорошенькая перспектива! Такая хрупкая куколка тащит здоровенного дядю.

– Куколка? Почему куколка? Разве я похожа?

– У нас в загорской Лавре продают матрешек – у них такие же

небесные глаза, как у вас.

– Я уж и понять не могу: комплимент это или наоборот?

– Ваши глаза как бездонные озера, в них, наверное, не один уж Дон-Кихот потонул.

– Вы хотели сказать: Дон-Жуан?

– Дон-Кихот тоже любил женщин. И он их любил более красивой и возвышенной любовью. Но позвольте, куда вы меня завлекаете? Я ведь могу отсюда и не выплыть.

– Ага, испугались! Ну давайте повернем к берегу.

Потом мы лежали на песке, загорали. Аня оказалась очень умной, тонко чувствующей юмор. Она мне рассказывала о редакторе, о Чернове, об Уманском, который был его заместителем и, как выразилась Аня, «все знал». Я рассказал о Фридмане, который тоже все знал, – заметил, что евреи, как сообщающиеся сосуды, они много говорят между собой, подолгу висят на телефонах…

Аня вдруг спросила:

– А вы не любите евреев?

– А почему я должен их любить? Почему никто не спрашивает, люблю ли я киргизов, грузин, эстонцев. Почему это для всех важно: любит ли человек евреев?…

– Не знаю, но все евреи в нашей редакции про каждого русского хотят знать: любит ли он евреев? Некоторые об этом прямо меня спрашивают.

– Но откуда вы можете знать?

– Ко мне все заходят, многие мне строят глазки. Мужики, как коты: фу! Неприятно! Особенно евреи. Эти так норовят облапить, головой прислониться к щеке. Я таких ставлю на место, но они заходят в другой раз и снова пристают. Неужели не понимают, как они мне противны.

– В редакции много евреев?

– Открытых не очень, но скрытых – через одного. Не вздумайте откровенничать: загрызут.

– А наш редактор?

– У него жена еврейка. Ой, это такая броха! Она сюда приезжала. Он мужик как мужик и даже глазками стреляет, а она – тьфу! Вы бы посмотрели! Ноги толстые, как тумбы, голова к плечам приросла – так разжирела; ходит как пингвин. Он-то благодаря ей и полковником рано стал, и редактором его назначили.

– Вы, Аннушка, точно работник отдела кадров, такие тонкости знаете.

– Уши есть, вот и знаю. Я слушать умею. И – молчать. А в нашем коллективе это важно. Вот послужите – увидите.

Сощурила глаза, надула губки:

– А в политотделе яблоку негде упасть. Там генерал Холод – чистый еврей, и все его заместители на одно лицо. Вот кого надо бояться! Чуть что, они на парткомиссию тащат. Там тебе за пустяк какой живо выговор влепят, а как выговор – так и из армии по шапке.

– Ты знаешь такие подробности?

– Как же мне не знать, я документы оформляю.

– А вот за то, что я с вами на пляже загораю? Тоже могут влепить?

– О, да еще как! А только со мной можно. Я если что, так редактору и самому Холоду скажу: сама к вам подошла.

Сверкнула голубизной глаз, добавила:

– Так что со мной… – не бойтесь. Разбирают, если женщина жалобу подает. А потом не думайте, что со всяким я на пляж пойду. С вами мне интересно. Столичный журналист, а еще говорят – писатель.

– Никакой я не писатель, несколько рассказов напечатал.

– Не скромничайте. Нам если рассказ нужен, в Москву звонят, писателя ищут. Алексей Недогонов у нас работал, лауреатское звание получил – сам Сталин его в списке утвердил, а рассказик паршивый написать не умел. Я, говорит, поэт, и вы ко мне не приставайте.

– Он и действительно поэт, а рассказы пишут прозаики.

– Пушкин тоже был поэт, и Лермонтов поэт, а вон как прозу писали. Да вы что от меня так далеко лежите? Я не кусаюсь.

– Вы же сами рассказывали, как на место ставите тех, кто к вам прикасается.

– Ну, прикасаться – одно дело, а лечь поближе, так, чтобы я вам не кричала, – другое.

Я лег к ней поближе, углубился в горячий песок, а она, не глядя на меня, продолжала:

– Вы – другой человек, вы на женщину с уважением смотрите, – даже вроде как бы и с робостью. Вот ведь и женаты, и дочку имеете, а ведете себя не как другие, женатики. Я таких, как вы, сразу вижу – и по взгляду, по тону голоса, по жестам. Это потому, что уж старая я, мне скоро двадцать шесть будет. Не вышла замуж, так видно уж не выйду. Мои ангелы все куда-то мимо летят. С войны-то мой возраст не вернулся, почти не вернулся.

– Это так. Много нашего брата там полегло. Даже и вспоминать страшно.

– Вы вот, слава Богу, остались. Вам счастье военное улыбнулось. Летчик, а уцелел.

– Да, повезло.

Не хотелось развивать беседу на эту тему, лежал на животе, смотрел перед собой. Впереди у дороги стройным рядом белели виллы зажиточных румын. Крыши плоские, они же солярии для загорания. И нет возле них заборов, не растут деревья; знойная пустота дышит полдневным жаром.

Аннушка встала, набросила на меня мою майку:

– А то еще сгорите.

Расстелила на песке белую ткань, достала из сумки бутерброды, два апельсина.

– Дайте мне вашу сумку, я пойду на пляж и куплю продукты.

На пляже было несколько ларьков и лотков с разными вкусностями, я накупил конфет, печенья, воды и фруктов, – мы устроили целый пир, а затем еще загорали и купались до позднего вечера. Когда же оделись, Аня мне сказала:

– Вы идите по берегу к своей гостинице, а я прямо пойду в город. Пусть нас никто не видит.

Глава третья

Елена не звонила. И я уже перестал ждать ее звонка, как вдруг однажды, когда мы с Черновым укладывались спать, меня позвали в кабинет директора гостиницы.

– Вам звонят из Бухареста, – сказал швейцар.

В трубке звучал звонкий игривый голос:

– Милый капитан! Как вы там устроились, как живете?

Я сказал, что мне хорошо и я благодарю ее за участие и заботу.

– Заботы моей никакой нет, но мое участие вам еще понадобится. В следующую субботу Акулов и Кулинич поедут на утиную тягу в королевский Охотничий домик. Попросите Акулова, чтобы он вас взял с собой. Там мы встретимся.

– А если Акулов меня не возьмет? Наконец, где я добуду ружье и амуницию?

– Акулов вас возьмет, он будет вас приближать и опекать, а ружье и все, что нужно, вам даст подполковник, который живет на улице Овидия, восемь.

На Овидия, восемь я пошел вечером следующего дня. Спросил подполковника, и ко мне вышел молодой мужчина в белой рубашке с засученными рукавами, кудрявый, черноглазый, с тонким горбатым носом – типичный еврей, но, может быть, и армянин. Он долго меня разглядывал и ничего не говорил. Я тоже молчал, не зная, что сказать. Наконец, он склонился ко мне, тихо спросил:

– Вы от Елены?

– Да, она звонила.

– Тогда проходите.

Я очутился в большой, хорошо прибранной комнате, в углу которой стоял немецкий приемник, а рядом с ним телефонный аппарат. У нас в редакции были внутренние телефоны, а городской и общеармейский стояли лишь у редактора, у его заместителя полковника Кулинича да у начальника отдела информации майора Беломестнова.

Подполковник набросил на плечи китель, попросил хозяйку принести нам вина и фруктов. Сверля меня раскосыми восточными глазами, спросил:

– Вы, как я надеюсь, уже будете капитан Дроздов? Я не ошибся?

– Нет, вы не ошиблись.

– О! К нам залетела важная птичка, и это хорошо, что вы ко мне пришли.

По стилю речи, по интонации я понял, что передо мной еврей, и это меня сильно насторожило. «С кем же она водится? – подумал я о Елене. – Хороши у нее друзья!»

То, что она работает на два фронта и что главная ее забота о Родине, о России, я как-то забыл, а если и не забыл, то не считал такое заявление серьезным. Если уж ты с Фишем и этим… Впрочем, не торопился делать окончательных заключений, решил дать времени разъяснить все обстоятельства.

Разливая вино, хозяин говорил:

– Помощник Сталина! Это же так хорошо, так хорошо!…

– Я не был помощником…

– Не надо, не надо! – поднял руки над головой подполковник. – Если уже помощник, так это помощник. Это ничего, что вы по штату занимали другую должность, но вы помогали Сталину писать книгу…

– Я выполнил два-три поручения по сбору материала…

– О! Собирали материал! Это разве мало? Да если бы я собирал материал… О! Вы наивный человек. Вас везде называют помощник… – я-то уж знаю, я служу в органах и много чего знаю, и если уж все говорят, то зачем вы говорите другое. Помощник Сталина! Вы как-нибудь знаете, что это значит? Вот вы занимаете место писателя, Недогонов тоже занимал это место, но если ему надо было уметь писать, то вы можете ничего не писать. Все равно и Акулов, и Кулинич позовут вас в кабинет, и вы будете сидеть, и пить с ними чай, а как же иначе? Им же хорошо везде сказать, что вы были помощник у Сталина, а теперь помогаете им. А?… Что же тут еще надо доказывать?

– Я работал не у Сталина, а у его сына.

– О! Ну, что вы за человек! Вы были у Лены, такой умной женщины, – и, кстати, красивой. Вы заметили, как она красива?… Не знаю, как вы, а я заметил. И многие другие замечают. И сам посол тоже заметил. А когда у них на банкете был наш генерал-полковник – он тоже заметил. Он хотя и лысый, и толстый, и лет ему за шестьдесят, а когда сидел с ней рядом… Вы бы посмотрели. Да, Пушкин иногда говорил дельные мысли: «Любви все возрасты покорны…» Так Лена вам разве не говорила?…

– Что?

– А то, что быть помощником Сталина – хорошо. И вы нигде не говорите, что это не так. Вы должны помнить: это всегда хорошо, и вам всю жизнь будет выгодно.

– Хорошо, я вас понял. Лена мне сказала, что вы можете одолжить мне ружье.

– И ружье, и резиновые сапоги, и такую куртку с капюшоном, что не боится дождя. Вы ко мне будете приходить, а я для вас все

найду.

– Но я еще не уверен, согласится ли Акулов взять меня на охоту.

– Акулов будет рад! Вы такой уже человек, что он будет сильно рад!…

В таком-то вот духе мы беседовали с ним долго, я пить вино отказался, на что подполковник сначала обиделся, а потом сказал:

– Мне бы тоже надо не пить, да вот, вот… слаб. Немного, но пью. И курю. Оттого дефицит веса. И в случае болезни быстро истощится резерв, потому как резерв в сале, – это как у верблюда: он долго не ест и не пьет, а идет, и много на себе тащит, потому как у него горб и в нем резерв.

За ружьем и амуницией я обещал зайти после того, как договорюсь с полковником. На том мы расстались.

Редактор – человек сдержанный, во всяких обстоятельствах сохранял важный вид, но когда я как бы между прочим заговорил об охоте, он оживился, предложил войти в их компанию и по субботам ездить с ними на охоту. Сказал, что охотников в редакции двое – он и полковник Кулинич, а теперь будет святая троица. И еще сказал, что в газете уж напечатаны три мои очерка, я могу получить гонорар и купить ружье, ягдташ, патронный пояс и всю необходимую амуницию.

– У нас тут хороший военторг, в нем вы все купите. И не забудьте резиновые сапоги, куртку с капюшоном и еще что вам посоветует продавец.

В тот же день после обеденной игры в водный мяч, во время которой мне удалось избежать царапин на спине и сохранить в целости мои моднейшие плавки, я пошел в военторг и закупил там все необходимое. Ружье двухствольное, немецкое – «Зауэр-три кольца». И на все про все у меня ушла всего лишь половина суммы гонорара, которую я заработал за неполный месяц. Печатали меня без ограничений, и деньги за мою должность и гонорар платили хорошие. Бухгалтерия такова: месячный оклад мой составлял две тысячи пятьсот рублей, да столько же я получал авторского гонорара. Сверх того, мне платили половину всего заработанного – леями. Все рубли я отсылал Надежде и маме моей Екатерине Михайловне, которая жила в Сталинграде, леи оставлял у себя. Это было много, особенно после того, как я стал печатать рассказы – у себя в газете и в других периодических изданиях. За леи я безбедно жил и покупал русские книги, которых в Румынии было много. За три года я собрал библиотеку в тысячу томов. А кроме того, купил автомобиль «Победу» и помог старшему брату Федору построить дом в

Днепродзержинске.

Цены в Румынии были таковы: килограмм хлеба стоил две леи, литр виноградного вина полторы леи, килограмм мяса шесть лей. Хорошо изданный том Пушкина, Толстого или Тургенева я покупал за семь лей. Обедал в ресторане за пять-шесть лей.

И напомню: рабочий в Румынии получал шестьсот лей в месяц, инженер восемьсот-тысячу.

Подробно пишу об этом, чтобы показать, как тогда обеспечивали нашу армию и как теперь ее морят голодом захватившие власть в Кремле чужебесы, назвавшие себя демократами. Мне могут сказать: хороша же была оккупация! Да, оккупация была и тогда, но в то время она была робкой, власть еврейская не была еще абсолютной. Был Сталин, был маршал Жуков, были другие маршалы, одержавшие победу в войне с немцами, – иудеи их боялись, их походка была кошачьей; они сидели во многих коридорах власти, но на всю империю их власть еще не распространялась. Они еще только налаживали процесс подтачивания, «подпиливания» всех фундаментов могучего государства, вели за ручку в руководящие кабинеты Назарбаевых, Кравчуков, Эдиков Шеварднадзе, людей злобных и алчных, люто ненавидящих русский народ: сокрушительный обвал был еще впереди. И главный предатель народа Миша Горбачев – «меченый», как назвали его в народе, еще сидел за рулем комбайна и зарабатывал себе авторитет, чтобы вскоре прыгнуть в райком партии, а затем в крайком, а уж оттуда в кресло Генсека.

Зашел к Кулиничу, первый раз за время работы в редакции. Чувствовал, что он меня ждал, делал всякие знаки, приглашения, но я не заходил, однако от Аннушки, и от Чернова, который на еврейскую тему со мной долго не заговаривал, – очевидно, ждал моих откровений, но потом его «прорвало» и на эту тему, и оказалось, что он в своей взрывной, как шашка тротила, душе несет к ним такой заряд неприятия, который по силе не меньше заряда антисталинского. Словом, я уже знал, что Кулинич – ребби, местный раввин, и, может быть, даже его власть распространяется на всех сынов Израиля, находящихся в Констанце.

– Заходи, капитан. Садись вот сюда – тут не так жарит солнце.

Кулинич имел много лишнего веса, цвет лица у него был землистый,– он очень страдал от жары и все время искал тени. В водное поло он не играл и увлечения этого не любил, считал недостойным для взрослых дядей увлекаться такой «безобразной», как он говорил, игрой.

– Ну, жарит, ну жарит, чертово солнце! У нас в Хохляндии на что уж тепло, а и то не так жарко.

Подходит к окну, смотрит на градусник, укрепленный с внешней стороны:

– Вон – видишь: скоро подойдет к сорока. Ну, можно ли терпеть такое пекло?

Кулинич говорит чисто русским языком, в его речи я не слышу того характерного акцента и той манеры, которая, кажется, въелась во все клетки каждого еврея. Заметил я, что жид, если он особенно возбужден, не может избавиться от свойственной для них манеры говорить. Кулинич не картавит, чем очень гордится, и всех евреев называет картавой шайкой, не понимая, впрочем, того, что нееврей никогда так резко и уничтожающе о евреях не скажет. Он так же часто повторяет: «У нас, в Хохляндии», эксплуатируя счастливый для его биографии факт рождения на Украине и не совсем еврейскую фамилию. От желания выдать себя за «хохла» он и анекдоты, и притчи, и всякие цветистые присловия замешивает на почве украинской. Например, частенько вам скажет: «У нас, в Хохляндии, говорят: бить будут не по паспорту, а по морде». Или расскажет притчу, как хохол тронул голой ногой холодную воду в реке, отдернул ее со словами: «У-у… жиды проклятые!» А еще станет рассказывать, как у начальника-еврея была секретарша-еврейка. Она вошла к нему и сказала:

– Вам взут.

А начальник ее поправил:

– Не вам взут, а вас звут.

И так они долго препирались, не в силах понять друг друга.

Обо всем этом мне расскажут позже сотрудники редакции, вспоминая Кулинича. Мне-то уж общаться с ним не придется; мой визит к нему был единственным и последним.

Кулинич одобрил мои покупки, о которых я ему рассказал, особенно ружье.

– Оно легкое. И бьет метко. Немцы умеют делать хорошие ружья.

Пригласил меня ехать в его собственной машине. С тем мы и расстались до субботы.

В машине нас было четверо: мы, охотники, и шофер. Кулинич, устраиваясь поудобнее в левом углу заднего салона, говорил: люблю ездить всегда в одном вот этом уголке: уютном и удобном.

Задернул зеленую шелковую занавеску, приготовился дремать. Акулов сидел рядом с шофером, а я с Кулиничем.

Впереди нас выехали и с ходу взяли большую скорость три

машины. В одной из них ехал знакомый уже мне подполковник. У него было трехствольное дорогое ружье и новенькая первоклассная амуниция. Проходя мимо нашей машины, он весело с нами поздоровался, а мне подмигнул как старому знакомому. Кулинич, провожая его взглядом, негромко проговорил:

– Не люблю эту братию.

– Почему? – вырвался у меня вопрос.

– Страшные люди! Говорят, их на фронте пуще огня боялись.

Они и сейчас, попадись им в руки, кожу сдерут.

– Ладно вам пугать капитана. Он вчера к подполковнику в гости ходил.

Меня словно кипятком ошпарило: знает! Счел нужным доложить:

– За ружьем ходил, да за резиновыми сапогами.

– А почему к нему, а не ко мне? – удивился Кулинич.

– Да и я бы вас всем обеспечил. У меня три ружья на стене висят.

– Из Бухареста мне звонили. Знакомый дипломат и надоумил меня в ваше общество включиться, и посоветовал к подполковнику зайти.

На мое счастье больше мне вопросов не задавали. Но я все-таки спросил:

– А почему его надо бояться?

– А-а… – протянул Кулинич. – СМЕРШ – одно слово. Контора у нас такая есть. Он там. А между тем морда у него самого что ни на есть шпионская.

Я подумал: «Как он его честит. Не боится. Своего-то чего бояться?… Ворон ворону глаз не выклюет».

Кулинич, конечно, был убежден, что ни Акулов и ни, тем более, я не разгадаем эту его тайную мысль. Я потом пойду по жизни бок о бок с евреями, четверть века буду обращаться в среде журналистов, где их так же много, как селедок в бочке, а затем все долгие годы и до нынешних дней потечет моя жизнь в мире писательском, а тут, мне кажется, их еще больше; еще Федин, немец по национальности и любимец евреев по причине нежности, к ним проявляемой, как-то в минуту раздражения воскликнул: ныне всякий мало-мальски грамотный еврей – уже писатель! Так вот и я, изучивший психологию еврея больше, чем своего родного, русского, убедиться мог в их наивном заблуждении насчет ума и смекалки русских людей. Кажется им, что мы, русские, не способны понять их постоянных хитросплетений. Частенько они вот так, как Кулинич, изобретут на ходу приемчик, будто удаляющий их от еврейства; чаще всего

своего ругнут, а то вздумают еврея спрятать, замаскировать, – и так при этом простодушно верят, что мы, русские, ничего не понимаем, а нам смешно бывает и жалко бедного иудея. Заметил я: их ум не глубок и все они, как один, лишены таланта, особенно в тех делах, куда они с таким упорством стремятся: литература, журналистика, сцена, музыка, наука. Они могут прилично сыграть роль, как это делали Быстрицкая, Целиковская, Миронов, Ульянов, но стать Грибовым, Массальским, Тарасовой, Гоголевой им не дано. Об их непробиваемой глухоте в музыке нам поведал великий немец Вагнер, о литературе говорить не приходится: Эренбург, Катаев, Бабель, Чаковский и целый сонм современных поэтов от Вознесенского до Ахмадулиной свою бездарность и способность греметь как пустые бочки нам ярко показали, а когда мы говорим об ученых, я представляю Сталина, – эпизод, когда он выслушивал доклад какого-то чиновника из ЦК, предлагавшего список ученых, которым следует поручить создание атомной бомбы, – и среди них назывались имена академиков Тамма, Векслера, Ландау. Раскуривая трубку, Сталин сказал: «Это те ученые, которые много обещают и ничего не дают? Нэ надо их».

Я вывел одну отрадную для нас, русских, закономерность: насколько плохо знает нашу душу еврей, настолько глубоко проникаем мы при долгом общении с ними в их внутренний психологический механизм. Отсюда же вытекает и тот очевидный факт: ни одного яркого или сколько-нибудь верного образа русского человека не удалось отобразить в литературе еврею, и зато как много ярчайших, верно угаданных и глубоко проникновенных персонажей, образов и даже типов евреев создали в своих произведениях русские писатели. Вспомним Янкеля из повести Гоголя «Тарас Бульба», оборотистого жида из бессмертной книги Достоевского «Записки из мертвого дома», а «Яму» Куприна? А рассказ «Жид» Тургенева? «Жидовская кувырк-коллегия» Лескова? Наконец, семья евреев из чеховской «Степи», пламенные чекисты из «Страны негодяев» Есенина… Все главные произведения Ивана Франко посвящены разоблачению иудейства. Заметим тут кстати, что жида нам не показали только писатели, породнившиеся с евреями. Стыдливо умалчивал о наличии в нашей жизни этой роковой силы многомудрый Лев Толстой, глубокомысленно закрывал глаза на них всезнающий поводырь советской литературы Максим Горький, боялись тронуть их пальцем Алексей Толстой, Федор Панферов и уж, конечно, изощренный шабес-гой Фадеев. Одни боялись Луначарского, другие покорно, с угодливой улыбочкой, выпрашивая лауреатские медальки, бежали под хлыстом еврея Чаковского, больно стегавшего по нашим спинам своей «Литгадиной», которую

родная коммунистическая партия вручила ему с тайным замыслом отучить русских писателей от слова «русский».

Не отучила. Жив курилка! Мы еще помним, что есть на свете русские люди, есть и вечно пребудет Россия!

Что же до писателей, которые закрывали глаза на важнейшую проблему русской жизни: проблему еврея, то о них можно сказать словами Дрюмона: «Им не удалось сварить и кошачью похлебку». В самом деле, как жалко выглядят их книги сегодня, когда на глазах у всего мира сбывается пророчество Достоевского: «Жиды погубят Россию». Они погубили Советский Союз, повысили смертность, почти на нет свели рождаемость; миллионы людей вымирают ежегодно в голоде и холоде… Где ж вы были, господа русские писатели советского периода нашей истории? Почему не показали людям эту страшную опасность? Народ кормил вас, обувал-одевал, построил для вас прекрасные жилища, от своей скудной зарплаты выделял вам жирные гонорары, – вы видели крадущегося в Кремль врага, не могли не видеть! – и – молчали. Подло, трусливо – молчали. И свою-то жизнь вы кинули коту под хвост. Где ваши книги? Кому нужны теперь ваша ложь и фарисейство? Кто добрым словом помянет ваши имена, вспомнит лоснящиеся жиром физиономии, увешанные медальками лацканы пиджаков? «Подпиливателями» назвал вас ваш же коллега Солоухин, который и сам, вымаливая лауреатские медальки, всю жизнь шаркал каблуками в приемных литературных генералов. Насмотрелся я на вас, наказнился. Дорого мне дались душевные страдания свидетеля этого очередного грандиозного предательства русской интеллигенции. И пусть мне простят ваши дети и внуки – не могу я не сказать об этом своему несчастному народу. А если мне скажут: «Ты тоже был участником этого постыдного спектакля», я подниму над головой «Литературную газету» с разносными статьями в мой адрес и покажу на статью А. Яковлева «Против антиисторизма в русской литературе» – в ней отец перестройки назвал дюжину особо вредных русских писателей, вредных для него, конечно, и для его друзей. Там было и мое имя. Главный демон Кремля тогда начисто перекрыл нам кислород, и нас прекратили печатать. И не будь у меня этого убедительного алиби, пожалуй, я бы не осмелился бросить в лицо моим прежним товарищам такие ужасные обвинения.

Итак, мы ехали на охоту. Наша машина была средней в ряду трех машин, вылетевших из Констанцы на простор Бараганской степи и устремившихся по хорошо накатанной грунтовой дороге к Королевскому охотничьему домику, стоявшему, как мне уже рассказали, на невысоком холме посреди бескрайних зарослей камыша и озера, в котором «не утонешь» по причине мелководья.

Впереди следовала группа офицеров штаба армии и с ними мой грозный знакомец из таинственной конторы СМЕРШ, которого я и имени еще не знал, а сзади нас следовал большой, сверкающий черным лаком «ЗИМ» – в нем ехали высшие чины армии и с ними командующий румынской группировкой генерал-полковник Филипп Иванович Голиков.

Проехав небольшую деревню, выкатились на бугор, за которым среди посадок низкорослых деревьев виднелось железнодорожное полотно. Я видел, как слева из-за посадок показалась красная змейка рапида – скоростного поезда, недавно пущенного по железной дороге, пересекавшей Румынию. Водитель тоже увидел поезд и прибавил газ, чтобы проскочить раньше рапида, и нам бы это удалось, но, вскочив на полотно, машина вдруг закашляла, сбавила ход и рапид, несущийся со скоростью сто восемьдесят километров в час, ударил краем локомотива наш автомобиль. Его отбросило в посадку. Мы с Акуловым попытались вылезти, но дверцы не открывались. К нам бежали генералы и офицеры из задней машины. Кто-то рванул мою дверцу, и она распахнулась. Я вывалился. И, не успев подняться, услышал: «У него кровь! Вытаскивайте его!». Я подумал: «Зачем же меня вытаскивать, если я уже вылез? И никакой крови у меня будто бы нет». Но тут на руках у двух генералов увидел Кулинича. Изо рта у него на куртку струилась кровь. В широко открытых глазах застыло удивление: «Что вы со мной делаете?…» Кто-то сказал: «Разбита голова. Он мертв».

Кулинича положили на траву, расстегнули куртку. Кто-то прислонился ухом к груди, слушал сердце. Потом подошли к Голикову, что-то говорили. Там же был полковник Акулов и подполковник из СМЕРШа. Я слышал, как кто-то сказал:

– В городскую больницу.

Наш водитель завел мотор, проехал по дороге – взад, вперед. Сделал круг возле холма и подъехал к нам. Слева в верхнем углу кузова была неглубокая вмятина – место удара локомотива.

– Машина исправна, – сказал водитель. И голос его прозвучал неумеренно громко.

Генерал-полковник приказал Акулову сопровождать Кулинича. Все засуетились, занесли полковника в автомобиль, и они отправились в город. Подполковник из СМЕРШа пригласил меня в свой автомобиль.

Ехали молча; я сидел, как и в той машине, в правом углу заднего салона. Вспоминал, как, устраиваясь поудобнее в своем левом углу и задергивая шелковую зеленую занавеску, Кулинич с чувством удовольствия и тихой радости говорил, что любит ездить именно на этом месте и ни на каком другом, как он

закрыл глаза и задремал. Ехали, покачиваясь на ухабах, а он, видимо, уже и уснул, как вдруг я увидел красную змейку рапида. Она не ползла, а летела между посадками, а он дремал и, наверное, спал, а она приближалась… Его судьба, его смерть. «Вот так же, где-нибудь… – подумал я и почувствовал озноб, и меня будто бы слегка затошнило…». Взглянул в левый угол салона – там так же, как и Кулинич, сидел какой-то генерал, и так же безмятежно дремал, – может быть, даже и спал. Лицо было запрокинуто на спинку сиденья и ничего не выражало. «Интересно, думает ли он о Кулиниче?» Присмотрелся к нему и разглядел его черные брови, и ресницы были тоже черные… Еврей! Типично еврейское лицо! Я чем больше разговоров слышал о евреях, тем быстрее угадывал черты их лица, мой слух схватывал интонацию речи, манеру говорить, жесты. Удивительно, как они похожи и отличаются от всех других. Наверное, люди иных национальностей тоже имеют свои особенности, но мы о них не думаем, применяем к ним стандартные мерки: красивый–некрасивый, старый–молодой, а вот евреев различаем еще и по многим признакам, свойственным только им. И я давно заметил, еще с войны, что видят эти признаки многие люди, и те, кто к ним хорошо относится. А если о них рассказывают анекдоты и всякие байки сами евреи, тут уже происходит счастливый синтез языка, интонации, жестов чисто еврейских, и потому так интересно слушать еврея о евреях, так дружно все смеются, порой до слез, и это даже в том случае, когда и смешного-то ничего нет в самом рассказе.

Подъехали к домику. Собственно, это был и не домик, как его называли, а меленький охотничий дворец с колоннами у главного входа, со многими углами, террасами, крыльцами и балконами на втором этаже. Генерал – тот, что сидел в левом углу и как Кулинич дремал, тронул меня за рукав, сказал:

– Пойдемте со мной, я покажу вам вашу редакционную комнату. Там останавливались Акулов и Кулинич.

Нас встретила девушка в белом фартучке, черная как цыганка, с мокрыми блестящими глазами. Открыла комнату. Здесь был стол, диван, две кровати и две тумбочки. Генерал показал на кровать у левой стены и у окна:

– Эта койка Кулинича. Теперь она будет ваша.

Я поблагодарил, а генерал, склонившись ко мне, сказал:

– Я вас знаю, а вы меня нет. Я Холод, начальник политотдела.

И протянул мне руку. Она была холодная и влажная.

Оставшись один, я сел на диван и подумал: «Лучше бы мне расположиться здесь, на диване, но неудобно. Зайдет Холод и скажет, что я брезгую. Или боюсь койки, на которой спал человек,

ныне мертвый. Но, может быть, он и не умер, и врачи его поднимут?… Хорошо бы. Я не хотел, чтобы Кулинич умирал. Я и вообще не хотел ничьей смерти. И когда, бывало, на фронте батарея собьет самолет и он загорится, или подобьет танк, машину с солдатами – я думал о погибших, представлял их матерей, отцов, жен, детей… Мне было больно. И говорю я это искренне, от чистого сердца. И при этом думаю о Боге. Мне не страшно будет предстать перед Богом, я ему никогда не лгал».

В комнату вошел румын с ружьем и вещмешком. Посмотрел на меня с улыбкой, словно я ему был знаком.

– Вы есть капитан Дроздов?

– Да, с вашего позволения.

– Буду вам давать свое имя, если вам нравится?

– Разумеется, мне это очень понравится.

Поднялся с дивана. Ждал, когда он произнесет очередную фразу, которые ему нелегко давались. И он произнес:

– Рональд Нелепеску.

На этом он похоже исчерпал свое красноречие и запустил руку куда-то глубоко под куртку, извлек оттуда маленький конвертик, перехваченный синей узенькой лентой – то ли для красоты, то ли для сохранения секретности. И, обливая меня теплом суриково-кирпичных глаз и лукаво улыбаясь, протянул пакетик. Я раскрыл конверт и прочитал коротенькое письмецо: «Милый, родной мой!

Плачу и страдаю, и не могу пережить страшный удар судьбы, повергший меня в отчаяние: противный посол не пустил меня на охоту! Ждем важную шифрограмму. Нет-нет, не о тебе! Над твоей головушкой рассеялись последние реденькие облачка, и ты можешь спокойно охотиться. Но меня с тобой не будет. Мы не встретимся до следующей субботы. А тебе я дам совет: верь человеку, подавшему мое письмо. Все вопросы задавай ему. Он мой друг и абсолютно надежный. Всех остальных остерегайся. Молчать ты умеешь, это твое золотое качество. Ну, будь здоров и счастлив. Обнимаю, целую. Е.».

Потом мы спустились на первый этаж, где в просторном зале накрыли ужин. Мест было много, но за столом сидело человек восемь. Я поклонился всем сразу, а Рональд, тронув меня за плечо, громко возвестил мое имя и после короткой паузы чуть тише добавил:

– Помощник Сталина.

Я, как всегда от этих слов, опустил голову и почувствовал жар во всем теле. И хотя пригнулся как под тяжестью каменной глыбы, но занял указанное мне место и приступил к ужину. Потом мы с Рональдом погуляли в окрестностях дворца, я узнал,

что работает он в Совете министров – один из заместителей Председателя. Курирует мелиорацию и еще какие-то важные отрасли сельского хозяйства.

Спать легли рано, а уже в начале четвертого нас подняли. Внизу был накрыт завтрак, но Рональда позвал Председатель, который тоже приехал на охоту, и я один в столовую не пошел. Ждал своего товарища, но он не появлялся. Куда идти, где и как охотиться, я не знал. И охотников, кроме генерала Холода, подполковника из СМЕРШа и Рональда, тоже никого не знал; хотел уже идти к лодочной стоянке и там во всем разобраться, но из темноты, сгустившейся к рассвету, выступил человек с ружьем за плечом, обратился ко мне по-русски:

– Нелепеску не будет, он занят – пойдемте со мной.

По дороге сказал:

– Я – Чаушеску, будем знакомы.

Я тоже ему представился.

– Вы работали со Сталиным?

– Да, с генерал-лейтенантом Василием Иосифовичем.

– Вы генерал-лейтенант? Такой молодой, а уже такой высокий чин?

– Нет, нет, я – капитан авиации, бывший летчик.

Мой спутник согласно кивал головой; говорил он по-русски плохо, еще хуже, чем Нелепеску, и, конечно, не все понимал из моей речи; скорее всего, он так и не понял, кто это генерал-лейтенант? И почему Сталина я называю Василием Иосифовичем. Для него я помощник Сталина, а Сталин может быть только один. Все это я понял еще там, в столовой, где на меня смотрели как на президента Америки; они все слышали звон, но плохо понимали, где он; принимали меня чуть ли не за самого важного человека, стоявшего у плеча Сталина. Да, думали они, таким был этот молодой человек, но Сталин умер, и я попал в опалу, теперь вот с ними, и им очень интересно быть в моем обществе, они всюду будут об этом говорить. И этот… главный комсомолец Румынии. Ему тоже не нужен никакой Василий Иосифович; ему важно по приезде домой сказать, что охотился с помощником Сталина, с самым главным помощником, любимым и единственным…

Я знал: Чаушеску курировал в партийном руководстве Румынии молодежь. А еще мне о нем Чернов сказал: «Он – паукерист, любимец Анны Паукер, пользуется большим доверием у наших обжидовленных, примасоненных верхов». Мне уже тогда эта короткая информация о многом говорила. Я знал, что Анна Паукер – это Троцкий в юбке, она боролась за высший пост в Румынской коммунистической партии, но, как в свое время и Троцкий, потерпела поражение. Ее вывели из состава политбюро,

а затем и лишили членства в ЦК партии. Как и Троцкого, ее бы выслали, но Москва за нее заступилась, за ней оставили особняк в Бухаресте, автомобиль с персональным шофером и многие другие привилегии. Чаушеску будто бы и сейчас посещал ее и в молодежной политике тайно протаскивал идеи паукеризма, поругивал Советский Союз, ориентировал юношей на Запад. И еще я слышал, как в нашей редакции Чаушеску называли Чау.

«Хорошенькое соседство мне подвернулось», – думал я, следуя за своим спутником. А Чау подвел меня к лодке, предложил сесть на корме. И по тому, как он искал ключ в связке своих ключей, открывал замок на цепях, державших лодку у берега, я понял, что лодка за ним закреплена или его собственная. Но вот он бросил цепь к столбику и оттолкнулся. Лодка, шурша камышами, понесла нас, как я вычислил по звездам, строго на север.

Рулевым веслом я прощупывал глубину. Она была не больше метра, иногда доходила до роста человека. Вспомнил чей-то рассказ о сильном ветре, поднявшемся на озере, когда тут, в осеннее время, был самый разгар охоты. Ветер вздымал высокие волны, разметал по озеру лодки, а две из них опрокинул, и четыре человека погибли. Я подумал: «Надо им было держаться за лодки, и тогда бы они уцелели».

Плыли мы быстро, Чау был молод, силен и будто бы демонстрировал мне свою силу. У бортов с шумом проносился назад камыш, над головой кружились и летели куда-то звезды. Небо делилось на две части: первая – восточная, голубела и звезды на ней мерцали слабо, лишь остророгий месяц сверкал перламутровой белизной, не желая меркнуть под лучами еще невидимого, но уже тянувшего кверху свои руки солнца; вторая часть – западная, еще темная, холодная и ярко сверкавшая звездами.

Временами заросли камыша редели и мы выносились на открытую часть озера; вода под веслами была черной, как деготь; от лодки, расширяясь, тянулись две полосы, похожих на канаты.

Чау молчал, а я, запрокинув голову, смотрел на небо, пытаясь уловить момент просветления и появления у горизонта багровой полосы рассвета. Чау бросил весла и тоже стал смотреть на небо. Тихо проговорил:

– Я люблю момент, когда идет солнце. Мне не надо убивать утки, мне их жалко, я люблю сам процесс.

– Вы хорошо говорите по-русски. Вы у нас учились?

– Мало, мало. Слушал лекции партийная школа, но часто был в Москве. Там говорил, много говорил.

Помолчал, а потом добавил:

– Русский язык изучаю, всегда изучаю. Читаю книги только на русском языке и немного на английском. Эти два языка великие, их будет изучать весь мир.

Я думал: что же в нем троцкистского? Ориентируется на запад, но у нас среди революционных демократов тоже были западники: Белинский, Грановский, Чернышевский… И неужели у них, как и у нас, партийная дисциплина так узколоба, что не позволяет иметь своего мнения даже по таким вопросам?…

То было время, когда для нас, нашего поколения, западный мир не олицетворяла одна Америка, западная культура не представлялась нам лишь одним массовым искусством, сатанинской рок-музыкой, стихией секса, разбоя, грабежа и убийств. То ли она еще не сформировалась в таком уродливом виде и в самой Америке, то ли еще не дошла до нас в полном объеме. Но, скорее всего, люди, занимавшие такие высокие посты в партийной иерархии, как Чаушеску, знали несравненно больше, чем я, были информированы, а может быть, уже и нацелены на определенный лад действий, – они наверняка знали, как молитву, команду Даллеса, прозвучавшую сразу же после войны за океаном: в сущности это была хорошо и мудро разработанная стратегия и тактика новой войны, приказ по армии, давно отмобилизованной, в два раза большей по численности, чем немецкая армия, которую мы в те месяцы 1945 года добивали у стен Берлина. Эта армия иначе называлась Пятой колонной, или Агентами влияния, как их назовут в начале девяностых. Авангард армии – все еврейское население, то есть семь миллионов; полукровки и породнившиеся с ними – эти стояли во втором эшелоне и насчитывали в своих рядах двадцать-двадцать пять миллионов – и поджидки, то есть жидовствующие, способные за деньги продать не только Родину, но и мать родную; этих расставили в третьем эшелоне, и было их не меньше тридцати миллионов. Итак, против нас, измотанных и голодных и ничего не понимающих, не видевших и не слышащих, выдвигалась сытая и коварная, хитрая и жестокая, занимавшая все важные и теплые места в государстве армада численностью в шестьдесят – семьдесят миллионов.

Вот стратегия и тактика этой войны, провозглашенной в первые месяцы 1945 года американским политиком Даллесом. Приведем лишь небольшую часть его исторической речи:

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, – все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на

фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением… исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых "художников", которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов.

Вот так мы это и сделаем».

Начиналась Третья мировая война – на этот раз совершенно непохожая на все войны, имевшие место в истории, – информационная. И как всякий бой в прежних войнах начинался с сигнала трубачей, так и в этой войне раздалась новая музыка, новые речи, перед глазами замелькали новые картинки… Много лет спустя мы только разгадаем, что война с нами уже давно

идет. Мы, русские, в те годы напоминали пингвинов, вставших на задние лапки и внимавших всему этому. И самое трагическое состоит в том, что мы и сейчас стоим, как пингвины, слушаем и смотрим, и не понимаем, что это за музыка, что это за речи, что это за картинки нам показывают. Мы в оцепенении. И лишь одно только увидели: война нами проиграна, России уж нет, остались одни обломки, на которых мы и сидим.

Сталин предвидел эту войну. Он приказал построить временные жилища в местах не столь уж и отдаленных, на землях, пригодных для жизни и даже с хорошим климатом, – к примеру, в Биробиджане, и когда все было готово для переселения евреев в эти места, созвал своих ближайших соратников, членов политбюро, и зачитал перед ними речь об окончательном решении еврейского вопроса. Он был гуманнее Гитлера, предлагал их всего лишь переселить и создать условия для их самостоятельной жизни, для такой жизни, какую они сами бы для себя избрали.

Когда он закончил эту небольшую речь, – больших речей Сталин не любил, – Каганович спросил:

– А что вы сделаете со мной?

Сталин ответил:

– Для вас мы сделаем исключение.

Тогда с вопросом обратился Ворошилов:

– А что сделаете с моей женой?

Сталин сказал:

– Других исключений не будет.

Ворошилов достал из кармана партийный билет и со словами «Я выхожу из партии» положил его на стол перед Сталиным.

Другие соратники вождя «всех времен и народов» глубокомысленно промолчали и разошлись.

Это было в марте 1953 года. В том же месяце Сталина не стало.

Легенда ли это или быль, что тут правда, а что создано народной фантазией, я судить не берусь, но одно несомненно: история эта в те далекие дни повторялась на всех углах, и чем посвященнее были рассказчики, тем убедительнее звучали их рассказы.

Известно, что Пушкин легенду признавал за самую чистую правду: она изливалась из потаенных глубин народной души, она была правдивее самой правды. Недаром же подлинно художественное произведение – рассказ, повесть, роман – считается самым убедительным документом истории.

И еще признаюсь чистосердечно: я хотя и работал в центральной газете, и общался с людьми, близкими к сыну

Сталина, и сам несколько раз беседовал с ним с глазу на глаз, но ни о какой войне в то время и не подозревал. Я был тем же оболтусом, как и миллионы моих соотечественников, я на евреев не смотрел, как на представителей Пятой колонны, уже вступившей с нами в войну. Скажу больше: Троцкий был для меня ужасным злодеем, но евреи?… Они, конечно, бяки и пролазы, но разве нет таких людей среди нас, русских? Евреи всякие бывают. Вот хотя бы и Фридман. Бездельник он порядочный, пустозвон, клеветник, но случилась со мной беда, он принял участие и будто бы уже помог. А теперь, по словам Елены, какой-то толстяк Фиш мне помогает. Так за что же я их всех буду ненавидеть?…

Что же до моего спутника, Чау, он и на еврея вовсе не похож.

Небо просветлело, на западе заря полыхает, и я в свете отраженных лучей солнца ясно вижу мужественное красивое лицо, свисающую на лоб волну волос – и не черную совсем, а будто бы русую, как у нас, славян. Размашисто кидает он назад весла, гребет сильно, могуче, и силуэт его атлетической фигуры четко рисуется на все более багровеющей воде.

«И что ему в этой старой жидовке, похожей на нашу Фанни Каплан или на Клару Цеткин?… Зачем он к ней ходит и чего там забыл?…»

Я никогда не видел Клару Цеткин, не знаю, что она такого замечательного сделала. В каждом городе встретишь улицу ее имени, школу, фабрику, завод имени Клары Цеткин. Фанни Каплан я тоже видел на картинке – как хищная черная птица кинулась на вождя революции, стреляет ему в голову… И эту, румынскую, я не видел, но почему-то думаю, что и она такая же. А вот он, Чау, совсем на них не похож. О нем говорят: будущий генсек Румынии. Однако почему он, для того чтобы стать генсеком, должен посещать опальную Анну Паукер, я тогда до конца еще понять не мог.

Я сейчас, когда с той нашей памятной охоты прошло сорок шесть лет, невольно отвлекаюсь от компьютера, на котором печатаю страницы этой моей книги, и мысленно как бы пробегаю все прожитые годы. Да, Чау, Чаушеску стал главой Румынии, но как он правил страной, что сделал для нее хорошего и плохого, я, к сожалению, не знаю. А изучать этот период румынской истории у меня нет уж времени. Одно скажу: отношения с Румынией у нас ухудшились, – значит, он исполнил вожделенное желание своей патронессы, люто ненавидевшей нашу страну и русский народ, значит, повернул свою политику лицом к западу, но пришло время и запад его отблагодарил. Вспоминаю картинку, показанную по телевизору: свергнутый Чаушеску сидит со своей женой Еленой в каком-то ветхом загородном домике и им обоим

медицинская сестра измеряет давление. Потом одного за другим выводят из домика и в кромешной темноте на краю какого-то оврага расстреливают. Мое сердце дрогнуло. Я его знал, я его помню – страшная трагедия этого недюжинного человека меня потрясла до глубины души.

Со мной рядом сидел мой сосед и фронтовой товарищ Миша Бейненсон. Он был невозмутим и равнодушно заметил:

– Интересно, какое же у них было давление?…

Я ему сказал:

– Михаил! Он был дружен с Анной Паукер и, наверное, служил вам.

– Что значит, нам? Он служил себе. Ты не знаешь, какие драгоценности он натащил из музеев и банков в свой дворец.

Да уж – этого я не знал. Но я человек и по-человечески мне было их жалко. Тем более, что наша встреча с Чау была хотя и единственной, но оставила у меня добрые воспоминания.

Мы подплыли к небольшому островку. Тут были сделаны окопчики, на которые мне показал Чау.

– Сядем здесь, и уточки будут летать над нашей головой. Некоторые из них даже садятся рядом, и я люблю за ними наблюдать.

Мы залезли в удобные окопчики, закрылись сухим камышом – так, что нас и с близкого расстояния нельзя было разглядеть, но, впрочем, и так, чтобы нам самим было видно небо и часть озера перед нами. Рассвет уже грянул над землей, солнце вылетело из-за черты горизонта, и все вокруг засмеялось, закружилось в радостном калейдоскопе, птицы поднялись в небо и со свистом чертили воздух, окликая даль озера на разные голоса.

Я вдруг понял охотников, которые выговорили право и после окончания сезона приезжать сюда и охотиться. Мне еще в редакции Акулов сказал, что много уток убивать не следует, а лишь парочку или три-четыре, поскольку сезон кончился и правительство лишь из уважения к нам, русским офицерам и генералам, да своим министрам, продлило на месяц сезон охоты.

В окопчике была деревянная лопаточка, я стал расчищать ею выступ для сиденья, как вдруг заслышал характерный свист крыл какой-то большой птицы. Чау сказал:

– Гуси! Будем стрелять!

И я замер в ожидании. Птицы летели над озером, а я сидел к ним спиной и решил не поворачиваться до того момента, когда надо будет стрелять. Кажется, и Чау сидел в такой же позе, и мы развернулись в тот самый момент, когда пара птиц уж летела над нами и – в одно мгновение мы нажали курки. Сбросили камыши и увидели, как впереди летящая большая птица клюнула носом и

стала снижаться. Я понял: это не гуси, а черные лебеди – редкая порода, которая здесь, как и везде, с особой строгостью оберегается. Не знал я, какой штраф берут с охотника за такой трофей, но знал, что за белого лебедя надо было платить тысячу лей. Прощупал свой карман – деньги, слава Богу, есть, но с какими глазами я покажусь теперь в охотничьем доме. Разумеется, я уже решил взять вину на себя, да и в самом деле перья от лебедя полетели от моего выстрела, – как мне показалось, – так что, чего уж тут прятаться за чужую спину! Да для Чау и тяжелее признаться в таком грехе перед своими товарищами. Еще узнают газеты, пропишут, просвистят…

А лебедь еще боролся со смертью, не падал, а кружил над камышами, и все снижался, снижался – наконец плюхнулся в воду. Второй лебедь кружил над ним, яростно хлопал крыльями и будто бы свистел или даже кричал – негромко, жалобно, будто плакал. А потом вдруг к нему вытянул свою длинную шею раненый товарищ и закричал сильно высоким, волнистым голосом – как певец, который хотел на высокой ноте закончить свою песню. Это была песня, которую лебедь поет раз в своей жизни, и называется она Лебединой.

Дорого бы я дал, чтобы никогда не слышать такую песню!

А лебедь, оборвав ее, уронил на воду голову, затих. Его товарищ спустился к нему, приводнился и кружил возле него, кружил, и касался клювом его тела, словно пытался оживить, поднять и снова полететь с ним в розовую даль июньского утра. Но нет, мертвого не поднимешь.

Я решительно встал и направился к лодке. Вытащил из воды лебедя, положил возле своего окопа, давая понять, что вину беру на себя. Чаушеску подошел ко мне и пожал мою руку.

– Спасибо, друг! Не надо волнений. Охота – глупая война человека с природой, а на войне всякое бывает.

Отнес лебедя к своему окопу, завернул в плащ-палатку. Махнул рукой:

– Давайте завтракать. У меня есть вино. В такой момент нам вино хорошо подойдет.

Разгорался жаркий день над причерноморской Румынией, мы много плавали по озеру, над нами летали утки, лебеди, журавли, гуси. Мы поднимали стволы ружей, целились, но… не стреляли. Во дворец пришли поздно вечером и, к удивлению всех друзей, без добычи. Это был день, когда мое отношение к охоте сильно изменилось. На фронте я научился метко стрелять из любого оружия и на охоте убивал больше всех дичи, но с этого дня я стал убивать самую малость – две-три уточки, а если осенью – одного гуся. И это при том, что другие везли с собой десяток уток и

несколько гусей. Черный лебедь гибелью своей заслонил от смерти многих птиц, зайцев и всякой другой живности. Я потом и совсем бросил охоту, хотя она и давала мне радость общения с природой, незабываемую прелесть встреч со множеством знакомых и незнакомых людей.

Я не знал, как уладил мой новый друг Чау нашу общую беду, но был уверен: штраф он заплатил и с егерем обо всем договорился. От меня же он великодушно отвел эту тяжкую обязанность, и я ему по сей день за это благодарен.

Домой мы вернулись поздно вечером в воскресенье. Физически я устал, но был сильно возбужден и спать мне не хотелось. Рассказал Чернову о встречах на охоте, о важных лицах, с которыми познакомился. О Чаушеску заметил, что он мне показался добрым и очень умным человеком, хотя и слышал, что он – паукерист и якобы не очень хорошо относится к Советскому Союзу. Чернов воскликнул:

– Для кремлевских сидельцев он тем и хорош, что плохо относится к Советскому Союзу. Вот посмотришь, он с помощью Хрущева скоро вспрыгнет в кресло генсека Румынской компартии! Паукеристы все плохо к нам относятся. А их в румынском руководстве – хоть пруд пруди. Они, видишь ли, против диктата Госплана, считают, что мы придушили рыночные отношения и тем наносим большой вред и государству и людям. Они – рыночники! А если сказать проще – сторонники капитализма. Вот в чем дело.

Чернов весь день спал и теперь готов был философствовать до утра, но я несколько минут слушал его, а затем сон сморил меня. Над ухом раздалось:

– Да ты никак спишь?

– Да, Геннадий Иванович, глаза слипаются, спать охота.

– Ну и черт с тобой, дрыхни, а я хотел рассказать тебе об этих проклятых паукеристах, о том, как их много и в нашем правительстве. Сдается мне, что и Сталина они убрали, и теперь при новом руководстве эти сволочи, паукеристы, еще покажут нам кузькину мать…

– Сталина вы ругали; так, может, они доброе дело сделали?

– Доброе дело? Троцкисты-паукеристы? Ты что буровишь, мил человек? Да где же это было видано, чтобы сволота эта доброе дело делала?…

Чернов растворил дверь балкона, метнулся ко мне и встал над моей койкой богатырской тенью. Поднял руки к люстре, словно хотел сорвать ее с потолка.

– Сталин – да, много у него вины перед нами, но и рос при нем, поднимался русский народ! При царе-то нас с меньшими

братьями было всего сто сорок миллионов, а при Сталине мы вдвое выросли, нас перед войной двести восемьдесят миллионов стало! Кто ж и войну-то выиграл, если не эти миллионы? Женщины рожали. У твоей матери сколько детей было?

– Десять гавриков.

– Ну, вот – десять, а в нашей семье одиннадцать детей отец с матерью на ноги поставили. А империю кто в границах держал и еще новые земли к ней прирастил? А ленинским большевичкам кто шею сломал? А там ведь одни жидки в кожаных тужурках были, палачи-комиссары проклятые!…

– Но ведь сами же говорили: укрепленную линию разобрал, командиров сколько в лагерях сгноил.

– Да, говорил. Но в этом еще разобраться надо, что это за командиры. Тухачевский, Корк, Уборевич – туда им и дорога! Другие на жидовках были женаты. Народ ненадежный. А кто судьи, следователи – кто в НКВД сидел?… Детки Дзержинского да Кагановича! Сталин не Бог, за всем, что делалось в государстве, не уследишь. Наконец, и Победа! Как бы там ни было, а Европу на лопатки положили, шею Гитлеру свернули. Нет, Иван, ты мне Сталина не трожь, у него еще много врагов будет, да не мы, русские люди, мусор на его могилу потащим. Он хотя и грузин, вроде бы и ни к чему это грузину на русском престоле восседать, но если уж так случилось – суди его по делам. Катька-царица немка была, да вон каких дел наворочала, а Багратион – полководец?… А Барклай-де-Толли?… Я человек русский и людей люблю, прежде всего, русских, потому как род наш, семья, но если ты инородец и человек хороший – вот тебе моя рука! Потому как инородцы тоже наши братья. И если инородец умный, то понимать должен: в России всем будет хорошо, если хорошо русским! Если ты живешь на земле, добытой и возделанной русскими людьми, понимай это, и цени, и хоть немножечко будь русским. Тогда и я пойму башкира, татарина, и всякого калмыка, живущего в пределах России, – и я стану немножечко башкиром и калмыком, потому как у Бога мы одна семья – все дети его, а между собой братья.

Чернов говорил, говорил, но сон сковал меня намертво, и я уж не слышал его пророчеств и заклинаний. Моя жизнь с этим беспокойным человеком только начиналась, и я еще много услышу от него умных, а иногда и не очень умных, но всегда искренних и горячих речей. Чернов пришел в мою жизнь как учитель и старший товарищ. Он еще до войны работал в центральных газетах, а в годы войны был военным журналистом – много видел, знал и умел делать выводы. А кроме того, он был добрым человеком, полюбил меня и всячески помогал в газетной

работе; я же, если не очень хотел спать, готов слушать его был бесконечно и навсегда сохранил благодарность за его науку.

Последнее, что я услышал от него в ту ночь…

– Смерть Кулинича повергла в шок редакцию. Особенно его собратьев. Они совсем потерялись.

Я еще успел спросить:

– А много их… его собратьев?

– О-о-о!… Ты завтра посмотришь…

Он и еще что-то говорил, но я уж ничего не слышал.

Пройдет три года нашей службы в Румынии, мы вернемся в Москву, и там я узнаю, что Чернова постигло большое несчастье. С Дальнего Востока приехал его младший брат и потребовал от Геннадия Ивановича освободить дом, который Чернов в отсутствии брата много лет занимал и обустроил за свои средства и своими руками. Их отец отписал дом младшему сыну, и старший брат не имел на него юридических прав.

– Отец оставил развалюху, а я дом расстроил, вложил в него много денег.

– Я тебя об этом не просил, – сказал брат.

Чернову с больной женой и тремя детьми пришлось оставить дом и просить убежище у друзей. Дом находился в черте Москвы, и мы, друзья Геннадия Ивановича, принялись хлопотать о предоставлении ему квартиры. Это был долгий, мучительный процесс, – Геннадий Иванович переживал, у него разболелось сердце. И когда, наконец, ему дали квартиру, он и его жена были глубоко больными людьми. Вскоре Геннадий Иванович умер. Ему еще не было и пятидесяти лет.

На следующий день мы пришли в редакцию и увидели, «как много собратьев» было у Кулинича. Они не пришли на работу. Грудились где-то на квартирах, готовили похороны. Кулинич погиб в субботу, а утром в понедельник из Москвы прилетела группа евреев и с ними раввин в длиннополом сюртуке и черной шапочке на макушке. Их встретили Холод и Акулов, который тоже не пришел в редакцию. Чернов ходил по кабинетам, хлопал дверьми, возмущался:

– Газета не ждет, ей надо выходить, а кто ж ее будет делать?

Всего лишь десять-двенадцать журналистов пришли на службу, остальные составляли в редакции фалангу Кулинича, – по разным признакам. Потом, когда я буду читать книги по еврейскому вопросу, я прочту работу ленинградского автора Романенко и там встречу термин «еврей по жене» – так автор называл русских мужиков, женившихся на еврейках. Со многими такими людьми я буду и впредь работать и увижу, что эти-то молодцы настолько перерождаются, что готовы тебе горло

перегрызть за одно только упоминание о дурных свойствах еврея. То же самое можно сказать и о русских женщинах, связавших свою жизнь с евреем.

Чернов попросил меня аврально написать передовую, а к завтрашнему номеру подготовить очерк или рассказ.

– Завтра какой-то праздник, а у нас ничего нет.

Я закрылся у себя и писал. Исписанные листы носил к Аннушке. Она мне говорила:

– Там у них такое творится… Плачут и читают молитвы. И наши, русские, с ними!… – восклицала Аннушка и таращила на меня прелестные, детски наивные глаза. – Чевой-то они, а?…

– Ритуал, значит, такой.

– Ну, это у них, евреев. И с ними даже генерал Холод. А наши-то, наши-то чего?… Вот ведь. А так-то… в обычное время – ходят по редакции, как все нормальные люди, и не скажешь, что они такие. А?… Ну, что вы молчите?…

– Сказал же – ритуал. Он, Кулинич, знать, важная птица у них, если из Москвы прилетели.

– И Акулов с ними! Наш-то редактор!

– А ему нельзя в стороне стоять. Раз кормишься с их ладони – помни хозяев. Одно меня удивило: как их много в редакции. Армия, военная газета, а поди ж ты, сколько собралось. Чернов говорит: семьдесят процентов. Или уж директива такая, чтоб во всех газетах они работали?

– Говорю ж тебе: Холод – еврей. Он-то уж знает, кто в редакции должен работать. Это вот тебя прислали… Видно, недосмотрел. А, может, нет у них таких, чтоб очерки писали.

Вздохнула Аннушка, посмотрела на меня ласково:

– Да уж… Хорошо, что ты не с ними. И Чернов, и Грибов, да еще Бобров Александр… Уважаю вас. Не хотела б, чтоб и вы там… плакали да молились. – И, с минуту помолчав: – Командующий приказал самолет готовить. В Москву гроб повезут.

В среду Кулинича в цинковом гробу повезли в Москву. Хоронить его и генерал Холод, и Акулов полетели. За редактора остался полковник Ковалев, начальник отдела боевой подготовки газеты. Они с Черновым вызвали меня, попросили поработать в отделе вместо Ковалева. Чернов сказал:

– Наверное, тебе придется работать там несколько месяцев, пока нового начальника отдела не пришлют. Ковалева будем ладить на место Кулинича.

С большой неохотой, но я согласился. В отдел меня привел Геннадий Иванович. Представляя сотрудникам, сказал:

– Капитан начальником в газете никогда не работал, но вы знаете, как он пишет; так что учитесь, перенимайте у него опыт.

Я сел за большой стол начальника главного отдела газеты, оглядел сотрудников, они смотрели на меня. У самой двери за маленьким столом сидел старший лейтенант Юрий Грибов и в нетерпении постукивал по листу бумаги ручкой. Рядом с ним за столом большим, двухтумбовым сидел в новенькой форме с академическим значком на груди майор Булыга. Большой, гривастый, он смотрел на меня тяжело, грозно, будто вышедший на ринг боксер и готовый со мной сразиться. За ним в ряду сидел капитан Козорин – тоже с академическим значком. «Академики», – подумал я и почему-то решил, что пишут они медленно и плохо, с ними во всех редакциях «плачут». Поодаль от меня в моем ряду сидели два старших лейтенанта: щупленький, точно подросток, Толя Кожевников и длинный сутулый Лахно – батько Махно.

– У всех ли есть задание на сегодняшний день?

– Да, нам вчера дал его полковник.

– И есть рисунок полосы?

– Вот он, у меня, – сказал Булыга.

– Вы заместитель начальника?

– Неофициально, по просьбе полковника.

– Ясно. Покажите план-рисунок.

Он показал, и я с ним согласился.

– Хорошо. Начнем работу.

И сам склонился над чистым листом бумаги. Стал писать передовую о спорте. Написал ее часа за полтора и понес по старой памяти Аннушке. Она сказала:

– Меня просили печатать вам очерки и рассказы, а теперь вы будете писать всякую муру…

Я взял со стола передовую.

– Хорошо, понесу машинисткам.

– Ну, ладно, ладно – уж и обиделся. Если печатать тебе не буду, так ведь и не зайдешь ко мне. Пойдешь к машинисткам, а там Мария красотка сидит. Живо влюбишься.

Взяла у меня передовую, а я не стал задерживаться, сказал:

– Теперь у меня много работы. Я пойду.

Сев за стол, думал: чего бы написать – рассказ или очерк? В блокноте уж скопилось много материла, любой можно развернуть и в рассказ и в очерк. Важно раскинуть в голове фантазию. Журналистика, как и писательство, требует, как воздух, фантазии. Если она есть, эта способность зацепиться за факт, за черту характера в человеке, – садись и пиши. Весь антураж, все детали тотчас к тебе прибегут и наполнят картины, диалоги, отступления, размышления, но если фантазии нет или она слаба, еле теплится под черепной коробкой, факт и фамилия тебе ничего не скажут. Вон сидит за своим маленьким столом Грибов и

– пишет, пишет… Отложил один лист, подвигает к себе другой, и снова пишет. А вот он сложил листы как карты, несет мне.

– Вот… дневное задание.

Я стал читать. Все написано живо, грамотно, и ни одной помарки. Сразу видно, как резво работала мысль, как он легко пишет. И заголовки хорошие – ни одного я не меняю. Заметки, информации и две забавные истории рассказаны лихо, расцвечены шутками, а одна заметка о поездке солдата домой на побывку читается как небольшая песня. И все логично, окантовано единой темой. Получилась подборка. И название придумано: «Жизнь моя, солдатская». Вроде бы ничего нового, а звучит тепло и хочется почитать. Я подписал все заметки к набору и смотрю на своего московского друга.

– А ты, Юрий, рожден журналистом. Талант у тебя.

Покраснел Грибов, смутился. В глазах сверкают огоньки радости. Знает, что талантлив, но похвалу услышать приятно.

– Я могу отлучиться на пару часов?

– Конечно, только приходи к обеду. Играть в водный мяч будем.

Грибов срывается с места и исчезает. А я смотрю на других товарищей по цеху. Один только Кожевников пишет, остальные сидят и думают. У Кожевникова идеальный порядок на столе, слева от него лежит толстая кипа чистых листов. Я уже знаю, он любит, когда рядом много бумаги. Похоже, ее вид стимулирует творческую энергию. Он хотя пишет и не так быстро, как Грибов, но пишет, и я за него спокоен. Пишет также и Батько Махно. Этот часто отрывается от листа, подолгу смотрит в окно, за которым бегут и бегут к берегу зеленые волны, но потом склоняется над листом. Беспокоят меня «академики». Эти сидят недвижно, словно манекены. Думают. Я таких боюсь. У них затор в голове, они, как Саша Семенов из львовской дивизионки, не могут сдвинуть с места строку. В «Сталинском соколе» тоже были «академики» и почти обо всех говорили, что у них дело не идет. Способностей нет. Я думаю об академии, в которой и сам учился: почему туда принимают всех желающих, не устраивают творческий конкурс, как в Литературном институте, в котором, кстати, я затем буду учиться? Или в институте Театральном?… Журналистику воспринимают, как занятие обычное, не требующее особых способностей. А между тем журналистика – младшая сестра литературы.

Время клонилось к двенадцати, через два часа обеденный перерыв. Листаю записную книжку, где уже скопилось много фамилий, историй, фактов. Выбираю один из них, начинаю писать очерк. Пишу час, второй… Ко мне подходит Лахно, подает

статью.

– Вот, сделал. Посмотрите.

И выходит из комнаты.

Читаю. Все грамотно, логично – можно бы и подписать, но я не тороплюсь. Думаю: вроде бы и хорошо сделано, а – неинтересно. Фразы длинные, вялые, обороты речи шаблонные. Такие статьи называют железобетоном, их не читают. Как-то так повелось, что их пишут кое-как, без выдумки, интересных, неожиданных поворотов и языком суконным.

Склоняюсь над статьей и приделываю ей начало: живое, броское – дескать, что меня, автора, побудило взяться за перо и написать эту статью. И привожу историю, которую от кого-то слышал. А потом еще в середину вставляю неожиданное, но, конечно, уместное размышление. И так же расцвечиваю конец.

Потом ко мне подходит старший лейтенант Кожевников. И подает свою статью. При этом тихо говорит:

– Вы так лихо поправили Лахно. Он этого не любит.

С минуту смотрю на него и – ничего не отвечаю.

– Если можно, я пойду на обед.

Я разрешаю и склоняюсь над его статьей. Она сделана не так плотно и логично, как статья Лахно, но при небольшой правке и ее можно было бы подписать. Но я и ее «расцвечиваю». На это у меня уходит минут двадцать.

После игры в мяч и обеда ко мне подходит и садится у края стола капитан Лахно. Спокойно и с чувством подчеркнутого достоинства начинает разговор:

– Мне не понравилась ваша правка.

И смотрит испытующе, ждет моей реакции. Его категорический тон меня не смутил. Я ответил мягко:

– Статью вы подготовили хорошо, я бы мог подписать ее и без правки, но я хотел ее немного оживить.

– Ваше право оживлять, но наш отдел серьезный, деловой и стиль у нас установился. Есть у меня возражение и принципиальное: мы не вправе чинить произвол над автором.

– Автор не будет возражать, если мы делаем его статью живее, интереснее.

– Ну, ладно, я наш разговор перенесу на летучку.

– Хорошо. Поговорим на летучке.

На том мы разговор окончили, и я попросил всех высказать свои соображения по завтрашнему номеру. Эта планерка продолжалась у нас не более часа. Затем я подозвал к себе майора Козорина, попросил статью, над которой он работал.

– Я немного ее не закончил.

– Хорошо, посмотрим ее вместе.

Углубившись в текст, я понял, что майор «гладит» статью, как кошка лапкой, то есть боится в нее вторгаться или не знает, что с ней делать. Статью по просьбе редакции написал генерал-майор Семенов, командующий авиацией Румынской группы войск. Генерал рассказывал о новых самолетах, о боевой учебе летчиков, но и его статья была сухой и скучной.

– Генеральские статьи мы почти не правим, – сказал Козорин, – они обижаются и могут позвонить редактору.

– Да уж, генерал есть генерал, они не любят, когда их учат. У вас есть его телефон?

Майор дал мне телефон генерала, и я ему позвонил:

– Товарищ генерал, вам звонят из редакции. Готовим вашу статью к печати, она очень интересная, деловая, но скучновата. Газета у нас солдатская, и нам бы хотелось статью немного оживить, – если, конечно, вы не возражаете?

– А чего возражать? Я ведь не писатель, для газеты пишу впервые.

– Ну, и отлично! Я завтра к вам подъеду и окончательный текст вам покажу.

Генерал назначил мне час встречи.

На следующий день я на редакционной машине подъехал к нему, он бегло прочитал статью, поблагодарил за помощь и, ничего в ней не поправив, подписал. Прощаться не торопился.

– Да посидите со мной, я закажу чаю, и мы поговорим. Вы ведь тоже летчик и были помощником у Василия Иосифовича. Я был на охоте, хотел к вам подойти, да вас румынские министры в плен взяли. Они, дурачье, думают, что вы были помощником Сталина – того, большого, а я киваю головой и говорю: да, да – этот юноша был могущественным человеком в государстве, перед ним маршалы прыгали на полусогнутых. Они мотают башкой и лопочут на своем языке: ай-яй, какая важная птица к нам залетела!…

Откинувшись на спинку кресла, генерал хохочет, и на его груди позванивают ордена, которых у него много, и золотая звезда Героя Советского Союза. На фронте он командовал полком истребителей, встречался с Василием Сталиным, который тоже командовал истребительным полком. Генерал, успокоившись, говорит:

– Слышал я, что Василия посадили. Это ужасно. Он был храбрый летчик, я сам видел, как однажды он возвратился на аэродром с двадцатью пробоинами на боках машины.

Генерал рассказал и другие случаи из своей боевой жизни и еще поведал два-три забавных эпизода из мирной учебы, обрисовал портреты замечательных летчиков, которые служили у

нас в частях. Я сказал:

– А что, если нам развернуть эту вашу статью да рассказать и обо всем этом? Вы не будете возражать?

– Хорошо бы, конечно, да я-то не сумею.

– Поможем вам, товарищ генерал.

– Ну, если поможете…

На том мы и расстались. Я в тот же день сел за его статью и до самого вечера над ней работал. Она получилась большой, на три номера. В сущности это уже была не статья, а доверительный душевный разговор бывалого воина с солдатом, нечто вроде очерка и даже рассказа. Я увлекся и работал до самой ночи, а утром подъехал к генералу и он, прочитав свои воспоминания, поднялся, обнял меня, сказал:

– Теперь я понимаю, почему Василий пригласил тебя в помощники.

Я хотел сказать, что никакой я не помощник и никогда им не был, но мне уж надоело оправдываться и я, махнув рукой, простился с генералом. С тех пор мы стали друзьями; я ездил с ним по частям, летал на боевых самолетах, – он доверял мне ручку управления и часто заезжал в редакцию. Потом ко мне приехала Надежда с двумя дочками, мне дали квартиру, и мы, несмотря на разницу званий, стали дружить семьями. А когда через три года мне надо было ехать домой и я не знал, как вывезти большое собрание книг, приобретенное в русском магазине, генерал выделил специальный самолет, который и доставил меня на Центральный аэродром столицы.

За четверть века работы журналистом я мог убедиться, что дело легче всего иметь с человеком большим; и чем большую должность занимает ваш собеседник, чем он умнее и проницательней, тем быстрее с ним договоришься, и тем он душевнее, доверительнее. И уж потом, когда я буду работать в «Известиях», я скорее всего находил общий язык с министрами, академиками, – встречался и с Алексеем Николаевичем Косыгиным; легко и просто было с ним обо всем договариваться. Существует закономерность, о которой я не подозревал: чем крупнее личность, тем она проще. Я со стороны таких людей даже чувствовал какое-то отцовское внимание и желание облегчить задачу. Тут, несомненно, проявляется черта русского характера, генетическая запрограммированность русского человека на добро, на сочувствие, на стремление прийти на помощь и щедро употребить свои силы. Бюрократизм, волокита, зловредность при решении дел, будь то они ваши личные или государственные, – явление не наше, не русское. И в этом я убедился, работая в газетах и встречаясь со множеством именитых и не совсем

именитых людей. И если я в своих книгах показываю в основном положительных героев, красивых душей и телом, стремлюсь высветить в них благородство и даже величие, я в этом стремлении иду не от фантазии, а от жизни, от впечатлений, вынесенных мною из многочисленных встреч с персонажами газетных публикаций.

Газета – большой и мудрый учитель писателя; она учит не только ясности и краткости изложения, но еще и вырабатывает чувство восхищения человеком, его делами, его великой душой.

Много я написал и напечатал книг, – одних только романов десять, – но еще больше статей, корреспонденции, фельетонов, очерков, репортажей, заметок, информации и рассказов. И пусть они жили всего лишь один день и, как мотыльки, пролетев под солнцем, умерли и лежат в хранилищах старых газет и журналов. Но все они были моментами моей жизни, волновали меня, героя, о котором я писал, а может быть, хоть на одно мгновение тронули и сердце читателя. А если учесть, что тираж газеты «Известия» доходил до двенадцати миллионов, то можно себе вообразить радость автора, сумевшего тронуть сердца такой массы людей.

Артист, удачной игрой взвихривший аплодисменты, исполнен гордости за миг удачи, но какова же радость постигает журналиста, взволновавшего миллионы сердец!

Я счастлив, что испытывал в своей жизни такую радость. Я любил профессию журналиста, и она щедро меня одарила: сделала из меня человека, а затем и писателя.

А в тот день я дал Козорину новое задание, сам же сел за статью генерала.

Незаметно подошел конец рабочего дня, сотрудники отдела один за другим вышли из комнаты, а я, увлекшись статьей, забыл о Булыге, который не сдал мне работу. Поднял на него взгляд и увидел лицо, живо напомнившее мне страдальческое выражение Саши Семенова, когда он мучительно думал, что же ему делать с заметкой и какой ей дать заголовок. Булыга смотрел на меня пристально и с таким отчаянием, что я спросил:

– Что с вами?

– Статья. Мне дал ее полковник Ковалев, но я решительно не знаю, что с ней делать и зачем она?

– Давайте посмотрим вместе.

Статья была какого-то майора о каких-то полевых занятиях пехотинцев. Как ее ни читай, а понять было невозможно, чему она посвящена и что хотел сказать автор. Я тут же позвонил и этому автору, с ним договорился, что статью его мы сильно поправим, – не возражает ли он?

– Конечно, нет! Да делайте с ней что хотите! Никогда я не

писал, и черт знает, как их нужно писать!

– Вы завтра вечером можете к нам подъехать? Надо будет подписать статью после правки.

– Да, конечно. В пятом часу буду у вас.

Булыгу я тоже отпустил и сел за статью майора. Сидел над ней больше часа, но тут зашел Геннадий Иванович, сказал:

– Хватит работать! Это я сижу каждый день допоздна, а тут еще и тебя запрягли.

Пригласил в Морской клуб поужинать и выпить хорошего вина. По дороге говорил:

– Эта новая твоя работа адская, полковник Ковалев каждый вечер сидел как проклятущий. Там эти два «академика» ничего не могут, он и за них лямку тянул. А тебе чтоб полегче было, я Грибову предложил поработать в отделе. А он и рад – не хочет ехать в Тимишоары.

И потом, сидя у окна Морского клуба и ожидая ужин, сказал:

– Лахно на тебя жаловался. Говорит, завтра на летучке выступит. Он, конечно, языкастый, но ты пошли его подальше. Я посмотрел статью – хорошо ты ее поправил. Одно только тут плохо: не будешь же ты над каждой статьей так вытанцовывать. Сил не хватит. Газета, что твой крокодил: жрет уйму материала.

Принесли бифштекс, вино. Ели, пили, а Чернов продолжал:

– Мне-то, конечно, хорошо это, иметь вместо засушенной воблы шоколадную конфету, да люди против тебя восстанут. Не могут они писать живым литературным языком, а все больше шаблонные фразы гонят, вроде той: «Больших успехов добился солдат Пупкин…» Или: «Ефрейтор Гунявин помог отстающему товарищу…» Газеты обречены на штамп, потому как писателей и поэтов для нее не наберешься. Вот и тебя взять… покрутишься-покрутишься на ее полосах, да и сбежишь в литературу. Один только Чехов мог долго работать в газете, да Марк Твен. Они подладились под ее дух и размер – короткие байки писали. А Чехов так и стыдился своих рассказов, подписывал их зубоскальской фамилией: Чехонте. Потом уж только понял, что рассказы-то его гениальные. Но у нас ты обладай талантом Чехова, а газета тебя не примет, потому как цензура. Редакторов прорва; и я встану на твоем пути, и Акулов, а уж что до Холода, тот позеленеет, увидев такой рассказ в газете. Нет, Иван, ты литературу в газету не тащи, не бросай булыжник в застоявшееся болото. Плыви по течению. Жалко мне тебя. Пойдешь против, растерзают как волки. Способных журналистов мало. Большинство таких, как твои «академики».

С нетерпением ждал субботы, когда поеду на охоту и встречусь с Еленой. Считал дни и часы. И в субботний день

пораньше окончил все дела, сдал Чернову дневную норму статей и заметок и с радостным чувством полетел в гостиницу, и уж взбежал на первый этаж, но снизу меня кто-то окликнул. Спустился в вестибюль, оглядываю его, но пусто, и только посредине стоит невысокий мужчина с шапкой цыганских кудрявых волос, в белых брюках, кремовой рубашке. Улыбается. Не сразу признал в нем Рональда Нелепеску, охотника, заместителя премьер-министра Румынии. Он не идет ко мне навстречу, а стоит и улыбается. Я метнулся к нему, и мы обнялись.

– Я давно жду вас. Не хотел мешать вам на работе.

– Мы поедем на охоту, но сначала пообедаем. Вот ресторан.

– Не нужен ресторан. И на охоту ехать не нужно. Пойдемте к причалу. Там ждет нас катер.

Я, ничего не спрашивая, последовал за Рональдом. Говорю ему:

– Вы хотя и улыбаетесь, и рады нашей встрече, но что-то грустное я заметил в вашем выражении.

– А-а-а, пустяки. Меня сняли с работы. Сегодня утром объявили. Я еще жене не сказал. Она-то, конечно, будет волноваться.

Я нахмурился, не знал, что на это сказать. И спрашивать о причинах такой беды не хотелось. Но Нелепеску стал сам рассказывать:

– Я давно не нравился Москве. Еще Сталин был жив, а меня клевали за канал.

– Канал? Какой канал?

– А вы не знаете? У нас ведь тоже Великая стройка. Ваш Госплан навязал. Канал «Дунай–Черное море» строим. На него из деревень потянулась молодежь, он пожирает треть бюджета. И, как у вас, стали умирать деревни. Во многих уж не поют песни. Сорвали с места деревню. А теперь вот еще и пшеницу велят сеять. У нас климат сухой, жаркий – кукуруза хорошо родится, а пшеница нет, она чахнет. Ну, я того… бумагу написал, не в те колокола ударил. Меня и… по шапке.

Нелепеску невесело засмеялся.

– А теперь как же? Вам дадут новую работу?

– Могут и не дать, я тогда в деревню поеду, на земле буду работать.

У причала, покачиваясь на волнах, стоял белый, как чайка, катер. На борту имя «Наяда». У лестницы, соединявшей катер с причалом, стоял пожилой моряк с бородой и усами, в фуражке с золотой кокардой. На плечах погоны со звездами и какими-то знаками. Подал мне руку, назвал себя:

– Адмирал Маринеску, прошу сюда – в каюту.

Зашли в небольшое помещение, похожее на форму снаряда, но, впрочем, с потолком и множеством вделанных заподлицо светильников. Сели за стол, на котором красовались дорогими этикетками три бутылки с вином, бананы, ананас, персики.

– Это мой дядя, командующий Военно-морским флотом.

Адмирал привстал и почтительно поклонился. Я чувствовал, как лицо мое занимается жаром. Меня и здесь принимают за помощника Сталина. Но ничего, решил я про себя, если будут расспрашивать, я все им растолкую. Мне уже было тяжко принимать знаки уважения, расточаемые по досадному недоразумению. И я, поднявшись и поклонившись адмиралу, произнес четко:

– Капитан авиации… Журналист.

– Да, да – я знаю. Рональд говорил, он вас полюбил, я рад. Будете в Бухаресте – милости прошу, а сейчас, если не возражаете, пойдем к моему брату. Старший брат, он нам за отца – барон Маринеску. Может, слышали?…

К нему обратился Рональд:

– Дядя, вы тут отдохните. Я хочу вести катер.

– Да, да – конечно. Ты любишь водить катер. И научи русского товарища. Он же летчик, быстро освоит.

Оба они довольно неплохо изъяснялись по-русски и не говорили при мне на родном языке. Это был знак почтения к гостю. Скоро я узнаю, что они, и дядя и его племянник, учились в России, кончали там академии – один сельскохозяйственную в Москве, другой военно-морскую в Ленинграде.

Рональд предложил мне место капитана, показал ручки и кнопки двигателя. Я неуверенно, но включил зажигание, а затем и рычаг газа, ловко встроенный в полумесяц, служащий для управления катером.

Очень скоро мы оказались напротив трехэтажного дворца оранжевого цвета. Рональд показал на него:

– Поворачивайте к нему. Это дом барона Маринеску. Его подарил ему старый король Румынии Карол. Они были друзьями. Король доверил моему дяде воспитание своего сына Михая.

– Ну, про Михая я слышал, а вот старый король?…

– Я вам потом расскажу. Это печальная история. Мы, конечно, мало чего знаем, но будто бы его увела из жизни супруга Елена и посадила на трон сына своего, лейтенанта Михая. Вот маленькая бухта, заходите сюда, мы здесь пристанем.

Сойдя с катера и направляясь к главному входу во дворец, я не знал, что меня ожидает за его массивными дубовыми дверями, но здесь уместно будет сказать, что пройдет с тех пор сорок лет, я

похороню в Москве мою Надежду и перееду на жительство ко второй жене Люции Павловне в Петербург, и здесь однажды, сидя у телевизора, вновь увижу этот великолепный оранжевый дворец, стоящий на берегу Черного моря вблизи границ Румынии и Болгарии. Диктор назовет его «Шалашом» и расскажет, что купил его один из недавних владык России, награбивший у нас миллиарды долларов и принимавший в нем молодую женщину, победившую на конкурсе красавиц России, и молодого русского человека, сделавшегося каким-то чудом, по утверждению вездесущих журналистов, самым богатым человеком мира. Кличка у него была Малыш, и я в Петербурге много слышал о его таинственных банковских операциях и о том, что он, несмотря на свою молодость, состоял в какой-то международной мафии и будто бы даже руководил ею. Мимолетная случайная телепередача взбудоражила мою фантазию, и я еще раз обратился мыслью к оранжевому дворцу, стал изучать историю его нового владельца и его друзей, и мне открылись многие тайны крушения Российской империи… Я написал роман «Шальные миллионы» – произведение, в котором много драматических и трагических историй и также много любви, лирики и дорогих моему сердцу картин, с которыми были связаны годы молодости и детства. Много страниц посвящается и вот этому оранжевому дворцу, к дверям которого мы сейчас подходили.

Вошли в коридор, из него в просторный зал, и тут адмирал предложил нам сесть за стол, накрытый фруктами и вином, подкрепиться с дороги, а сам пошел на второй этаж в апартаменты хозяев. Потом они придут вместе с бароном Маринеску. Это был старик лет восьмидесяти – прямой, с высоко поднятой седой головой, в пенсне, из-за которых смотрели на вас глаза неопределенного цвета, но еще живые и проницательные. Он поклонился мне, кивнул племяннику и сел во главе стола. И тотчас две официантки из боковой двери стали приносить горячие блюда.

Я уже подвязал салфетку и хотел приступить к трапезе, как по лестнице, ведущей на второй этаж, послышалось дробное постукивание женских каблучков. Все повернулись к двери, и я тоже. Она открылась, и на пороге появилось чудо. Иначе не назовешь то, что я увидел. А увидел я Елену. Но только не в обычном ее одеянии, а в длинном бархатном платье светло-зеленого цвета и с широким вырезом, рискованно обнажавшим значительную часть груди. Ее волосы художественно вздыблены над головой и двумя волнистыми прядями кокетливо падали на плечи. Она улыбалась и смотрела только на меня, словно говоря: «Ты, конечно, не ожидал». И как мне ожидать ее появления в этом

дворце, среди близких родственников моего нового друга?… Я вышел из-за стола, поклонился и как-то неловко поцеловал поданную мне руку.

Елена сказала:

– Я уезжаю в Париж, перед отъездом решила с вами повидаться.

«Решила повидаться…» Говорит официально, словно на рауте. И зачем ей надо встречаться? И зачем она вообще смущает мой покой?… Она же знает, что я женат, имею двух детей. Зачем я нужен этой блистательной молодой особе?…

– Вы едете в Париж? Зачем? Ах, да. У вас, кажется, там… – Хотел сказать: муж, но на ходу поправился: – … родственники.

– Да, у меня там муж, и я еду туда на жительство. Буду работать в посольстве.

Рональд добавил:

– Наша Елена получила повышение: назначена третьим секретарем посольства.

– О-о-о… Поздравляю.

Я поклонился. Подумал: наверное, выгляжу глупо и говорю совсем не то. Но где же мне взять остроумие и нужные слова, если я впервые попал в такое общество: барон, министр, адмирал, а тут еще и она – со своей ослепительной красотой, секретарь посольства в одной из самых просвещенных стран – во Франции.

После ужина дядя с племянником поднялись на второй этаж, а мы с Еленой вышли в сад и уединились в беседке.

Я заговорил о Нелепеску:

– Ему дадут новую работу?

– Да, его назначают министром сельского хозяйства.

– Он выступает против канала, но, может быть, он не прав?

– Прав, конечно, но голос подал зря. Надо видеть перед собой силу. Канал – это египетская пирамида, великая стройка, призванная отсосать энергию народа, нарушить баланс между городским населением и сельским, – наконец, монстр, убивающий природу, нарушающий экологию страны. Таких строек много у нас в Советском Союзе, их теперь планируют и в странах народной демократии. Все это входит в замыслы нашего противника, Пятой колонны, которую двинули на мир социализма.

– Выходит, он прав, выступил на борьбу…

Лена пристально на меня посмотрела, сочувственно покачала головой:

– Боюсь я, что и ты вот так же будешь бросаться сломя голову. Не так надо бороться с нашим новым противником. Если занял окоп, сиди в нем и поражай врага, когда он поднимет

голову. Наша война надолго, побеждать в ней будет не штык, а хитрость. И еще нам нужны крепкие нервы. Нельзя забывать, что власть над нашей страной находится не у нас, а в чужих руках. Сталин хотел ее сбросить, но не сумел. Мы находимся в оккупации, и надо научиться жить в подполье.

Я не мог с этим согласиться, хотел бы возразить Елене, но не стал с ней спорить.

Лена протянула мне руку:

– Пойдем на пляж, будем купаться.

После купания пили чай, потом мне отвели комнату, и я заночевал у гостеприимных хозяев. На следующий день после завтрака мы с Еленой на ее автомобиле поехали домой: я в Констанцу, она в Бухарест.

Приехали в центр Констанцы, к развилке дорог, откуда начинался путь на Бухарест. Вышли из машины. Некоторое время стояли молча, смотрели друг другу в глаза. Потом она порывисто меня обняла, поцеловала. Села в автомобиль и с места взяла большую скорость. Улетела еще одна розовая чайка, светлое облачко, сверкающий гребень волны. Будут бежать годы, гаснуть многие воспоминания, стираться лики людей, но и до сих пор не меркнет образ прекрасной благородной женщины, ринувшейся на защиту моего слабого, чуть было не попавшего в беду существа. Я еще долго буду получать от нее письма, они будут вспыхивать как лучи солнца и озарять мою смятенную душу, манить в какую-то прекрасную даль, но никогда я больше не увижу Елену, – одну из тех женщин, подаренных мне судьбой неизвестно за какие добродетели. Не побоюсь признаться, женщин, смутивших мой покой и сердце, будет еще много, я был влюбчив и в воображении своем часто создавал Дульциней, но все они, как и Елена, пройдут передо мной светлым видением, и ни к одной из них не возникнет и тени упрека. Я всех любил искренне и горячо, – и, может быть, в награду за мою святую бескорыстную любовь они дарили мне одно только светлое безмятежное счастье. Вас теперь нет, мои белые быстрые чайки, но судьба и на склоне лет подарила мне женщину, которая удивительным образом сочетает в себе все самые прекрасные достоинства, которые я встречал в других женщинах. Моя супруга Люция Павловна частенько говорит: «У нас нет детей, не тот наш возраст, но у меня есть твои книги. Они – мои дети». Да, Люция Павловна взяла на себя труд издавать мои книги, и за десять лет нашей супружеской жизни издала пять или шесть романов и несколько других книг. Я всегда верил женщинам, но того, что мне встретится еще и такая, которая будет рожать меня как писателя – такого чуда я и не мог представить.

Итак, Лена уехала. А через три года настанет день, когда военно-транспортный самолет, выделенный мне моим другом генералом Семеновым, поднимет меня, мою библиотеку и всю мою семью и доставит на Центральный аэродром в Москве, едва ли не к самому подъезду дома на Хорошевской улице, где мы тогда жили.

Кончился румынский период жизни. Снова Москва, океанский круговорот людей, который захватывает меня как щепку и несет куда-то. Куда?… Я задавал себе этот вопрос, но ответить на него мог один Создатель.

Глава четвертая

По приезде в Москву я два-три дня ходил по улицам, магазинам, наслаждался общением с москвичами, которые после трехлетней разлуки казались мне близкими, родными людьми. Вот уж истинно говорят: для того, чтобы понять, что такое для человека Родина, надо пожить на чужбине.

Румынию я покинул вместе с советскими войсками; Хрущев уже тогда действовал, как Ельцин: показал свою ненависть к Сталину и начал крушить армию; резал на металл боевые корабли, списывал на слом стратегические бомбардировщики, выводил войска из стран – бывших гитлеровских сателлитов. До Германии не дотянулся, видно, сильны еще были маршалы и генералы, добывшие Победу, жив был и здравствовал великий русский человек Георгий Жуков.

Офицеров, служивших в Румынии, демобилизовали – без пенсии и с мизерным выходным пособием. Многим не хватало месяца до пенсии – все равно: снимай погоны. У меня до пенсии с учетом фронтовых годов, каждый из которых засчитывался за три, не хватало три месяца – уволили. Ну, да ладно: о пенсии не думалось. Жизнь только еще начиналась. У меня была комната в Москве: вот это настоящее богатство. В Управлении кадров мне сказали: поезжай в Борзю ответственным секретарем армейской газеты, но комнату в Москве сдавай. Борзя далеко, на границе с Монголией – там и воды питьевой нет. Привозят в бочках – нечистую, вонючую; я отказался.

Уговаривать не стали – списали в запас.

И вот я брожу по улицам Москвы, жадно вдыхаю родной воздух, покупаю арбуз, дыню, виноград, иду домой. Дочки мои, Светлана и Леночка, играют во дворе и, если меня увидят, радостно подбегают, вместе идем домой. Тут Надежда и ее мама Анна Яковлевна прибирают комнату, наводят уют, порядок. Все у нас хорошо, все довольны, и только одна тревожная мысль омрачает нашу жизнь: врачи находят у Леночки врожденный порок сердца, ей предстоит операция. Но я еще в Румынии консультировал ее у профессора, он сказал: «У нее незаращение межпредсердной перегородки, такие операции успешно производят в России».

К нам часто заходит Грибов, он отправил семью в Кострому, а сам пытает судьбу в Москве. Надеется на мою помощь, но я еще и сам только подумываю об устройстве. Пока еще в толк не возьму, где и как буду работать. Мне, конечно, проще: есть жилье, прописка – хомут найдется. Я себя знаю: мне бы лишь зацепиться.

Грибову говорю:

– Попытаюсь защитить диплом в академии, ты тоже поступай в институт – хотя бы на заочное отделение. В гражданке нам без диплома не обойтись.

Он пошел в Областной педагогический институт, подал заявление. Пришел счастливый:

– Для меня льготы: фронтовик, имею среднетехническое военное образование. А к тому же – мужик. Там у них на нашего брата дефицит. Будь ты хоть идиотом – примут.

Жена моя, кажется, рада возвращению больше всех. Светлане в этом году в школу, Леночку положим в больницу; все дела устраиваются как нельзя лучше.

Наконец я начинаю определяться в новой жизни. Иду в райком партии встать на учет. Тут меня долго держат у окошка. Женщина искала мою учетную карточку, потом вертела ее в руках – и так посмотрит, и этак… Куда-то с ней ходила, потом как-то несмело, виновато проговорила:

– Вам придется пройти на третий этаж. Вас примет первый секретарь.

Слово «первый» проговорила тихо и как-то торжественно.

И вот я сижу в огромной приемной. Слева дверь и сбоку от нее за стеклом надпись «Первый секретарь райкома партии Корчагин Н. И.» Это власть. Самая большая в районе. Районов в Москве тридцать два. И вот таких вот секретарей тоже тридцать два. В их руках судьба пятимиллионного города. И, конечно, моя судьба. Я у такого большого партийного начальника никогда не был. Зачем я ему понадобился?

Но вот секретарша открывает дверь кабинета:

– Проходите.

Я ступаю на зеленую ковровую дорожку и не смею идти дальше. Говорю:

– Здравствуйте!

Человек за столом молчит. И даже не кивнул мне.

– Чего же вы стоите? Проходите!

Я подошел ближе. Смотрю на секретаря, а секретарь смотрит на меня. С удовлетворением отмечаю: смотрит на меня весело, будто бы рад встрече. Я говорю:

– Слушаю вас.

– Это я слушаю вас. Три года служите за границей и никому не сообщаете, что исключены из партии. Что же это получается? Кого вы обманываете?

– Как исключен? За что?

– Он еще спрашивает – за что? За все хорошее, что вы там творили у сынка Сталина. Вас еще тогда, в пятьдесят третьем,

всех близких к генералу холуев, выкинули из партии, а он – будто и слыхом не слыхал? Вы служили в Румынии незаконно, вы обманули партийные органы.

– Я ничего не знал и никого не обманывал. А ваш тон мне непонятен. Вы объясните, что случилось, в чем я провинился? Должен же быть какой-то разбор, мне должны предъявить обвинение.

– Секретарь поднялся, побагровел:

– Разбор ему нужен! Да ты скажи спасибо, что цел остался, за решетку не попал, как ваш дутый генерал-мошенник. А за то, что незаконно в Румынии должность в военной газете занимал, секреты разные вынюхивал, ты еще ответишь!…

Чувствовал, как кровь бьется в висках, сердце колотится как авиационный двигатель. Кулаки сжал до хруста в пальцах. Подумал: «Хорошо, что еще там, в Румынии, сдал оружие. Нельзя мне в гражданском мире ходить с пистолетом. Слишком тут много подлецов…». Вроде этого. Дрожащим, металлическим голосом проговорил: «А вы мне не тыкайте, я с вами чаи не распивал. А что до моего генерала – он летчик-истребитель, храбро дрался за Родину и оскорблять его я вам не позволю! А что касается меня – я право на жизнь и на службу в армии добыл в бою и прошу не оскорблять меня!»

Во рту все пересохло, я наклонился к секретарю и, наверное, в эту минуту был похож на петуха, готового броситься на соперника.

Секретарь сел и тоже дышал неровно. Ему, видимо, хотелось и дальше говорить мне гадости, но он, похоже, понимал, что и так зашел далеко. Сипло, как змея, прошипел:

– Положите на стол партийный билет.

– Партийный билет не отдам. Я получил его в боях на подступах к Сталинграду и не вам его у меня отнимать.

– Вы отдаете отчет своим действиям? Я же вас… в порошок сотру.

– Я танков немецких не боялся, а вас-то… как-нибудь…

Слова мои захлебнулись, и я, как в тумане, повернулся и нетвердой походкой направился к двери.

– Вернитесь! – закричал секретарь. – Вернитесь, я вам говорю!…

Я остановился. Глубоко вздохнул и сказал себе: «Иван! Успокойся! Ну, что ты кипишь, как самовар. Тебе и не такое встречалось в жизни, а тут разошелся».

Вернулся к столу. Подошел к секретарю ближе. Глядя ему в пылающие злобой глаза, тихо и теперь уже спокойно проговорил:

– Чему же вы радуетесь? Человека исключили из партии, у

него беда, а вы – радуетесь. Ну, что вы за человек? Кто же вас поставил на такую высокую должность?

И я сел. И продолжал смотреть на него – и, кажется, смотрел с чувством жалости и сочувствия. Мимолетно думал: «Да если бы я был на такой должности, разве бы я так относился к людям?»

– Вы должны отдать мне партийный билет, – проговорил он упавшим голосом.

– Почему?

– У меня же спросят: как же я не взял у вас партийного билета? Так нельзя, не положено – так у нас не бывает.

– Ага, начальства боитесь. Понимаю. Ну, если так – вот вам, партийный билет.

Вынул из кармана, положил на стол перед носом секретаря и, вставая, сказал:

– Ну, пойду я. А глаза свои страшные не делайте. Не боюсь я вас, потому как нечего мне бояться.

И медленно, но твердой походкой, пошел к двери. Прощаясь с технической секретаршей, подумал: «Вот так и всегда надо: помни о своем достоинстве. В жизни твоей, – обращался к себе со стороны, – наверное, будут и впредь подобные случаи: это удары судьбы и принимать их надо спокойно».

Об устройстве своей жизни без партбилета я в ту минуту не думал.

Шел пешком про улице. Потом свернул куда-то в переулок. Куда я шел, зачем – не знал. Мне нужно было успокоиться. И бесцельная ходьба помогала мне собрать мысли и силы.

Спустился в метро, доехал до Киевской. И уж когда только поднялся наверх, вспомнил, что на Кутузовском проспекте я не живу, комнату свою в прекрасной квартире мы поменяли на большую в доме на Хорошевском шоссе. «Этак можно и с ума сойти», – вскочила в голову мысль, и я грустно улыбнулся, покачал головой. Стоял возле дома, в котором жил Фридман, – не сразу узнал этот дом, но, узнав, подумал: «Зайду-ка к нему, с ним можно посоветоваться».

Фридман жил в доме с подъездом, в котором днем и ночью дежурил швейцар. Спросил, дома ли Фридман.

– Только что сейчас поднялся на лифте с огромной дыней.

И все равно: я позвонил по телефону. Фридман радостно кричал в трубку:

– Ты же в Румынии! Или я не так говорю?

– Так говоришь, но ты же слышал: Хрущев шуганул оттуда всю группировку.

– Ну, заходи! Будем дыню есть.

Я зашел не сразу, а вышел из подъезда и купил арбуз

килограмм на пятнадцать.

Фридман за три года изменился так, что встреть я его на улице, не узнал бы. Потучнел, огруз, шея стала короткой и не так уж бойко вращалась. И только ястребиный нос остался тем же и коричневые выпуклые глаза бегали по сторонам еще живее – так, будто рядом объявилась какая-то опасная тварь и он ее остерегался.

– Ты там прибарахлился, привез кучу ковров и тонкого сукна метров сто-двести – да?

– Сукна? А разве там есть хорошее сукно и если есть, зачем оно мне?

– Вот чудак! За ковер ты там отдашь двести лей, а тут получишь семьсот рублей. Есть разница? Да?… А сукно?… Только в Румынии умеют делать такое тонкое и мягкое сукно. На нем можно иметь хорошие деньги. Ты разве не знал?

– Я там покупал книги. Туда за границу посылают самые лучшие – я их и покупал.

– Ну, ладно. Если привез книги, тоже хорошо. Главное, не промотать деньги, а что-нибудь купить. За границу тебя не часто будут посылать, а, может быть, и не пошлют совсем. Только там офицерам платят хорошие деньги. Но ты офицером остался или нет?

Я рассказал Фридману свою печальную историю, и о встрече с Корчагиным тоже рассказал.

– Да, я слышал: ваших там из округа Сталина человек пятьдесят выгнали из армии и из партии, а многих и совсем… – на Колыму. Ты еще легко отделался. Но вот что грубо говорил с Корчагиным – это плохо. У него ведь и свои есть мальчики в зеленых фуражках. Он им кивнет, и… ночью заявятся, скажут: «Пошли».

– Ну ты тоже страху нагоняешь. Я и так оттаять не могу. Корчагину черт знает что наговорил.

– А это я тебе скажу прямо: ты дурака свалял. Корчагин – власть. И такая, что выше и нет никого. Тебя, я вижу, выручать надо, а то сегодня же загремишь вслед за своим шефом, Сталиным. Да хоть знаешь, где он? Во Владимирской тюрьме сидит. Корчагин-то и тебя туда сунуть может.

У меня снова холодок побежал по спине, я уж пожалел, что зашел к Фридману, думал о нем: что же я мог хорошего от него ожидать?… А Фридман вдруг кинул якорь: «Придется тебя выручать, Иван. Дело твое швах – это уж как пить дать. Я сейчас ему позвоню, Корчагину».

– Ты его знаешь? – удивился я.

– Я – нет, но другие знают. И они знают не его, а его супругу

Зосю. Супруга Зося просить не станет, потому как она ему надоела. У нее слоновые ноги и сто тридцать килограмм веса, а он, как ты видел, молодой мужик, и ему подсунули Симу. Сима – младшая сестра Зоси, ей шестнадцать лет, и она так хороша, что ты можешь облизать пальцы. Но я Симу не знаю, а ее знает Роман Свирчевский – вот я ему сейчас позвоню, и он все устроит.

Набрал номер телефона.

– Роман? Это я, Фридман. Есть дело, и ты его сейчас же обкрути. Нет, сейчас! Я говорю, а ты делай. Найди Симу, и пусть она позвонит Корчагину. Сима рядом? Хорошо, ты ей передай: у него сегодня был человек из Румынии, он нам нужен. Не запомнил, ну запиши. Бери карандаш, записывай. Сделайте это сейчас, и мне позвони.

Мы ели арбуз, дыню, – и, кажется, не прошло двадцати минут, как раздался звонок. Фридман наклонился ко мне так, что трубка оказалась и у моего уха. И я услышал:

– Сима звонила. Корчагин сказал, что оставит в покос этого глупого Ивана – ну, того, который у него был. В партии его восстановить не может – исключал горком по указанию ЦК, а сажать его никто не собирается. Фрид, как ты живешь? Говорят, ты в «Красной звезде» заделался шишкой. Райкомовский босс обрадовался, что Симочка ему звонила. Ему и невдомек, что Сима сидит у него на коленях, а спать приходит ко мне. Ха-ха!… Старые козлы! Так им и надо. Сима народит ему детей, а он пусть думает, что это его дети. Они, гои, не знают, как поступают наши женщины: живут с гоем, а детей рожают от своих. Ха-ха!…

Фридман от меня отклонился. Видимо, в его расчеты не входили такие откровения его дружка Ромы.

Я оживился. Бог с ним, с партбилетом! Хорошо, что оставляют на свободе. В партии-то восстановят. Буду хорошо работать, и – восстановят.

Поблагодарил Фридмана, стал расспрашивать о возможностях устроиться на работу.

Мой собеседник не церемонился, рубил с плеча:

– Иллюзий не строй. Помнишь кино «Партбилет». Потеря его равносильна самоубийству. В газету тебя не возьмут – это уж поверь. Да и в контору какую, даже на завод… Все пути закрыты. Сам посуди: приходит человек в редакцию и говорит: я исключен из партии. Да там все со стульев попадают. У нас система: исключен – значит, враг!

– Да ладно тебе! – возвысил я голос. – Какой же я враг?

– А это ты им скажи, всем, с кем говорить будешь. Да если тебя исключили из партии, значит, против шел, контрик какой. Или уж разложился – так, что пахнет от тебя. Кому же нужен

такой человек? А если ты скажешь, со Сталиным работал, тут и вовсе труба. Вася-то где теперь? В тюряге сидит, как самый опасный преступник. А ты рядом с ним был, планы всякие вынашивал. Нет, тут и думать нечего: у тебя одна дорога – стать невозвращенцем.

– Как это?

– А так: поехать по турпутевке во Францию, а там попросить убежища. Там как узнают, что ты был помощником Сталина…

– Не был я помощником! Ты же знаешь.

– А ты говори: был. Он тебя просил помочь ему написать книгу, и ты писал ее – об этом все знают, ну, и говори так. Да тебе там цены не будет! Лекции читать в университет пригласят, а если статью для газет напишешь… – по всей Франции звон пойдет. Деньги лопатой грести будешь. И в Англию пригласят, и в Америку… Тут и думать нечего. Пиши заявление, и я тебе помогу достать путевку. Напишешь, что беспартийный, а таким-то проще. Не надо характеристик из райкома.

Я поднялся.

– Ладно. За совет спасибо. Думать буду.

– Думай и звони. Я тебе всегда рад помочь. Помнишь, как ты мне тогда помог? Мы таких вещей не забываем.

И уже у двери, провожая меня, добавил:

– Если поедешь, от меня будет задание: там, видишь ли, есть небольшая газета на русском языке, так ее редактор немножко бешеный. Деньги от наших людей получает, а печатает не то, что надо. Хорошо бы внедриться в нее и немножко делать такое, что нужно нам, а не этому глупому редактору.

Я охотно согласился:

– Ну, это по нашей части. Конечно, конечно.

Из элитного дома, в котором жил Фридман, выходил одушевленный: все-таки я свободен и мне нечего бояться. Да и перспектива жить во Франции хотя и казалась невероятной, почти утопической, но все-таки светила огоньками пристани, к которой в случае уж совсем безвыходного положения можно будет причалить. Думал о Тургеневе, Герцене, Куприне и Бунине… Они ведь тоже любили свою Родину, но случились такие обстоятельства, что жить в России они не могли. И уехали за границу. Да еще счастливы были, что унесли ноги целыми.

Но потом я думал о семье. У меня ведь четыре человека, и все на моем иждивении. Да еще мама живет в Сталинграде, ей тоже посылаю деньги. Впрочем, и оттуда, наверное, можно посылать. Ну, а уж как их заработать?… Фридман говорит, там будет легче. Там и Елена. Подскажет, поможет…

Однако мысли эти были мимолетными, они тотчас отлетели,

как я только подумал о том, что надо будет расстаться со всем привычным – с семьей, Москвой, со всем, что дорого сердцу и называется одним словом – Родина. Тургенев, Герцен были дворянами, имели капитал в банках, – они знали язык, были знаменитыми писателями, а я что за птица? Кому нужен, где жить буду? – наконец, и денег нет даже на первые расходы.

И тут же отбрасывал всякие мысли о заграница. Буду искать работу, пойду на завод – токарем, учеником слесаря; наконец, чернорабочим. Кем угодно, но только дома, в России, на Родине.

Надежду застал в радостном возбуждении от того, что комната приобрела почти дворцовый вид; без совета со мной купила новый диван, красивые стулья, шторы и на пол большой китайский ковер. Я все это оценил, похвалил, но про себя подумал: «Трясет наши сбережения, а их ведь немного».

Сели обедать, я похвалил Надежду, но как бы между прочим заметил:

– Нам бы поскромнее жить надо. Неизвестно, когда я устроюсь на работу.

– Ты не торопись с работой, а я устроюсь быстро. Ко мне знакомая приходила, предлагает работу в цветочном магазине. Буду венки делать: свадебные, похоронные… у меня это получается. И зарплата неплохая: восемьсот пятьдесят рублей в месяц.

Обнял Надежду, поцеловал.

– Ты у меня хорошая. С тобой легко.

И прилег на диване, немного почитал, а потом уснул. И словно бы во сне слышу чей-то громкий разговор:

– Буди его! Ночью выспится. Я его по всей Москве искал, а вы тут у меня под боком живете.

Проснулся. Передо мной стоит во всей парадной форме Михаил Панов, друг детства, подполковник авиации. Мы не виделись с ним три года, и вот – он снова нашел меня. Говорю снова, потому что однажды терялись с ним в годы войны, я искал его, но нашел меня он. И после войны его засекретили, он стал личным летчиком Ворошилова, а потом Ворошилов «подарил» его румынскому лидеру Георгиу Деж, но и тогда он разыскал меня, а теперь вот снова – стоит, как свежий огурчик, вся грудь в орденах, молодой, веселый…

– У меня сегодня день рождения. Приходите вечером с Надеждой.

Сходили в ювелирный, купили серебряный подстаканник и пошли на улицу Куусинена к Михаилу. Это совсем рядом, добираемся пешком.

Квартира у Михаила хотя и не отдельная, но большая, из двух

комнат: одна метров на тридцать, другая спальня, на шестнадцать. Потолки высокие, всюду дорогие люстры, новые обои, ковры на стенах и на полу, в шкафах множество посуды, серебра и разных диковинных статуэток. Михаил летал по всему свету, получал валюту – отовсюду вез покупки и постепенно превратил квартиру в настоящий музей. В спальне лежит шкура белого медведя. Показывая на нее, хозяин говорит:

– Привез с Чукотки себе и шефу, Клименту Ефремовичу. Потом и Георгиу Деж достал. У меня там, на Чукотке, много друзей.

Как я уже рассказывал в первых главах, встретились мы с ним в Сталинграде у кинотеатра «Ударник»: он стоял с дружком Анатолием Козорезом у велосипеда и на них напали бездомные ребята. Я кинулся им на защиту, и они прониклись ко мне симпатией. Им было по двенадцать лет, мне десять. Они чистенькие, в белых рубашках; у них даже велосипед был – по тому времени большая редкость, а я беспризорник. Они мне доверились, даже дали покататься. Так зародилась наша дружба. После войны Анатолий сгинул, он был еврей, а у них своя судьба: то ли уехал в Ташкент, в Сибирь – подальше от войны, а может, не успел и попал в концлагерь, как моя мама Екатерина Михайловна, сестренка Маша и братишка Евгений.

Мы с Михаилом еще перед войной поступили в авиационные училища – он в Батайское, я в Грозненское. Не потерялись. Дружим и сейчас, только в последнее время дружбу нашу опалил холодок, который уж не разогреть никакими силами. Не нравятся Михаилу мои три последние романа, и особенно роман-воспоминание «Последний Иван», который некоторые критики поставили в ряд с такими книгами, как «Спор о Сионе» Дугласа Рида и книга Генриха Форда о международном еврействе. Михаил каким-то образом переплел свою судьбу с силами, которые я обвиняю в развале Русского государства. Сын Михаила уехал в Америку и там успешно делает карьеру, а дочь вышла замуж за еврея и нарожала от него детей. Книги мои Михаил считает посягательством на свое семейное счастье. Так мы хотя и не разошлись, но дружба наша, которая насчитывает шестьдесят пять лет, дрогнула.

Но это теперь, а тогда ничто не омрачало наших отношений, мы пришли с Надеждой, и нас встретили уже собравшиеся сослуживцы Михаила. Их было немного: двое мужчин с женами. Знакомя нас, хозяин называл воинские звания и должности. Подведя меня к сидящему в кресле в вальяжной позе тучному багроволицему мужику лет сорока пяти, сказал:

– Знакомьтесь, товарищ генерал. Это друг детства Ваня

Дроздов. Как и мы, он летчик, но только в войну на самолетах не летал, а почему-то служил в артиллерии.

Генерал привстал с кресла, сунул мне мягкую теплую руку – снисходительно назвал себя:

– Павел Петрович.

А Михаил счел нужным добавить другие, не красящие меня подробности:

– В звании он немножко подотстал, всего лишь капитан, а теперь вот и вовсе вылетел из армии. Скверная история! Отдать столько сил службе и очутиться на улице.

Генерал заговорил как на лекции:

– Армия сокращается. Войну мы отодвинули далеко, нападать на нас некому, таких бедолаг много еще выпадет из седла.

Я почтительно слушал и про себя думал:

– Вот если бы они узнали, что я исключен из партии. То-то бы скривили физиономии!

Представил, как бы они удивились: и этот, второй гость, коротенький ласковый полковник с приклеенной улыбкой на лоснящемся сытостью и довольством лице, – он назвался Николаем Николаевичем, – и Михаил, держащийся важно, уверенно, как будто он был на учениях и в роли начальника производил разбор, – вот была бы сцена, почище гоголевской из «Ревизора».

Женщины и с ними Надежда были на кухне, заходили к нам в комнату, накрывали стол, и Михаил нас знакомил. Вначале с большим блюдом, на котором был красиво уложен салат, вошла черная, похожая на армянку дама – хозяин назвал меня, и я ей поклонился. Она обдала меня жаром черных и, как мне показалось, озорных глаз, жеманно склонилась:

– Ната Генриховна.

Тут одна за другой с тарелками и посудой явились хозяйка Клавдия Ивановна, Надежда и с ними низкорослая и пухлая, как матрешка, жена полковника, которая сама подала мне руку и проговорила, словно стесняясь своего имени:

–Капитолина.

И вот мы за столом, Михаил спрашивает, кто что будет пить, разливает вино, коньяк, водку. Говорит:

– Ну, первую рюмку я уж так и быть, вам налью, а потом вы будете наливать себе сами.

При этом на меня он кидает строгий взгляд, означающий: «Ты тут не ломайся, свое чистоплюйство не выказывай». Так он называет мое отношение к спиртному, мое нежелание пить много и крепкие вина. Я ему киваю: дескать, понял, не волнуйся, конфузить тебя не стану. Понимаю, что генерал какой-то его

начальник и Михаил бы хотел, чтобы никто тут не стеснял свободу винопития.

Из каких-то мимолетных реплик я уж знаю, что мой дружок стал большим начальником – командиром то ли Правительственного полка, то ли дивизии; такое назначение он получил сразу после отстранения генерала Сталина от должности; и этих его друзей я в частях столичного округа раньше не видел – и они, наверное, служат тут недавно.

Выпиваем по одной рюмке, по второй, третьей… Разговор все оживленнее, кто-то рассказал анекдот – раздался смех; говорит все больше полковник, ему поддакивает, с ним соглашается генерал – и Михаил чутко следит за ходом беседы и смотрит все больше на генерала, подставляет ему разные вкусности, рассказывает, какие продукты и где он покупал и как они приготовлялись. Постепенно всем становится ясно, что Михаил любит стряпать и самые изысканные блюда готовил сам. И если генерал или его жена говорили в адрес хозяина комплименты, глаза его вспыхивали почти детской радостью, а руки тянулись к бутылкам.

Скоро я уже знал, что генерал возглавляет политотдел какого-то важного соединения, а полковник – его заместитель. Оба они с Михаилом где-то летали, осваивали новые бомбардировщики-ракетоносцы. Высокие должности им дал новый командующий округом, сменивший на этом посту сына Сталина, генерал-полковник авиации Степан Акимович Красовский. Я его знал, он со мной беседовал, говорил о своем хорошем отношении к газете «Сталинский сокол», но на следующий же день газету закрыли, и я ушел из округа. Мне хотелось бы сказать и о своем впечатлении от встречи со знаменитым воинском начальником, но я промолчал. И лишь продолжал внимать собеседникам, которые все меньше слушали один другого, а все больше говорили.

Ната Генриховна подняла руку, просила тишины:

– У меня есть презабавный анекдот – из еврейской жизни. Послушайте! Так слушайте же, я вам говорю!

И при наступившей тишине рассказала простенький, гулявший в то время по всем компаниям анекдотец. В бесхитростных выражениях в нем повествовалось о том, как некто Михаил Абрамович приехал из командировки и застал жену свою с любовником и как та чисто по-еврейски выкрутилась из щекотливого положения.

Все мы от души смеялись, хвалили жену генерала за умение копировать евреев, но генерал сидел как каменный. И когда мы успокоились, в наступившей тишине прогремел резкий

командный голос:

– Ничего не нахожу тут смешного!

И, уставившись на жену покрасневшими глазами, добавил:

– Не тебе бы мазать евреев, которые на тебя так похожи. Подумала бы о детях своих.

Тут подал свой голос полковник:

– Ну, что же поделать, если евреи таковы!

Генерал повернулся к нему, его щеки налились кровью, губы пересохли:

– А это, мил друг, уж попахивает антисемитизмом. В тридцатых годах за такие речи пулю в затылок получали.

Меня эти слова словно ужалили. Я сказал:

– Слава Богу, нынче не тридцатые годы.

– Да? Не тридцатые? – рычал генерал, теперь уже меня испепеляя взглядом. – А жаль, что не тридцатые. Вася Сталин тоже думал, что не тридцатые. А где он теперь?

Эти слова меня за нутро зацепили.

– Василий Иосифович – боевой летчик, он двадцать вражеских самолетов сбил, а других каких-нибудь грязных дел мы за ним не числим. И это еще разобраться надо, кто его и за что посадил!

Мысленно снова я схватил себя за горло и сказал: «Успокойся! Опять сошел с тормозов».

Сидел, тяжело дышал и ни на кого не смотрел. Я не знал, сколько сбил Сталин самолетов, но сказал «двадцать» и готов был отстаивать эту цифру. Но генерал далек был от статистики; он, видимо, и сам понял, что зашел далеко, мирным тоном проговорил:

– Не к вам у меня претензия, а вот к ней, супруге моей. Она цыганка, и детей мне таких же нарожала. Одного нашего сына во время борьбы с космополитизмом чуть было из электрички не выбросили. На еврея похож. А мы тут еще сами будем раздувать ненависть к евреям. Сколько раз я ей говорил!

Михаил поднялся из-за стола, подошел к Нате, положил ей руки на плечи:

– Ладно, ладно обижать Наталью. Уж чего она такого рассказала? Я, признаться, и не понял ничего. А что рассказывать она умеет – этого у нее не отнимешь. Ладно, друзья! Выпьем за евреев! У меня на фронте штурман был еврей, и мы с ним отлично воевали.

На том инцидент был исчерпан, о евреях забыли, но моя защита сына Сталина всем пришлась не по сердцу. Я понял это по косым взглядам, дал знать жене, и скоро мы откланялись.

Я еще и при первой встрече с Михаилом сразу после войны не

находил в его душе прежнего дружеского тепла, теперь же, как мне казалось, еще больше от него отдалился. На память упорно лезла русская пословица: «Гусь свинье не товарищ».

Домой мы возвращались молча. Наде бы, конечно, хотелось сблизиться с такими важными людьми, но и она, наверное, понимала, что общего интереса с ними у меня быть не могло.

Был ранний вечер, мы шли пешком, я думал: открыться Наде со своей бедой или поберечь ее от лишних переживаний? Но тут же решил, что жена самый близкий друг, чего же от нее таиться?

– А знаешь, Надя, – заговорил я вдруг почти торжественно, – у нас ведь с тобой все не так просто, то есть не у нас, а у меня. Я был в райкоме, там узнал, что три года как исключен из партии, но, к счастью нашему, решение об этом куда-то заложили и в Румынию не прислали. Только теперь сообщили.

– У тебя все это на лице написано, да только я понять не могла, что с тобой, почему ты ходишь как в воду опущенный.

Она помолчала, потом спокойно, будто речь шла о пустяках, продолжала:

– И ладно. Живи без партии. Взносов платить не надо. Живут же люди! Вон Фридман у вас – сроду не был в партии. А и симпатия твоя черноокая Панночка – она, как ты говорил, и в комсомоле не была, зато муженек ее – вон какая знатная фигура! Кстати, ты бы к нему в журнал пошел. Чай, примет тебя на работу.

– Не знаю, шутишь ли ты или говоришь серьезно. Да кто же меня в журналистику теперь исключенного примет? Об этом и думать нечего.

– Как же не примут? Устинов тебя первым пером называл. А теперь что ж – писать что ли разучился? Я этого не понимаю. Ну, если в военную газету не примут, в гражданскую пойдешь. Такие-то, как ты, журналисты – везде нужны. А если уж не в газете – рассказы пиши. Умеешь ведь. Писателем станешь, как Чехов или Джек Лондон. Ты тогда, конечно, нос задерешь и бросишь меня, ну, это уж другая статья. Все равно твоим успехам радоваться буду.

Я понял, что Надежде моих тревог не понять. Ну, и ладно, страхов нагонять не стану, только пусть она об этом помалкивает. Нечего нам горе свое среди людей трясти, у них своих забот хватает.

Надежда – молодец, всегда поражала меня силой духа и ясностью ума. Проговорила серьезно, чеканя каждое слово:

– Ты только брось это – страхи разводить, в панику вдаваться. В этой нашей новой жизни действуй, как на войне. Я про тебя в газете читала: с неба пули да осколки сыпятся, а ты стоишь

посреди батареи, команды подаешь. Наверное, ведь не ошибался. Вот и тут надо: судьба-злодейка бьет нас, а нам хоть бы хны. Да и невелик удар мы получили. Деньги у нас кой-какие есть, я теперь экономить буду. Завтра же на работу пойду, а ты не рвись, не терзайся; сиди да пиши свои рассказы. Я в тебя верю: будешь стараться, и все у тебя получится. Помнишь, как во Львове: ночью за три часа рассказ написал. А теперь-то твое перо еще острее стало. Пусть не всякий рассказ у тебя возьмут, а ты знай себе, сиди и пиши. А я кормить вас всех буду. Я сильная, молодая – ну? Веришь в меня?…

Я обнял Надежду, и так, обнявшись, как жених и невеста, мы шли до дома. С души моей отвалился камень, мне легче дышалось, и жизнь впереди не казалась уж такой безрадостной.

На следующее утро я тщательно побрился, приоделся и пошел в свою родную газету – только теперь она называлась «Советская авиация». В комнате нашей сидели новые люди – со значками Политической академии. Из старых один Сережа Кудрявцев. Мы обнялись и долго так стояли.

– Слышал, вас всех демобилизовали? Это ужасно.

– Почему ужасно? В гражданке работать буду.

– Оно, конечно… можно и в гражданке, да у тебя военная профессия: летчик.

– Летчик он и на гражданке летчик.

– Ну, нет, на гражданке летчики гражданские бывают. У них и самолеты другие, и все летные правила. Переучиваться надо заново. Ну, да ладно. Давай вместе к Устинову сходим. Жаль только, что Борис Макаров уж не работает. У нас на кадрах теперь сидит капитан Габрилович, он своих человечков в отделы затаскивает, ну тебя-то, думаю, возьмут.

– Нет, Сережа, к Устинову я зайду, но на работу вольнонаемным проситься не стану. У меня другие планы. Я потом тебе скажу.

– Ну-ну, как хочешь. Мы подумаем: может, снова тебя в армию затянем. Я с Красовским поговорю, он меня по Дальнему Востоку помнит. Он же там у нас командующим был.

– Пока говорить не надо. А когда нужно будет, я тебе скажу.

От Сергея пошел к Устинову. Главный редактор встретил меня тепло, но, как мне показалось, без особого воодушевления. Сказал:

– Вы, конечно, в близкое окружение Сталина не попали, а вот все, кто стоял возле него, поплатились.

– Что же с ними сделали?

– Ничего особенного, а только из армии уволили. Многих из партии исключили. Несколько человек посадили. А вы… остались

в армии?

– Нет, Сергей Семенович, нас, румынских офицеров, всех уволили.

О партийных делах решил промолчать. Ждал предложения работать в газете, – хотя бы вольнонаемным, но полковник мне работу не предложил. И это больно меня задело. Не желая отвлекать его от работы, стал прощаться. Устинов вышел из-за стола, посмотрел мне в глаза, – и так, будто он все знал обо мне, сказал:

– Я буду помнить о вас и при случае постараюсь помочь. Может, удастся вас снова в армию призвать. Я бы тогда поручил вам отдел боевой подготовки. Соболев-то уволился. Там теперь Никитин, а он, как вы знаете, в летных делах ничего не смыслит.

Я поблагодарил его, и – простился.

Зашел к Панне. Она так и работала в отделе информации, но из прежних тут уж никого не было. Увидев меня, молча поднялась, и мы вышли.

Как прежде, пошли в ресторан «Динамо». Панне я рассказал все. И она не удивилась. Наоборот, обрадовалась.

– Чему ты рада?

– А тому, что жив-здоров и не сидишь в тюрьме. Васиных-то орлов половину пересажали. Пришили им черт-те что – будто миллионы растратили и в кутежах с Василием все пропили. И еще девочек-хористок из Большого театра приплели. Будто малолетних растлевали.

– Видел я хористок этих в марфинском Доме отдыха, но чтобы их растлевали?… У них бы спросили. А что до растрат – да, генерал денег из казны много брал, но строил он на них то бассейн на стадионе Пионеров, то спортивные залы в школах, а чтобы хоть копейку себе взял?… Господи, да что же это получается? Кому понадобилось оговаривать его?… Он же истребительным полком командовал, с немцами, как лев, дрался – мы же знаем!

– А ты успокойся, тут большой политикой пахнет. Новый владыка свидетелей убирает. Все сталинское как метлой выметается. Интернационалисты вздыбили хвост, говорят, оттепель началась – то есть к ним лицом повернулись, во власть их тянут. От ЦК партии во все области эмиссары разъехались, там на ключевые партийные посты своих людей назначают. Явных евреев не берут, а ставку на полтинников делают, да породнившихся с ними, да откровенных шабес-гоев. Такова теперь политика. Хрущев в Латвии был и там Калиберзину сказал: «Если хоть один волос упадет с головы еврея, я вас в порошок сотру». Так что ты теперь притихни и особенно-то не возникай.

Пусть забудут немного, что ты с Васей Сталиным работал. Его во Владимирской тюрьме заперли, как графа Монте-Кристо, и одну только женщину к нему пускают – ну, ту, что пловчихой была. Ты ее знать должен. А в нашей редакции – заметил, как они расплодились; в вашем-то отделе один Кудрявцев из русских остался.

– Другие там сидят – два офицера: вроде русские.

– Да, русские, но жены у них… Евреев-то с погонами где возьмешь, они лямку армейскую тянуть не охотники, а вот породнившихся с ними… этих хватает. Русских мужиков и без того мало, в деревнях-то женихов совсем нет, а тут еще эти… дурачье проклятое, на чужих женятся. Вот что значит законы отцов позабыли, Марксову змеюку под именем интернационализм в сердце запустили; под самый корень она душу нашу выгрызет.

Слушал я Панну, а сам Лену румынскую вспоминал; удивительно, как они были похожи! Та же глубина знаний и проницательность в анализе событий, резкость и бескомпромиссность суждений. Заметил я, и впоследствии все больше буду убеждаться, что женское сердце более чутко и обнаженно воспринимает все виды социальных несправедливостей, судит о них горячо и виновников зла клянет нещадно. Тут, видимо, срабатывает генетически заложенный синдром заботы о потомстве, врожденная боль за возможные страдания детей.

В жизни моей так сложилось, что многие истины я постигал при содействии и через посредство женщин; как-то так выходило, что именно женщины открывали передо мной самые сокровенные тайны бытия, преподавали мне уроки действий и поведения. Панна была одной из таких женщин, она великодушно и по-детски доверчиво превращала себя в мост, по которому я выходил из темного мира моей примитивной среды в мир самой высокой посвященности – в тот мир, где, как на кухне, варилась пища для завтрашней жизни народов, особенно же для нашей многострадальной России. Муж ее был связан тесной дружбой с одним из самых высоких столпов отечества, обретался в среде поваров и машинистов времени и в силу своей врожденной открытости и беспамятной любви к супруге сообщал ей свои знания, а она в готовом и неусеченном виде преподносила мне эти знания на блюдечке с золотой каемкой. То же я могу сказать и о Елене, и о других женщинах, которые встречались мне на жизненном пути, и вместе со всем, что было у них прекрасного, выкладывали передо мной плоды своих сокровенных размышлений о жизни и обо всем, что скрывалось злыми силами, всегда стремившимися к власти и к захвату богатств, которые они

не создавали.

И самое замечательное, и почти невероятное, это то, что и не посвященные в таинства верхов женщины открывали передо мной секреты, казавшиеся мне непостижимыми. Надежда моя однажды в разговоре о дурных свойствах евреев на мое предположение, что они смогут окончательно захватить власть в России, неожиданно сказала:

– Нет, не могут.

– Почему ты так уверена?

– Они злые. У них кишка тонка.

– Что ты буровишь о какой-то там кишке! – пытался я ее урезонить. – Я говорю о серьезных вещах, а ты, право…

– И я говорю о серьезных вещах. Возьми, к примеру, директора аптеки, где я работала. Ему и сорока лет не было, а он уж шею тянул.

– Как тянул? Зачем?

– А затем, что нервы. Чуть чего, он все шею тянет, словно воротник давит. И при этом нижней губой дергает. Жалко, конечно, смотреть на это уродство, да опять же сам он виноват. Злился много. Он всегда и всем недоволен, и всех в чем-то подозревает. А нервы – они запас прочности имеют, как подшипники на вагонах.

Надежда во время войны девчонкой была мобилизована на железную дорогу, у нее и сравнения свои, профессиональные.

– Был бы он один такой, наш директор, – продолжает она философствовать. – А то ведь все такие. И жена у него толстая, как бочка, и походка у нее утиная; идет, с боку на бок переваливается. И глаза у нее… странные, левый прищурен, а правый открыт сверх меры – так, что белое поле сверкает. Подойдет ко мне и спрашивает, где ее муженек, куда он уходит все время, а сама правый глаз еще пуще таращит. Она всех наших девчонок подозревает. Думает, что гуляют с ее рыжим козлом. А я нарочно наклонюсь к ней, будто секрет сказать хочу, и тихо этак на ухо шепну: «Не знаю, он и вчера уходил». Она после этого и совсем расстроится, у нее руки трясутся, а правый глаз вот-вот лопнет. И другие ихние люди, которые к нему приходят, – все увечные. И эти-то люди победить нас могут? Не смеши меня.

Другая женщина, тоже простая, бесхитростная, сказала:

– Они только уворовать что-нибудь могут, даже очень много уворуют, а что серьезное сделать – нет, не могут. У них фантазии не хватает. Они глупые.

– Ну, это уж – извини. Все говорят – они умные, а ты – глупые.

– Не все говорят, а только они, да еще те, кто верит им. Если

же человек умный и может сам мнение составлять, он видит: глупые они, как один. Назови хоть одного их писателя? Нет, не назовешь, а тогда и говорить не о чем. Ум народа писателями определяется. Вот у нас – Пушкин, Гоголь, Толстой… А у них кто? Ну, о чем же тогда говорить?

И уж совсем интересное свое заключение сделала третья женщина – тоже не шибко образованная:

– Как они ни старайся, а власти им над нами не видать. За ними силы нет, не прикрепленные они. К земле не привязаны, а потому и мечутся по всему свету в поисках простаков, которых дурачить легко. Сила у человека от близости с землей бывает. А эти… Они до первого разоблачения. Как увидят, что след к ним ведет, тут им и крышка: пар из них выходит.

В разное время я эти высказывания себе в блокнот записал. Разумеется, не дословно, но и в таком виде они довольно полно характеризуют отношение русского человека к евреям.

Панна продолжала:

– В журнал к мужу я тебя порекомендовать не могу – исключенного не возьмут, а вот рассказ протолкнуть… Пожалуй, попытаюсь. Ты пиши, да хорошенько отделывай, и мне приноси.

Это был спасательный круг, который мне великодушно бросала Панна. Я не замедлил за него схватиться:

– Буду писать и подпишусь псевдонимом. Не стану мельтешить перед глазами, мне пока не слава нужна, а средства для пропитания.

Панна не возражала, и мы на этом расстались. Я поехал на станкостроительный завод имени Орджоникидзе. Там зашел в многотиражку, поговорил с редактором. Он мне сказал, что сотрудник им нужен, но исключенного из партии партком не утвердит. Об этом и говорить нечего. Тогда я попросил порекомендовать меня какому-нибудь начальнику цеха. Пошел бы в ученики к токарю или слесарю. Редактор тут же позвонил и договорился. Выписал пропуск, и через полчаса я уже сидел в кабинете начальника сборочного цеха. Это был инженер лет тридцати пяти, с виду русский, внимательный, заговорил со мной любезно. Спросил:

– А в армии вы чем занимались?

– Во время войны был летчиком, потом потерял самолет, попал в артиллерию, кончил войну командиром батареи. Имею два боевых ордена и пять медалей.

– Вам бы в гражданскую авиацию пойти.

– Нет желания летать.

– Тогда в редакцию газеты. Вы, как я понимаю, квалифицированный журналист, академию кончили.

– Да, но в газету исключенного из партии не возьмут.

– Извините, но я, наверное, должен знать, за что вас исключили из партии.

Я замялся, смутился, – и это, конечно, не ускользнуло от внимательного взгляда начальника.

– Ну, говорите, я постараюсь вас понять.

– Да мне и говорить нечего. Я и сам не знаю, за что меня исключили. Я работал собственным корреспондентом газеты «Сталинский сокол» по Московскому военно-воздушному округу, и мой кабинет был в нескольких метрах от кабинета командующего округом – так, наверное, за это.

Глаза моего собеседника расширились, он пожал плечами:

– Не понимаю вас.

– Добавить мне нечего. Я действительно только в этом и нахожу свою вину. Но мне даже в райкоме партии не сказали, за что меня исключили. Командующего посадили в тюрьму…

– В тюрьму? Он, верно, был важный генерал?… Чтой-то я не слышал, чтобы генералов сажали в тюрьму.

– Да, конечно, командующий наш имел звание генерал-лейтенанта. А сверх того, он еще был и сыном Сталина.

– Василий Иосифович! Ах, вот в чем дело?… Теперь мне все понятно.

Начальник задумался, а потом сказал:

– Позвольте, я запишу ваши данные и домашний телефон. Мне надо посоветоваться с директором завода. Я вам в ближайшие дни позвоню. Надеюсь, мне удастся обо всем договориться.

Я ждал, и даже не выходил гулять, но звонка от начальника цеха не дождался.

Понял: дело мое много хуже, чем я предполагал.

Надежда устроилась на работу в цветочный склад, дело нехитрое и не совсем чистое с точки зрения гигиены, – работают в халатах, грузят, разгружают, сортируют, раскладывают по местам, но Надя довольна, попала в хороший коллектив, за день пропитается запахами роз, гвоздик, ромашек, – едет с работы, а от нее запах, как от огромного букета цветов. Дома рассказывает – мы все смеемся, и девочки наши, семилетняя Светлана и четырехлетняя Леночка, прыгают, бьют в ладоши:

– Мамочка! Принеси нам цветов, принеси!…

И Надя носит им букетики. Девочки гордятся мамой, она у них цветочная начальница.

Меня Надежда ни о чем не спрашивает и делает вид, что не замечает моего тревожного настроения, а однажды обняла меня, ласково проговорила:

– Не волнуйся, все обойдется. Наша жизнь только еще начинается.

Я кисло улыбнулся, проговорил:

– Я еще нигде не был. Успею, устроюсь. Надо хорошенько осмотреться, чтобы не продешевить, продать себя подороже.

Мы сидим на лавочке во дворе своего дома. Надя только что пришла с работы, ее мама Анна Яковлевна в другом углу скверика беседует со старушками, девочки играют с детьми, – у тещи и у них своя жизнь, свои дружеские связи, своя цивилизация.

Я чувствовал: Надя устала, она приходит с работы, поест и ложится на диван. Раньше такого не было, чтобы днем – отдыхать. Разве уж если очень утомится. А теперь…

– Ты, наверное, устаешь? Может, зря пошла на такую работу?

Встрепенулась, поднялась с дивана:

– Что ты! Я на минутку прилегла… Полежать захотелось.

И потом, подумав:

– Работа, конечно, колготная, привозят продукцию из теплиц, а то и с Кавказа, из Средней Азии – грузчики не успевают, мы им помогаем. Так ведь цветы-то не цемент, нет в них тяжести, а колгота, конечно, изрядная.

В другой раз войну вспомнит. В восьмом классе учились, когда их, девчонок, в депо позвали. Кто смазчицей, кто сцепщицей… Вот там было тяжело, а и то – привыкли. Скажет, бывало: «Человек такая скотина – привыкает».

Каждый день утром я выхожу с ней и мы едем на автобусе до метро «Динамо». Здесь расстаемся, и она спускается к поездам. Я же поворачиваю обратно и по длинному скверу, по которому мы любили гулять с Панной, иду до метро «Белорусская». Здесь у памятника Горькому сажусь на лавочку и бесцельно смотрю перед собой, не видя ни голубей, снующих у прохожих под ногами, ни детей, играющих с ними. Думаю. Перебираю в памяти интересные случаи, эпизоды, пытаюсь приплести к ним знакомых мне людей, чтобы превратить в героев рассказа, но воспоминания рвутся, впечатления слабые, воображение мое не занимают. Несколько раз я садился писать, думал, что стоит мне лишь прикоснуться пером к листу – и письмо пойдет, лица оживут, задвигаются, заговорят, но тщетно… В одно целое ничего не сходится, сюжет не получается, композиция – тем более. Едва положу в конструкцию первые балки, все рушится, под ногами одни щепки.

Иду к Серебряному бору, где пляж и Москва-река, звучит музыка, рядами стоят нарядные палатки, на лотках разложены пирожки, яблоки, мороженое.

Моя литературная немощь, неспособность даже слепить

простейший рассказ добавляет в душу тревоги, я даже чувствую, как сильнее бьется мое сердце, стучит кровь в висках. Разлетаются вдребезги мечты о литературе, о хотя бы минимальных способностях, – наверное, вот такие же муки и тревоги испытывал Алексей Недугов, который небольшой рассказ с незамысловатым сюжетом писал три месяца, а потом настолько изнемогал, что ложился в больницу. Я так писать не хотел, такая судьба меня не прельщала.

Но позвольте! – восклицал я, обращаясь неизвестно к кому. – Я ведь писал рассказы. И их печатали!

И тут же сам себе отвечал: «То были рассказы из солдатской жизни, ну, еще из жизни летчиков, но такие рассказы нужны военной газете, ну, еще одному-двум журналам, а больше-то – кому они нужны?…»

Почему-то думалось, что рассказы следует писать на темы жизни гражданской, как писали Чехов, Горький, О'Генри. Но я этой жизни не знаю. И, наверное, не узнаю, потому что не умею наблюдать, подмечать смешные стороны, видеть забавных людей.

Тогда я еще не знал основного, самого главного условия творческой работы: нужен определенный настрой, состояние духа. Не знал я глубочайше мудрого замечания Пушкина: для писания стихов требуется психологическое спокойствие. Да уж, это так. Пушкин, как всегда, сказал метко и удивительно верно. В Румынии на берегу моря я мог написать очерк за три часа, а если нужен был рассказ – писал его за четыре, пять часов. Но там я был спокоен. Больше того, я испытывал подъем настроения, я был счастлив. А именно это состояние обеспечивает поток энергии, нужный для писания прозы или стихов.

Об этом я знаю теперь, когда написал так много. Сейчас вот на дворе первая половина сентября, небо над Балтикой голубое и теплое, – я недавно приехал из Москвы, где отдыхал на своей даче вместе с внуками Иваном и Петром. И там моя дочь Светлана и зять Николай, – и еще живы мои друзья-писатели, я знаю всех соседей и они знают меня: живу-то я там уж сорок лет!… Мне покойно, у меня хорошее настроение. Почти каждый год выходит мой новый роман. Я получаю письма читателей, а иногда мне даже присылают деньги с припиской: «Это Ивану Владимировичу на подарок». Одним словом, мне хорошо, и мой новый труд – роман-воспоминание «Оккупация» – уж подходит к концу, и он меня удовлетворяет, мне думается, что удалось сказать то, что хотел.

Для тех, кому интересно заглянуть в творческую лабораторию писателя, замечу, что приступил я к этой книге в начале года – последнего во втором тысячелетии. Теперь на дворе сентябрь,

написано десять глав, пишется одиннадцатая, а всего будет двенадцать. Я каждый день выполняю суточную норму – свои заветные три машинописные страницы, или девяносто строк компьютерного текста. А лет мне уже семьдесят пять. И не все время я сижу за компьютером; трижды в этом году ездил в Москву, один раз на отдых, а дважды по делам; я ведь еще и президент Петербургского отделения Международной славянской академии.

Откуда такая прыть? Где берутся силы?

Процесс оккупации завершен, враг захватил все командные высоты, разрушил наше хозяйство и разграбил казну. Люди голодают, женщины перестали рожать. Вчера был день очередной годовщины блокады Ленинграда. Немцы окружили город, сожгли Бадаевские склады продовольствия. Но людям и голодным надо было работать, давать оружие фронту. Они отражали налеты гитлеровской авиации, тушили пожары. Формировали и посылали на фронт отряды ополчения. Ленинградцы стояли насмерть и не пропустили врага.

По телевизору выступала женщина, сказала:

– Трудно нам было, люди падали на улицах, умирали у станков, но… все-таки нам было легче, чем сейчас. Мне нечем кормить детей.

И женщина заплакала.

Желание открыть людям глаза на противника, на природу наших бед и, в конечном счете, победить врага – вот откуда берутся мои силы.

Тогда, в 1945-м, мы отодвинули оккупацию немецкую, но были слепы и не видели, что Россию охватывают новые тиски – на этот раз ее горло сжимают липкие еврейские лапы.

Моя судьба, судьба моего командующего и моих друзей… Мы были жертвами бесшумных боев, которые вели с нами от имени родной коммунистической партии окопавшиеся в Кремле и на Старой площади сионисты. Нам, конечно, и невдомек было, что коммунизм и сионизм – это две стороны одной медали, одной и той же армии, которая стремилась установить над миром единое правительство – конечно же, еврейское. Об этом мы узнаем позже – из таких книг, которые я уже упомянул: Генри Форда, Дугласа Рида и некоторых других авторов.

Но это все я говорю своим читателям, своим соотечественникам теперь, а тогда…

Не приведи Бог кому пережить такие минуты! Я лежу на песке, раскинув руки, гляжу в небо, и мне кажется, что жизнь кончилась, в ней уже ничего не будет, – и думается даже, что ничего в ней и не было в прошлом.

Но вот я решительно поднимаюсь и начинаю ходить вдоль берега Москва-реки. Собираю в кулак все силы, вспоминаю моменты жизни, когда было трудно, – и даже очень трудно. В пещере Бум-бум я, девятилетний мальчик, сижу в углу и дрожу от холода. На дворе мороз под сорок, костерок наш потух, и дровишек у нас нет, и взять их негде. А тут еще голод терзает все тело. Не ели-то мы уже три дня… Или вот… Батарея переправилась через Днепр на окраину села Бородаевка, за ночь врылись в каменистый грунт, а утром с трех открытых сторон показались немецкие танки. Страшновато, конечно, танков много, а батарея одна и позади только-только начинающий замерзать Днепр. Близко подпускаем врага и открываем огонь. Бой длится полчаса, двенадцать человек потеряли, но и танков полегло… Целое кладбище.

Много случалось нелегких ситуаций, но как-то не так трудно они преодолевались. Тут же… А все потому, что семья. Что для меня нестерпимо, так это взгляды моих синеглазых малюток. Для них-то я большой и сильный. Им ничего от меня не надо, они просто знают: у них есть папа и, следовательно, все будет хорошо.

Вспомнил, как на фронте пожилой солдат мне сказал:

– Вам, командир, легче. У вас нет жены и детей, а у меня их четверо.

Я как раз недавно получил за три месяца денежное довольствие. Вынул всю пачку, отдал солдату:

– Пошлите домой.

Хожу и хожу по берегу реки. Потом одеваюсь, иду к остановке автобуса. Дома теща предлагает обед, но я отказываюсь, сажусь за стол, раскрываю тетрадь с «Лесной повестью» – той, что написал в Вологде. Начинаю переписывать ее заново. Работаю день, два… месяц. Перечитываю и с закипевшей на себя досадой закладываю ее обратно в папку. Она и теперь лежит где-то на даче, и у меня нет охоты ее даже полистать.

Подходит к концу лето, я написал несколько рассказов, но не решился предложить их Панне. Состояние мое близко к отчаянию, – я теперь встаю раньше Надежды и ухожу в город. Поздно возвращаюсь, чтобы не видеть детей и меньше общаться с женой. Мне становится стыдно своей беспомощности, я уже близок к мысли уехать в станицу Качалинскую, занять там поблизости от брата Евгения пустующий дом и начать возделывать землю: разбить сад, огород, часть урожая продавать на рынке, а часть привозить домой. Подумываю и о пасеке.

Мысли о земле, о жизни в станице завладевают мною все больше, – я как утопающий, завидев хворостину, устремился к ней.

Являлись и другие мысли: поехать на Тракторный к директору завода Протасову, но тут же и думал: «Там тоже райком партии и тоже бдительные секретари».

Комнату перегородил портьерой, устроил себе нечто вроде кабинета. По утрам не вставал, как раньше, а ждал, когда Надя уйдет на работу, а теща с детьми гулять. Принимал душ, завтракал и садился в кресло, читал. Газеты меня не интересовали, читал книги, все больше воспоминательные. Почти каждый писатель проживал жизнь непростую, встречал на своем пути не только трудности, но и такие препятствия, которые казались неодолимыми. Как-то так получалось, что писатель только и выковывался в преодолении препятствий. И Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев, и Горький… Особенно же наши, жившие недавно: Бунин, Куприн, Булгаков… А скольких попросту убили? – Блок, Есенин, Маяковский, Павел Васильев… Господи! Да что же это такое? И чего же стоят на этом фоне мои стенания? Я ведь еще и первого шага к писательству не сделал, а уж столько претензий. Да что она такое, моя жизнь? Чем отличается от жизни любого колхозника, рабочего, обывателя?… На летчика учился – не состоялся, артиллеристом стал – так это никакая не профессия, и журналист из меня вышел всего лишь военный, а сунься я в газету гражданскую, тотчас же и дух вон, окажусь неумехой и ничегонезнайкой. Да иди-ка ты в жилуправление, нанимайся дворником, а не то, так и в самом деле – подавайся в станицу Качалинскую.

Вдруг почувствовал, как мышцы мои наливаются энергией, в голове ясно и уверенно потекли мысли… Я надел белую рубашку, новенький галстук и лучший свой костюм – темно-коричневый, с красной ниткой. И пошел на остановку автобуса. Скоро я прибыл на метро Киевскую; здесь недалеко была первая моя квартира, – отсюда пешком через Киевский мост подался на улицу Арбатскую, а здесь свернул в Трубниковский переулок. Почему я в него свернул и, вообще, почему я сюда приехал, я не знал, и почему уверенно и бодро устремился в глубь этого тихого столичного уголка, сохранившего, как и многие другие закутки Москвы, свое старое имя, я и сейчас не могу объяснить, но только на самой середине переулка у себя за спиной я вдруг услышал громкий оклик:

– Иван!

Оглянулся. Ко мне с распростертыми руками идет Костя Самсонов, редактор журнала «Гражданская авиация». Улыбка до ушей, карие глаза слезятся – то ли от радости, то ли еще по какой причине. Стиснул меня в объятиях.

– Сколько же лет мы с тобой не виделись? Наверное, с того

дня, когда тебя забрал к себе Сталин. И ведь ни разу не позвонил. Вот что значит дружба, если она не подкреплена взаимным интересом. Подвалился под бочок к сыну Владыки – и уж сам черт тебе не сват.

– Да бросьте вы, Константин Иванович! Я такими слабостями не страдаю. Вы редактор, а я рядовой журналист – не хотел мозолить вам глаза.

Он был старше меня лет на десять и в оные времена приходил к нам в «Сталинский сокол», и я готовил его статьи в печать, расцвечивал, старался делать их интересными, и они становились вдвое больше. Костя потом приглашал меня в ресторан, чтобы хоть таким образом поделиться гонораром, но я всегда отказывался. Писал он часто, писал скучновато и был рад, когда мы вместе с ним превращали его статью в очерк. Потом собрал их вместе и напечатал книгу. И подарил ее со словами: «Иван! Спасибо тебе. Ты сделал из меня писателя». И все хотел как-то отблагодарить, но я, конечно, решительно отверг все эти его посягательства.

Костя меня любил и просил, чтобы я его называл на ты, но я не хотел фамильярничать с таким важным и большим человеком.

– Где ты теперь? Устинов сказал, что демобилизовался и нигде не работаешь. Я на него насыпался: как же так! Дали затоптать лучшего журналиста? Надо же вернуть его в армию!

– Спасибо, Константин Иванович, за заботу, но я отказался. Хочу устраиваться в гражданской журналистике.

– В гражданской? Ты с ума сошел! У тебя фронтовой опыт, знания авиации, да «Сталинский сокол» – это же твоя стихия. Ну, а если к Устинову не хочешь – иди ко мне. Дам тебе высокую зарплату, лучшую должность; будешь писателем при журнале. А?… Соглашайся. И по рукам. Сегодня же подпишу приказ.

Я молчал. Проходили мимо двухэтажного особняка, на котором у входа на синем небесном поле красовалась вывеска: «Журнал ГУ ГВФ "Гражданская авиация"».

– Что такое ГУ? Ах, да: Главное управление.

Прошли на второй этаж – в кабинет редактора. Костя попросил секретаршу сварить кофе, принести конфет.

– Так что же ты молчишь? Беспривязное содержание: хочешь пришел на работу, хочешь нет. Бесплатный билет на самолет – лети куда угодно. И за границу – тоже. А?… Соглашайся!

– Нет, Константин Иванович, спасибо вам за сватовство, но я невеста плохая, порченая: я исключен из партии. Не хочу осложнять вам отношения с начальством, а главное – с партийными органами.

Костя сник; его, как горевшую спичку, вдруг потушили. Он-

то, конечно, знал, что такое быть исключенным из партии. Глухо спросил:

– За что?

– Не объяснили. Более того, исключен был в год смерти Сталина, а сообщили три года спустя, как вернулся в Москву. Где-то документы завалялись, не прислали в Румынию, а то бы и там не дали служить.

– Ясно, старичок. У нас на флоте в подобных случаях говорили: ша, братцы, не будем делать волну. Они тебя исключили, а мы восстановим. Поработаешь немного – восстановим. Я не из тех, кто отступает. На фронте хоть и не был, в гражданской авиации служил, но знаю: побеждают только те, кто наступает. Завтра пойду к маршалу, буду говорить с ним. А ты пиши заявление.

– Нет, Константин Иванович, не хочу эксплуатировать ваше хорошее ко мне расположение.

– Ну, а это разговор не мужской. Ты когда мне помогал, не считался ни со временем, ни со своими силами, а я, видишь ли, кого-то буду бояться. Нет, Иван, ты из меня бабу не делай, да я ради друга на все пойду. Люди мы русские, и ты об этом не забывай. Пиши заявление!

Двинул в мою сторону листок бумаги. Я написал.

– Ну, вот. Паспорт есть?… А служебное удостоверение?

– Еще не отобрали. И даже пропуск в ЦК партии есть.

– Клади на стол все документы, и я поеду к маршалу. Сейчас же поеду.

– А кто у вас начальник? Я что-то не знаю.

– Маршал авиации Жаворонков, мужик трусоватый, все на ЦК оглядывается, ну, да постараюсь его обломать. А не то скажу: «Тогда ухожу в отставку. Я не из тех, кто способен бросить товарища в беде».

На следующий день Костя мне рассказал, что вот эта его последняя фраза и решила все дело.

– Маршал никак не соглашался, говорил, что отношение к окружению Василия Сталина – это высокая политика, не подчиниться ей, значит, пойти против Хрущева. Я тогда поднялся и торжественно произнес эту фразу. Ну, маршал дрогнул, подошел ко мне, положил руку на плечо. Мирно, по-отцовски проговорил:

– Ну, ну – ты остынь, Костя. Я ведь тоже подлецом-то никогда не был. И к Васе относился хорошо. А что ты так бьешься за товарища, ценю. Я и сам такой, из той породы, что и Чкалов, Громов, Водопьянов. Зачисляй своего товарища, а если на нас бочку покатят – отобьемся. Летчики так и должны поступать.

Костя при этих словах даже прослезился; он был человеком сентиментальным, втайне пописывал стихи, любил музыку и был способен на крепкую мужскую дружбу. Вынул из стола приказ, подал мне. Я читал: «…назначить специальным корреспондентом журнала с окладом в 350 рублей».

– Будем ждать от тебя шесть очерков в год. И за каждый выплачивать по 400-500 рублей. В итоге зарплата, как у министра.

В сердце моем клокотала радость, мне хотелось обнять Костю, как во младенчестве я обнимал маму. Но я старался быть сдержанным, крепко пожал ему руку.

– Спасибо, Константин Иванович, такого подарка я еще не получал ни от одного человека.

По коридору второго этажа он повел меня в угловую комнату, тут строители производили ремонт.

– Твой кабинет. С месяц будут ремонтировать, а потом займешь его. Пока же… посидишь в гадюшнике.

И, наклонившись ко мне:

– Я так называю комнату, где сидит секретарь парторганизации и заместитель ответственного секретаря журнала – два главных демагога. Ты, конечно, с ними поосторожней, но и палец в рот не клади. Словом, побудь с ними и узнаешь, чем дышит моя оппозиция.

Спустились на первый этаж и вошли в просторную комнату. Здесь находились трое: за внушительным столом под портретом Маяковского, как важный начальник, восседал молодой плечистый атлет с красивой шевелюрой кудрявых волос. Редактор назвал его:

– Тимур Валерьянович Переверзев, заместитель ответственного секретаря, наш начальник штаба.

И пояснил:

– Ответственного секретаря у нас пока нет, так он, Тимур Валерьянович, за главного повара: рисует макет, располагает статьи, фотографии, – и, конечно же, редактирует.

У окна, выходящего на улицу, сидел дядя лет сорока, с большим лбом и сверкающей лысиной – сильно похожий на Чаадаева:

– Масолов Борис Фомич, секретарь партийной организации.

И уже тише, как бы для меня одного, добавил:

– Вы хотя и беспартийный, но собрания у нас почти всегда открытые, – приглашаются все сотрудники.

Я подошел к нему, протянул руку. Масолов, чуть привстав, сунул мне свою ладонь. Редактору сказал:

– Заранее-то не приглашайте; неизвестно еще, какие у нас

секреты возникнут.

У стены рядом с дверью сидел мужчина непонятного возраста, небольшой ростом, ничем не примечательный.

– Киреев Антон Васильевич, – сказал приветливо и крепко пожал мне руку.

Два стола были свободны. Показывая на один из них, редактор сказал:

– Здесь сидит Василенко, литературный сотрудник.

И, показав на другой стол:

– А здесь пока ваше место.

Редактор вышел, но скоро вернулся и положил на мой стол подшивку журнала:

– Смотрите, изучайте; наш журнал пока суховат, здесь редки очерки, репортажи и уж совсем не частые гости рассказы, но с вашим приходом мы его надеемся серьезно оживить.

Едва закрылась дверь за редактором, как Масолов, повернув ко мне могучий лоб, заговорил тоном явного недовольства:

– Обыкновенно при поступлении к нам на работу приходят на беседу к секретарю партийной организации. В случае с вами почему-то этим правилом пренебрегли.

Я пожал плечами, не знал, что ему ответить. А он при сгустившейся тишине, все больше раздражаясь, продолжал:

– Секретарь райкома будет спрашивать о вас, а что я ему скажу? Дело-то ведь непростое, вы субъект необычный, – можно даже сказать экзотический. В райкоме-то уж, поди, прознали, что за птица к нам залетела. У меня непременно будут спрашивать всякие подробности.

– У меня секретов ни от кого нет, спрашивайте, что вас интересует.

Говорил я спокойно, но голова моя загудела, сердце набирало обороты; я знал, что голос мой будет дрожать, в нем появятся едва заметные противные свисты,– набрал полные легкие воздуха, сказал себе на манер еще не забытого жаргона беспризорников: «Ша, братишечка, не пыли, не сори словами и делай вид, что никого не боишься». И еще стороной шли мысли: «Фрукт этот вредный, с ним не заводись, не осложняй жизнь ни себе, ни редактору».

Масолов продолжал:

– Я вам не прокурор и не следователь – вопросы там задают, а здесь должна быть дружеская доверительная беседа.

– Я вас вижу в первый раз, но все равно: буду откровенен.

– То-то и оно, что первый раз! За вами оттуда тянется черт знает какой хвост, а и здесь вы начинаете с нарушения.

– Ну, ладно, хватит вам, Борис Фомич! – вмешался

Переверзев. – Пригласите его в партбюро и там поговорите. А сейчас…

Он сгреб со стола кипу бумаг и принес мне:

– Бросьте вы читать старые журналы, вот мы подготовили новый номер, скоро сдавать будем. Посмотрите, что тут с вашей точки зрения хорошо, а что и не очень.

Я склонился над макетом, над статьями. Дышал тяжело, щеки пылали. Масолов бросил мне перчатку, и я понял, что наши с ним разборки впереди, что много он попортит крови за меня редактору, – и это вот последнее обстоятельство волновало меня больше всего. Я успел заметить, что вид у Самсонова усталый, лицо землистое, нездоровое, а руки мелко подрагивают – признак непрочной, расшатанной нервной системы. Ох, как не хотелось бы мне добавлять ему служебных огорчений!

Долго смотрю на обложку; здесь крупным планом дана девушка-стюардесса, сходящая по трапу самолета. Девушка стройная, красивая, но лицо ее теряется во множестве второстепенных деталей, и в целом обложка не производит сильного впечатления. Я подумал: «Хорошо бы лицо ее дать крупным планом, а рядом в сторонке или где-то в углу – показать ее сходящей по трапу. И подпись: "Из дальних странствий возвратясь…" Тогда понятен будет общий замысел снимка и ярко засветится изумительно красивое лицо».

Стал листать статью; большая, очевидно, пойдет на открытие журнала. Несколько раз прочел заглавие «Первые всполохи соревнования». Слово «всполохи» показалось странным, неточным. Удивился: неужели никто не поправил? И Самсонов пропустил. Но нет, редактор еще статью не подписал. Статью готовил Масолов, а подписал Переверзев. «Батюшки! – бросилось мне в голову. – Как же они глухи к языку. Не слышать такой нелепицы!…»

Снова и снова читаю заголовок: слово претенциозное, вроде бы свежее, но оно явно не на месте. Что значит – всполохи соревнования? Проблески, предвестники, первые сигналы, признаки?… Ничего подобного тут не слышится. Все эти синонимы далеки от логики и здравого смысла. Но вдруг я чего-то не понимаю? Вдруг как ошибаюсь?… Готовил-то ее Масолов! Судьба словно нарочно сталкивает меня с этим человеком. И все-таки наверху легонько карандашом написал свой заголовок: «Дорогу осилит идущий».

Начинаю читать статью. Тема скучная, тянется как бесцветный прокисший кисель: о том, как в одном далеком авиаотряде «ширится», «развертывается» соревнование. Называются профессии, фамилии, перечисляются показатели

налета, экономии горючего… Господи! Да что же они тут печатают?…

Подошел Переверзев, склонился над столом. Я поднимаю голову и вижу, что в комнате кроме нас никого нет.

– Заработались, товарищ капитан. Пора обедать.

– Я был капитаном. Теперь-то в запасе.

– Вы молодой, вас по имени-отчеству как-то и называть неудобно.

Показал ему свой чертеж обложки:

– Я бы вот так подал эту тему. Лицо бы высветлил, показал крупным планом. Очень уж хороша девица.

– Мысль интересная. Будем думать. Ну, а статьи как?

– Написаны грамотно. Правда, скучновато, но это уж, наверное, стиль журнала таков. Я сужу, как газетчик.

– А вы поправьте их. К примеру, эту вот.

Извлек из пачки статей масоловскую. Я возразил:

– Нет, эту править не стану. Разве что вот эту.

Показал на статью инженера Раппопорта.

– Ладно, поправьте эту. И эту вот… подборку мелких заметок.

Я взялся за дело, которое журналисты особенно не любят и считают самой черной работой: править, переделывать. Над статьей просидел до конца дня, а заметки оставил назавтра.

В редакции уж никого не было, когда я вышел на улицу. До станции метро шел пешком, на Киевском мосту остановился. Свесившись через перила, долго смотрел на темную грязную воду Москва-реки. Так счастливо начавшийся день испортился. Масоловская атака оставила горечь на сердце. Будет интриговать, вредить, – он, видно, конфликтует с редактором, имеет связи в райкоме. Станут придираться и, чего доброго, добьются увольнения, а редактору из-за меня останутся одни неприятности.

И все-таки купил коробку конфет и дыню. Дети запрыгали от радости, а Надя, пришедшая домой почти в одно время со мной, постелив на стол новую скатерть, умыв и расчесав детей, заделав им в волосы новые бантики, весело проговорила:

– Будем считать, что у нас сегодня праздник.

Не спросила, с чего это я так расщедрился. Чувствовала какие-то перемены, но, что случилось, понять не могла. Вопросов не задавала, ждала, когда я сам обо всем расскажу. Я же сообщать свои новости не торопился; боялся, что забью в колокола раньше времени. Вдруг как из райкома или, того хуже, из ЦК партии потребуют отстранить меня, уволить из журнала, что же я тогда скажу Надежде? Нет уж, лучше я помолчу.

Наконец, Надя заговорила:

– С чего ты сегодня такой щедрый?

Я слукавил:

– Дыни скоро отойдут, надо покормить детей.

– А-а… Ну, ну. Ты вообще-то у нас мот известный, но в последнее время стал денежки прижимать.

И в этот самый момент, – а говорят еще нет чудес на свете! – раздается стук в дверь и звонкий голос Панны Корш:

– Тут живет мой старый приятель по «Сталинскому соколу»?

Панна вошла не одна; ее сопровождал рослый парень, водитель мужа. Он нес огромный куль винограда, арбуз и еще какие-то коробки конфет, печенья. А мы, изумленные и обрадованные, освобождали места для гостей, усаживали за стол. Надя знала Панну, подшучивала надо мной: «твоя симпатия», к ней же относилась тепло, почти по-родственному.

– У меня для тебя сюрприз, – заговорила Панна. – Помнишь, ты давал мне почитать рассказ?

– Помню, но это было так давно.

– Рассказ прочли в отделе, и главный редактор его подписал в номер. Я привезла гонорар.

Вынула из сумочки конверт. На нем значилась цифра: «500».

– Рассказ-то еще не напечатан. – Я попросила бухгалтера, а он, ты знаешь, мне отказывать не умеет.

Я знал, что бухгалтер по уши влюблен в Панну и едва скрывает свое чувство от шефа.

– Спасибо, но – одно условие: хочу подписаться псевдонимом.

– Это еще зачем?

– А так надо. Я и вообще теперь буду подписывать псевдонимом.

– Хорошо. Я завтра же это устрою.

Панна, как всегда, была одета просто, но во все дорогое и очень стильно. В ее черном костюме в сочетании с ослепительно белой кофтой и выпущенным поверх костюма кружевным воротничком было что-то от старомодных, но очень элегантных молодых дам или девушек; и заколка в виде алой розы в волосах, и золотые часики с бриллиантами, и брошь на кофте – все было исполнено вкуса, достоинства и не броской, но чарующе привлекательной красоты. Я вспомнил, как Надежда после первой встречи с Панной сказала: «Я понимаю мужиков, которые по ней сохнут». Я тогда не очень тонко пошутил: «Ты на кого намекаешь?», на что Надежда спокойно ответила: «Не думаю, что таким простаком, как ты, она могла увлечься. Ей нужно что-нибудь экзотическое, необыкновенное – вроде Печорина или Байрона».

Четырехлетняя Леночка, сидевшая с бабушкой, во все глаза смотрела на Панну. Потом она слезла с колен бабушки и стала

потихоньку приближаться к таинственной и такой нарядной гостье. И мы не заметили, как она уже приблизилась настолько, что Панна могла протянуть к ней руку и привлечь малютку. Гладила девочку по головке, что-то шептала ей на ухо, а потом и посадила к себе на колени. Лена испытывала неземное блаженство и гордо оглядывала нас торжествующим взглядом. А Панна пододвинула к ней блюдце, громоздила на нем конфеты и печенья, большую гроздь винограда. Когда же мы пошли провожать гостей к машине, Лена не хотела расставаться с такой ласковой, нарядной, благоухающей тончайшими духами тетей. Когда же та, помахав нам ручкой, уехала, Лена расплакалась и не хотела идти в дом.

Дети быстрее других, глубже и тоньше чувствуют добро и готовы откликнуться на зов сердца. Панна к тому времени уже устроила в разных журналах три моих рассказа и таким образом обеспечила моей семье безбедное существование на целый год, – может быть, самый трудный год в моей жизни.

В тот день и Надя прониклась к Панне чувством глубочайшего уважения, и когда вскоре, через несколько лет, мы услышали о неожиданной и совершенно невероятной смерти Панны Корш от какой-то редкой и неизлечимой болезни, мы были глубоко потрясены и опечалены. Передо мной же и до сих пор стоит образ этой женщины, как светлое и негасимое явление, посланное мне в подарок от Бога неизвестно за какие добродетели.

Проводив Панну, мы с Надей пошли в кино, и по дороге я рассказал ей о встрече со старым знакомым еще по «Сталинскому соколу» Костей Самсоновым и о том, что он предложил мне сотрудничать в журнале, писать для них очерки.

– Ты получил должность, зачислен в штат?

– Пока нет, – уклонился я от прямого разговора, – но потом, если сложатся благоприятные обстоятельства, зачислят и в штат. Но пока…

– Что ж, – прервала меня Надежда, – и на том спасибо твоим друзьям, но могли бы и должность предложить. Подумаешь, исключен из партии! Я вот в ней и не была ни одного дня, а ничего, живу. И у меня нет вот таких, как у тебя, неприятностей. А, кстати, какой черт тебя дернул вступать в эту партию? Без нее что ли не мог летать на самолете или стрелять из пушки? Я вообще не понимаю, зачем она нужна была тебе, эта партия? Никогда не думала, что из-за нее могут быть такие неприятности.

Было видно, что она много размышляла о моей судьбе, переживала за меня, и у нее накопилось немало обид в адрес коммунистической партии. Я и сам тогда впервые задумался, а

какова роль партии в жизни каждого конкретного человека? Кругом мне говорили, что партийный билет, или «корочки», как его называли иные острословы, необходим для продвижения по службе. Но я вот вступил в партию под Сталинградом, и с тех пор прошло десять лет, а никакую должность мне эти «корочки» не дали. В дивизионке я почти один делал газету, а должность занимал самую малую – был литературным сотрудником; и в «Сталинском соколе» тоже, редактор назвал меня «первым пером», а должности и там я никакой не получил. В округ к Сталину попал, так это за мои очерки о летающем комиссаре, а в Румынии специальным корреспондентом назначили – тоже за умение писать очерки. Партия мне не помогала. Зато вылетел из нее и – о, Боже! Какие беды свалились на мою голову! Меня не приняли даже и на такое место, которое в 1937 году доверили беспризорному мальчишке. Вот и выходит: права Надежда, какого черта лез я в нее, эту партию?… Без нее пулю в лоб что ли не мог схлопотать?…

На следующий день после памятного визита Панны я вновь от Киевского метро и до самой работы шел пешком. Думал о том, что надо мне любыми путями удержаться в журнале, мысленно настраивал себя на сдержанность, терпение и дьявольскую работоспособность. Буду работать, как негр, выгребать любой мусор из статей, помогать Переверзеву с художественным оформлением номера, – словом, делать все и не считаться со временем и силами. Работать и работать! Я молодой и могу вынести любые нагрузки. Где-то вычитал, что Салтыков-Щедрин, будучи главным редактором какого-то журнала, заново переписывал не только статьи, но даже и рассказы. И так же каторжно трудился Белинский. Ну, а я что же? Чем же я лучше их?

В нашей комнате сидел один Киреев. Вышел из-за стола, крепко пожал мне руку. Сказал:

– Сунули вы палку в муравейник.

– Я? Каким образом? Не понимаю.

– А вон, послушайте, какой ор идет.

Он приоткрыл дверь, и я услышал, как из комнаты, что была от нас напротив, – там размещался секретариат, – доносилась ругань:

– Я это не позволю! Это произвол!… – кричал Масолов. Ему отвечал Переверзев:

– Ты извини меня, но это чистой воды демагогия. Я же его попросил поправить статью. Кстати, просил и вашу статью поправить, но он сказал, что написана она грамотно, и взялся за Раппопорта. Я звонил автору, он сейчас приедет – уверен, ему

правка понравится.

Потом красные, разгоряченные, они оба вошли в комнату. И как раз в это время явился инженер Раппопорт. Переверзев взял статью и повел его в секретариат, туда же пошел и Масолов.

– Вы видите, как они бесятся? – вновь, вышел из-за стола Киреев. – А все из-за вашей правки. Масолов считает, что нельзя так вмешиваться в авторский текст, а Самсонов говорит, что иначе мы никогда не сделаем журнал интересным. Редактора поддерживает Переверзев. Он же исполняет должность ответсекретаря и хотел бы показать, что журнал при нем стал интереснее. Тут, брат, тайны испанского двора, да только вы-то не беспокойтесь. Я слышал, как Самсонов сказал: «Вот если бы все наши статьи доводить до такой кондиции».

Киреев перешел на шепот:

– Переверзев и Масолов, хотя оба и евреи, но тут их взгляды разошлись.

– Евреи? Вроде бы не похожи.

– Редактор к ним не очень благоволит. Масолов на ваше место своего человека тянул, да Самсонов проявил характер, отбил атаку. А сколько звонков было, в дело сам Аджубей, зять Хрущева, включался, да редактор будто бы и его убедил, что на место это опытный журналист нужен. Словом, отступили, а Самсонову, бедному, что стоит эта война. У него на нервной почве лейкемия начинается, болезнь крови.

После обеда к редакции подошла скорая помощь и Самсонова увезли – не то домой, не то в больницу. Поскольку редактор дал мне право распоряжаться временем по своему усмотрению, я поднялся и сказал Переверзеву:

– Поеду в аэропорт Внуково, мне нужно делать очерк.

Переверзев хотел возразить и приоткрыл было рот, но не нашелся, что сказать, а я уж выходил из комнаты.

А аэропорту работал три дня, нашел интересного командира экипажа, летавшего по маршруту «Москва-Ташкент», сделал с ним два рейса, жил в служебной гостинице, слушал рассказы членов экипажа и о своем командире, и о полетах по разным маршрутам, – собрал материал не на один только очерк, а и на целую повесть. Вернулся в редакцию и с радостью увидел, что Самсонов на месте, встретил меня весело, просил рассказывать, как моя поездка во Внуково.

– Вы лучше скажите, что с вами случилось? Я как увидел скорую помощь…

– А-а, пустяки. Давно это у меня – ни с того, ни с сего слабость накатит: пот прошибает, руки-ноги становятся ватными. У меня, видишь ли, кровь не в порядке. В старину говорили:

малокровие, ну, а теперь… по-разному называют, а толком никто не знает. Вольют полстакана чужой крови – и снова я на ногах. Ну, ладно: рассказывайте про очерк.

Писать его посоветовал дома. И как бы между прочим заметил:

– Ответственного секретаря у нас нет, моего зама тоже, так что подчиняться будете только мне. А я вам повторяю: пишите очерки, а еще пять-шесть раз в году помогайте интересным авторам написать проблемную статью. И делайте ее так интересно, как вы сделали статью Раппопорта. Кстати, он вашу правку смотрел и остался зело доволен. Сказал, что еще напишет, и просил, чтобы и следующую статью на правку вам дали. А что там Масолов блажит – не обращайте внимания. Это наши внутренние разборки. Я бы не хотел, чтобы и вы в них втягивались.

Я поехал домой и в тот же день написал половину очерка. В другой день закончил его. Но в редакцию ехать не торопился. Не хотел показывать, что так быстро выполнил месячное задание. Гулял по городу, обдумывал рассказ. И делал в блокнот наброски.

Так началась моя новая жизнь, моя работа в журнале.

Через два или три месяца произошел забавный эпизод, решивший спор Самсонова и Масолова по поводу статьи Раппопорта: этот автор, сияющий от счастья, принес в редакцию и подарил всем нам красиво оформленную книжечку «Из дальних странствий возвратясь…» – его статью, напечатанную в нашем журнале. Мне он написал автограф: «Вы помогли родить это дитя – спасибо». А потом Раппопорт объявил, что его приняли в Союз писателей. На Масолова, Переверзева и на всех нас он теперь смотрел, как Наполеон на русских перед началом битвы у селения Бородино.

Вскоре же напечатали и мой первый очерк. Потом опубликовали и рассказ на тему из жизни летчиков гражданской авиации. И затем регулярно печатались мои очерки и рассказы; кстати, не только в нашем журнале, но и в других журналах и газетах. Подписывал я псевдонимами, причем разными: не хотел мозолить глаза партийным боссам, особенно тем, кто сидел на Старой площади, то есть в ЦК партии.

Денежные дела пошли хорошо. Я получал зарплату, а сверх того, за очерки и рассказы. При содействии Панны меня печатали в разных журналах, и мало кто знал, что за псевдонимами стоит мое имя. Впрочем, об этом я не жалею; считаю тот период творчества ученическим и даже рад, что ничего не собирал из напечатанного и не пытался, как Раппопорт, издавать отдельной книгой. Теперь мне даже совестно, что я так долго искал свою

тему, муссировал пустяки.

Мне позвонила Панна. Говорила весело, с такой радостью, будто выиграла миллион и не знала, что с ним делать.

– Пристроила рассказ «Горькая радость». Это самый большой твой рассказ, почти повесть. Его напечатают в Белоруссии. К нам в гости приезжал редактор, я ему на ночь дала почитать, а утром он меня обрадовал: «Будем печатать». Я ему сказала: «Гонорар по высшему разряду, автор – будущий классик, и вы не должны скупиться». Он согласился, но поставил условие: Каирского заменить на Каирова и разрешить им причесать откровенно еврейские акценты. «Мне бы не хотелось…» – пробурчал я в трубку. На это Панна говорила: «Мой муж тоже вытравляет все еврейские акценты. Если хвалишь – пожалуйста, но если вздумал ущипнуть – ни-ни. Этому редактору очень понравился твой образ Каирского, но советует тебе фигу против евреев держать в кармане. Ну, да ладно: рассказ пойдет – и это главное. А ты не артачься. Надо же Надежде чем-то кормить твоих очаровательных девчушек. С евреями посчитаться ты еще успеешь».

Вот так выгребались из литературы крамольные темы. Мы растили елки, а редакторы и цензура делали из них палки. Тут, кстати, и причина анемичности и беззубости русской литературы советского периода. В этих условиях даже и честный писатель, и смелый вынужден был показывать не то, что нужно читателю, а то, что пропустит редактор. А невысказанная правда – та же ложь, только в приятной упаковке. Какой-то мудрец древности, кажется, Диоген, сказал, что книги нужны людям только полезные, остальные следует писать на песке. А для истекающего столетия, когда мир потрясали войны и революции, рушились монархии, погибали народы, важным персонажем истории стал еврей. Особенно рьяно еврей принялся разрушать российскую государственность. Достоевский вынужден был сказать: «Евреи погубят Россию». Повторю здесь удивительно меткое высказывание и французского писателя Дрюмона: если вы пишите книгу на социальную тему и не затрагиваете еврейства, то вы не сварите и кошачьей похлебки.

О евреях мы не писали – совсем не писали. Разрешалось в их адрес говорить одни комплименты. Ну, этих-то комплиментов хватало. Многие литераторы старались друг перед другом – как же! Книгу заметит и расхвалит критика. Критики-то, как выразился Маяковский, «все коганы». В этом я убедился, когда работал в издательстве «Современник» и каждый день читал книгу на предмет подписания к печати. Мне почему-то не хотелось хвалить евреев, и в моих рассказах и очерках их не было. А когда я в первой своей серьезной работе – романе «Покоренный

атаман» вывел ученого и дал ему все ту же фамилию Каирский, мне редактор сказал: «Каирского замените на Каирова». Я возражал, но он наотрез отказался подписывать роман. Пришлось варить «кошачью похлебку». Впрочем, черты еврейские в образе ученого сохранились, за это мне досталось от критиков.

В самом деле, как же можно писать роман о нашем времени и делать вид, что евреев в нашей жизни нет, они не существуют? А они, между тем, делали все революции в нынешнем веке, заварили гражданскую войну, учинили нам репрессии, погром русской деревни, и затем все годы советской власти занимали командные посты в печати, литературе, искусстве, науке. Дуглас Рид написал: «Почти все руководители русской революции были восточными евреями. Символические акты цареубийства и святотатства совершались ими же, и немедленно был объявлен закон, фактически запрещавший всякое обсуждение роли евреев в революции и всякое упоминание в этой связи о "еврейском" вопросе».

Литератор должен был ослепнуть, чтобы не видеть еврея, не писать о нем. Он, конечно, не ослеп, но сделался «ограниченно видящим». Таких-то вот подслеповатых писателей еще со сталинских времен обвешивали лауреатскими медалями, называли классиками. И если уж говорить начистоту: это они, овладевшие искусством в упор не видеть еврея, повинны в том, что на глазах всего изумленного мира обрушилась российская держава, и наш народ, прежде всего русский, усыпленный и одураченный, без боя сдан в плен евреям.

Многих русских писателей советского периода я бы сравнил с часовыми, которые видели подползающего врага и умышленно не подняли тревогу.

Так русская интеллигенция в очередной раз предала свой народ.

Странная душонка у этой самой русской интеллигенции! Когда уже ей на смену придут настоящие люди?

Прошли два года моей работы в журнале «Гражданская авиация». Я продолжал печатать свои очерки, писал рассказы, но они не приносили мне удовлетворения. Работал я для денег, для прокормления себя и своей семьи. И все больше задумывался: что же оно такое, писательство? Как найти такую тему для рассказа, повести, которая бы взволновала людей, заставила читателей и критиков признать меня?

Нет, такой темы я не находил. И меня все чаще посещала мысль о тщете моих планов, в душе поселялось неверие, и оно постепенно завладевало всем существом; я стал подумывать о том, что журналистика и есть моя планида, что не надо забирать

лишнего в свою голову, а довольствоваться тем, что у меня есть.

Пытался заново вступить в партию, но в райкоме Самсонову сказали, что в моем положении, когда я попался на глаза «самому верху», лучше повременить, подождать, когда улягутся страсти и «верхние люди» забудут Василия и все, что накручено вокруг его имени.

Это было для меня ужасно. Лишало свободы действии, держало в страхе потерять работу в журнале и очутиться вновь на улице в положении «исключенного из партии». А тут еще Самсонов стал болеть чаще, надолго залегал в больницу, а во время последнего приступа врачи сказали, что работать он уже не будет, его переведут на инвалидность.

Масолова назначили заместителем главного редактора, а Раппопорта на место Масолова. И вскоре же Переверзев становится ответственным секретарем журнала и на вакансии в разных отделах пригласили четырех сотрудников. Все они – евреи.

Меня позвал Масолов. Он сидел в кабинете Самсонова и чувствовал себя хозяином. Беседовал со мной так, будто я был уличен в преступлении и он не знал, что же со мной делать.

– В ЦК знают, что за псевдонимами, которыми вы подписываете свои очерки, скрывается ваша фамилия. Инструктор, курирующий наш журнал, предложил с вами разобраться.

Кровь бросилась мне в голову. Атака была слишком дерзкой и наглой,– в таких случаях я всегда терялся.

– Разбирайтесь, – глухо проговорил я.

– Хорошо, мы разберемся. Константин Иванович – мужик лихой, он творил еще и не такие дела. Придется переместить вас на другую должность. А пока вы будете обрабатывать авторские статьи. Только одно условие: правка должна быть косметической, особо-то в текст не вмешивайтесь.

Шел в свою комнату как в тумане. Понимал, что в журнале мне не работать. Пододвинул к себе чью-то статью, читал и ничего в ней не понимал. Стороной сознания шли мысли: «Можно ли преодолеть вот такую ситуацию? И стоит ли мне цепляться за журнал?… Все равно тут жизни не будет».

Вышел на улицу, стал ходить по переулку. Возле какого-то посольства у ворот стоял часовой. И когда я с ним поравнялся, он сладко зевнул. Я подумал: «Вот ему хорошо. Стоит себе и ни о чем не думает. Наверное, в этом и есть настоящее счастье».

Поехал в больницу к Самсонову. Дежурная сестра сказала:

– А вот он, мы его выписали.

Передо мной стоял Константин Иванович и грустно

улыбался.

– Поехали домой, – кстати, увидишь, как я живу.

На такси приехали к нему на квартиру. Она была коммунальной, старой, по коридору бегали детишки, из кухни шел терпкий запах жареного сала, рыбы и еще чего-то.

Зашли в маленькую комнату. Здесь был старый диван, коврик и письменный стол. Самсонов, показывая на жалкую обстановку, виновато проговорил:

– Вот все, что осталось от прежней роскошной жизни. С женой развелся, отдал ей и дочери квартиру, а сам… вот, живу в дыре. Ну, да ладно. Я и тут жить не собираюсь. Ты уж, наверное, знаешь: от журнала меня отставили, вытолкнули на инвалидность. Ты меня прости: не удалось до конца довести дело, восстановить тебя в партии. Масолов поднял против тебя всю синагогу – от райкома до ЦК…

– Боюсь, что и вас-то из-за меня.

– Нет, Иван, ты не казнись. Меня они давно теснят. Тут, видишь ли, идет борьба евреев за печатные органы. Наш журнал еще как-то держался, мне и маршал помогал, но нажим усиливался, а тут еще моя болезнь…

Соседка принесла нам чаю: мы сидели за письменным столом, обсуждали свое положение.

– Ты из журнала уходи, они тебе работать не дадут; боюсь, и ты подхватишь хворобу, как у меня, – она на нервной почве и, как говорил мне врач, привязывается к таким вот, как мы, которые испытывают большие нервные перегрузки. Это как самолет на испытании: если большая вибрация, он рассыпается. Одно крыло отлетело, другое – ну, летчик тогда катапультируется. А нам-то зачем такая музыка? У тебя сейчас рассказы пошли, сиди дома и пиши рассказы. А там за повесть возьмешься, и за роман. Глядишь, писателем станешь. Я буду гордиться дружбой с тобой.

Вид у Самсонова был неплохой; он отоспался, отлежался, на щеках заиграл румянец.

– Ты сейчас хорошо выглядишь; может, хвороба и совсем отступится?

– Да, я верю в это. У меня, видишь ли, лейкемия, но форма ее не тяжелая. С такой-то и до ста лет прожить можно. А я в деревню поеду, у одинокой старушки поселюсь, – уж подыскал такую. Буду парное молоко пить, нервотрепку позабуду и писать мемуары начну. Я, конечно, не горазд вензеля пером выделывать, да грамотно-то писать умею. Вот и расскажу людям о делах в нашем государстве. Напечатать такой труд, конечно, нелегко будет, но это уж другая проблема. Сначала надо написать.

После беседы с Самсоновым мне стало легче. Во-первых,

наступила ясность: в журнале мне больше не работать. Уволюсь немедленно. А во-вторых, и это самое главное: стану писать и писать. В журналах у меня появились связи, многие меня знают, и для них уже совершенно неважно, был ли я когда-то в партии и за что меня исключили, и исключали ли вообще. Время стирало шрамы прошлых битв, подробности забывались, на страну и на всех нас валили новые проблемы, на горизонте возникали герои нового времени, – мы всматривались в них, искали ответа: что с нами будет? куда идем?…

Надежда пришла поздно, ужинать отказалась, позвала в кино. Едва ступили за порог дома, спросила:

– Что с тобой? Рассказывай.

– А-а… Не хочется ворошить свои проблемы.

– Твои проблемы – мои проблемы. Как это не хочется?

– Но откуда ты знаешь, что у меня возникли проблемы?

– Господи! Ты еще будешь спрашивать? Да у тебя все твои проблемы на лице написаны. Сколько я уж раз говорила: сразу я вижу, что у тебя что-то случилось.

– Да, Надя, случилось. И весьма неприятная история. Самсонов заболел, и его списывают на инвалидность. Журнал полностью захватили евреи, а с ними работать… ты сама знаешь…

– Не работай. Уходи завтра же. Иначе начнут грызть, а ты будешь нервничать. Это уже не жизнь и не работа.

– Уходи, уходи, а как жить будем? Рассказы-то – дело ненадежное, их когда напечатают, а когда и в корзину бросят.

– А те, что напечатали, – мало их? Денежки-то ты мне отдавал, а я их не тратила. Все сохранила. Да если ты и пять лет не будешь работать – все равно жить будем. Да и мне теперь платят побольше. Да тут и думать нечего! Это даже хорошо, что тебя из седла выталкивают. В другое седло вспрыгнешь, писателем станешь. Мне твои рассказы очень даже нравятся. Только ты больше пиши о тех, кто тебя грызет в жизни, – о евреях пиши. Вот тогда уж совсем интересно будет.

– Что ты говоришь – о евреях? Да кто же печатать такие рассказы будет? А если где-то и напечатают, все редактора узнают и бояться меня будут.

– Трусишка ты, Иван! А жизнь, она та же война. Здесь смелость нужна, и даже отвага. Особенно для писателей. А нет этого – брось перо, займись другим делом.

Я слушал Надежду и в душе посмеивался над ней. Не подозревал я тогда, что в этих-то простых и ясных как божий день словах и заключена вся мудрость не только нашей профессии, но и самой жизни. Побеждает тот, кто не боится, кто идет в

наступление, а если вот так, дрожать и трусить… Ну, тогда иди в рабство, живи так, как повелит хозяин. И никакой другой логики в жизни нет.

Утром следующего дня я подал рапорт о расчете. А уже через час был готов приказ, в котором я из журнала увольнялся, а на мое место назначался инженер Семен Моисеевич Раппопорт.

Не скажу, что после разговора с Надеждой и моего ухода из журнала я стал в своих рассказах «шевелить» еврейскую тему, – слишком это была запретная тема, но я все-таки уже смелее выходил на проблемы, которые волновали многих людей и которых боялись писатели.

Прожил я в своем новом положении около года, несколько раз ездил в деревню Машине под Загорском к Самсонову. Он жил у одинокой старушки, кормил корову, двух коз, возил в Загорск на рынок масло и козье молоко… Окреп, поздоровел, был весел и писал свои мемуары.

Однажды утром я вышел из своей квартиры и увидел возле подъезда сверкающий черным лаком лимузин. Из него выходил маршал авиации Красовский. Увидев меня, сказал:

– Мы с вами встречались.

– Товарищ маршал, разрешите представиться: капитан авиации в запасе Дроздов.

Маршал улыбнулся, протянул мне руку:

– На ловца и зверь бежит. Я по вашу душу. Приглашайте в дом.

И вот мы сидим за столом, теща угощает нас чаем.

– Я как во сне, – говорю я, – не могу поверить, что вижу вас.

– Почему? – гудит маршал. И его черные глаза тонут в мельчайших морщинках, которые возникают у него во время улыбки. Он весел, ласков, – глядит на меня, как на близкого родного человека.

– Почему?…

– Ну, это как если бы в мышиную нору заглянул медведь.

Маршал при этих словах широко смеется, откидывается на спинку стула.

– Люблю красное словцо. Сразу видно – литератор! Я родом-то из деревни, белорус, там у нас мастера были на шутку. Помнится, когда принял московский округ после Василия, у нас с вами сразу сложились хорошие отношения, да вы стреканули от меня как заяц. Слышу потом, говорят: в Румынию подался, в посольстве работает.

– Да нет, Степан Акимович, в дипломаты не приняли, в газету отослали.

Хотел о своих партийных делах сказать, да вовремя

остановился. Ждал, что же скажет маршал, зачем ко мне явился такой большой человек? Признаться, и малейшей догадки о причинах его визита не было.

Маршал сказал:

– Меня к вам Устинов прислал. Тут, видишь ли, капитан, дело такое вышло. Пригласили меня в ЦК и говорят…

При слове ЦК сердце мое захолонуло. Не было для меня страшнее этой краткой, словно пистолетный щелчок, аббревиатуры.

– … ну, вот – и говорят: американские генералы мемуары пишут, а нашим вроде бы рот зажимают. Молчат наши генералы, ни одной книжки не выпустили. Ну и предложили: пиши, мол, книгу. Вам есть что сказать. А я им в ответ: есть-то, конечно, есть, так ведь – книга! Вас, к примеру, позовут на сцену и скажут: спойте арию или спляшите танец лебедей. Ну, и вы спляшете?… Тут при нашей беседе полковник Устинов сидел. Так он сказал: помощника дадим. И назвал вашу фамилию. И совет мне такой дал: не мешайте ему, и тогда увидите, какая книга получится. Вот я к вам и приехал.

– Я, пожалуй, с удовольствием соглашусь. Дело важное, да к тому же и знакомое мне: авиация! А у вас есть какие-нибудь наброски?

– Сто чертей и два фунта изюма! Какие наброски? Да я под расстрелом бы их не стал писать! Вот рассказать всю историю моей жизни – пожалуй, могу. У меня в кабинете установка такая есть: все, что говорим – на ленту запишет. А потом эту ленту стенографисткам передадим, они вам на машинке весь текст представят.

– Годится. А я из этих текстов нужные страницы ладить буду. Может, и выйдет у нас книга.

Сидели мы с маршалом, чай пили, а тут и Надежда приходит. Я ей маршала представил. Она нам картошку с салом пожарила. Наш гость с удовольствием ел и картошку. При этом говорил:

– Бульба у нас в Белоруссии – первая еда. Я в детстве любил, когда мама нам пюре с молочком заделает.

Составили расписание, когда и в котором часу я буду появляться у него в кабинете, и на том расстались. Провожать вышли вместе с Надеждой. Шофер предупредительно раскрыл дверцу «ЗИМа», и маршал, не торопясь, со свойственной ему важностью залезал в кабину. Пожимая мне руку, фамильярно сказал:

– Да зови ты меня по имени-отечеству. Нам с тобой длинную дорогу вместе пройти суждено, – нам тесная дружба нужна, а не чинопочитание.

Поклонился Надежде:

– Ну, привет, ребята! Очень рад, что с вами познакомился.

На меня кивнул:

– Первая-то встреча у нас давно произошла, да он не пожелал со мной, стариком, в одной упряжке идти – за кордон махнул, да вот, видите, нашел я его. Видно, уж судьба у нас такая – вместе в историю шагнуть.

Поднял руку, и автомобиль тронул. И как только он растворился в потоке машин, Надежда сказала:

– Кто это?

– Маршал авиации. Красовский Степан Акимович.

– Знаю, что маршал, а зачем он?

– Что зачем?

– Ну, зачем приезжал?

– А-а-а… Да так. Приятели мы.

Надежда тряхнула меня за плечи, почти прокричала:

– Ну, ладно тебе идиотку из меня строить! Приятеля нашел! Говори: зачем он приезжал?

Я понял: Надежду мою разыграть не удастся. Рассказал ей о цели визита маршала, на что Надежда, умеющая зрить в корень, заметила:

– Журнальные евреи хотели уязвить тебя, а судьба вон как распорядилась: маршала тебе в подарок послала.

Жизнь разворачивала меня в сторону серьезной литературы, мне предстояло написать первую книгу.

Глава пятая

Я сижу в электричке, и она как на крыльях несет меня в Монино. Здесь городок Военно-воздушной академии, и здесь же на окраине в зеленом живописном уголке живет маршал Степан Акимович Красовский – строитель и пестун боевой авиации, первый заместитель командующего Воснно-Воздушными Силами СССР, и он же начальник академии.

Красовский никогда не сидел за рулем самолета, не оканчивал никаких академий, и даже не имеет среднего образования, но во время войны был советником Сталина по вопросам авиации, командовал 2-й Воздушной ударной армией, которую бросали на самые тяжелые участки фронта.

Маршал Красовский – непререкаемый авторитет и любимец летчиков.

Такого человека мне послала судьба, мы вместе должны были выполнить задачу государственной важности; его книгой решено открыть серию военных мемуаров. Я горжусь, что именно мне поручено оказать в этом помощь автору.

Два-три раза в неделю езжу в Монино. Я знаю: меня ждет маршал, мы сейчас будем с ним работать.

– Здравствуйте, Степан Акимович! Вы как всегда – бодрый, веселый и хотите мне рассказать что-то интересное.

– Проклинаю день, когда я подставил шею под этот хомут! Я теперь и ночью думаю, что бы еще вам рассказать из своей жизни. Жизнь-то у меня вон какая! Пять войн и полдюжины революций. Не жил, а в котле кипел.

Я уже успел нажать кнопку включения магнитофона, наша беседа записывается. Каждое слово! Все, что наговорил мне маршал за три месяца нашей работы. Стенографистки все переписали и перенесли на бумагу, и я в портфеле таскаю тысячу страниц текста наших бесед. Триста из них я уже обработал и превратил в страницы книги, но маршалу не показываю; боюсь, как бы он не закапризничал и не перестал рассказывать. Он сейчас в ударе, верит, что книга будет, и даже как-то воскликнул:

– Ученый совет академии знает, что я пишу книгу; говорят, зачтут ее как докторскую монографию и даже присвоят звание профессора. Вот будет потеха! – всего-то три класса церковно-приходской школы закончил, и вдруг – профессор!…

Жарко. На дворе в разгаре лето, температура за тридцать… Окна кабинета открыты, мощная магнитофонная установка чуть шелестит своими колесами.

Маршал снимает китель и сидит в кресле в нижней шелковой

рубашке. Его секретарь и майор-референт знают, что минуты эти святые, никого не впускают. И уж если министр обороны позвонит или командующий Военно-Воздушных Сил, – тогда чуть приоткроют дверь, скажут, кто звонит. Но вообще-то нас не беспокоят. Маршал, откинувшись в кресле, пытается оживить в памяти те далекие годы, когда он, помощник моториста, садится с летчиком в похожий на стрекозу или на этажерку французский самолет «Фарман», кладет на колени мешочек с железными заостренными штырями, которыми они «обстреливали» позиции белых частей. Штырек такой летит к земле со свистом и визгом, он со все большей скоростью ввинчивается в воздух и, если попадет в голову или плечо, насквозь пронизывает человека.

Степан Акимович замолкает и долго задумчиво смотрит в окно. Потом наклоняется ко мне и на ухо говорит:

– Не хочу, чтобы этот черт, – кивает в сторону магнитофона, – все записывал, но тебе скажу: сыпал я эти дьявольские гостинцы в сторонку от людей. Летчик однажды заметил мои хитрости, показал кулак. А я все равно – не мог кидать на головы солдат эти смертоносные стерженьки. Война-то была гражданская, люди и там и тут были наши, русские.

Помню, я пытался оставить в книге эти знаки величия русской души, да в то время еще не созрело общество до осознания истинных причин и побуждений гражданской войны. Белые для нас были белыми, а красными мы называли всех людей, которые якобы крушили старую «нищую» Россию и воевали за интересы рабочих и крестьян.

Так начиналась летная жизнь будущего маршала авиации, – в сущности, летного в ней ничего не было, а была работа – вначале самая черная, самая разная, а уж потом горячие ветры времени вынесли его на командные высоты реактивной авиации, а затем и космонавтики. Монинская Воздушная академия уже тогда превращалась в центр подготовки не только командиров авиации, но и покорителей космоса. Где-то за партами учебных аудиторий сидели будущие космонавты и среди них старший лейтенант или уже в то время капитан Юрий Гагарин.

В военном городке мне выделена двухкомнатная квартира, – временно, конечно, на период работы. Тут телефон. И в Москве по просьбе маршала нам установили телефон.

Условия идеальные; я иногда по несколько дней задерживаюсь, и Надя меня понимает, говорит: «Ты только в столовую ходи вовремя и ночью не работай. Тебе еще много предстоит написать книг. Будь здоров, и о нас не беспокойся».

Да уж, что и говорить: условия для меня созданы хорошие. Выбор Красовского одобрили в Военном издательстве.

Заведующий вновь созданной редакции мемуарной литературы полковник Михаил Михайлович Зотов мне сказал: «Ты особенно-то не мудрствуй, пиши так, как ты писал очерки и рассказы в "Сталинском соколе", и лучшего нам не надо».

С нами заключили договор. Мне для начала выплатили сорок пять тысяч рублей. Всего же, в случае одобрения рукописи, я получу шестьдесят тысяч. Это половина гонорара, положенного за книгу. Другая половина причиталась маршалу. Но он, подписывая договор, сказал: «Все деньги ему отдадим. Пусть только старается».

Сорок пять тысяч! Я их уже получил и перевел на сберегательную книжку Нади. Она, увидев эту цифру, покачала головой: «Деньжищ-то сколько! Куплю девочкам необходимое, а себе ничего и покупать не буду. Пусть они лежат на черный день».

Надежда за свою работу в цветочном складе получала в то время семьсот рублей в месяц, пенсия моей тещи составляла сто пятьдесят рублей. Можно же представить, что означала сумма моего гонорара!

Я ее просил не скупиться, тратить, а она: нет и нет! Мало ли еще как сложится жизнь.

Во время войны-то голодала, ходила на работу в разбитых солдатских сапогах, – как говорят в Сибири, – «хлебнула мурцовки» и теперь боялась. Признаться, я и сам был изрядно напуган мытарствами последних лет. Да и теперь не вполне уверен, что все они остались позади.

А книга подвигалась.

Пришел я однажды на дачу маршала; кругом лес, рядом пруд – дивный уголок Подмосковья. Сижу на открытой веранде и вдруг вижу: туда-сюда пробежали парни. Удивился я и хотел звать хозяина, но тут на веранду грузно ввалился тучный седой дядя в светло-желтой безрукавке. Где-то я видел этого человека, но где? – решительно не припомню. Потом только понял: на портретах. Тянет мне руку:

– Слышал я про вашу затею – правильно Зотов сделал, что помощника подключил. Степан Акимович писатель никакой, он, бывало, и донесения составить как следует не умел. Стратег и тактик – хоть куда, а вот писатель…

– Извините, с кем имею честь…

– Родион Яковлевич Малиновский… Может, слышали?

Поднялся. Отчеканил:

– Товарищ министр обороны! Разрешите доложить: капитан в запасе Дроздов!

– Садись, капитан, садись. Зови меня по имени-отчеству. Я литераторов люблю и, признаться, завидую вашему брату. Я ведь

тоже в некотором роде писатель. В душе, конечно. Я, видишь ли, иногда балуюсь сочинительством. Еще в юности забрал в голову мысль, что писателем могу стать. Вначале сочинял рассказы, а потом и за роман взялся. Даже во время войны в короткие часы отдыха на коленке главы новые писал. Георгий Константинович Жуков на гармошке играл, а я – писал. Однако никогда и ничего не печатал. И думал всегда так: у других получается, а у меня нет. Но что это я – все о себе, да о себе. А вы скажите мне, чтой-то вы, такой молодой, а уже и в запас угодили? Ах, румынская армия? Да, мы ее всю подчистую списали. Такое указание вышло. Многие хорошие офицеры за бортом оказались. Пиши рапорт – призовем в армию. Майора присвоим. Степан Акимович местечко в академии найдет. А не то, я к себе вас заберу, в штат министерства.

В кустах смородины показались два молодых человека, они нас не видели и подвигались так, будто кого высматривали. Родион Яковлевич их окликнул:

– Ребята! Идите к машине, дайте мне отдохнуть.

Ребята исчезли, а министр устало опустился в кресло, ладонью вытер пот со лба.

Повернулся ко мне:

– Значит, писатель? Ишь, как! Наверное, и тридцати нет, а уже писатель. Но ты, капитан, извини меня: я твоих книг не читал. Я и вообще-то современных авторов читать не могу. Недавно мне роман военного писателя на предмет присуждения премии министерства обороны представили; жевал я его, жевал, да и бросил. Офицер прогрессист, офицер консерватор, одного награждают, другого в партбюро вызывают – батюшки! Скучища какая! Да я лучше «Поединок» Куприна перечитаю или Лермонтова «Герой нашего времени» – там тоже офицеры, но сколько чувств и красота какая! Ну, а ваши книги?…

– У меня, товарищ маршал, нет книг. Я не писатель, а журналист. Но с вами я согласен: и я без особого интереса читаю книги современных авторов. Если уж о войне пишут, то Михаила Бубенного «Белую березу» все копируют…

– Вот-вот! Вы это точно заметили. Шаблон царит в литературе. Сплошное попугайство.

Маршал замолчал и смотрел на те кусты, где только что были ребята из его охраны. Потом, не поворачиваясь ко мне, продолжал:

– Да, мечтал я о литературе. И уж потом, когда мы вот со Степаном Акимовичем на Дальнем Востоке служили: я округом командовал, а он авиационными частями, роман все продолжал писать. Да теперь-то… перечитаю десяток-другой страниц – и в

стол подальше засуну. Неинтересно – вот что главное. А я так думаю, о чем бы книга ни была, интересной должна быть. Всякую другую рукопись в камин надо бросить. Как вон Гоголь.

Маршал поднял над головой руку:

– Гоголь! И то рукопись в камин бросил. Вот это чувство ответственности! Это как у нас бывало, когда очередную операцию на фронте разрабатывали. Сколько вариантов прокрутим, а принять никакой не можем. И тот нехорош, и этот… И уж такой выберем, какой нам кажется наиболее удачным. Тогда я Сталину звоню, по шифру доложу ему: мол, готовы. А роман… Он что ж, это та же операция. Нельзя же к читателю выйти с чепухой какой-нибудь.

У меня от этих слов мороз по спине пробегал. Чудилось, что о нашей это книге маршал так говорит. Смотрите, мол, не подкачайте.

Минуту спустя, заключил:

– Я со своим романом, наверное, так и поступлю. В камин его брошу.

Вынул из кармана брюк платок, вытер влажное от пота мясистое лицо. Он имел изрядный лишний вес, и сердце его, как мне казалось, было не совсем здорово. О литературе мы больше не заговаривали.

Много лет спустя, когда маршал Малиновский отойдет в лучший мир, работники Военного издательства попросят у наследников рукопись его произведения и напечатают. Я не читал этой книги, но не однажды слышал, что роман неплохой и зря Родион Яковлевич держал его в сейфе. В то время по Москве ползли и другие слухи, что якобы на даче министра было много картин, вывезенных им из Германии. Красовский, прослышав об этом, сильно возмущался и все хотел сделать по этому поводу публичное заявление. Малиновского он знал давно и знал также его страсть покупать картины. Главным образом это были картины современных русских художников, и за них маршал отдавал большую часть своей зарплаты. И не так уж этих картин было много. Ложь эта, как и всякая другая клевета, легко произрастающая вокруг большой личности, вскоре рассеялась, а память народная о замечательном полководце времен Великой Отечественной войны живет и будет жить вечно в сердцах благодарных людей нашего Отечества.

Нынешние поколения офицеров изучают военную историю по книгам, которые составлялись жалким вралем и прислужником сионизма Волкогоновым, но учебники истории имеют такую особенность: их переписывают. И теперь недалеко время, когда военные историки расскажут о годах министра Малиновского как

о времени, когда могущество Советской Армии прирастало не по дням, а по часам, когда на смену винтовым самолетам приходили стратегические ракетоносцы, способные силами одной эскадрильи смахнуть с лица земли Англию или целое побережье Америки. То было время строительства авианосцев и атомных подводных лодок, самых лучших в мире танков и самоходных пушек. Это потом уж пришли к власти вначале улыбчивый маршал Шапошников, разграбивший Аэрофлот, похожий на испуганного филина генерал Грачев с кругозором ротного каптенармуса, а затем податливый, робеющий перед каждым политиком генерал Сергеев… Эти жалкие марионетки одно только и сумели: распродать боевые корабли, распустить полки и дивизии – унизить и опозорить армию.

Я всего лишь один раз встретился с маршалом Малиновским, и была эта встреча короткой, но именно он широким жестом подвинул меня к новой жизни, где я обрел уверенность и силы для писания книг.

Родион Яковлевич долго смотрел в окно, а затем, словно очнувшись от каких-то дум, вновь обратился ко мне:

– А в армию, если надумаете, возвращайтесь. Идите в управление кадров и скажите, что я лично вас пригласил. Потом ко мне зайдете, и мы решим, где вам служить.

– Благодарю вас, товарищ маршал, я подумаю.

По тропинке из сада затрусил Красовский. И когда он вошел, они обнялись, крепко по-мужски трясли друг другу руки. Я понял, что буду лишний, и потихоньку вышел в сад. Побродил там несколько минут, и оттуда так, чтобы остаться незамеченным, пошел на электричку.

Мог бы я, конечно, и побыть с ними, закрепить знакомство с таким важным человеком. Маршал Советского Союза Малиновский был в то время не только министром Вооруженных Сил, но и в партийной иерархии занимал одно из первых мест, был членом Политбюро, но мне не хотелось попасть в положение человека, которого присутствие нежелательно и может стеснить их дружескую встречу.

По дороге думал: может, и вправду написать рапорт? Тогда и партийное дело автоматически решится.

При следующей встрече с Красовским сказал ему о предложении, сделанном мне министром. И тут же оговорился:

– Да вот беда: партийные дела у меня не в порядке.

– Как не в порядке?

Я рассказал Степану Акимовичу свою печальную историю. А он тут же позвонил в ЦК. И я слышал его разговор:

– Владимир Ильич? У меня дельце к вам небольшое…

И рассказал обо мне. А когда закончил, положил трубку.

– Завтра пойдете в ЦК к Степакову Владимиру Ильичу.

И вот я у Степакова. Был он тогда очень большим человеком в нашей партии, – кажется заведовал отделом пропаганды. Затем сразу после отстранения Хрущева от власти и объявления его зятя Аджубея политическим авантюристом Степакова на короткое время назначат главным редактором «Известий». Я в то время там работал и мог видеть, какой это порядочный и честный человек с чисто русским характером и русским взглядом на жизнь. Затем его пошлют в Китай послом, а оттуда и вовсе куда-то задвинут. Слабый умом и волей Брежнев, однако, нашел в себе силы продолжить политику Хрущева на уничтожение православных храмов, увеличение производства спиртного и на вытеснение русских со всех ключевых постов.

Тихое «подпиливание» всех основ русского государства продолжалось. Кремлевские кабинеты все шире раскрывались перед лицами со страшной печатью «пятого» параграфа.

Степаков внимательно выслушал меня и предложил:

– Идите в райком партии, там ваше дело уладят.

И вот я в кабинете у того же секретаря райкома Корчагина. У него на столе лежал мой партийный билет. Подавая его, он сказал:

– Будем считать, что никакого исключения из партии не было. Вышло недоразумение. Ваш стаж продолжается с 1943 года.

Я взял партийный билет и, ничего не сказав Корчагину, а лишь многозначительно посмотрев на него, вышел из кабинета. Так неожиданно и счастливо завершилась моя партийная эпопея.

Корчагин меня запомнил. Много лет спустя, когда в центральных газетах появятся статьи, называющие мой роман «Подземный меридиан» хунвейбинским, то есть ссорящим рабочий класс с интеллигенцией, Корчагин прочтет роман и затем выступит на партийной конференции с грубой критикой в мой адрес. И будто бы даже намекнул на какие-то «темные делишки», которые тянутся за мной со времени «тесного общения» с Василием Сталиным.

Вот тот нередко случавшийся в моей жизни факт, когда человек неизвестно за что начинал меня ненавидеть. Да, в романе я показал неприглядное лицо некоторых «интеллигентов» – ученого Каирова, эксплуатирующего труд других ученых, помощника министра Соловья, плетущего интриги за спиной своего шефа, журналистов… Все они имели ярко выраженную национальную психологию, то есть были евреи, и можно понять критиков, обрушивших на меня свой святой гнев, они-то все тоже «были коганы», но Корчагин!… Он человек русский, не мог не

знать козни еврейской «интеллигенции», знал, и… защищал.

Как правило, так поступали «евреи по жене», то есть русские мужики, женившиеся на еврейках, от них я в жизни своей натерпелся немало, – вот и Корчагин из той же породы тайных предателей интересов русского народа.

Однако жизнь моя с возвращением мне партийного билета покатилась веселее, главное – я обрел свободу. В то время мы еще не ощущали той общей беды, которая подстерегала наше государство; никто не мог поверить, что Союз Советских Социалистических Республик – Россию, названную корявой аббревиатурой СССР, смогут развалить три ничтожнейших человека, как это потом случилось в Беловежской Пуще. Никакой силы и доблести от этих подвыпивших людей не потребовалось: на всех командных высотах в государстве уже сидели «агенты влияния», Корчагины, кипевшие ненавистью ко всему русскому. Им был подан знак, и они победно вострубили гибель самого могучего в мировой истории государства. Гордый красавец славянин, мчавшийся на всех парусах к воротам, чтобы забить свой решающий гол, получив подножку, рухнул. Началась наша жизнь в оккупации. Но тогда… я был слеп и потому беспечно весел. Поехал в Машино к Самсонову, привез ему много конфет, копченой колбасы и печенья; рассказал о своей радости, и мы оба были счастливы. Я пришел к Устинову и доложил ему о своем втором рождении и о том, между прочим, что сам министр обороны предложил мне вернуться в армию. Сергей Семенович тоже был рад и пригласил меня в свою газету, которая теперь называлась «Советская авиация», на должность начальника отдела боевой подготовки. Я поблагодарил Устинова и сказал, что буду рад снова занять место в его команде. Но попросил дать мне два-три месяца для окончания работы над книгой Красовского.

Позвонил Панне, и мы с ней отметили мою радость в ресторане «Советском». И уж, конечно, больше всех радовалась Надежда. Я купил ей шубу из голубой белки и золотые часы, а для Светланы прекрасное пианино, и наняли для нее преподавательницу. Впрочем, особенно-то тратить деньги Надежда не позволила. «Мало ли что еще будет», – предусмотрительно охладила она мой пыл. А я подумал: «А и в самом деле! Вдруг как книгу не примут – ни Красовский, ни издательство?…» От этой мысли мне стало жарко. Одно только служило утешением: аванс, полученный мною за книгу, возврату не подлежит. Я и половину из него не растратил на свои роскошества.

Работал я теперь веселее, и книга наша подвигалась. Подолгу

задерживался в своей монинской квартире. Обедал в академической столовой, потом шел гулять по городку, а иногда и уходил в соседний лес. Всюду мне встречались стайки офицеров, слушателей академии и преподавателей. Я теперь и себя видел среди них – с погонами майора. Но однажды этот образ моих мечтаний был в один момент поколеблен – и самым решительным образом: по радио услышал объявление о начале приема заявлений и работ на творческий конкурс в Литературный институт имени Горького. В голову бросилась мысль: карьера писателя! Мне сам Бог ее посылает!

В волнении я ходил по комнатам своей квартиры – думал и думал. У меня есть «Лесная повесть» – подам ее на конкурс. Могу собрать и рассказы, лучшие из тех, что были напечатаны. И их предложу. Выдержу конкурс – буду учиться, а не выдержу… Значит, не судьба. Пойду в армию всю жизнь тянуть лямку. Журналистам генерала не дают, а до полковника дослужусь.

Лег в постель. Не спалось. Встал, согрел чаю, сидел за столом, думал. Мечта о писательстве снова вспрыгнула в голову, и я уже не мог ни о чем другом помышлять. Перспектива журналиста, пусть даже сильного, опытного и даже яркого, представлялась жалкой и убогой. Я пишу очерки, иногда рассказы – они словно бабочки пролетают перед глазами и живут один день. Другое дело – книга! Ее купили, читают всей семьей, положили на полку и затем говорят: а у меня есть книга такого-то. Очень интересная. Советую прочесть. А если удастся написать что-либо особо значительное – тут тебе обеспечена и память многих поколений, а после смерти могут и доску мраморную на стене дома укрепить. Дескать, здесь жил и творил…

Далеко шла фантазия. Институт представлялся трамплином, с которого полечу в литературу и даже в вечность.

Разговоры об опасностях закрепляющейся над нами еврейской оккупации воспринимались как фантазии неврастеников, я их быстро забывал.

Говорили отовсюду, да и сейчас я нередко слышу: «Прост ты, Иван. А простота-то хуже воровства». Может, и есть во мне такое свойство характера, да не совсем это верно. И раньше, бывало, хитрил и лукавил, – вот и с институтом: уж как хотелось рассказать Надежде о своих планах, а ведь утаил. Даже вида не подал, что что-то в моей жизни происходит важное. Боялся неудачи: вдруг как повесть творческого конкурса не выдержит, а то экзамены не сдам. Они хотя и казались нетрудными: сочинение на вольную тему да собеседование с членами мандатной комиссии… Однако, кто знает, как дело повернется?… Красней тогда перед Надеждой, казнись всю жизнь. Ну, нет!

Лучше уж я пройду все тернии, а потом видно будет.

Тайком заложил в портфель папку с повестью, утром вместе с Надеждой нырнул по эскалатору в метро. На прощание сказал:

– У меня сейчас трудная полоса началась, – возможно, реже буду приезжать домой; ты уж не беспокойся.

– Пиши уж свою книгу! Как тебе удобно, так и распределяй время. У нас-то все в порядке. Леночка, правда, все чаще сердце чувствует, да тут уж… Сказал же нам врач: пусть подрастет немного, а там на операцию положим. Операция несложная, хирурги наши научились ее делать. Так что – работай. Но особенно-то не рвись.

Приехал на остановку «Маяковская», отсюда пешком до площади Пушкина. Постоял у пьедестала великого поэта, смотрел ему в лицо, а он, склонившись, смотрел на меня. И между нами будто бы произошел такой диалог:

– Ты, Александр, никаких институтов не кончал, а вон как высоко взлетел! Талант, значит.

– Ну, нет, братец, не говори так. Учился-то я зело как много, прорву книг прочитал! А уж сколько дум передумал!… Сосчитать нельзя. Поначалу-то не знал, из каких корней черпать стиль языка родного. Ломоносова брал за образец, Державина штудировал, Жуковского за Бога почитал, а самого все больше на базар тянуло, речь простолюдинов слушать да сказки нянюшки своей… – звуковой ряд пытался уловить. Ну, так потом и сладилось: и ряд звуковой, и манера народная сказы сказывать… – все это взял, и пошел я своей дорогой. Ну, вот… и пришел сюда, на улицу Тверскую. А ты повернись назад, там и свой бульвар увидишь. Его тоже Тверским прозывают. Там дом есть под номером двадцать пять. В нем Яковлев, царский сановник жил. В доме том лицей устроили. В наше-то время поэтом родиться надо было, а теперь, говорят, и научиться можно. Там за партой в уголке на втором этаже ты и сидеть будешь. Не бойся, друг мой, иди с Богом. Я-то уж знаю: примут тебя.

Мне даже показалось, что Пушкин бронзовой рукой своей перекрестил меня.

Поклонился в пояс Славе нашей и в Тверской бульвар свернул. Тут и дом двадцать пятый из тополиного парка на меня глянул – невысокий, желтенького цвета, с колоннами у парадного входа.

В калитку вошел.

Сдал документы в приемную комиссию. Щупленькая, похожая на птичку женщина предлагала тут же что-то написать, что-то заполнить, – я быстро писал, заполнял. За столами сидели другие ребята, разные по виду, одежде, манере держаться, разговаривать.

По большей части скромные и даже робкие, судя по узловатым рукам, привыкшие к труду физическому, рабочему или крестьянскому. А за столом возле женщины сидел плечистый малый, кудрявый, остроносый и нагло, пренебрежительно всех оглядывал. И что-то помечал себе в блокноте. На нем был дорогой бостоновый костюм, не первой свежести белая рубашка, а на галстуке косо и небрежно красовалась золотая заколка.

В комнату набилось много народу, тут становилось тесно, но я, уже усвоивший главную черту журналиста: все увидеть, во всем разобраться, уходить не торопился. У двери теснились ребята, один из них, кивнув на остроносого, сказал:

– Миша Дементьев, поэт из Вологды – видите, как он впился в паренька ястребиным взглядом. И вон – сделал пометку в блокноте. Эти-то его пометки и будут решать, кому быть в институте, а кому… фьють!… Шмаляй до дому.

– А творческий конкурс зачем?… Мы же стихи сдали.

– Ах ты, паря! Кому тут нужны таланты наши! Ему физиономию с горбатым носом подавай. Евреев тут одних учат, а мы с тобой чухна немытая.

– Ну, а этот парень… он что – директор что ли?

– Еще чего захотел, чтобы директор тут сидел! Соглядатаи тут его, но они-то все и решат. Вот вывесят списки, тогда посмотришь, кто тут учится, в этом самом престижном институте.

– Так что же ты сказать хочешь? Забирать документы и уходить?

– Зачем уходить! Бороться нужно, до самого конца бороться, а если уж совсем прихлопнут, в ЦК гурьбой повалим, в Совет Министров. Мы живем в России, и институт для русской литературы, а не для еврейской.

Разговор становился слишком горячим, и я вышел из комнаты. Здесь среди могучих вековых тополей, помнивших и хозяина дворца Яковлева, и его племянника Герцена, на лавочках и просто на траве сидели стайки ребят и так же, как там, в приемной, обсуждали один и тот же вопрос: кого тут принимают и как попасть в этот единственный во всем мире институт, где по окончании человек становился молодым писателем. Институт небольшой, на дневном отделении училось всего сто пятьдесят человек, да еще двести писателей и поэтов посещали Высшие литературные курсы. На дневное обучение принималось лишь тридцать человек, а приехало… человек триста. Увидев и узнав все это, я окончательно решил, что мне в институте не бывать, но, повинуясь особенностям своего характера: если уж за что взялся, так иди до конца, я решил, что пройду все стадии борьбы за место под солнцем. А еще меня подбадривал голос Пушкина,

который все время звучал в ушах: «Я-то уж знаю: примут тебя!»

Одно обстоятельство занозой вонзилось в сердце и кровоточило: здесь учат евреев! В этом ужасном мнении я укрепился, когда, толкаясь между ребятами, услышал, что у директора института три заместителя и все они евреи: Исбах, Россельс, Борщаговский.

Вспомнились Шапиро, Львов, Фридман, Сева Игнатьев, три еврея, оскорбившие меня в политотделе Львовской дивизии…

Да, уж… Хорошего от них ждать не приходится.

Пристал к небольшому кружку абитуриентов: и тут невеселые разговоры. Показали молоденькую девушку – по виду школьницу.

– Смотрите, братцы! Ее ведет Паустовский. Она его приемная дочь. Считайте, она уже зачислена.

Кто-то показал на другую девчонку – тоже по виду школьного возраста. Она имела восточный вид, но, впрочем, глаза славянские, подстрижена под мальчика. Девушка была очень привлекательной, на нее все смотрели. И стояла она на тротуаре за калиткой у дверцы длинного черного лимузина, на котором ездят большие начальники. За руку ее держал пожилой седовласый узбек или таджик, и они о чем-то говорили.

На нее показывал грузин или армянин:

– Если ее дедушка посол в Бразилии или Аргентине, то ей откажут? Да?… Ха-ха-ха… Да ее примут, если она и писать по-русски не умеет!

Девушек среди абитуриентов было мало, два-три десятка, а всего в тополином придворцовом парке толкалось человек триста-четыреста – и это на тридцать мест, открытых для приема на первый курс.

Подошел к краю лавочки, сел на только что освободившееся место. Тут в центре кружка витийствовал длинный сутулый парень с развязными манерами, сильно похожий на еврея. Громким голосом возвещал:

– Вон пошел Россельс, он приехал из Прибалтики. Сегодня приехал, я его видел в Союзе писателей. Он там доложил, что был в Таллинне, Риге и Вильнюсе. Ходил по квартирам, набирал отделение переводчиков. И привез одиннадцать человек – футбольную команду, их будут экзаменовать – да? Они уже зачислены! Россельс знал, кто и кого должен переводить на русский язык.

– Видел я этих молодцов, – гудел чернявый парень с помятым и небритым лицом. – Они прямо с поезда прошли к директору института.

– И все евреи, – подал кто-то голос.

– А кого же еще привезет Россельс, – чертыхнулся длинный. –

Киргизов? Да?…

Будучи евреем, он громко говорил о евреях, что для русских людей несвойственно. Я потом в этом буду постоянно убеждаться. И сейчас, едва лишь включишь телевизор и на экран выпрыгнет политик вроде Хакамады, Явлинского, Черномырдина, то и непременно услышишь знакомый пароль: «Я человек русский…» и так далее. Одна только эта фраза говорит о нерусскости человека. Но, конечно же, главная черта национальности – это дела. Не скажу, что русские не замечены в неблаговидных поступках, но если они подличают или говорят то, что требуют от них хозяева, то делают это нелегко и непросто; у них в этих случаях я напряжение слышу – и в лице и в голосе. У еврея любая ложь и подлость с языка точно пушинка срывается, он даже возгорается при этом, чувствует одушевление. Русский же, если несет вам подлость, то кряхтит при этом и краснеет; сразу видно, ему нелегко, его мнет и теснит какая-то внутренняя сила, он готов тотчас провалиться в преисподнюю. Это потому, что у него совесть. Она его камнем давит, глотку сжимает – ему в этом случае говорить трудно.

Крашенная под славянку, которую привел Паустовский, вышла из института и сразу очутилась в кругу девушек. К ней слетелся почти весь женский контингент абитуриентов, но я заметил: в этом кружке не было той черненькой; она стояла поблизости от нас, привалившись к стволу тополя. Ее сразу же окружили ребята, и я вскоре потерял ее из поля зрения. Потом увидел, как она решительно вышла из кружка парней и, похоже чем-то недовольная, направилась в нашу сторону. Проходила мимо меня. Я предложил сесть на мое место. Она пристально на меня посмотрела и, улыбнувшись, поблагодарила. И села. Я подивился той безыскусственности, с которой она приняла мое приглашение. Ребята, увидев эту сцену, потеснились и освободили мне место. Мы теперь сидели с ней рядом. Я спросил:

– Ну, как ваши дела? Вас уже, наверное, приняли?

Она повернулась ко мне, вскинув длинные ресницы, устремив на меня детски-доверчивые глаза.

– Почему?… Я только сдала документы.

Я понял: сказал глупость и решил поправиться:

– Девушек мало, им, говорят, делают предпочтение.

– Хорошо бы, – сказала она просто, не уловив моего лукавства. – Я очень боюсь.

– А я знаю, что не пройду, так и бояться нечего.

– Почему же? – искренне удивилась она. – Надо верить и тогда пройдете. Непременно пройдете. Вы же взрослый!

Она сказала это так простодушно, что я почувствовал себя

неловко. Словами «Вы же взрослый!» она окончательно меня сразила. Обескураженный, я замолчал надолго. Но она вновь ко мне обратилась:

– Когда будет первый экзамен?

Я достал записную книжку и предложил ей переписать порядок сдачи всех экзаменов и собеседований. Она охотно переписала. А я поднялся и сказал ей:

– Ну, ладно, до свидания. Пойду домой.

Она тоже поднялась и пошла со мной к выходу.

– А вы здешний, живете в Москве?

– Да. А вы?

Она смешалась.

– Извините, вы можете не отвечать.

– Никакого секрета нет. Я издалека – из латиноамериканской страны. Мой дедушка посол, и я с ним живу.

Я больше ни о чем не спрашивал, и мы шли молча. А она, дойдя со мной до театра имени Пушкина, остановилась.

– Ну, до свидания. Я попробую купить на вечер билет в театр. Для себя и для дедушки.

Мы простились, и я отправился на автобусную остановку.

С этой восточной девушкой, которая казалась даже моложе своих восемнадцати лет, я встретился через неделю, когда уже были сданы все экзамены и мы с волнением ждали собеседования: она подошла ко мне и, не здороваясь, спросила:

– Как ваша фамилия?

Я сказал. Она захлопала в ладоши:

– Пляшите, пляшите!…

– Зачем я должен плясать?

– У меня для вас хорошая весть: писатель Алексей Колосов дал отличный отзыв на вашу повесть. Он так и заключил: «Повесть написана профессионально, ее можно предлагать к изданию».

– А вы откуда знаете?

Девушка смутилась, покраснела и закрутила головой. Я подумал: «Она еще совсем ребенок, ей, пожалуй, и шестнадцати нет».

– Мой рассказ тоже к нему посылали.

– Ну, и…

– Одобрил. Сказал, что написан ласковой рукой.

– Поздравляю!… Вот это совсем хорошо. Считайте, вы уже прошли.

– Да почему я должна так считать? Конкурс-то вон какой!

– Конкурс для ребят, а вашего брата мало. А если еще и похвалил вас такой писатель!…

– А он хороший писатель? Я, к своему стыду, не читала.

– Да, он работает в «Правде» и пишет для газеты чудесные рассказы. Это вроде Чехова. Антон Павлович тоже работал в газете. Так что вы…

– Но нет, вы мне больше ничего не говорите. Я суеверная. Но, конечно, я очень рада. Девочки из приемной комиссии обещали снять копию с рецензии. Я покажу ее дедушке. Вот он обрадуется!

Она смотрела мне в глаза и готова была разрыдаться от счастья. Я в эту минуту был ей очень нужен. Очевидно, по той причине, что я, как она сказала, взрослый, она мне первому и открыла свою радость. Я уже заметил, как пристают к ней ребята, окружают, заговаривают, а она все время вырывается из их плена. Мое положение «взрослого» давало нам свободу, и мы могли общаться. Впрочем, и меня она скоро застеснялась, замкнулась и глаз не поднимала.

И лишь сказала:

– Хотите, я и вам закажу копию отзыва на вашу повесть?

– Да, конечно, я бы очень хотел, но это, наверное, чего-нибудь стоит? Я готов, вы мне только скажите.

– Нет, нет! Они сделают нам любезность.

Я не настаивал, и мы разошлись.

Прошло еще две недели, и нам сказали, что завтра вывесят списки принятых.

Я пришел домой, во дворе разыскал дочек и позвал их гулять по городу. У входа в Ипподром купили мороженое, а для мамы и бабушки целый кулек пирожных, и всем по большой плитке шоколада. Потом встретили маму и дома устроили целое пиршество. Надежда смотрела на меня и не могла понять, что со мной происходит. Я, кажется, делал возможное и невозможное, чтобы скрыть от нее творившуюся в моей душе бурю, но уже по опыту знал, что даже и малейшую тревогу или волнение скрыть от Надежды никогда не удавалось. И когда мы вышли с ней погулять перед сном, я сбивчиво и косноязычно залепетал:

– Да вот… надо бы посоветоваться: в газетах объявили о приеме в Литературный институт. Как ты думаешь…

– Тут и думать нечего: поступай и учись.

– Ладно, завтра схожу, узнаю.

– Артист ты и ломака – вот что я тебе скажу! Давно уж разузнал обо всем и ходил туда не раз, – говори лучше, что там и как?

Строгим тоном напал на нее:

– Ничего не узнал! Институт-то не простой, там конкурс творческий, его пройти надо. А на место, поди, человек тридцать приедут. Вот тут и подумаешь: поступать или нет? Чай, не очень

хочется, чтоб мордой об стол стукнули.

Надежда схватила меня за уши и стала трепать, как мальчишку.

– Нет уж, если ты заговорил, значит уверен. Ну, ладно: иди, поступай. Книгу-то кончишь скоро. Деньги есть – сиди себе за партой спокойно. Если уж писателем стать решил – тут, конечно, знания нужны большие. Книгу-то все читают: и школьник, и генерал, и академик. Писатель всех должен уму-разуму наставлять.

Успокоила меня Надежда, но сон ко мне в ту ночь долго не приходил. Ни перед каким боем не думал я столько и так сильно не волновался. Кажется, ничего бы в жизни больше не хотел, а только пусть бы моя фамилия объявилась среди принятых в институт.

Назавтра встал поздно, долго собирался – не хотел подойти к спискам в числе первых, лучше уж последним, чтобы никто не видел кислой физиономии в случае неудачи.

Я был почти уверен: фамилии своей в ряду счастливцев не найду.

Пришел в институт поздно, после обеда, но и в этот час возле списка толкалось много народа. Кто-то о чем-то говорил, но я ничего не слышал; затаив дыхание, подходил к доске объявлений, думал о том, как бы спокойнее и достойнее принять удар судьбы, не раскваситься, а повернуться и отойти – так, будто ничего и не случилось; подумаешь, какой пустяк: не приняли в институт. Да если не примут в этот, подам бумаги в университет. Возраст только-только перевалил за тридцать, еще не поздно…

Издали, поверх голов, бросилась в глаза моя фамилия. Шагнул ближе: она, моя! И имя мое, и отчество. Горят, точно освещенные солнцем. Открытым ртом глотнул воздух, будто даже застонал тихо. И оглянулся: не услышал ли кто? Но нет, ребята толкаются, галдят, кто-то кого-то обругал. Но постой! А эта девочка?… Восточная, сливовоглазая?…

Я шарю взглядом по списку: Щипахина, Фазу Алиева… – вот чудак! Ни имени, ни фамилии ее не знаю. Но, может, она и есть, Фазу Алиева?… А вот еще: Каримова Ольга Олжасовна. Она это! Помню, кто-то из ребят кричал ей: Ольга! Оля!… И я снова обрадовался. Больше, чем за себя. Странно это: незнакомая девочка, почти совсем незнакомая, а я радуюсь. Но, может, эта радость за нее влилась в общий поток хлынувшего на меня счастья?… Я студент самого престижного в мире института! Я буду учиться на отлично, только на отлично. Если уж сел в таком возрасте за парту, то учись не как школьник, а как взрослый, серьезный человек. И уж тогда непременно станешь писателем.

Не зря же Горький добивался создания такого института.

Подумал о евреях. Все тут начальники – евреи, три заместителя директора, да и сам директор Виталий Алексеевич Озеров – и про него говорят, «белый еврей». А – ничего, меня, Ивана, пропустили. Значит, есть какая-то справедливость.

Правда, тут, как я узнал недавно, заведует учебной частью Иван Николаевич Серегин, он фронтовик, без руки, – так, может, он помог?… Но это уже неважно, а важно, что я студент Литературного института, и не какого-то экстерната, как было в академии, а очного, дневного, настоящего. Да и что значит Политическая академия, да еще военная? Чему там учат? История партии, философия, а здесь!… История и теория литературы, и не только нашей, а всей мировой! Опять же история и теория русского языка. Уж язык-то буду знать! Слышал я, что на язык тут отпущено шестьсот часов. Ничего себе – шестьсот часов! Я буду ходить на все занятия, слушать все лекции и записывать в толстые красивые тетради. Сегодня же я их куплю…

Шел по московским улицам как пьяный. Впервые был пьян отчаянно, от распиравшей меня радости. И на каждого прохожего смотрел так, будто сто лет искал его и теперь вот встретил. Из первой же телефонной будки позвонил Надежде. И сказал:

– Можешь меня поздравить. Я – студент Литинститута.

– Поздравляю!… Солнце мое ненаглядное, поздравляю.

Я повесил трубку, шагнул на тротуар. И шел и шел до самого Садового кольца, а здесь сел на автобус, поехал домой.

И вот чудо: Надя уже дома, она открывает дверь и бросается мне на шею. Тянут ручонки Светлана и Леночка. Я беру их на руки и делаю с ними круги по комнате. Давно у нас не было такого светлого праздничного дня.

Тем временем Красовский дочитывал приготовленную мною рукопись. В ней было пятьсот пятьдесят машинописных страниц.

Замечаний по тексту почти не было. Возвращая рукопись, маршал сказал:

– Складно, только не думаю, чтобы они это напечатали.

– Почему?

– Это как роман. Не похоже, что пишет военный начальник. Однако сдавайте. Может, и пронесет.

На последней странице размашисто поставил свою подпись.

В редакции ее сразу же стал читать сам Зотов. Прочел за один день. И позвонил мне:

– Иван! Я знал, что ты справишься с этим делом. Именно такую книгу я и хотел иметь.

И уже потом, подписывая рукопись к печати и давая распоряжение бухгалтерии о выплате мне денег, говорил:

– Я хотя и взялся за эту редакцию, но боюсь скукоты. Засушат генералы всю эту серию. Уже сейчас требуют, чтобы в их книгах оставались документы, приказы, планы военных операций. Но твоя рукопись… Ее даже можно назвать документальным романом. И заглавие хорошее: «Жизнь в авиации».

А вскоре вышла и книга – в красивом оформлении, в суперобложке. Это была первая книга, написанная моей рукой. По случаю ее опубликования я купил самый дорогой и самый красивый складной ножик; он и теперь лежит у меня на письменном столе, напоминая о том эпизоде моей жизни, когда я поверил, что смогу написать и другие книги, на обложке которых будет стоять уже моя фамилия.

В институт пришел за полчаса до начала занятий, положил портфель на стол в углу у задней стены. Рядом дверь, в нее студенты влетают и следуют мимо этого самого заднего и самого углового стола аудитории, проскакивают, не успев даже заметить, кто там сидит и сидит ли кто-нибудь вообще. А если выйти за дверь, тут задняя стена коридора с широким венецианским окном. Из окна виден двор, а за ним улица со множеством особняков, в которых разместились посольства небольших государств и лишь одного большого – Германии.

Я сразу же оценил: здесь будет мой наблюдательный пункт; отсюда я буду видеть все происходящее вокруг.

Возле меня тотчас же появился высокий плечистый парень лет двадцати трех с кудлатой льняной головой и синими пронзительными глазами. Я кивнул на раскрытую дверь аудитории:

– Здесь будешь учиться?

– Здесь, а ты?

– Тоже. Ты пензенский что ли?

– Почему пензенский?

– Это у нас там у всех такие синие глаза.

– Да, это так. Туда степняки редко затекали. Но я не пензенский, а тамбовский.

– Так это рядом. У вас там Цна, а у нас Хопер. Одного мы с тобой поля ягоды.

– Да? Это хорошо. Давай знакомиться. Ну, вот – Иван, значит. А я Николай Сергованцев. Принят на отделение критики. А ты?… Прозаик? Совсем хорошо. Буду твоим карманным критиком, подниму выше небес. Ты где сел?… А-а, это твой там портфель? И я свою папку бросил рядом. А еще на одно место тетрадь с ручкой положил, чтоб, значит, нам просторнее было.

– Хорошо. Будем вдвоем сидеть.

По коридору летящей походкой, сияющая и прекрасная, шла

та самая… восточная… Увидев меня, растворила улыбку, а подойдя, сказала:

– Я знала, что вы пройдете. Была уверена.

– Наверное, потому, что я взрослый?

– Еще и поэтому.

Зазвенел звонок. В аудиторию вошел преподаватель античной литературы. Это был молодой, лет сорока, профессор, автор учебника по зарубежной литературе. Он был хорош собой, одет во все самое-самое и, как мы узнаем позже, не женат. А еще скоро нам сообщит вездесущий Сергованцев: Артамонов – абсолютный трезвенник, но при этом большой гурман. У него в ресторане «Русская кухня», расположенном невдалеке от института, есть персональный повар, который каждый день готовит ему обед.

Сергей Дмитриевич внимательно нас оглядывает и ничего не говорит, а только загадочно улыбается. На Ольгу, сидящую в первом ряду, он смотрит особенно долго и с нескрываемым удивлением. Спрашивает:

– Как ваша фамилия?

– Каримова.

– А какая ваша национальность?

– Русская.

– Русская?

– Да, я русская.

– Но почему Каримова?

– Такая фамилия у моего дедушки, а мой другой дедушка и обе мои бабушки русские. Потому и я русская.

– М-да-а, интересно. А тот дедушка, который Каримов, – у него какая национальность?

– У него… Он –дунганин. Эта народность живет на границе Китая и Киргизии.

– М-да-да, интересно. По всему видно, это очень красивая народность. Я слышал, что на свете есть такая национальность. В древности у вас был поэт Ахмет Шим. И я читал Шима, но встречаться с дунганами мне не приходилось. А скажите, пожалуйста, сколько вам лет?

– Моих лет вполне хватило для поступления в институт.

– Остроумно. Очень даже остроумно. Тогда и мне позвольте вам представиться…

Он повернулся к аудитории.

Так начались наши занятия.

В моей жизни началась полоса относительного спокойствия: тот самый психологический климат, о котором всегда мечтал Пушкин. Я поставил перед собой две главные задачи: хорошо учиться и писать рассказы. Оборудовал у окна рабочее место,

приходил с занятий в одно и то же время, часок дремал на диване, а потом садился читать или писать. Так побежали дни моей жизни.

Однажды я на своем диване крепко заснул и проспал долго. Разбудил меня разговор Надежды с каким-то мужчиной. Открыл глаза: Михаил! Могучий Михаил Панов. Он был в новом парадном мундире, при орденах и всех знаках отличия. Тряс мою руку, говорил:

– Не видишь, что ли? А?…

– Тебя-то? Вижу, конечно.

– Да нет, не видишь, если не поздравляешь.

– А-а-а, ты уже полковник. Поздравляю.

Я крепко его обнял. И, потом, отстранившись:

– Но постой: разве такие молодые, как мы с тобой, бывают полковники?

– Если будешь служить и не лениться, и не спать после обеда, как Обломов, то можно в тридцать лет и генерала получить.

– Да, да, конечно. Рад за тебя. Я всегда был уверен, что ты далеко пойдешь. Еще тогда, в школе… Ты был секретарем комсомольского бюро. И как ты еще не стыдился дружить со мной? Ну, а сейчас… – извини, я и совсем упал. В институт поступил. Меня там одна девушка взрослым назвала. Ей-то восемнадцать, а мне за тридцать. Ха-ха! Вот история!…

– Ну, а девчонка-то эта – хороша собой? А?… – Михаил ударил меня по плечу. – Признавайся, хороша ведь, наверное?… Вот уж в чем я тебе завидую: там, поди, таких навалом.

И – к Надежде:

– Зря ты его в институт пустила. Найдет молодую.

– Одна там девчонка на весь курс. Странно это, но – одна. Ну, да ладно – мои дела простые, студент и крышка. Говорят, если дурака в одной школе не научили, то в другой-то и подавно. А у нас в редакции полковник один так полагал: если на кителе офицера два академических значка висят – стрелять его без суда надо. Сколько ж денег на его учебу пошло! А он все дурак дураком. Меня, видно, тоже в академии-то мало чему научили. Теперь вот в институт подался.

– Ладно, черт с тобой: учись, набирайся ума-разума. А сегодня вас с Надеждой на вечер к себе приглашаю. Компания у нас прежняя. Звездочку и папаху надо же обмыть. Собирайтесь, я вас подожду.

И вот мы идем к Пановым. Я ни с того ни с сего, чтобы сгладить как-то тягостное впечатление от моего студенчества, говорю Михаилу:

– Поучусь-поучусь, а там, может быть, и снова в армию

вернусь. Мне недавно сам министр сказал: возвращайся в армию.

– Какой министр? – повернулся ко мне Михаил, который вел под руку Надежду и о чем-то весело с ней болтал.

– Министр обороны… Маршал Малиновский.

Михаил остановился и разглядывал меня с ног до головы.

– Ты что это – серьезно?…

– Да, сам министр! Так и сказал: «Хочешь в армию? Пиши рапорт. Майора дадим».

Михаил даже отступил от меня на шаг, будто я представлял для него какую опасность. Глянул на меня, потом на Надежду, потом снова на меня. Заговорил строго и даже каким-то не своим голосом:

– В уме ты или съехал малость. Послушал там профессоров в институте и стал заговариваться. Ну, что ты несешь? Какой министр? Да где это он с тобой мог беседовать – во сне что ли?… К нему маршалы на прием попасть не могут. Я командир дивизии, и не простой, а правительственной, да и то с ним ни разу не встречался. Если пошутил – так и скажи, но я ведь вижу: ты серьезно говоришь. Хорошо, что еще мне сказал, а не за столом брякнул.

Михаил вздохнул глубоко, прошелся возле нас с Надеждой, головой покачал:

– Теперь я вижу не зря тебя из армии турнули. Ладно, пошли, а то нас уже ждут, наверное. Подхватил под руку Надежду, пошел быстрым шагом. Я хотел рассказать ему, как и при каких обстоятельствах я встретился с министром обороны, но такое высокомерие друга, его нежелание даже вникнуть в смысл моего сообщения обидело, и я махнул рукой, решил ничего не объяснять, а оставить его в этом заблуждении. «Пусть думает, что я такой уж враль. Господь с ним!» И я спокойно шагал сзади.

К счастью, инцидент этот в некотором роде разрешился, и самым неожиданным образом. В квартире Михаила мы застали тех же его друзей, которых однажды встретили у него и с которыми у меня сложились не очень-то хорошие отношения. Помнится, я что-то сказал им крамольное и они косились на меня и недоумевали, как это у Панова, такого важного и ответственного человека, такой несерьезный друг. Михаил и на этот раз, как бы забегая вперед, предупреждал друзей о моих возможных крамольных рассуждениях. Кивая на меня, говорил:

– Он у меня либерал, чуть ли не анархист, – и вот докатился: студентом стал. Вся жизнь под откос пошла, семью на стипендию посадил.

И – ко мне:

– Сколько тебе платить будут?

– Двести двадцать. На хлеб хватит. И картошку будем покупать. Правда, уж есть ее придется без масла.

– Вот! А все твой либерализм. Сам не знаешь, чего ты добиваешься.

Расселись за столом. Яства тут были самые изысканные: белая рыба, семга, минога, и мясо холодное. И разные заливные блюда. А уж что до вина – целый гастроном! Все были веселы, предвкушали такой пир, который не во всяком ресторане можно устроить.

Речи следуют восторженные: поздравляют, предрекают еще и не такой взлет по службе. Кто-то сравнил Михаила с Ермоловым, а кто-то с Наполеоном. Никто, конечно, не заикнулся о том, что во время войны Панов хотя и воевал хорошо, но дальше капитана не пошел. Это уж потом, когда стал личным летчиком Ворошилова, а затем Георгиу Деж и Петру Гроза – тогда на его плечи быстро полетели звезды. В три года до подполковника дошел.

Я вспоминал свою службу. На войне она не гладко протекала, трудно складывалась. Был летчиком, а потом из-за нехватки самолетов в артиллерию перевели. А тут хотя и скоро командиром отдельного подразделения стал, то есть батареи, но со званиями не везло. Разные чрезвычайные происшествия, словно палки в колеса, летели. И звания и награды из-за них откладывались. Впрочем, орденов и медалей я имел не меньше Михаила. А уж что до карьеры, он, конечно, под небеса взлетел.

– О чем вы задумались? – неожиданно спросил меня сидевший рядом генерал-майор авиации. Я по прошлой встрече помню, что он был каким-то крупным политическим работником в летных войсках Московского округа.

– Вспомнил детство наше в Сталинграде. У меня-то и тогда жизнь не ладилась, а Михаил – он, слава Богу, в хорошей семье рос и сам был отличником в школе и комсомольским активистом. Я рад за него. Он со своими способностями и генералом, таким вот как вы, скоро станет. Дай-то Бог!

– Вы Бога часто поминаете. Верите что ли?

– Верь не верь, а без Бога-то, наверное, ничего бы и не было.

– Иван! – вдруг рявкнул Михаил. Он услышал наш разговор о Боге и решил меня приструнить. – Ты опять за свое. Ну, какой Бог! Что ты еще мелешь!…

Генерал ему возразил:

– Нет, Михаил, сейчас многие люди о Боге задумываются. Меня вот как судьба тиснула, я тоже подумал. Ну, сам посуди: мне сорок два года, а меня вот тоже, как его,– за борт. Ты-то нас не поймешь. Недаром говорят: сытый голодного не разумеет. Сам

же ты сказал Ивану: семью на стипендию посадил. А у меня вот и стипендии не будет. Мне-то поздно идти в институт.

– Будет вам пенсия! Генералам всем пенсию дают.

Наступила тишина: неловкая, тягучая. Речи высокие вдруг смолкли. Я понял: генерал тоже попал под демобилизацию. Мне стало его жалко. Наклонился к нему:

– Вы хоть место себе присмотрели? Куда отступать будете?

– Нет у меня позиций для отступления. Я как тот беспечный командир: наступал, не оглядываясь. Не думал, что судьба подставит мне ножку. Ездил в Монинскую академию, просился на кафедру истории партии, – сказали, что опыта преподавательской работы нет. А преподавателем я, конечно бы, сумел.

– А вы Степана Акимовича Красовского знаете?

– К сожалению, не знаю. Хотел к нему обратиться, да мне отсоветовали. Сказали, что такими делами он не занимается.

– Я знаю маршала Красовского. Может, позвонить ему?

– Иван! – снова рявкнул Михаил. И подскочил как ужаленный, подошел к нам. Говорил мне тихо, но так, что все слышали:

– Опять понес! То он с министром говорил, а теперь вот маршал Красовский!

И – к генералу:

– Павел Петрович! Не слушай ты его. Черт знает, что с ним происходит: то ли свихнулся, то ли так неумно балагурит?

– И вновь ко мне:

– Иван! Уймись. Такими вещами не шутят. У человека горе большое, карьера кверх тормашками летит, неизвестно, как жизнь устраивать, а ты – скоморошничать.

– Да почему же скоморошничать? Генералу нужна помощь маршала Красовского. Я позвоню ему, попрошу об этой помощи.

Михаил всплеснул руками и вернулся на свое место. Смотрел на меня как на сумасшедшего. А я повернулся к генералу:

– Пойдемте на кухню, я позвоню оттуда маршалу Красовскому.

Генерал встал, и с нами поднялись вес мужчины, и вслед за нами пошла Клава, жена Михаила, и с ней Надежда. А я позвонил Красовскому. Ответил мне майор, референт маршала. Я с ним поздоровался и попросил соединить со Степаном Акимовичем. Он тут же это и сделал.

Все присутствующие на кухне, и прежде всего Михаил, замерли в напряженном ожидании. А я спокойно говорил:

– Степан Акимович, я вас приветствую. Что вы там поделываете, я вам не очень мешаю?

– Мешаешь, конечно! Ну, так мне и все мешают. Ты же

знаешь, как меня терзают мои любезные подчиненные. Убежал бы я от них, скрылся бы куда глаза глядят, – но нет, висят на ногах точно гири. Вот сейчас строителей собрал. Все графики посрывали. Всех на гауптвахту пересажаю.

Пока это все говорил маршал, я смотрел на Михаила и его друзей, и мне было за них страшно. Шеи вытянулись, глаза округлились, а у Михаила и кулаки сжались, точно перед схваткой с каким-то злейшим противником. А маршал, выговорившись, спросил:

– Чего у тебя? Чтой-то давно тебя не было. Недавно хотел заехать к тебе домой, да не получилось. В главном штабе задержали. Ну, так чего у тебя?

– Судьба генерала Трофимова меня занимает. Знаете вы такого – Трофимова Павла Петровича?

– Шапочно – да, знаю. А что такое?

– Попал под демобилизацию.

– И что? Сейчас многие попадают под демобилизацию. И ты вот оказался на дворе. Кстати, Родион Яковлевич о тебе спрашивал. Я сдуру-то дал тебе хорошую аттестацию, а он говорит: мне такой человек нужен. А мне ты не нужен, что ли? Подавай рапорт, но только к нему иди. Не буду же я с ним из-за тебя ссориться!

– Хорошо, Степан Акимович, я еще не решил, что буду делать. Может, и в гражданке останусь.

– Да ты что – ума лишился? Да если тебя сам министр приглашает, чего же тут рассуждать? Будешь майором, а там скоро и вторую звезду получишь. А место он тебе найдет; у него контора что твой муравейник. Иди и не валяй дурака.

– Степан Акимович, а как же с Трофимовым? Я очень вас прошу.

– Пусть он завтра утром ко мне зайдет. Придумаем что-нибудь.

– Вот за это спасибо. А если ко мне приехать вздумаете, я дома после пяти вечера бываю. Посидим, чайку попьем, а я вам кое-что расскажу из нетелефонной тематики. Кстати, вы полковника Панова Михаила Николаевича не знаете?

– Знаю такого и не люблю. Выскочка он, этот самый Панов! На хребте Ворошилова карьеру делал. Не люблю таких. Ты же знаешь, как я по служебной лестнице карабкался. Ну, да ладно: при встрече поговорим, а то строители тут у меня сидят. Присылай своего Трофимова.

– Еще раз спасибо, Степан Акимович. До встречи.

Положил трубку и посмотрел на стоявших и слушавших наш разговор. Тут были все: и Мишины друзья, и их жены. Впереди

всех стоял Михаил. Не могу я тут передать выражение его лица. Почему-то мне казалось, он вот-вот расплачется.

– Ты это что – комедию разыграл? Дурачишь нас всех?

– Почему?

– Он еще спрашивает! Кто же так с маршалом разговаривает? Он тебе что – мальчишка уличный?… Еще и меня приплел!

Затряс головой, передразнил:

– «…Панова Михаила Николаевича не знаете?» Но если ты и в самом деле говорил с маршалом, что же он ответил на твой дурацкий вопрос?

– Сказал, что знает тебя и высоко ценит твои организаторские способности.

Рты у всех приоткрылись. И жена Мишина Клава инстинктивно шагнула ко мне:

– Правда, Иван? Он так и сказал? А кто он, этот маршал Красовский?

– Да замолчи ты, глупая женщина. Идите вы все в комнату, а мы тут… поговорим.

Женщины пошли, а Надежда, проходя мимо Михаила, погрозила ему пальцем:

– Ты на моего Ивана не нападай. Если он и пошутил, так и в этом нет ничего худого. Надо же вам нервы пощекотать. Вон как вы все насупились, точно мыши на кусок морковки.

И вышла Надежда. Я улыбнулся: значит, и она допускает мысль, что подшутил над мужиками. Она хотя и сама знала маршала Красовского, но не думала, что у нас с ним сложились такие короткие дружеские отношения. А Михаил сел рядом, спросил:

– Так что ты скажешь Павлу Петровичу? – кивнул он на генерала. – Я от тебя всего ожидаю, но не такой же глупой выходки. Откуда знаешь ты маршала Красовского?

Я сделал вид, что вопроса этого не услышал. Обратился к генералу:

– Вас, Павел Петрович, маршал просил зайти к нему завтра утром. Обещал что-нибудь для вас придумать.

Генерал поднялся, принял строевую стойку, с чувством проговорил:

– Благодарю вас, товарищ капитан! Надеюсь и мне когда-нибудь удастся сослужить для вас службу.

– Ну, ладно. Служебные дела в сторону. Пойдемте к женщинам, праздник продолжается.

Заняли свои места за столом, пили, ели, но прежнего веселья уже не было. Михаил был явно обескуражен; он, верно, и не знал, что подумать. Ему теперь и предложение министра вернуться мне

в армию не казалось уж фантастическим. Однако откуда это такое внимание ко мне высших лиц государства и армии – этого он ни уразуметь, ни вообразить не мог.

Вечером следующего дня, – опять же я спал на диване, – ко мне на двух машинах приехали генерал Трофимов с Михаилом и с ними два незнакомых полковника. Офицеры расположились за столом, а Михаил присел ко мне на диван и тихо этак, как бывало в детстве, меня будил:

– Вань, а Вань! Вставай же, наконец! Что ты дрыхнешь днем, как младенец?

Я открыл глаза и увидел гостей. Как раз в это время два их шофера тащили в комнату кульки, свертки, бутылки. Я свесил с дивана ноги, пятерней поправил волосы, извинился. Михаил подал мне брюки, рубашку:

– На, одевайся, Спиноза!

– А почему Спиноза?

– А вон, на столе книг-то сколько! Скоро умным станешь, учить нас будешь.

– Я и сейчас мог тебя многому научить.

– Во! Видите? Он и всегда был такой: молчит, молчит, а потом скажет. Не забывай русскую пословицу: яйца курицу не учат. Мы тут все старше тебя и в армии подольше служим.

– Да уж, служишь ты много дольше меня, месяцев на восемь.

– Ну, ладно – ставь чай, неси тарелки, да рюмки не забудь, а мы тут снедь раскладывать будем.

Скоро мы сидели за столом, и я вопросительно, с некоторым недоумением разглядывал своих гостей. Михаил представил мне двух полковников; они оказались командирами полков из его дивизии. Один из них, пожимая мне руку, сказал:

– Помните показательный полет Воронцова в Кубинке? Вы приезжали к нам с генералом Сталиным?

– Да, конечно, помню. Вы тогда тоже летали, и вас хвалил Воронцов. Он предлагал мне полетать с вами на спарке по плану летной подготовки офицеров штаба.

– Да, вы были у меня в списке, но ни разу не приехали.

– Да, было дело, но теперь-то уж… Мне летная работа не понадобится. Списан из авиации – подчистую. Кстати, а где сейчас служит Воронцов?

– На Дальнем Востоке. Его назначили командиром истребительной дивизии.

– Я очень рад. Мы с ним большие друзья.

Помолчали. Михаил разливал вино, генерал раскладывал по тарелкам семгу. Тихо, волнуясь, заговорил:

– Был у маршала Красовского. Он хорошо принял меня,

спрашивал, откуда я вас знаю. Между прочим, сказал, что считает вас лучшим из своих друзей и хотел бы, чтобы вы служили у него в академии.

Я в нетерпении спросил:

– Как ваша судьба решилась?

– Не знаю, как вас и благодарить, Иван Владимирович. Маршал оставляет меня в армии и предложил возглавить кафедру военной истории. Это должность генерал-лейтенанта, я получил повышение.

Михаил между тем много пил, раскраснелся, карие глаза его блестели. Он был взволнован и все время порывался говорить – Вот они меня спрашивают, откуда это ты, Иван, мой закадычный дружок, знаешь таких великих людей, как Степан Акимович Красовский и Родион Яковлевич Малиновский? А что я им скажу? Ты же мне никогда об этом не говорил. Я даже думаю, что ты и не понимаешь, что такое дружба с такими людьми. Да знай я об этом раньше, сколько бы вопросов через тебя можно решить!

– Да нет, Михаил, через меня никаких вопросов решить нельзя; во-первых, я не люблю эксплуатировать добрые отношения больших людей, а во-вторых, никакие они и не друзья. С маршалом Красовским меня связывают некоторые общие дела, а министр… С ним я встретился на даче Степана Акимовича. Они, видишь ли, вместе работали на Дальнем Востоке и там сдружились, ну, а я бываю на даче Красовского.

– И сейчас бываешь?

– Давно уж не был, но скоро поеду.

– А он… как я понял из вашего телефонного разговора, у тебя бывает? Вот здесь, в этой комнате?

Он обвел взором наше скромное жилище.

– Иногда приезжает.

Михаил почесал начинавшую лысеть голову.

– Странный ты, Иван! Я и раньше не мог тебя понять, а теперь и совсем запутался в мыслях о тебе. Что ты за человек такой?

– Да что же тебе непонятно?

– А то и непонятно: малахольный ты какой-то, не от мира сего. Да если бы я имел таких друзей!… – Он оглядел комнату. – Да разве я жил бы в этом чулане? Я как стал возить Ворошилова, так сразу и квартиру получил, и звание. А ты… из армии вылетел, всю карьеру себе порушил. Да ты хоть скажи: правда ли это, что министр тебе погоны предлагает, да еще майорские?

– Да еще и должность важную в министерстве, – решил я подзадорить Михаила.

– Ну, и…

– Посмотрим. Я вот пока за книги засел. Учился-то я, как ты

знаешь, мало. Надо мне вас, моих сверстников, догонять.

Михаил всплеснул руками:

– Вот… и глядите на него! Можно ли понять этого человека?

Негромко заговорил генерал:

– Я понимаю Ивана Владимировича. У него, значит, свои виды на жизнь, и он их не каждому открывает. Другу своему, – тому, кто его поймет, – он, может быть, и скажет, а всякому – нет, не скажет.

Михаил покраснел пуще прежнего, вилкой по тарелке зашкрябал. Намек на истинные отношения наши с Михаилом, на видимое даже постороннему глазу мое нежелание выкладывать перед ним свою душу был понят и задел Михаила. Он с того момента больше и не заговаривал.

Прощаясь, генерал сдержанно, но сердечно проговорил:

– В моей жизни никто еще не делал для меня так много, как вы. Благодарю вас от всей моей семьи. Вот вам моя визитная карточка, понадоблюсь – дайте знать.

Как раз в это время пришла с работы моя Надежда и вернулись с гулянья дети. Я представил гостям свое семейство, а Надя приглашала еще посидеть немного, но гости уже прощались. И когда все уже были в машинах, Михаил отвел меня в сторону, тряхнул за руку:

– Ладно, старик, не обижайся на меня. Ты ведь ничего не растолковал мне, а так, брякнул впопыхах: министр и так далее! Ну, сам подумай, разве я мог поверить в такую чертовщину. Теперь верю. И спасибо тебе сердечное за генерала. Он хороший мужик. И ты ему крепко помог в жизни. Ну, ладно: бывай здоров, да больше меня так не озадачивай. Хватило мне хлопот и там, в нашем голоногом детстве.

– Да, Михаил – все было. И хлеба ты мне за пазухой таскал, и во время войны отыскал меня первым. Люблю я тебя и горжусь своим другом. Ну, а за мою судьбу ты не беспокойся. Я выбрал для себя дорогу, и она будет нелегкой. Ну, да ничего; как-нибудь справлюсь. А за генерала тебе спасибо. Кажется, ты мне нового товарища подарил. А друзей мы с тобой ценить умеем. А?…

Мы обнялись и долго так стояли, прижавшись друг к другу. Потом ударили один другого кулаком в грудь, и Михаил сел в машину.

В ту минуту я впервые подумал о том, что нет ничего крепче и прекраснее, чем настоящая мужская дружба. И еще пришла мне в голову мысль: в дружбе, как и вообще в отношениях между людьми, надо уметь извинять слабости и несовершенства характера. Если такой способности ты не имеешь, друзей у тебя не будет.

А занятия в институте шли своим чередом. Скоро я уже умом и сердцем чувствовал душу аудитории, нашего первого курса – людей, с которыми судьба свела меня на шесть лет. Я сидел в самом дальнем уголке за дверью и в минуты, когда не писал свои конспекты, слушал преподавателя, а заодно и разглядывал спины и затылки ребят, сидевших за столами. Со мной рядом сидел Николай Сергованцев, парень из тамбовской деревни. Он в прошлом году окончил в Тамбове Педагогический институт, но в школе преподавать не смог, «не хватало терпения и нервов», как он выразился однажды. «Никогда не думал, – говорил он мне, – что дети – такой противный народ. Они доводили меня до бешенства, я готов был перекусать их. В класс заходил, как в клетку с тиграми. Не-ет, школа – это не по мне. И тогда я стал писать статьи о книгах. Критиком заделался нечаянно». Он и здесь был неспокоен, вначале наклонялся ко мне, шептал на ухо разные реплики, ерзал, смеялся, дерзил преподавателям, но я ему сказал:

– Не мешай мне слушать и писать конспекты, иначе отселю.

– Как отселишь?

– А так: возьму за шиворот и посажу за другой стол.

– Ну, ты даешь! Я же больше тебя. И кулак у меня тяжелее. Видишь?…

И он показал мне мощный крестьянский кулак.

– Кулак ничего не значит, – заметил я. – Ермак учил нас побеждать таких, как ты, четверых.

– Кто такой – Ермак?

– А это вожак у нас был, когда я в тридцатых годах в Сталинграде жил на улице.

– Ну?… И ты это умеешь?

– А как же! Иначе я там бы не выжил.

После этого он стал тише, а ко мне совсем не приставал.

Впереди нас сидел Лев Щеглов, драматург. Он был длинный, жидкий и имел замечательно круглую живописную лысину. Ему было всего двадцать пять лет. Я у него спросил:

– Сколько тебе лет?

Он ответил:

– Семидесяти еще нет.

Неуютно и неспокойно было нашей единственной девушке Оле Каримовой. Куда бы она ни села, к ней приставали, мешали слушать. И она пересаживалась со стола на стол. Наконец, однажды пришла к нам и села на свободное место. На перемене Сергованцев мне сказал:

– Кто ее просил? Мне это не нравится.

– Она хорошая. Тебе должно быть приятно, что она выбрала

тебя соседом.

– Чего ж тут приятного! Ни в носу поковырять, ни почесаться. Нет, я сбегу от вас.

– Беги. Нам будет свободней.

Сергованцев никуда не сбежал, скоро он привык к своей соседке и стал ей мешать, как до этого мешал мне. Она просила не мешать, фыркала на него, но он продолжал егозить. Я думал, Ольга уйдет и от нас, но однажды мы пришли на занятие, а она сидит посредине стола – на месте Сергованцева.

Вошел Николай и остановился удивленный:

– О! Она уже на моем месте! Садись на свое.

Ольга и глазом не повела. Сидит. Николай – ко мне:

– Иван! Скажи ты ей! Это же разбой.

– Садись рядом с ней. Какая тебе разница? Наконец, будь джентльменом. Ольга же – дама. Ну, если ей так захотелось. Мне, например, очень приятно, когда она сидит со мной рядом.

– Ему приятно, а я должен торчать тут на отшибе. Да какая же она дама? – ворчал Сергованцев, но, впрочем, на крайнее место сел. В этом порядке мы просидели все пять лет.

На последнем уроке произошло событие, потрясшее институт и ставшее известным далеко за его стенами. На втором или третьем уроке к нам пришла тревожная весть: где-то в Московском или Ленинградском, а может, в Новосибирском университете, – я сейчас этого не помню, – студенты отказались слушать профессора, читающего курс истории Коммунистической партии. И даже будто бы силой выставили его за дверь. То было время, когда Хрущев крушил все сталинские порядки, в городах сбрасывали с пьедесталов памятники «вождя народов», до небес поднимался авторитет эренбургов, шостаковичей, – евреи визжали от радости, кричали на всех перекрестках о наступлении «оттепели». И студенческая молодежь, болезненно чуткая ко всяким новациям, высоко поднимала голову навстречу переменам. Русские парни и девушки не понимали, что послабления делались евреям, – это им, прежде всего, мешала железная строгость Сталина, власть партии, не дававшая им разгуляться. Если говорить образно: в костер медленно ползущей на Русь еврейской власти плеснули бензин и змея эта поползла быстрее. Вздыбила шерсть космополитическая шваль всех сортов, называвшая себя интеллигенцией и крушившая русскую культуру; озверела еврейская молодежь.

В аудиторию вошел профессор, читавший нам курс истории партии, Водолагин Михаил Александрович. Во время войны он был вторым секретарем Сталинградского обкома партии и, когда к городу подходили немцы, его назначили командиром

сталинградского ополчения. Вместе с рабочими он был в окопах, потерял руку, – мы его очень уважали и гордились, что нам преподает такой человек.

Профессор взошел на кафедру, но студенты не садятся. Он в недоумении обвел их ряды. Я сосчитал: сидело всего семь человек, остальные двадцать три стояли.

– В чем дело? Почему вы не садитесь? – спросил профессор.

Студенты загалдели. Из кучки с левой стороны – там разместились переводчики, которых Россельс «собирал в Прибалтике по квартирам», они все были евреи, – оттуда раздались резкие голоса:

– Не надо нам ваших лекций! И курс истории партии мы слушать не желаем.

И как только они это сказали, все смолкли. В аудитории наступила тишина, которую я ни разу не слышал. Ее нарушил спокойный, но властный и уверенный голос Водолагина:

– Об этом вы скажете в ректорате, а сейчас садитесь.

И тут аудитория взорвалась:

– Жене своей читайте эти лекции! Уходите! Мы знать не желаем о партии палачей, убийц и мучителей!…

Кто-то завизжал не мужским голосом:

– Что с ним церемониться! Вышвырнем его за дверь!

И другой голос:

– В окно его!

И переводчики стали выходить из-за столов, двинулись к профессору. За ними все остальные. Но тут из среднего ряда столов выскочил невысокий, сбитый как боксер, Вадим Шишов, бывший офицер Балтфлота.

– Фронтовики! Полундра!…

Схватил два стула и вскочил на преподавательский стол.

– Ну, жидовская падла! Подходи!

Я тоже подхватил два стула и двинулся к нему. За мной устремился Костя Евграфов, командир взвода минометчиков, за нами Сергованцев и еще трое парней. Мы все вскочили на первые столы, подняв над головой стулья. Стояли, как чугунная скульптурная группа, и, мне казалось, гулко бились наши сердца.

Бузотеры смолкли, стали садиться. И через минуту аудитория стихла, точно вымерла. По праву старшего, – я же был капитан! – я и своим подал команду:

– По местам!

Поспрыгивали со столов, поставили стулья, пошли на свои места. И уже сели. И тут только я увидел, что рядом с профессором, как бы защищая его своей фарфоровой фигуркой, стоит наша Оля. Мы и не заметили, как она шмыгнула вслед за

нами и заняла место в ряду защитников профессора. Стояла словно пришитая. Угольки ее глаз, будто озаренные пламенем костра, блестели и выражали такую энергию, которую не могла одолеть никакая сила. Я подошел к ней, взял ее за плечи и повел к нашему столу. Слышал дрожь во всем ее теле, жар клокотавшей ненависти и, усаживая ее на место, погладил ее черные волосы. А Водолагин, полистав тетрадь с конспектами, начал свою лекцию.

Это был эпизод, положивший начало бурным событиям в институте. Не знаю, кто и кому доложил о диссидентском бунте в нашей аудитории, но только в тот же день меня вызвали в Центральный Комитет комсомола. Принимал второй или третий секретарь Николай Николаевич Месяцев. Говорил он жестко и так, будто я был виноват во всем происшедшем.

– Вы хоть понимаете, что произошло в вашем институте?

– На нашем первом курсе, – возразил я решительно, принимая независимую позу.

– Я говорю: в институте! Вчера были события в университете, сегодня – в вашем вонючем институте.

– Почему вонючем?

Месяцев был примерно моего возраста, и я решил с достоинством ему парировать.

– А потому и вонючий! Там свили гнездо эти россельсы, борщаговские, исбахи… Его, Исбаха, двадцать лет гноили в лагере – поделом! Иосиф Виссарионович знал, кого сажал. Его бы и еще двадцать лет надо там держать.

– Россельсов не я там расплодил, вы их назначали!…

Очевидно, Месяцева шокировал наступательный тон моего голоса, он вдруг замолчал, откинулся на спинку стула, уставил на меня серые, метавшие огневые искры глаза. Заговорил тихо, потеплевшим голосом:

– Вы фронтовик? Работали с Васей Сталиным? Были за границей?…

– Да, но откуда вы все это знаете?…

Он улыбнулся, посмотрел на лежавшую перед ним бумажку.

Я понял: ему подготовили объективку, то есть краткую характеристику моей персоны. Это был стиль работы высоких людей; им загодя давали краткие сведения о собеседнике.

Месяцев продолжал:

– Вы были капитаном? Летали на боевых самолетах? Имеете ордена и медали?… Как же вы решились сломать такую блестящую карьеру и сесть за студенческую парту?

– Положение студента кажется мне высшей точкой моей карьеры.

Секретарь поднял руки, замотал головой:

– Сдаюсь. Вам палец в рот не клади. Ценю таких людей и хотел бы установить с вами более тесные отношения. У вас будет партийное собрание – постараюсь сделать так, чтобы вас выбрали в партийное бюро и сделали заместителем секретаря партийной организации. Там, видите ли, секретарями выбирают профессоров, а они не хотят ни с кем ссориться, сидят, как мышки, и идут на поводу этих… россельсов.

– А как же иначе, если весь ректорат из россельсов? Да и у вас тут, наверное… раз вы отдаете русскую молодежь исбахам да россельсам.

Месяцев набычился, сдвинул брови к переносице. Долго сидел молча, барабанил пальцами по столу. Потом, глядя на меня исподлобья, заговорил:

– Ну, ну, ну!… Не так в лоб! Здесь все не так просто, как вам видится оттуда, издалека. Но вообще-то, ваш напор мне нравится. И то, что схватили стулья, повскакали на стол… – это не просто хорошо, а здорово. Этого как раз нам не хватает. Но вот… «жидовская падла» – этого бы не надо.

Это задело основу основ: нашу религию – интернационализм! От этого еще придется отбрехиваться.

– А лучше, если бы эта самая «падла» выкинула профессора за окно? А потом и вас… вот отсюда?…

Я кивнул на окно, которое так же, как и у нас в аудитории, было открытым. Но только здесь был не второй этаж, а пятый или седьмой. Месяцев встал, поднял ладони:

– Ладно, ладно. Успокойтесь. Мы взяли не тот тон беседы. Давайте говорить о деле. Вы в недавнем прошлом человек военный, решительный – предлагаю вам возглавить акцию государственного масштаба: соорудить письмо к нам в ЦК комсомола с предложением закрыть Литературный институт. Вы это письмо составите, а подпишут его вместе с вами те самые ребята, которые защитили профессора.

Месяцев склонился надо мной и смотрел мне в глаза, как сейчас, в нынешние дни, смотрят на собеседника сектантские проповедники, понаехавшие из Америки и снующие в питерских парках. Я ответил не сразу. Подумав, сказал:

– Что это вам даст?

– Не вам, а нам с вами! Мы одним махом прихлопнем вонючий клоповник. С тех пор, когда я попал на эту проклятую должность, Литинстатут не дает мне покоя. Для меня это вечная головная боль.

– И вы решили так: раз завелись в доме клопы, сжечь их вместе с домом. А как же вы поступите с другими институтами – с теми, куда проникли россельсы? Ведь таких институтов, пожалуй,

немало. Нет, меня вы от такой акции увольте. Я в ней участвовать не стану. А вот побороться с россельсами – я, пожалуй, попробую. И сделал бы я это и в том случае, если бы и не был на беседе с вами.

– Понимаю. Институт дорог вам и как собственная пристань, но вас и ваших товарищей мы переведем в Университет.

– И все-таки – меня увольте.

– Ну, хорошо, – стукнул кулаком по столу неистовый комсомольский вожак. – Мы тогда организуем атаку. Я подключу райком, горком – вычистим железной метлой ректорат и профессуру. В такой нашей атаке вы будете участвовать?

– В меру своих сил.

На том мы и расстались. Николай Николаевич хотел сводить меня и к первому секретарю ЦК Павлову, но того не было на месте, и меня отпустили.

В институт налетели комиссии: от райкома партии, от горкома и от правления Союза писателей. Приехал представитель ЦК партии, провел партийное и комсомольское собрания. Меня избрали членом партийного бюро института. Секретарем был избран профессор, читавший лекции по философии, Зарбабов Михаил Николаевич. На следующий же день он пригласил меня на беседу в партбюро.

Михаил Николаевич невысок ростом, держится скромно, как будто кого опасается. Голова у него большая, в черных кудряшках, непроницаемо темные глаза слезятся, похожи на глаза теленка. Он армянин, Зарбавян, но фамилию изменил на русский лад. В нем нет ничего армянского, но и русского так же ничего нет, – это тот самый тип человека, который лишен всякого национального начала и в духовном плане облегчен до состояния пушинки, которую крутит и несет куда-то даже самый легкий ветерок. Таким он мне показался с первой встречи, и таким же остался во все время нашего тесного с ним общения, а продолжалось оно пять лет.

Заговорил он тихо, вкрадчиво и очень ласково:

– Будем знакомы, я бы хотел с вами подружиться и поладить. Тут, в институте, такой порядок: секретарем избирают профессора, а его заместителем – из числа студентов. Вы человек серьезный: журналист, фронтовой офицер – и здесь, в институте, позицию свою смело обозначили; лучшей кандидатуры я не вижу. Кстати, и в райкоме, и в горкоме, и даже с представителем ЦК я согласовал. Они все одобряют мой выбор. Ну, так как вы на это смотрите?

– Если доверяете, буду работать.

– Ну, и отлично! Вот наше с вами место. А вот ключ от

кабинета; вы тут такой же хозяин, как и я.

– Но… члены бюро? Наверное, нужно бы с ними согласовать?

– Согласовано. Я уже со всеми переговорил.

– Но они меня не знают.

– Ах, Иван Владимирович! Все же понимают, что с заместителем работать мне.

Я развел руками: ну, если так. А он, поднимаясь, сказал:

– Я на днях ложусь в клинику на обследование. Боюсь, что надолго. Однако мы будем встречаться. Я живу тут недалеко. Заходите ко мне.

И с этого дня началась новая жизнь,– теперь уже по большей части общественная. На следующий день после нашей беседы с профессором Зарбабовым у нас состоялось заседание партбюро – первое в только что избранном составе. Меня теперь и члены бюро избрали заместителем секретаря. А на следующий день Зарбабов лег в клинику, – и как я тогда, конечно, и помыслить не мог, «залег» он на пять лет. Говорю я это образно, потому что скоро он вышел на работу. Врачи не нашли у него ничего серьезного, но решительно советовали избегать нервных перегрузок и всяких волнений. Он потому и выполнять секретарские обязанности в полной мере не мог, а только собирал и хранил у себя в сейфе партийные взносы, да представлял институт на всяких важных конференциях. Вся же текущая работа легла на плечи рядовых членов бюро и меня, его заместителя. А так как избирали нас с ним в партийное бюро все пять лет, то и работали мы с ним в этом привычном тандеме.

Скоро я понял истинную природу «болезни» этого мягкого, очень вежливого и всегда и всем улыбающегося человека: он не хотел «кипеть» в повседневных делах института. И в то же время не отводил свою кандидатуру на выборах в партийное бюро: слишком много преимуществ давало положение секретаря. Срабатывала мудрость, генетически заложенная в него праотцами. Я же тоже действовал по генетической схеме своих прародителей: пахал, тянул лямку и за все был в ответе.

Комиссии, вызовы, разбирательства продолжались. Разговоры с профессорами и руководителями института проходили в присутствии членов партбюро, но чаще всего я один принимал людей. Беседы наши продолжались допоздна, – домой я приходил уже вечером, а иногда и к ночи.

Очень скоро я уже знал всю подоплеку кипевших в институте страстей. Ключом к пониманию любого эпизода служила французская поговорка, но не «ищи женщину», а «ищи еврея». Не помню случая, чтобы в каком-либо эпизоде слышался душок грузинский, армянский или киргизский… Нет, кашу варили

только евреи. А уж если высунет голову русский, то лишь как протестант или разоблачитель еврейской интриги.

Бунт на нашем курсе вскрыл главный нарыв: поражало всех единодушие, с которым курс поднялся на профессора. Защитников оказалось всего лишь семь человек – и все русские. Члены комиссий изучали каждого абитуриента, принятого на наш курс.

Среди двадцати трех, топавших, кричавших и, наконец, двинувшихся на профессора, были евреи, полуевреи, четвертьевреи или породнившиеся с ними. Удивительная закономерность: евреи все, поголовно, были против партии коммунистов и против русского профессора, защитника Сталинграда. У каждого возникал вопрос: а что же они такое, евреи? Чего хотят? Чего добиваются? И почему это в их рядах такое единодушие?… Но, впрочем, всех поражал и другой феномен: русские тогда только поняли, что они русские, когда над головой их соплеменника возникла опасность. Не случись такой еврейской атаки, русские, наверное, и не знали бы, что они русские.

Но позвольте, – возникал вопрос у каждого проверяющего, – а как же так случилось, что в многонациональном советском государстве, где институты существуют на деньги всех граждан: и русских, и украинцев, и белорусов, и узбеков, и грузин – всех, всех! – и, наконец, в столице русского государства учат почти одних евреев?…

Изучали механизм набора абитуриентов в группу переводчиков. Ректорат с этой целью посылает Россельса в столицы прибалтийских республик. И тот, как он сам признался, ходил по квартирам и скрупулезно изучал каждого молодого человека.

Россельс привез с берегов Балтики одних только евреев. Ну, Россельс! Ну, расист! Да он, пожалуй, почище Гитлера будет!…

Раскрывалась передо мной и природа людей, которых евреи клеймят тавром антисемита, которых по постановлению Ленина, принятому сразу после революции, без суда расстреливали: это, как теперь я понимал, были люди, узнавшие природу еврейства, могущие объяснить своим соплеменникам опасность, исходящую от этой маленькой, но страшной народности. Иными словами, это люди посвященные, которым открылась тайна еврейства.

И невольно думалось: а что же такое Ленин? Что же такое Свердлов, Дзержинский и все Красины, Луначарские, бухарины, Зиновьевы?… Ответ напрашивался сам собой.

Ко мне на стол ложились и задачки мелкие, бытовые, порой забавные и почти анекдотичные.

Из милиции приходит жалоба на студента Стаховского, сына секретаря Одесского обкома партии, члена ЦК. Суть заключалась в следующем: Стаховский ходит по улице Горького и пугает продавцов газированной воды. Продавцов этих в Москве было очень много, и поскольку продукция их никем не учитывалась, свободно текла из крана, все места в таких будках захватили евреи. Стаховский заметил это и был возмущен такой несправедливостью. Выходил гулять на улицу Горького, теперь Тверскую, и, проходя мимо каждой будки, «гавкал» на продавца. В бумаге так было и написано: «гавкал». Продавец, если выглядывал из окна своей будки, шарахался и нередко зашибал голову. Мы пригласили одного пострадавшего и попросили его рассказать, как это с ним случилось. Пришел к нам и представитель милиции. Продавец рассказывал:

– Он сумасшедший! Кто же так будет делать, если не сумасшедший? У меня астма, я дышу – мне надо дышать, потому что астма, а в будке мало воздуха. Я иду к окну и немножко пускаю вперед голову, чтобы дышать, а он кинулся ко мне, как собака, и гавкнул. И что мне надо делать? Я ударился головой о раму, и вот… получил шишку. И приступ астмы, я стал задыхаться. Хорошо, у меня эта пшикалка… – он показал ингалятор. – Я долго качал воздух, и приступ отпустил.

Продавец вытащил из штанин огромный синий платок и стал тщательно вытирать лысину, лицо и шею. Он был толст и кругл, как синьор помидор. Шея утонула в жирных складках, глаза оплыли и боязливо оглядывали каждого из нас. Он продолжал:

– Я стал кричать, и к нам подошел милиционер, вот он… – показал коротенькой ручкой на сержанта милиции. – Сержант проверил документы и сказал: «Он поэт». Хо! Поэт. И что же? Пушкин тоже был поэт, но он на людей не гавкал. И Мандельштам поэт, и Багрицкий, и Сельвинский, но кто же из вас слышал, чтобы они гавкали?

– Хорошо,– остановил я его красноречие. – Послушаем теперь сержанта. Расскажите нам, пожалуйста.

– А что я могу рассказать? Я не слышал и не видел, как ваш студент Стаховский… пугал этого товарища. Подошел к нему и стал спрашивать, а ваш товарищ, он такой важный и хорошо одет, достал из кармана книжку стихов, она с портретом, показал мне ее и говорит: «Я.не понимаю, что говорит этот господин киоскер?… Гавкать может собака, но я – извините: член Союза писателей СССР. И это даже странно, что вы, серьезный человек, а позволяете какому-то… субъекту обвинять меня, известного поэта, черт знает в чем».

Стаховский был высок, строен, одет в новенький костюм из

модной в то время шерстяной ткани «метро». Смотрел на нас с некоторым сочувствием и будто бы извинял нашу несерьезность и некомпетентность.

Я заговорил, пытаясь быть строгим:

– Не мог же ваш конфликт возникнуть на пустом месте.

– Да, конечно, между нами произошел диалог, но… вполне корректный. Товарищ высунул лысую голову, похожую на тыкву, из окна, и так сильно тянул шею, что мне показалось, он просит о помощи. Я остановился и сказал: «Что с вами?» Может быть, я сказал слишком громко, к тому же вы слышите, у меня бас; меня зовут в Елоховский собор на роль архидьякона – вы же слышите, мой голос звучит, как труба… И я, пожалуй, от вас уйду, там, по крайней мере, нет партийного бюро и меня никто не будет таскать по пустякам… М-да-а, ну, так о чем же мой рассказ нескладный?… Вы меня совсем запутали своими вопросами.

– Я вам задал всего лишь один вопрос.

– Да… Ну, так вот – я поспешил на помощь, а товарищ, который продает воду из Москва-реки, испугался. Стукнулся головой об оконную раму. И это вы называете конфликтом?…

– Он антисемит! – вдруг закричал киоскер. – У него на роже написано.

К нему шагнул Стаховский:

– Папаша, уймись, не позорь наших. Я Беня Стаховский! Слышишь ты, чесночная душа? Беня Стаховский – антисемит. Или ты не слышал такого имени – Беня? Да?… Или тебе водичка налила столько денег, что ты не знаешь, что с ними делать? Отдай их мне, и я отнесу в синагогу. Ты сколько лет не был в синагоге? Я завтра пойду к реби Рубинчику и скажу, что ты не хочешь нести ему шекель. А кто же ему будет нести шекель? Я, студент института, понесу ему жалкий грош. Что же ты молчишь? Я понесу, да?… Хорошо, я отнесу, но ты дай мне денег, и тогда я пойду…

Стаховский приблизился к киоскеру, навис над ним своим длинным могучим телом и страшно вращал глазами. Его нос с горбинкой стал вдруг горбатым, а лицо сморщилось так, что он походил на старого еврея. И его голос, и слова, и модуляция горловых звуков – все выдавало одесский акцент, ту характерную манеру говорить, которая была у каждого еврея, особенно старого. Мало кто знал, что умение Стаховского принимать облик еврея и говорить на одесский лад были главным его оружием. Он с этим своим искусством приходил в журналы, издательства, находил там влиятельного еврея и начинал с ним дружескую доверительную беседу. Тот признавал его за своего и начинал хлопоты за его интересы. Этим оружием Стаховский уж пробил в

журналах много подборок стихов, причем подавали их с его портретами, и напечатал четыре сборника – и тоже с портретами. Так, за три неполных года жизни в Москве он стал известным поэтом и имел за свои стихи немало денег, чем опроверг утверждение Маяковского, что «поэтам деньги не даются». И здесь он быстро обезоружил киоскера, и тот, извиняясь и кланяясь, стал подвигаться к двери. А когда вышел, Стаховский, кивнув на дверь, заметил:

– Я его пугнул раввином – вот что для них особенно страшно. Раввин найдет средство посчитаться с теми, кто не несет ему шекель.

Беседа наша продолжалась долго. Стаховский и над нами издевался, нас высмеивал – тонко, я бы даже сказал, изящно. И я делал вид, что иронии его не замечаю: понимал, что он действительно «гавкнул» – и так сильно, что бедный продавец до смерти испугался. Хорошо, что он при этом и совсем не окочурился, а то бы дело разбиралось не у нас в партбюро, а где-нибудь подальше.

Когда заседание кончилось и члены бюро разошлись, я попросил Стаховского задержаться. И тут заговорил с ним уже другим тоном:

– Вам не кажется, что избранный вами метод борьбы с евреями не принесет большой пользы нашему обществу?

– А у вас есть другой метод?

Я задумался. Поднялся из-за стола, подошел к окну. В институтском дворике, среди побагровевших деревьев, там и сям чернели стайки студентов, слушателей Высших литературных курсов, бойко пробегали с портфелями профессора, аспиранты. Я повернулся к Стаховскому, отвечал серьезно:

– Признаюсь вам, что я только здесь понял, что с еврейским засильем надо бороться. И что борьба эта будет длительной и серьезной.

– Ага, вы только здесь поняли, а я с пеленок слышу стон об этом их засилье. Отец-то у меня уж более двадцати лет как секретарь Одесского обкома. Одесского! – слышите? А там сам воздух и берег моря пропахли чесноком.

– Вас как зовут? – спросил я.

– По паспорту я Бенислав, но стихи подписываю Владислав.

– Вы поляк?

– Я русский! А это дурацкое имя дал мне отец. У него, видите ли, прадед был поляком, а я в наказание за такой генетический пассаж таскай это ненавистное имя и объясняйся с каждым любопытным, как вот теперь с вами. А скоро еще и по шапке будут давать за то, что я какой-то нерусский.

– Ну, это вы слишком! Мы по природе своей интернационалисты.

– Нас такими сделали два еврея – Маркс и Ленин.

Я посмотрел на дверь.

– Ну, а уж это, Бенислав… вам бы не следовало говорить. Особенно здесь, в партбюро.

– Теперь уж близится время, когда не говорить об этом, а кричать будут на всех перекрестках. И мне свое имя переменить поскорее надо. Надеюсь на вашу помощь. В милиции-то не очень торопятся удовлетворять такие просьбы. И правильно делают. Евреям потакать не желают, но я-то не еврей, хотя у меня и фамилия черт знает какая! Хочу Иваном стать. А фамилию возьму: Страхов. А? Ничего? Иван Страхов! Отец обидится, и мать тоже, но они прожили свою жизнь под защитой Марксовой сказки о братстве народов, а в окна нашему поколению стучится новая теория: та, что род славянский не убивать, а спасать будет.

Я опять посмотрел на дверь: не слышит ли кто? «Странный он парень, этот Стаховский! – думал я о своем собеседнике. – В семье такого важного партийного начальника воспитывался, а несет ахинею». Мне тогда еще казалось, что такие взгляды абсурдны и ни к чему хорошему не приведут. К тому же он еще и Ленина евреем называет. В этом, конечно, ничего особенного нет: я – русский, он поляк, ну, а Ленин мог быть евреем… Что же тут крамольного? Но, все-таки, зачем же Ленина-то евреем называть? Мы, русские, должны гордиться, что вождь всего трудового человечества – русский, а он говорит: еврей.

Не знал я тогда, что мать Ленина никакая не Мария, а Мариам, и фамилия ее девичья Бланк. Я не знал, а он об этом услышал, наверное, еще во младенчестве. Везет же мне на людей посвященных, знающих! Вот и еще один такой человек встретился на жизненном пути. Надо с ним сойтись поближе.

Закрыл я письменный стол на все ключи и, направляясь к выходу, дружески предложил:

– Давайте мы с вами договоримся, Бенислав: евреев вы больше пугать не будете. Пусть они спокойно торгуют водичкой. Ее в Москва-реке хватит.

– Не обещаю, – коротко отрезал Стаховский.

По скверику Тверского бульвара шли к Садовому кольцу. Он вдруг остановился и сказал:

– А хотите посмотреть, как живут студенты? Вам теперь знать надо.

– Пожалуй. А где они живут? У нас есть общежитие?

– Тут вот – недалеко. Шалманчик есть небольшой.

Неожиданно мы увидели Ольгу. Она подождала нас, и мы

пошли вместе.

– Пьют они там, – пояснила Ольга. – Хорошие поэты, но все время пьяные.

– А вы откуда знаете, мадам? – склонился над ней Стаховский.

– Была у них. Вчера шли мимо и меня зазвали.

– Опасная экспедиция, смею вам заметить. Такой прелестный ягненок забрел в гости к тиграм.

– Я ничего не боюсь. Позовут крокодилы – и к ним пойду.

Ольга говорила спокойно и без всякого стеснения, а мне подумалось: вот тебе и ангелочек божий. С ней еще хлопот наберемся. Мне стало жалко ее. И подумал я о дедушке, который привез ее из какой-то дальней страны и оставил одну в Москве. Он еще и квартиру отдельную для нее снял. И она уже как-то сказала мне: «Приглашаю вас в гости. Мне дедушка такую хорошую квартиру снял – прелесть». Я тогда промолчал, а она затем пояснила: «Дипломат какой-то поехал с семьей к нему в посольство, а мне квартиру сдал. На все время учебы». А я думал: «Вот раздолье девке. Как же она поведет себя в такой обстановке? Она ведь еще девчонка. Соблазнов-то сколько!»

Зашли в темный, сырой подъезд старого-старого дома, каких множество в маленьких переулках и забытых, обойденных цивилизацией улочках Москвы. На втором этаже остановились перед облезлой, изъеденной кем-то и изрезанной чем-то дубовой двустворчатой дверью. Позвонили. И долго-долго ждали. Наконец, дверь раскрылась и из коридора повалил запах горелой картошки и жженого лука. Пьяными глазами на нас уставился низкорослый краснолицый и совершенно лысый молодой человек. Он долго нас не видел, а рассматривал Ольгу и заплетающимся голосом сказал:

– Ты же вчера фыркнула и ушла. Впрочем, дала на бутылку. Ты и теперь дашь нам пятерку, да?

Вошли в комнату, похожую на ученический пенал. Вся мебель тут была расставлена у одной стены: кровать, диван, два совершенно облезлых кресла. В глубине комнаты светилось окно и у него стоял небольшой стол и три венских стула. От всего тут веяло стариной, – допотопной, почти доисторической.

– О-о-о! Кто к нам пришел?… Ольга! Ты на нас не обиделась? Вчера кто-то неизящно при тебе выразился.

Ольга, показывая на меня, сказала:

– Я привела к вам секретаря партийной организации. Пусть он посмотрит, как вы живете. И пусть скажет, можете ли вы в таком состоянии создавать русскую поэзию, продолжать дело Пушкина.

Низкорослый и краснолицый махнул рукой:

– Русская поэзия уже создана. Вот он ее соорудил. – Показал на портрет Пушкина. – А продолжать ее будут господа евреи. Нам Пастернак сказал: «Печатать будут тех из вас, кто нам понравится». Я спросил: «А кому это вам?» Он ткнул себя в грудь, повторил: «Нам». Вот и вся история. А я не хочу нравиться Пастернаку. Значит, и ходу мне не будет. А посему выпьем.

– Водка кончилась! – загудел привалившийся к углу дивана русоволосый есениноподобный парень. – Кончилась водка! – повторил он громче. И покачал кудлатой головой. – А чтобы я, как вчера, просить вот у нее деньги?… Ну, нет! Увольте! Я еще не всю мужскую гордость растерял.

И поманил рукой Ольгу.

– Оля, посидите со мной. Мне ничего в жизни больше не надо, только чтобы вы посидели рядом. А наш новый секретарь поймет меня и не осудит. Он ведь и сам студент. И это здорово, что в партийном бюро у нас будет заправлять наш брат, студиоз. Только вот понять я не могу, зачем он, такой бывалый и уже семейный человек, поступил к нам в институт. Ведь на писателей не учат. Писателем надо родиться. А я не уверен, что он родился писателем.

Ольга присела к нему на диван и с жалостью, с каким-то сострадательным сочувствием на него смотрела. Было видно, что она с ним встречалась раньше и его уважала. А он смотрел в потолок и чуть заметно вздрагивал всем телом, и морщил лицо, очевидно страдая от большой дозы спиртного. Я тоже знал его: это был студент третьего курса Дмитрий Блынский, как мне говорили, очень талантливый поэт. Кто-то даже сказал: «Будет второй Лермонтов». Я пододвинул к нему стул и сел у изголовья.

– А почему вы не уверены, что я родился писателем? А вот Ольга поверила.

– Ольга не знает теории вероятности, а я знаю. Поэты рождаются раз в десять лет. Один! Слышите? Только один экземпляр! Прозаики так же редки. И это у великого народа, да еще не замутненного алкоголем. Так неужели вы, трезвый человек, прошедший войну, забрали себе в голову, что вы и есть тот самый редкий экземпляр, который появляется на свет раз в десять лет?… Ну, вот Ольге я это прощаю, а вам – нет, не прошу.

Из дальнего угла раздался бас Стаховского:

– Митрий! Не блажи! Не морочь голову нашему секретарю; я с ним уже сошелся на узкой дорожке и могу свидетельствовать: он неплохой мужик. С ним мы поладим. А кроме того, ты не прав в корне. Давай уточним наши понятия: раз в десять лет родится большой поэт – это верно; раз в столетие могут появиться

Некрасов, Кольцов, Никитин; а раз в тысячелетие народ выродит Пушкина. Но есть еще легион литераторов – их может быть много,– сотня, другая, и они тоже нужны. Они дадут ту самую разнообразную пищу, которая называется духовной и которая сможет противостоять вареву сельвинских, светловых, багрицких. Вот он, наш секретарь, и будет бойцом того самого легиона. И я в этом легионе займу место на правом фланге. А вот ты из тех, кто рождается раз в десять лет, но из тебя и карликовый поэтишка не вылупится, потому как ты жрешь водку и сгинешь от нее под забором. И Ваня Харабаров – вон он уснул в кресле, он тоже сгинет, потому что пьет по-черному; и Коля Анциферов,– вон он таращит на нас глаза и не может понять, о чем мы говорим,– он тоже сгинет. Все вы слякоть, потому что пьете!

– Ну-ну! Потише! – возвысил голос Блынский. – Я ведь могу и обидеться.

– Пусть он говорит! – пролепетал Анциферов – низкорослый, широкоплечий и совершенно лысый парень. Он приехал из Донбасса, работал шахтером и, к удивлению всех, пишет стихи философского содержания и с тонким юмором. Он тоже очень талантлив, и в издательстве готовится к печати сборник его стихов. Недавно он получил за них аванс и сейчас его пропивает.

– Стаховский грубиян и нахал, но он говорит правду, и за это я его люблю. И если кто вздумает его тронуть, я его задушу вот этими…

Анциферов поднял над головой красные могучие руки рабочего человека. И еще сказал:

– И не вздумайте ругаться, как вчера! К нам пришла Ольга. Это наш ангел, светлое видение. Я сегодня, как только она вошла, отставил в сторону стакан и выбросил в форточку недопитую бутылку. Жалко, страсть, как жалко, а при Ольге пить не стану. И вообще… – если бы меня полюбило такое диво, бросил бы пить совсем. Вот те крест – бросил бы!

Взгляд своих пьяных покрасневших глаз он уставил на меня и долго смотрел, морща губы, словно пытался что-то выбросить изо рта.

– Так ты, секретарь, посмотреть на нас пришел? А ты скажи мне: зачем нам секретарь? Ты что, поможешь мне подборку стихов с моим портретом напечатать, вот как печатают Стаховского? Да у него и никакие не стихи, а их печатают. Почему их печатают? Да потому, что он Стаховский и зовут его Беня. Он, конечно, поляк, а они думают, что еврей. И печатают. И будут печатать, как Евтуха. Потому что Евтух-то тоже не Евтушенко, а Гангнус. И вот посмотришь: он тоже скоро будет великий поэт, как Багрицкий, Сельвинский, Долматовский…

Стихи у них так себе, плюнь и разотри, а газеты кричат: великий! А почему они так кричат? Да потому что в газете-то у него своячок сидит, такой же еврей, как и он. Вот что важно: евреем быть! Это как Ломоносов просил царицу, чтобы сделала его немцем. Вот где собака зарыта: русские мы, а русским в России хода нет. Так за что же ты бился там, на фронте, секретарь, лоб свой под пули подставлял?… Нам газеты нужны, журналы, а там – евреи. Сунул я свою круглую шлепоносую морду к одному, другому, а они шарахаются, точно от чумного. Они печатают Евтуха, Робота, Вознесенского. Да еще татарочку с еврейским душком Беллу Ахмадулину. А ты, говорят, ступай отселена, от тебя овчиной пахнет. А?… Что ты скажешь на это? Ты кого защищал там, на фронте? Их защищал? Ихнюю власть – да?… Эх, старик! Немцев утюжил бомбами, а того не понимал, что к Москве уж другой супостат подобрался. Этот почище немца будет, он живо с нас шкуру сдерет.

Анциферов замолчал и долго сидел, уронив голову на колени. Потом тихо пробурчал:

– А Ольгу не паси, оставь ее нам. Ты старый, тебе уж поди за тридцать, а она вон какая молодая.

И потянулся к Ольге:

– Ольга! Дай мне руку. Ну, дай!

Ольга подала ему руку, и он припал к ней щекой, долго не отпускал. Бубнил себе под нос:

– Не влюбляйся в женатого. Слышала песню? «Парней так много холостых…»

Ольга красивым звонким голосом пропела: «Парней так много холостых, а я люблю женатого».

– Ну и дура! – махнул рукой Анциферов. – Хотел посвятить тебе стихотворение, а теперь посвящу Юнне Мориц. Ты знаешь такую кочергу? Она вчера сказала на собрании: Пушкин устарел, его книги надо бросить в топку. Во, помело! Пушкина – в топку! И зачем я ехал к вам из своего Донбасса?… У нас тоже есть евреи, но они там смирные, не кусачие.

Было уже поздно, и я стал прощаться с ребятами. С тяжелым сердцем мы с Ольгой выходили от них. Я понял, что у поэтов и писателей, особенно у начинающих, есть еще враг не менее страшный, чем сионизм – это алкоголь. И как с ним бороться, я не знал.

Сейчас, когда я пишу эти строки, в конце второго тысячелетия, я пытаюсь в подробностях воскресить картины тех далеких студенческих лет, когда мы взошли на гребень двадцатого столетия и пытались разглядеть ход будущих событий, в мыслях своих строили планы свои собственные,

верили в могущество России и в то, что сила ее и величие преумножатся нашими трудами. И потому нам больно было видеть, как на наших глазах и по своей собственной воле или, лучше сказать, безволью гибли молодые люди, которым судьба определила стать пророками и духовными вождями своего народа. Гибли поэты.

Спустя сорок пять лет после тех событий я напишу книгу о пьянстве русских писателей «Унесенные водкой», и там есть страницы о судьбе моих товарищей по институту. Приведу выписку из этой моей книги:

«…Мои современники, друзья шли в литературу из глубин народа – дети рабочих и крестьян, нарождающийся после войны новый слой русской интеллигенции. У них перед глазами были кумиры: Есенин, Хемингуэй, который любил повторять: "Хорошие писатели – пьющие писатели, а пьющие писатели – хорошие писатели". Это была философия медленного самоубийства. Но для моих однокашников коварная философия сработала быстро. Дима Блынский – талантливейший из молодых поэтов, поехал в Мурманск, там спился и домой вернулся в цинковом гробу. Николай Анциферов – блещущий юмором, искрометный стихотворец – в ресторане выпил дозу, не смертельную для высоких и могучих телосложением его собутыльников, но для него, низкорослого и голодного, оказавшуюся роковой. Ваня Харабаров – тоже низкорослый паренек из Сибири, выпил около литра водки, уснул и больше не проснулся. Им всем троим было по двадцать пять – двадцать шесть лет. Тоненькие книжечки их стихов, как крылатые вестники рожденных народом талантов, остались нам в память и назидание о страшной и коварной силе алкоголя».

Долго я думал: написать эту книгу – о пьянстве русских писателей или оставить эту затею для другого более смелого автора. И все-таки решился. И многих друзей-товарищей потерял в одночасье. Валерий Николаевич Ганичев, председатель Союза писателей России, давний и хороший мой знакомый, как мне рассказали, по прочтении этой книги заметил: «Зря он взялся за эту тему». Другие осудили меня еще строже: дескать, бросил камень в собственный огород. Утешением служат мне письма читателей. Почти во всех письмах есть одобрительные слова: «Прочел вашу книгу и бросил пить». А мой старый товарищ великий русский бас Борис Штоколов сказал: «Я и раньше не увлекался спиртным, а теперь решил и вовсе не притрагиваться к рюмке».

Для автора нет большей награды, чем такие признания.

Глава шестая

Как-то тихо и незаметно закончили свою работу комиссии и покинули наш институт. Словно пожухлую листву, сдуло ветром еще вчера жужжащие, как шмели, стайки аспирантов и профессоров, посторонних писателей, литераторов и прочих нерусских жрецов русской литературы. Во вес время работы комиссий они толпились в коридорах, в приемной ректората, тревожно гудели в кабинетах Россельса, Исбаха, Борщаговского. Стоя у окна партбюро, я видел все новых людей; они, завидев во дворе студента, аспиранта или профессора, тотчас его окружали, и стайка нарастала, превращалась в стаю обеспокоенных судьбой института литераторов. Глядя на них, я вспоминал чей-то рассказ о Булгакове, который жил в доме, выходящем окнами на институтский скверик, и работал здесь же дворником. На нем был белый холщовый фартук, кирзовые сапоги и кожаный картуз на манер того, что носили московские кучера того времени. Однажды, завидев идущих по двору сразу пятерых приехавших из Одессы и уже ставших знаменитыми поэтов – Багрицкого, Сельвинского, Светлова, Долматовского, Александровского, Михаил Афанасьевич отставил в сторону метлу, снял шапку и, низко поклонившись, угодливо их приветствовал:

– Здра-а-вствуйте, господа русские писатели!

Такие вот стайки и стаи знаменитых и не очень знаменитых «русских» писателей клубились пчелиным роем в институте и вдруг – исчезли, словно растворились в предзимнем московском воздухе.

Перестал ходить в институт и секретарь партийной организации профессор Зарбабов. Его супруга Нина Николаевна мне позвонила:

– У Миши обострение, жмет сердце, – вы уж там как-нибудь без него.

Я ей сказал, что у нас все тихо, комиссии удалились и все остается по-старому. Она на это заметила:

– Нет, Иван Владимирович, буря только еще начинается. В горкоме партии готовится заседание бюро, на котором будут представители ЦК комсомола, Союза писателей и вашего райкома. Скоро вас позовут.

Зарбабов держал нос по ветру, он все знал и хитро уклонялся от участия в сваре.

Через два-три дня мне позвонили. Назвали день и час заседания бюро горкома с повесткой дня: «О положении в Литературном институте». Меня обязывали обеспечить явку

директора и его трех заместителей и четырех членов партбюро. Кроме меня, приглашались студент третьего курса Олесь Савицкий, профессор Шувалов и руководитель творческого семинара поэт Николай Соколов. С Савицким и Соколовым я успел хорошо познакомиться и даже дружески сойтись. Они при рассмотрении всех вопросов выступали умно, резко и бескомпромиссно. Шувалов был нашей противоположностью: он долгое время работал в Париже в советском посольстве, умел обволакивать словами любую проблему, – и так, что от проблемы уже ничего не оставалось, и мы решительно не понимали, что же нам делать. Его, очевидно, приглашали для уравновешивания нашей горячности и возможных излишних резкостей, которые в запальчивости мы по своей неопытности могли выплеснуть. Я был рад, что именно такой квартет будет представлять нашу партийную организацию.

В приемной горкома всех усадили у стены на стульях. Кроме нас, тут было и еще человек сорок, из чего мы поняли, что в повестке дня будет не один только Литературный институт, а и много других вопросов. Я подумал: «Наше дело решат быстро. Церемониться не станут».

В раскрытую дверь зала заседаний непрерывным потоком шли и шли важные дяди и тети. На нас они не глядели, мы для них ничего не значили.

Я впервые был в горкоме партии, да еще в столичном – нравов партийных верхов не знал, но всеми клетками чувствовал какую-то особую важность и торжественность. Здесь в одну минуту могла решиться судьба человека: утвердят или не утвердят директора завода, исключат из партии, снимут с должности или назначат на высокий пост. Партия управляла всем, выше партии не было ничего и никого.

Дверь закрылась, а я, как старший своей делегации, подошел к секретарше, тихонько спросил:

– Нас вызовут?

Она ответила с некоторым раздражением:

– Да, конечно. Кого надо, того и позовут.

Я сел рядом с директором Виталием Алексеевичем Озеровым. Он был расстроен, – видно, ничего хорошего от горкома не ждал. Рядом с ним рядком сидели его замы; эти и вовсе были растеряны. Я же делал вид, что тревоги их не замечал, рассказывал директору какой-то эпизод из студенческой жизни.

Озеров хотя и был взволнован, но держался бодро, он был прям, широкоплеч, возраст его не определишь, но курчавая голова поседела, в глазах угадывалась усталость и тревога.

Из-за спины директора ко мне тянет всклокоченную голову со

шрамом на лбу Исбах Александр Абрамович, первый заместитель директора. Он что-то чмокает красными толстыми губами, из мокрого рта со свистом и шипением вылетают слова, которых я не могу разобрать. Слышу только фамилию Мирнов – это второй секретарь Союза писателей СССР, его тоже пригласили на бюро, но в приемной его нет, и Исбах этим обеспокоен. Очевидно, он и его дружки, хилый сутулый Россельс и рыжий мясистый Борщаговский, надеются на Мирнова, и я оглядываю приемную, но, как и Исбах, не нахожу его. Пожимаю плечами, а Исбах вдруг отчетливо и неуместно громко проговорил:

– Василий Александрович обещал, он обещал…

Озеров толкнул Исбаха локтем, и тот водворился на свое место, а я никак не мог уразуметь, что обещал им секретарь Союза писателей.

Я уже знал всю подноготную своего начальства из Союза писателей: кто их назначил и почему они взлетели на командную вышку советской литературы. О первом секретаре Союза Суркове Алексее Александровиче говорили: у него жена еврейка, Софья Кревс – она несет его как на крыльях, от нее и слава поэта, и гонорары, и должности. Мирнов?… Это слабенький писатель из Орла или Воронежа, он долго болел, жил в деревне и лежал на печке, писал свои воспоминания о детских годах «Открытие мира». И к нему случайно залетел то ли Симонов, то ли Долматовский, то ли сам реби всех писателей-евреев Пастернак… Полистал рукопись и сказал:

– Мы напечатаем ее большим тиражом, дадим тебе хороший гонорар и назначим вторым секретарем Союза писателей… Ты хочешь этого?…

– Да, конечно, я этого очень хочу.

Книгу «Открытие мира» напечатали, автора подлечили и посадили в кресло второго человека в руководстве писателями.

Вот на него-то и надеялись «три мушкетера» из нашего ректората.

Но Мирнов уже был там, на заседании бюро. Там же был и второй секретарь ЦК ВЛКСМ мой знакомец Николай Николаевич Месяцев.

Но вот секретарша, подняв на меня глаза, тихо проговорила:

– Дроздова приглашают.

Я вошел. И в мою сторону словно по команде повернули головы все члены бюро, сидевшие за П-образным столом. Их было человек семьдесят: директора крупных столичных заводов, рабочие, академики, ректоры институтов. Во главе стола сидел первый секретарь горкома партии Егорычев. Он казался маленьким, похожим на подростка.

Прямые волосы лежали двумя рядами, образуя посредине белую полоску. Вид у него был славянский, лицо строгое. Заговорил громко и, как мне казалось, был уже заранее нами недоволен:

– Дроздов! Подойдите вот сюда, – указал мне место недалеко от себя и так, чтобы меня все видели. – Будете отвечать на вопросы. Постарайтесь говорить коротко, у нас на ваш институт отведено тридцать минут. Вот секретарь Союза писателей Мирнов… – он показал на старого сгорбленного человека, стоявшего по другую сторону стола, – он вас, всех членов партийного бюро, называет бузотерами. Что вы на это скажете?

– Это его право, – отчеканил я громко и каким-то металлическим, не своим голосом. И подумал: «Говори спокойно. Слова подбирай помягче». Однако слышал, как гулко стучит сердце, и ничего не мог поделать со своим волнением. Еще подумал: «Я теперь понимаю, почему Зарбабов уклоняется от партийной работы».

– Резонно, – согласился Егорычев. – Хотя и не очень понятно. А теперь скажите: по какому принципу комплектуются студенты, много ли среди вас русских?

– За весь институт сказать ничего не могу, но наш первый курс… когда случился эпизод с профессором Водолагиным, разделился на две части: двадцать три человека против профессора и только семеро выступили на его защиту. Не знаю, кто по национальности эти двадцать три человека, но все они молятся на Пастернака, ненавидят классиков русской литературы и хвалят все американское. Из четырнадцати студентов, набранных на отделение переводчиков, все четырнадцать – евреи.

– А это откуда известно?

– Они сами говорят. Наконец, фамилии: Дектор, Лившиц, Розенблат…

– А если они все талантливы?… Вот их и притащил из прибалтийских республик Россельс!

– Может быть!

– Не может такого быть! – вскинулся Егорычев. – Что вы соглашаетесь с точкой зрения расистов?… Этак мы в России и всю власть скоро декторам отдадим! Драться надо с такими наглецами, как Россельс, и всеми вашими руководителями… В том числе и главарями Союза писателей!…

Он гневно посмотрел на Мирнова и продолжал:

– У одного из них ночная кукушка из лекторов, другого за гонорар и за большой тираж глупой книги купили…

– Я попрошу!… – вскричал Мирнов.

– Нет, это я буду вас просить удалиться к себе в деревню,

иначе выгоним из партии, как злостного предателя ее интересов… Вертухаев расплодили в Москве, шабес-гои, масоны и сионисты!… Залезли во все щели, подмяли газеты, журналы, – всю культуру!…

Он поднялся и стал в волнении ходить возле стола. Поднимал над головой кулаки, и говорил, говорил… Но что он говорил, я не разбирал.

Мирнов вдруг ойкнул, схватился за сердце, захрипел:

– Я этого не прощу, я участник Гражданской войны, у меня орден…

И он стал валиться на спины сидящих возле него членов бюро. Двое подхватили его, понесли к двери. Кто-то тянул руку:

– Таблетка нитроглицерина. Суньте под язык.

Секретарь кивнул сидящему с ним рядом молодому человеку, очевидно референту:

– Срочно организуйте врача. А то еще окочурится…

Оглядел всех нас, представителей, института. И обратился к сидящим за столом:

– Думаю, с институтом все ясно. А?… Как вы считаете?…

Раздались голоса:

– До какого безобразия все дошло!…

– Надо гнать к чертовой матери!…

– Сейчас же принять решение! А насчет секретарей Союза писателей доложить свое мнение в Политбюро. Куда там смотрят Фурцева, Поспелов… Им поручена идеология.

– Что вы хотите от Фурцевой? Она замуж вышла… за Фирюбина. А Фирюбин, заместитель министра иностранных дел… сами знаете: он еще почище будет Россельса и ему подобных.

– Но Поспелов?…

Кто-то проговорил тихо, на ухо сидящему рядом:

– Матушка-то у него… Да он с пеной у рта защищает этих самых… Россельсов.

Сидевший возле меня полный и седой мужчина наклонился к соседу и совсем тихо проговорил:

– Суслов там… серый кардинал сидит. От него все идет.

Сосед ему ответил:

– Да и сам Никита Сергеевич Хрущев… Первородная-то фамилия у него Перелмутр. Сионистская гидра во все щели заползла. С ней и Сталин не совладал.

Егорычев, обращаясь к нам, институтским, сказал:

– Прошу запомнить: если и впредь позволите нарушать принципы национальной политики – спросим строго. А сейчас вы свободны. Нам все ясно.

Оглушенный, выходил я из горкома партии. С товарищами не говорил. Они шли, опустив головы, и тоже молчали. Я между тем думал: «Но если он, Егорычев, и эти, сидящие за столом, допустили такое… Что же нас ожидает?…»

Забегая вперед, замечу: скоро состоится Пленум ЦК партии или очередной съезд, на нем с резкой критикой Хрущева выступил Егорычев, и тут же был снят с поста секретаря Московского горкома партии. Один за другим «ушли» со своих постов первый секретарь ЦК комсомола Павлов и Месяцев. На их места приходили «серые мыши», которых никто не знал, но которые национальную политику партии понимали примерно так же, как понимали ее директор нашего института и три его заместителя.

Впрочем, трех заместителей Егорычев все-таки успел вымести из нашего института, а несколько позже убрали и Озерова. На его место поставили Ивана Николаевича Серегина – человека русского, порядочного, инвалида Великой Отечественной войны. Приличные люди пришли и на место трех «лихих мушкетеров».

С тех пор в институте начались благие перемены. Приемную комиссию составили из русских; они стали принимать студентов по справедливости: учитывались способности и соблюдался баланс по национальностям. Я перешел на третий курс, когда случилось особо важное событие в студенческой жизни: нам разрешили издавать печатный журнал. Меня вызвала секретарь ЦК партии по идеологии Екатерина Алексеевна Фурцева.

Кабинет у нее был небольшой, строгим квадратом. Под портретом Ленина стоял старинный стол, и за ним сидела она – женщина среднего роста с красивой головкой и прической, в черном жакете, поверх которого сиял кружевной воротник белой кофты. Она не поднялась при моем появлении, смотрела на меня выразительными серо-зелеными глазами и легким движением руки показала на стул. Между нами произошел такой разговор:

– Сбылась давняя мечта студентов, мы приняли решение ЦК об издании журнала при Литературном институте. Он будет так и называться: «Журнал молодых». Вас мы решили назначить редактором.

Я повел плечом и головой, что означало: если решили, я возражать не стану. Екатерина Алексеевна вдруг заговорила строже, в ее голосе я уже слышал жесткость и какую-то дозу недовольства:

– Вы не возражаете, но мне известно, что вы никогда не работали редактором.

– Да, я редактором не работал, но я доволен тем, что редактором назначаете студента. Если назначите другого

студента – я возражать не стану.

– Но почему должны возражать? Вы студент.

– Да, студент, но я еще и исполняю роль секретаря партийной организации.

– Ах, да – извините. Я совсем забыла. Но перейдем к делу: прошу вас отнестись с большой осторожностью к формированию редакции. Вы, очевидно, уж поняли атмосферу, царящую в писательском мире. Там, видите ли, доминирует народ одной небольшой национальности. Они будут следить и при малейшем вашем усилии потеснить их истерично завизжат.

Лукаво сощурила свои прекрасные глаза, ждала моей реакции. И она последовала в следующих моих рискованных словах:

– Екатерина Алексеевна! Я попал к вам по какой-то редкой счастливой случайности; и наверняка другого подобного случая у меня не будет. Позволю задать вам вопрос: почему в стране, где живет восемьдесят два процента русских, писательская организация сформирована из… этих… лиц небольшой национальности? Известно ли вам, что их в писательском справочнике больше семидесяти процентов?

Влажные блестящие глаза русской красавицы потемнели – стали еще прекраснее. Невольно мне в голову влетела мысль: а этот безобразный лысый толстяк, который носит русскую фамилию, но на самом деле Перелмутр, – он, будучи секретарем Московского горкома партии, где-то увидел эту чудную, изящную женщину и сделал ее вначале секретарем райкома партии, а затем вытащил и на самый верх партийной иерархии… Понимает толк в женской красоте. Мысль промелькнула мгновенно и завершилась выводом: однако и умна она, и тактична. И вот… русского парня решила сделать редактором.

А она заговорила тихо, доверительно:

– Да, так у нас вышло. А уж как это произошло, сказать вам не могу. Говорят, это пошло еще от Горького. Он к этой самой небольшой национальности благоволил и на все командные посты в литературе ставил только их. Вы, наверное, знаете первых главарей: Лилевич, Авербах… Оттуда все пошло.

Фурцева помолчала, а затем, блеснув молодыми глазами, заговорила:

– Вопрос такой будто бы задавал Сталину Фадеев. А наш папа, поправив ус и раскуривая трубку, сказал:

– Вам придется работать с этими писателями. Других писателей у меня для вас нет.

– Я слышал эту присказку, – правда, в другом варианте. Сталин будто бы говорил о настоящих писателях.

– Да, это так. Членов Союза писателей у нас много, а таких, которые бы книги писали, – таких мало. Ну, так вот: прошу быть дипломатичным и тактичным при подборе сотрудников в редакцию.

Я поднялся, поблагодарил за доверие и советы. Выходил из ЦК в самом радужном настроении. Фурцева произвела на меня хорошее впечатление, но главное: я – редактор журнала! Это походило на сказку или самый сладостный романтический сон.

К месту будет рассказать о дальнейшей судьбе Фурцевой. Пройдет несколько лет, Хрущева в Кремле заменит Леонид Брежнев – близкий приятель, не удержавшийся от соблазна дать пинка своему шефу и благодетелю, человек столь же бесцветный и малограмотный, лишенный и малых признаков русского самосознания. Екатерину Алексеевну переместят на должность министра культуры. Здесь она будто бы сохраняла свою первородно славянскую суть, как могла сдерживала напор разрушительных сил «небольшой национальности», но муженек Фирюбин все больше корежил ее русскую душу и, как мне рассказывали Александр Огнивцев и Константин Иванов, мои близкие товарищи, все чаще «отбрасывала коленца», непредсказуемые и трудно объяснимые с точки зрения русских национальных интересов.

Это она вдруг санкционировала смещение Иванова с поста главного дирижера Большого симфонического оркестра СССР, бывшего на протяжении десятилетий славой и гордостью русской музыки и культуры, она же создала в Большом оперном театре обстановку, невыносимую для великого певца Огнивцева… И много других «черных» дел потянулось за нею, – видимо, работал у нее под боком иудей Фирюбин. Впрочем, и не совсем еще она сдавалась. И в результате сыпалась на нее критика справа и слева, а с критикой выплескивалась и клевета. Помнится мне, все чаще и все горячее закипали толки и кривотолки вокруг ее личности, пошла гулять по свету весть или клевета о какой-то сверхроскошной даче… А однажды влетела нам в уши и весть черная: будто залегла она в ванну, вскрыла вену и – тихо умерла.

Ничто не берусь отстаивать и защищать: материалы следствия по ее делу, конечно, лежат в архивах, но я здесь свидетельствую о том, что слышали мы, ее современники, что думали и переживали, наблюдая взлет на вершину власти этой незаурядной русской женщины, а затем драму ломки ее мировоззрения, а уж потом и трагедию ее конца. И пусть простят меня мои соотечественники за то, что мой рассказ не всегда совпадает с официальной версией, но если есть тут что-то от легенды и устного фольклора, но ведь и то верно: легенда

зачастую бывает правдивее самых правдивых жизненных ситуаций. Недаром же Пушкин восклицал: «Над вымыслом слезами обольюсь!» Легенда не только несет нам сюжет истории, но еще и душу исторических фактов, чувственную и нравственную окраску судеб людей, живших в одно и то же с нами время.

Итак, я редактор журнала! Печатного, толстого, литературно-художественного! Да уж правда ли это, а может, всего лишь фантастически смелый, химерический сон?… Мне хочется выйти на улицу и кричать об этом, кричать. Великий Александр Герцен, родившийся в той же комнате, где размещается наше партийное бюро и где я имею честь часы и дни проводить вот уже третий год, в моем возрасте вынужден был скитаться в ссылке и жить в холодном номере владимирской гостиницы; Михаил Булгаков, еще более великий писатель, жил в том же доме, где будет наша редакция, и работал дворником; Марина Цветаева, ярчайшая из русских поэтесс, мыла туалеты в Центральном доме литераторов; Блока заморили голодом, Горького отравили, Маяковский и Есенин мыкались по Москве в поисках жилого угла, а затем одного за другим их отправили на тот свет… Да можно ли сосчитать страдания и муки русских литераторов! А тут… на тебе – редактор!… Нет, нет – не может быть такого наяву! Какой-то механизм испортился у наших недругов, что-то они недоглядели.

Потом-то я пойму: они хотя и привели на место Сталина своего человека, но на все-то командные кресла своих не посадили. Срабатывал синдром недостаточности, нехватки сатанинских кадров – наконец, спасительный эффект огромности нашей страны, могущества народа русского; тот самый эффект, который в начале двадцатых годов остроумно подметил отец писателя Куприна, приехавший в Париж и сказавший репортерам: для установления советской власти на всю Россию жидов не хватает.

Вот и тут: сидела еще в ЦК партии русская женщина и, как бы ее ни крутил и ни вертел муженек Фирюбин, русский дух в ней тогда еще оставался. Русский дух меня и вынес на кресло редактора – вот в чем была причина.

Велика была моя радость, но я делал вид, что ничего не случилось. Даже Надежде своей открыл эту новость не сразу. А лишь через несколько дней, чтобы объяснить мои частые задержки в институте, во время прогулки сказал:

– Нам разрешили выпускать свой институтский журнал. Могу похвастать: меня назначили редактором.

– О-о! Приятная новость. И деньги будешь получать?

– Насчет денег не знаю – будто бы положили какую-то

зарплату. И на сотрудников выделяют три тысячи рублей в месяц.

Проницательная Надежда, подумав, заметила:

– Трудно тебе будет: в партбюро работаешь, и теперь вот в журнале, а еще и учиться на отлично хочешь. Боюсь, не сдюжишь. Отказался бы от чего-нибудь. А?…

На том наш разговор о журнале закончился. Были в гостях у Михаила. И там мы снова увиделись с его друзьями. Тот генерал, которому я помог устроиться в академию, встретил меня как родного. Я и с ним хотел поделиться своей радостью, да удержался.

Помещение нам отвели в двухэтажном особняке, примыкавшем справа к институту. Раньше это была людская, то есть дом для прислуги богача и аристократа Яковлева, дяди Александра Ивановича Герцена. На дверях комнаты, соседней с моим кабинетом, я повесил объявление: «Производится набор сотрудников журнала». И предложил старшекурснику Владимиру Титаренко, моему заместителю, ведать кадрами. Он раньше редактировал рукописный журнал с тем же названием, знал студентов и со многими из них уже работал, – он охотно взялся за трудное поручение. В первый же день во все пять комнат редакции, как сельдей, набилось народу. Казалось, весь институт пожелал работать в редакции. А я уже назначил заведующих отделами. На прозу мы поставили члена партийного бюро украинца Вячеслава Марченко, на поэзию – Анциферова, на критику – Сергованцева. Важное место ответственного секретаря предложил Якову Райхману. Отдел оформления предложил Файбергу. Взял и еще несколько евреев, предпочтение отдавал обладателям первородных фамилий. Создавалось впечатление, что у нас их много.

Институт бурлил, как растревоженный дымарем пчелиный улей. У меня без умолку трещал телефон: важные лица пытались устроить то своего человечка, а то и рукопись. Я вежливо, но настойчиво отвечал:

– Мест у нас тридцать, а в институте студентов двести пятьдесят. И каждый хочет работать в журнале. Впрочем, обещал подумать, посмотреть.

Расклад по национальностям получился примерно такой: двадцать русских, пять националов и пять евреев.

Ко мне пришел студент-заочник Петя Курков. Это был командир эскадрильи штурмовиков, служивший в полку, где был легендарный герой-североморец Сафонов. Он был в отставке, но продолжал носить форму подполковника со множеством орденов и медалей. Лет ему было далеко за сорок, но студенты любовно называли его Петей. Его одного приняли в институт в таком

почтенном возрасте, и все знали строки его стихотворения: «Он задержался, он ли виноват?…» Вечный балагур и пересмешник Сергованцев и встречал Куркова и провожал, напевая эту строку. Курков не обижался. Петр мне говорил:

– Надо будет выбивать бумагу, типографию – пусть они мне откажут!

И еще сказал, что зарплаты ему не надо, у него хорошая пенсия.

Зарплата была больным местом. В Союзе писателей положили так: мне платить двести рублей в месяц, а сотрудникам по сто.

Было много студентов, которым не помогали родители; таких мы старались брать в редакцию в первую очередь. Именно по этой причине я пригласил на должность технического секретаря Нонну Болдину, яркую шумную поэтессу, любившую всем и каждому читать свои стихи. С ней в первые же три-четыре дня произошел приятный для нее и для меня казус: к ней подошла Оля и сказала:

– Вставай, я буду сидеть на твоем месте.

– А я?

– А ты пойдешь в отдел поэзии. Там тебе интереснее.

– Но зарплата? Я же тут буду получать сто рублей.

– Зарплата твоя останется. Я буду работать бесплатно.

Я этого диалога не слышал, а только вдруг ко мне перестали идти посетители. И когда кабинет совсем опустел, я вышел в приемную и увидел на месте Нонны Каримову.

– Ольга! Как ты сюда попала?

– Я прогнала Нонну в отдел поэзии. Она не может работать секретарем; всех к тебе пропускает. А я все вопросы стараюсь решать сама, а если не могу, отсылаю посетителя в отдел. Ты должен иметь свободное время, иначе они тебя заездят.

– Да, но зарплата? У меня нет свободной ставки.

– Не беда. Я буду работать бесплатно.

Я не стал возражать. И это оказалось для меня спасительной операцией: Ольга со своей обаятельной внешностью, со звонким певучим голосом, – культурная, тактичная и вместе с тем строгая, властная, – выполняла роль диспетчера, и я почувствовал себя почти совершенно свободным. Времени же мне, ох, как не хватало. Некоторым преподавателям не нравилось, что я забрал такую власть в институте, и они стали ко мне придираться. Не однажды завернул меня при сдаче квартального экзамена профессор Поспелов Геннадий Николаевич. Он был автором учебника по теории литературы, а кроме того, родным братом секретаря ЦК Петра Николаевича Поспелова, – его в институте боялись, с ним не спорили. Я всегда у него получал пятерки, но

на этот раз он меня забрасывал вопросами и, наконец, сказал:

– Могу поставить вам тройку.

Я взял со стола зачетную книжку:

– Если позволите, приду пересдавать.

Профессор ничего не сказал и вышел из аудитории. Я через неделю снова к нему пришел. И ответил на все вопросы; его учебник выучил назубок, а кроме того, прочел дополнительно много книг по теории литературы. Но и на этот раз он сказал:

– Материал вы подучили, но знаете его плохо.

Я снова взял зачетную книжку:

– Когда можно пересдать предмет?

– А я что – кроме как выслушивать ваш жалкий лепет, не имею других занятий?

Профессор почти прокричал эти слова. Я же стоял молча.

– Сдавайте директору института! Вы же тут забрали такую власть!… С другими бы поделились!

Голос его дрожал, лицо покрылось пятнами:

– Фриду Вигдорову, опытную писательницу, – женщину, наконец! – выставили за дверь.

Я оборонялся, чеканил слова:

– Фрида Вигдорова предложила в журнал повесть, но мы ее читать не стали.

– Вот именно! Даже читать не стали!

– Да, не стали потому, что журнал создан для печатания произведений студентов, а Фрида Вигдорова никакого отношения к институту не имеет.

– Хорошо, хорошо. У нас тут не редакционное совещание. Больше тройки я не могу вам поставить.

– Мне тройка не нужна. Позвольте пересдать?

Профессор уставился на меня темными, как ночь, глазами; из них, казалось, сыплются искры.

– Через неделю придете!

– Благодарю, – сказал я.

Через неделю он задал мне один-единственный вопрос и поставил пятерку. Больше он ко мне не придирался. И едва я начинал отвечать, резким движением подвигал к себе зачетку, ставил пятерку. Я благодарил и отходил. Однако злость свою он на мне все-таки выместил: не дал закончить институт с отличием: на госэкзаменах поставил четверку.

Младший его братишка, сидевший в ЦК, тоже не дремал: нам вредили где только можно. Давали такие типографии, где был «завал рукописей», и наш журнал задерживали с выпуском.

Бедный Курков метался по кабинетам, пока я не позвонил полковнику Соболеву, бывшему своему начальнику в

«Сталинском соколе». Он теперь работал директором типографии Академии имени Жуковского и за небольшую плату взялся печатать наш журнал.

Не стихала молва о «смертельной обиде», нанесенной нами Фриде Вигдоровой. И всюду, где были ее соплеменники, нам ставили палки в колеса.

Для меня наступил период большого морального и физического напряжения. Зарбабов теперь чаще сидел в партбюро, но и дела партийные от меня не отступали. Мне, как и другим студентам, была предоставлена комната на даче в Переделкино, и однажды ночью меня разбудил стук в окно. Я растворил ставни и увидел Ольгу.

– Оля? Тебе чего?

– Надо выручать Стаховского. Попал в милицию.

– За что же?…

По дороге рассказала об очередном «художестве» этого неуемного человека. Он продолжал войну с евреями; своими средствами – нелепыми, ребяческими, но – воевал. В поселке Переделкино, где жили писатели, находился и Дом творчества. Здесь отдыхали и «творили» ветхие старики и старушки, тетушки и дядюшки, близкие и совсем неблизкие родственники именитых писателей – все больше евреи. Студенты знали, что условия для них созданы царские, кормят их из ложечки, дают паюсную икру и жидкий шоколад, столы ломятся от заморских вин и фруктов, зимой и летом подают виноград и ананасы… Вечерами перед сном они выходят на балкон второго этажа и смотрят на пруд, на домики, в которых живут студенты. Стаховский однажды разговорился со старушкой, выдал себя за польского еврея и по секрету сообщил, что случайно слышал, как техник-смотритель зданий говорил о ветхости балкона, о том, что он может «рухнуть», если вас на нем окажется много.

Старушка рассказала другим об опасности, и некоторое время отдыхающие на балкон не выходили. Но потом там снова стали появляться люди, и тогда Стаховский придумал другую «операцию». Взял у студента старую саблю, привезенную с Дона, и пообещал наточить ее «до блеска». А перед самым балконом Дома творчества лежал плоский камень, на котором Стаховский вечерами и точил саблю. Обитатели балкона вначале ничего не понимали, а потом какой-то старик подошел к нему и спросил:

– Ты чего точишь?

Стаховский повертел саблю в руках, ответил:

– А так… железяку.

– Но зачем же ее точить?

– А так… ради удовольствия.

– Но какая же это железяка, если это сабля, боевое оружие.

Стаховский снова вертел перед носом «железяку-саблю» и потом сказал:

– Да, это сабля, но не боевое оружие, а музейный экспонат.

Вот наточу и сдам ее в музей.

Старик сказал, что отдыхающие не хотят смотреть на то, как он тут каждый вечер точит ее у них под носом: ширк-ширк.

– Да почему же?

– Не делай из нас идиотов! Кому же понравится?… Человек вышел подышать воздухом, а ты скоблишь эту железяку? А она и не железяка вовсе, а кинжал, которым потрошат животы. Ты что – не понимаешь?

Диалог ни к чему не привел, и в следующий раз к Стаховскому подошло много стариков и старух. Они тревожно галдели, возмущались, – говорили, что он отравляет им отдых. А он возьми, да скажи им:

– От каких же таких трудов вы отдыхаете тут? В шахте что ли уголек добывали или «Войну и мир» писали? Да вы и ручку в руках держать не умеете.

Ну, тут такое началось! Сам Аркадий Райкин к ним на помощь прибежал, дочь Корнея Чуковского прискочила. С кулаками на него лезут. А он как поднимет свою саблю да как гикнет по-казацки и ну размахивать, будто головы врагам сечет. В минуту все разбежались. И позвонили в милицию.

Был поздний вечер, когда мы зашли в милицейский пост. И застали тут картину более чем идиллическую: на месте дежурного сидел наш Стаховский, а возле него стояли три милиционера. Поэт писал автографы на вышедшем недавно сборнике его стихов и торжественно вручал каждому подарок. Поначалу на нас не обратили внимания; стражи порядка пожимали руку Стаховскому, сердечно его благодарили. На столе мирно лежала сабля. Наконец, заметили и нас, дежурный ко мне обратился:

– Вам кого, товарищ?

– Нам сказали, что вы забрали нашего студента.

Два милиционера ретировались в открытую дверь другой комнаты, а дежурный – это был сержант милиции – сел на свое место, сделал строгое лицо:

– Да, но мы решили протокол не писать. Не находим состава преступления, однако будем просить не беспокоить больше отдыхающих.

– Хорошо, мы примем свои меры, а теперь, если позволите, возьмем с собой студента.

– Да, да, мы с ним обо всем договорились.

Была ночь, мы шли по темной тополиной аллее.

– Вы свои художества продолжаете, – заговорил я, пытаясь быть строгим.

– Продолжаю, но вы зря беспокоитесь. С милицией я и сам справляюсь.

– А если дело дойдет до суда?

– Не дойдет. Я знаю грань между действием и преступлением.

Он вдруг остановился, схватил меня за руку:

– Вас искал Шишов. Он хочет отдать вам свой портфель.

– Портфель? Но зачем?

– Он какой-то странный! Глаза бешеные, голос дрожит – что-то с ним творится? Ходит по платформе, пропускает поезда и все время смотрит на рельсы. Уж не хочет ли кинуться на них, как Анна Каренина?

– А где он сейчас?

– А там, на платформе.

– Пойдемте туда! – решительно сказал я и свернул на тропинку, ведущую к станции. Еще издали увидели на платформе одинокого человека – это был Шишов. Неспешным шагом он прохаживался то в одну сторону, то в другую. Портфеля с ним не было. Приблизившись к нему, я спросил:

– Где твой портфель?

– А вон, – показал он на обломанный сук дерева, на котором висел его знаменитый обшарпанный черный портфель. Мы, его однокурсники, знали, что в нем Шишов носит свои три пьесы, которые он предлагал режиссерам едва ли не всех столичных театров. Я читал все его пьесы и находил их необыкновенно талантливыми. Удивлялся, почему же они до сих пор не заинтересовали ни одного режиссера. В них так много было жизни, так остро ставились проблемы – и, главное, рельефно вылеплены образы людей…

Рядом с нашим институтом расположен прекрасный столичный театр имени Вахтангова. Я как-то сказал Шишову:

– Пойдем к Рубену Симонову, главному режиссеру театра.

– Я был у него.

– И что же?

– Не стал читать. Сослался на занятость.

– Пойдем! Я скажу ему, что у тебя за пьесы.

Шишов посмотрел на меня внимательно, с грустью проговорил:

– Старик, я тебе завидую: ты еще веришь, что наши с тобой письмена кому-нибудь нужны. Я уже не верю. Я обошел десять театров: шесть в Москве и четыре в Ленинграде – и представь: нигде нет русского режиссера. А в моих-то пьесах русский дух,

русские характеры – да они от всего этого как черти от ладана шарахаются. В одном театре, когда я вышел от режиссера, за мной увязался какой-то артист и по дороге рассказал, какие пьесы ищет их режиссер. Во-первых, нужен разврат, развод, семейный скандал и полдюжины мерзавцев. Вот этого народа – мерзавцев, как можно больше. И чтоб они, негодяи разные, непременно русскими были. В твоей пьесе есть такой товар?… Нет?… В том-то и дело, братец, что нет. И не будет никогда, потому что ты русский и у тебя нет желания месить в грязи своих соплеменников. А потому он и не ждет от тебя нужной ему пьесы. Ты не успел дверь его кабинета открыть, а он уж видит: есть для него пахучий материал или нет. Мы с тобой интернационалисты, мы человеку верим, а он – на лицо смотрит. И представь: судит безошибочно. Марксов-то интернационализм для идиотов писан, а ему свое родное любезное обличье подавай. Он все на роже нашей читает, и рожа эта если и нужна, то только на сцене для изображения характерных русских лиц. А уж что до автора пьесы – тут ему своячка подавай. И это не что-нибудь, а политика верха. Родная коммунистическая партия этого хочет. Потому по всей матушке России, а там и дальше – во всех театрах братских республик режиссерами одни евреи поставлены. И спектакли они дают только своих драматургов: Симонов, Арбузов, Розов, Мариенгоф… Ну, а мы с тобой носом не вышли. Потому меня они из театра наладили. Так-то, братец! Думать надо больше, думать.

– Ну, а режиссер Симонов?

– Ты бы посмотрел на его физиономию…

Невеселая это была беседа. Вспомнил я свой визит в «Новый мир», там мне однофамилец мой примерно то же говорил.

Вот и таскал в старом клеенчатом портфеле три своих пьесы бывший офицер Балтийского флота Шишов Василий Васильевич.

Ну, а здесь, на платформе…

Заглянул я в глаза Василию, а в них языки пламени мечутся, он вот-вот сейчас кусаться станет.

– Чего ходишь тут, кого ждешь?

– Мне ехать надо. Ехать, Иван.

– Куда?

– А вот куда?… Если бы я знал, куда мне надо ехать… Отпустил бы ты меня домой, в деревню – там мать у меня, старушка, крышу дома надо поправить.

– Деревня и у меня есть, да только литературу русскую кто же делать будет? Не Рубену же Симонову все отдадим?

– Опоздал ты, Иван, задержался там, на фронте, и опоздал малость. Литература уж отдана рубенам, нам тут места не осталось. У тебя жилье в Москве есть, ты еще пообивай пороги

издательств, а я уж сыт. Вот сейчас подойдет поезд, и – поеду.

Голос его дрожал, и весь он был точно в лихорадке. Я услышал стук приближающейся электрички, схватил его за руку и потащил прочь от платформы. Сняли с ветки портфель и повели Шишова домой. Я шел, обняв товарища за плечи, и слышал, как дрожит он всем телом. Мы привели его в комнату, где уже спали три его друга, уложили в постель. Посидели немного возле него. Я пожал ему руку, сказал:

– Спи, Василий, а завтра поговорим. Мы ведь с тобой русские офицеры, нам ли падать духом.

Шишов долго держал мою руку в своей, а потом отпустил ее, закрылся с головой одеялом. Портфель с пьесами лежал на стуле у его изголовья. Мы тихонько вышли. И тоже пошли по своим комнатам. Стаховский, прощаясь со мной, глухо проговорил:

– Другая борьба нужна, другая.

Я проводил Ольгу до окна ее комнаты. Она растворила ставни и ловко вспрыгнула в темноту.

В эту ночь я долго не мог заснуть. На рассвете провалился в небытие и, кажется, в следующую же минуту услышал какую-то возню, шум, крики. Кто-то толкал меня в плечо:

– Иван! Вставай! Шишов утопился!…

Я вскочил и машинально стал одеваться, искал носки, ботинки. В ушах колокольными ударами бухали слова: «Шишов утопился!» Сознание прояснялось, но я долго не мог понять: как это он утопился? И как вообще можно утопиться?… И зачем? Какая такая нужда могла кинуть его в воду?… Метались обрывки мыслей: три пьесы… Письма матери. Надо было покрыть крышу… Как же это он и зачем?…

На улице увидел Ольгу. Она была в черненькой юбочке и белой кофте с короткими рукавами. Не причесана. Но и в таком своем виде – хороша. Вот она – молодость! И – природная красота.

Схватила меня за руки. В глазах – слезы.

– Иван!… Мы виноваты!…

Впервые назвала меня по имени: Иван!…

– Но позволь: почему мы виноваты?

– Я видела, что он не в себе. Разве можно было оставлять его без присмотра?…

– Да, я тоже видел. Вел его домой, а он весь дрожал. И что?… Что же мы должны были делать?…

– Не спать! Нам нельзя было ложиться спать.

– Да, пожалуй. Надо было дождаться, пока он успокоится. Пойти в аптеку, купить лекарство. Есть же какие-нибудь капли, которые успокаивают?…

Вспомнил, как однажды на фронте я пожаловался полковому врачу майору Вейцман: после боя долго не могу заснуть. А она сказала:

– Это нервы. В таком случае надо что-нибудь принять.

Я удивился:

– А разве от нервов есть лекарства?

Она посмотрела на меня своими темными умными глазами, сказала:

– Было бы ужасно, если бы нервы ничем не лечили.

И потом, минуту спустя:

– Мне не было и тридцати, когда нервы мои вконец расшатались. Я пила транквилизаторы, принимала снотворное. Лекарства меня спасли.

Я долго потом не знал, что такое транквилизаторы и даже не встречал этого слова. А сейчас… вспомнил.

– Да, пожалуй. Ты, Ольга, права. Но теперь-то… что зря руками размахивать?…

Студенты бежали к озеру. Мы с Ольгой и с нами два Николая, Анциферов и Сергованцев, тоже бежали. На берегу грудилась кучка людей. Мы подошли ближе и увидели его, Шишова. Он лежал на спине, запрокинув голову, будто ему что-то мешало и он хотел лечь поудобнее. Возле него был большой камень с веревкой. Я подумал: обмотал вокруг шеи и – прыгнул… вот отсюда, с мостков. Мы здесь купались и едва доставали дно.

Я сел рядом и смотрел в глаза Шишову. Они были открыты, но от меня отвернулись. Он словно бы обвинял меня в своей смерти. И мне от этого стало нехорошо. Мы с Ольгой видели его последними. Как же мы… не помогли, не отвели его от этой ужасной, бессмысленной смерти?…

Подошла машина скорой помощи, Шишова накрыли простыней, занесли в кузов. И машина, недовольно заурчав мотором, отошла. Стали расходиться и студенты. А я все сидел на том месте, где совсем рядом лежал Шишов. Потрогал конец веревки, тянувшийся от камня к моим ногам. Подумал: как просто и как легко: вскинул на грудь камень, обвязал веревку вокруг шеи и – бултых в воду!… И кончилась жизнь. Остались три пьесы. Погиб Островский. Народ его породил, а он… не сдюжил, не совладал. Рубен не стал читать пьесу. Ну, и что?… Рубен не стад, другой прочтет и поставит. Будет же когда-нибудь время, когда в русских театрах появятся русские режиссеры! Ну, а уж если невмоготу ждать, поезжай в деревню, почини крышу и живи в отчем доме. Тоже ведь интересно жить. Женился бы, народил детей… А так-то… Зачем же так-то?…

Мысли эти текли сами собой. И рождались и проносились в

голове мгновенно. Рядом раздался всхлип.

– Ольга! Чего же ты плачешь?…

– Я женщина. Не могу не плакать. Ведь это мы рожаем на свет людей, а они… видишь, как безответственно относятся к собственной жизни. Ведь больше он никогда не родится. И человечество на одного стало меньше. И беднее. И слабее. Видишь, какую глупость он совершил… наш Шишов!…

Мы поднялись и, не сговариваясь, пошли к станции. Ольга попросила у меня расческу, на ходу причесалась. Электричка несла нас в Москву, где было много людей и все наши беды не казались уж такими значительными.

– Я поеду к вам. Надежда меня приглашала.

– Да, да – это хорошая мысль. Светлана так любит с тобой играть Вы ведь с ней еще не вышли из детства. Она часто меня спрашивает: когда приедет Оля?…

Впереди громоздились корпуса новостроек. Москва прихорашивалась, она встречала завтрашний день своей истории. Каким-то он будет?…

Прошли еще два года учебы. Многое переменилось в моем положении: ректорат не предложил меня в новый состав партийного бюро, а неведомые нам злые силы, под видом нехватки бумаги, закрыли наш журнал. Шестой курс ориентировался на домашнюю работу, и я мог неделями не появляться в институте.

Стал думать об устройстве на работу. Меня знали в ЦК как редактора, и я обратился туда за помощью. Глава идеологического отдела Владимир Ильич Степаков позвонил одному из редакторов «Известий» Николаю Дмитриевичу Шумилову. Тот сказал, что в промышленный отдел требуется сотрудник и он готов рассмотреть мою кандидатуру.

Жизнь, как река, делала крутой поворот: передо мной открывались новые дали.

23 октября 1999 г.
С.-Петербург